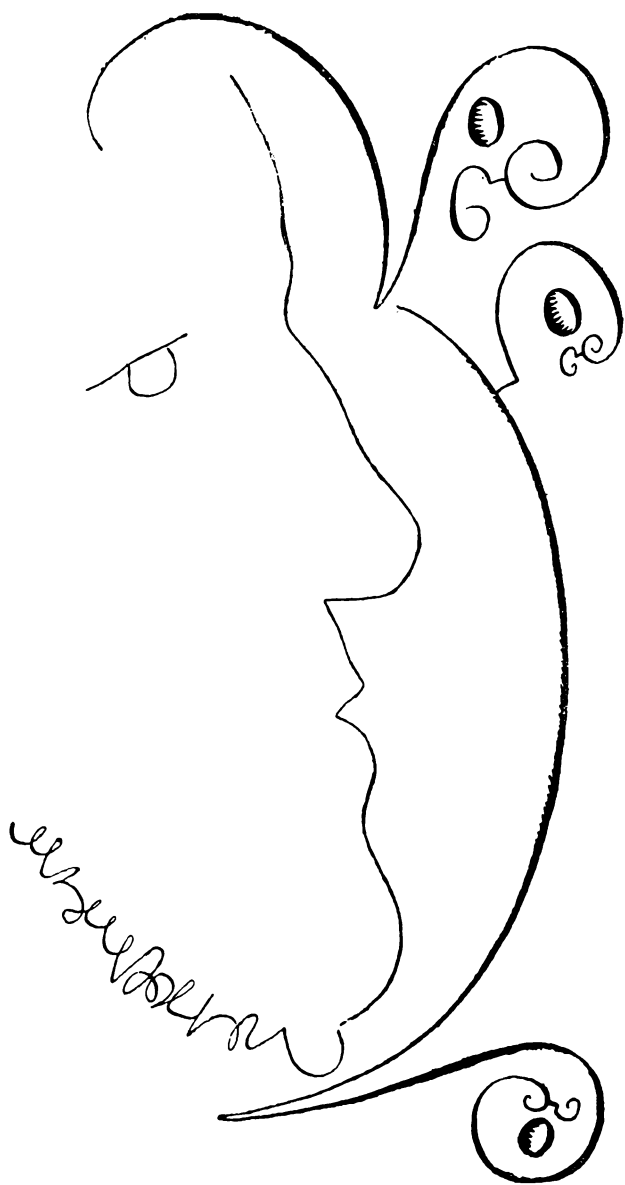
A large, intricate black ink design of swirling lines, scrolls, and clusters of small circles (resembling berries or flowers) frames the central text. The design is symmetrical and fills most of the page.

Б. ВАДЕЦКИЙ

ГЛИНКА



Б·ВАДЕЦКИЙ



ГЛИНКА

РОМАН

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1968

Борис Вадецкий — автор многих произведений, чрезвычайно разнообразных по тематике. Роман «Глинка» — одно из наиболее значительных.

Это произведение не только о великом композиторе Михаиле Ивановиче Глинке, но и об истории рождения истинно национальной русской музыки. В романе воссозданы быт и общественно-политическая жизнь России 20—40-х годов прошлого века, что помогает понять, откуда композитор черпал свои идеи, почему именно предания о подвиге Сусанина и сказка Пушкина послужили темами его гениальных опер.

Перед читателем предстает целая галерея выдающихся людей прошлого века — писатели, музыканты, художники, певцы, журналисты, о которых автор сообщает много нового и интересного.

ПОТАЙНОЕ



Птицы прославляют богов земли и неба с голода, свои же свободные песни поют ради любви, так же как и другие честные художники.

М. Горький

1

Сусаниных было много. Об одном из них, костромчанине родом, убитом ляхами при царе Михаиле, издавна шла по деревне неторопливая, запасливая на выдумку молва. И каждый раз доходила до барских усадеб по-иному: то обнаруживалось, что был тот костромчанин лучшим певцом в округе, а известно, сколь славен в народе человек, владеющий песней; то вставал он в народных сказах неким ратником-мстителем, не только в назиданье иноземцам, но и помещикам за всякое чинимое ими притеснение...

И кончался сказ о Сусанине поминанием его рода — суровой присказкой: почему же пристало ныне Сусаниным перед каждым барским холопом, будь то даже управляющий, шею гнуть?

Передавали, что привезли сюда, в Смоленщину, Сусаниных-костромчан еще в прошлом веке. Когда в екатерининские времена прикупал деревню к здешним

своим владениям секунд-майор Николай Алексеевич Глинка, прежний нерадивый владелец ее говорил, передавая ему реестровые списки:

— Сусанины — большой гордости люди и потому, скажу вам, некоторого неудобства. Ну да ведь наслышаны вы о деянии их предка. И то сказать, не каждого из дворни лакеем поставишь, пока нрав не привьешь. Сусанины же в лакеи не годятся — прошу заметить.

И, рассказывая подробно о крестьянах своих, не забыл поведать об особой, «жалости достойной» способности их к пению и музыке.

— Почему «жалости достойной»? — не понял секунд-майор, пожимая плечами и не замечая, как трясутся при этом пышные его эполеты.

— Да ведь не внял я этой способности их, не любитель я петь и музицировать, ну и не мог развить потому, как бы сказать, природного их дарования. Лишь потом обратил внимание, как люди поют... Позовите Нетоева, особенно младшего из них, Алексея, послушайте. Прямо скажу — музыканты, а толку не сумел с них взять. То ли дело Векшин у меня, каретник, — запомните, он с Суворовым Альпы переходил, — охотник изрядный, сразу в деле нашел себя! И мне с него доход был.

Секунд-майор раздумывал: нужны ли ему будут певцы и музыканты? Театра не держит. Вот в Шмакове, недалеко отсюда, у родственника, Афанасия Андреевича Глинки, оркестр свой и хоры. Можно будет с ним людьми обменяться!

Убирая реестровые списки, сказал с достоинством, как требовал того момент:

— Спасибо за аттестацию. Людей осмотрю и не обижу!

А в это время доживал последние свои дни старейший из Сусаниных Петр Сергеевич, говоря о том, что некому передать все известные ему сказы о костромчанине, как некому собрать все слышанные им песни, — уходил из мира, тоскуя по миру, по слову... Легкий к старости, в чистом домотканом полукафтани, в белых берестовых лаптях, спускался он к Десне и беззвучно шептал то новое, что должна была разнести молва... о костромчанине, в укор господам.

Живя на барской земле, вел он негласно борьбу с непонятной и чужой ему музыкой, доносящейся из барских хором, с барскими гостями, толковавшими в палисадах по-французски, а приглашенный баритоном в дом, играл на самодельном кларнете — сиречь дудке. Пастухи перенимали его мелодии, а гости подчас умилялись им. Спокойно ходил старик мягким, степенным шагом — это нравилось господам; ездил, бывало, в шмаковский театр играть «молчаливые роли» в «Белой моли» или «Двух любовниках», а возвратясь в чистый свой и, нечего бога гневить, просторный дом, созывал сыновей и внуков — Сусаниных и Нетоевых — и пел им о своем, как умел, терзаясь тем, что сердце-певун песни просит, как молитвы, а вот же не выходит, и смелости порой нет в словах. . .

Впрочем, внуки не знали о его терзаниях. Бывало, пели они, сотрясая избу, слаженно, в один голос:

Ты воспой, весна, птица светлая,
О Сусанине, как он жил, тужил. . .

Деревне, ныне перешедшей к секунд-майору, насчитывалось лет двести. На месте самого старого дома собрали часовню. Ночью гнилое дерево ее излучало дремотный синеватый свет. От часовни шла просека в Ельню. Вдоль просеки к стволам кое-где были прибиты куски тряпья — отметины, чтобы не заблудиться. Деревня повидала многое, оставаясь глухой и как бы задвинутой лесами. . . Лужки белели в них, как озера. Изредка наезжали к Петру Сергеевичу досужие люди из города порасспросить о том, что слышал он о костромчанине. Изредка навевались люди — родичи из вольноотпущенных и оброчных, среди них модистки, первые здесь щеголихи, с опахалами, с мушкой под глазом, в диковинных больших шляпах. Были они привередливы и почти все сами играли в театрах. С тоской слушал, бывало, Петр Сергеевич, как одна из них, Палашка, изъяснялась в роли Минадоры из пьесы Сумарокова «Мать совместница дочери»:

— Я имею честь иметь к вашему патрету отличный решпект и принимала вас без всякой церемониальности и фасонии. А вы мне изменяете.

Или, томно закидывая голову:

— Ты так, голубчик, со мною говоришь фасонно, что уж невозможно. Я тебя... Ах, мой миннион... Ах, мой багарель... Я мешаюсь!

Была модистка обучена грамоте и привозила с собой журналы: «Адскую почту», «Всякую Всячину», «Труть». Читали их после нее местные грамотеи и вздыхали тягостно: али и не к добру наука? Впрочем, о таких щеголихах давно было сказано в народе, что в обществе занимают они место с теми грибами, кои растут на тоненьких полых ножках, под названьем «поганных».

Приходилось Петру Сергеевичу слушать и песни из «Плача холопов». Пели ему оброчные, побывавшие в Петербурге:

О горе нам, холопам, за господами жить.
И не знаем, как их свирепству служить!
Власть их увеличилась, как в Неве вода,
Куда ты ни сунься — везде господа!

В те дни пел им Петр Сергеевич сам и говорил потом, что «через песни великие давал советы».

Но старость брала свое. Случилось вскоре, что слег он и больше не мог встать... Алексей Нетоев, самый памятный, слушал и запоминал сказы, которые с суровым смирением, как летописцы книги свои, передавал ему теперь старик изо дня в день. И вскоре секунд-майору сообщили:

— Музыкант умер. Из Сусаниных старший, что на кларнете играл.

Секунд-майор так и не повидал его, только слышал о нем от прежнего владельца деревни.

Управляющий шепнул:

— Не только музыкант был, но и сочинитель, осмелюсь назвать. Его мелодии, его песни не только в нашей глуши поют, во всей, почитай, губернии. Особенный был старик и жил, как певчая птица... По неграмотности своей и упорству не хотел в Шмакове играть в театре, пытался сам выдумывать свое...

— Старик — как певчая птица! — с недоумением повторил секунд-майор. — И что-нибудь выходило у него?

— Дворян наша по сей день плачет о нем, — вместо ответа сказал управляющий. — Девки по старике убиваются. Незаметный он был и спокойный при вашем

доме, а в деревне — первый певун и выдумщик. Да вы не подумайте, барин, что с ним и песни кончились. В вашей деревне да у вашего двоюродного брата в Шмакове певунов много.

— Что же все-таки он сочинял? — допытывался помещик.

— Насмешник был, одинокий, всякое ему в голову лезло, — осторожно ответил управляющий, — и песни его были как бы монологи для игры в театре, иные из них даже произнести неудобно...

— Ну все же? ..

— Извольте:

Барин-господин, всем ты взял,
Но человеком тебя назвать нельзя.

— Помер, говоришь? — переспросил секунд-майор, думая: как поступил бы он, будь этот крепостной сейчас жив?

— Неграмотный был, а Новикова знал — вот странность! — добавил управляющий. — Своей жизнью живет деревня, ваша милость, не всегда уследишь! Лапотники, а туда же! ..

Год спустя захирело в неурод поместье секунд-майора, и заговорили о певцах совсем по-иному. Как бы невзначай сказал ему тот же управляющий, докладывая о делах:

— Ныне прямой расчет дворовых на оброк перевести. Говорят, в костромской вотчине Юсуповых одни малолетние и престарелые остались. В Петербурге, слышно, из четырехсот тысяч жителей двести тысяч исчисляют крепостных. Ярославль вдосталь прислал туда каменщиков, Пошехония — саечников, хлебников, Смоленск — землекопов. На оброке, гляди, и себя прокормят, и помещику пополнят доходы. А куда лучше художников да музыкантов иметь, один художник — целой деревни штукатуров и плотников ныне стоит. Лакей помещика Моркова живописец Тропинин, передают, очень самделе способный, один больше двух тысяч потянул... Вот и думаю: ежели музыкантов наших к делу определить? Пели бы себе в столице в оркестрах!

Николай Алексеевич замялся и не знал, что ответить

управляющему. Посылать мужиков в столицу — как бы не потерять их, разбредутся, не устроятся, мало ли что делается у Юсупова. Им, Глинкам, в лесной глуши с петербургскими сановниками не тягаться. А впрочем, может быть, и верно: надо попытаться счастья, людям не в обиду, себе не в корысть!..

Но делу этому воспротивилась Фекла Александровна, жена его, самая властная не только в Новоспасском своем доме, но и среди всех Глинок. Встала она из-за стола, сидя за которым слушали они управляющего, и — рослая, разгневанная — двинулась на него:

— Ты это где же слыхал, батюшка, чтоб мужики господам в тягость были? Или законы божьи забыл? Какая ни есть я помещица — пусть дворовые мои при мне голодают, не боюсь, не помрут, но не в столичных дворах хлеба просят. И какой же ты управляющий, сударь мой, если не поймешь, что дворовому оброчный паспорт — это то же, что отпускная. В столицу пошлешь его и не узнаешь: ни честности, ни послушания от него не жди! И не до песен ему будет в городе, сударь мой, не до оркестров. Впрочем, что еще выдумал: наши певцы деревенские — шарманщики тебе, итальянцы, прости господи, что ли?

Управляющий замигал глазами и жалобно глядел на секунд-майора, ожидая его поддержки. Был управляющий из подьячих, тянулся к торговому делу, но не имел удачи. Николай Алексеевич сказал тихо, облегченно, словно после слов жены и его душу соблазн миновал:

— Не дело говоришь, не дело! А певунов в сочельник хочу послушать, неужто наши деревенские так пением знамениты? И شماковских пригласим. Будет трудно, а мы песни заведем — это по-русски? Верно я говорю? — обратился он к жене.

Фекла Александровна молчала. Насупленно и важно она показала управляющему на дверь, а когда тот скрылся, произнесла коротко:

— Сменить его надо. Немец!

— Помилуй, Феклуша, какой же он немец, — вступился за него секунд-майор, — Быков, Никанор Павлович.

— По духу, говорю, немец! Расчетлив больно! Дались ему песни, даже петь людям нельзя!

— Да по его суждению, пойми, пенье — это занятие, как живопись, ремесло! Вот братец Афанасий Андреевич мог бы за своих деньги брать!..

— Никогда о таком занятии не слыхивала, а управляющего смени, — настаивала Фекла Александровна. — Сама управлять буду, вот и расходов меньше... Право, как раньше не пришло в голову? И так много слуг в доме держим.

Вечерело. На дворе была осень: из леса тянуло грибной прелью и мраком, хотя окна в доме были полузакрыты и в зале потрескивал камин.

Низкая красная туча, похожая на раскаленную подкову, наползала с закатного неба, одним концом своим накрывая Десну и ее берег, другим — барский дом. Могучий отсвет заката коснулся окон, в комнатах посветлело, и трепетный огонек свечи отодвинулся куда-то вглубь. Был слышен надрывный крик выпи в лесу и осторожное перепархивание птиц.

2

В субботу на воскресенье приехал в Новоспасское из Шмакова сам дядюшка Афанасий Андреевич с актерами и музыкантами на дрогах. Как обычно, стремглав выскочили они из леса, у самого крыльца осадив коней, и, как цыгане, шумно, позвякивая бубнами, тут же пустились в пляс перед окнами, лихо отстукивая каблуками по тугой, холодной земле.

Только крикнул он хозяевам дома, представляя своих артистов:

— Вот они — мои голоса!

Фекла Александровна ничем не выказывала своего нетерпения, хотя и недовольно ждала, стоя на пороге, когда угомонятся шмаковские весельчаки и пристроит их Афанасий Андреевич к делу... А делом Фекла Александровна считала совсем необычное, казалось бы, для шмаковских музыкантов занятие — садить здесь редкие сорта персиков и французской сливы. Дело в том, что в Шмаково отцом Афанасия Андреевича еще раньше были привезены из Франции эти редкостные саженцы, привившиеся на смоленских землях, а музыканты — они

же были и опытными садоводами. Надо из них пользу извлечь.

И действительно, поплясав вдоволь, дворовые шмаковского дядюшки принялись за работу.

Вечером в большом зале выступал хор. Афанасий Андреевич сидел с родственниками за колченогим ломберным столом — не богато было в ту пору убранство в доме новоспасских Глинок — и ревниво следил за своими «голосами». А «голоса», натренированные в плачах, причитаниях и в вольных разливах деревенских песен, должны были удивить теперь исполнением сатиры Кантемира, по недавней выдумке Афанасия Андреевича. Лучшие его актеры и певцы в патетическом пафосе восклицали теперь в один голос:

Ум незрелый, плод недолгой науки,
Покойся, не понуждай к перу мои руки.
Не писав, летяши дни века проводить,
Можно и славу достать, хоть творцем не слыти.

Сатира «К уму своему» пользовалась особым признанием Афанасия Андреевича, любившего посмеяться над нравами и блеснуть насмешкой. О писателе, не получившем права гражданства, о музыканте, низведенном до положения шута, о светских предрассудках в обществе, том самом столичном обществе, которое должно было служить примером деревенским Глинкам, — обо всем этом хотел напомнить он исполнением сатиры. И больше всего — показать словами Кантемира, какой «золотой середины» достиг он, Афанасий Андреевич, в своих отношениях с веком, стоя между старым и новым, умея быть счастливым в деревне и в то же время не опуститься до положения провинциального «тюфяка», быть с «веком наравне» и жить меж тем в свое удовольствие. Кантемир выступал как бы в роли его защитника и провозвестника тех истин, которые сам Афанасий Андреевич не смог бы возвестить своими словами. Мудрено ли, что один из «голосов» — Тришка Борзый, пухлый паренек с белесыми глазами и зычным голосом — состоял при особе Афанасия Андреевича личным его домашним актером и всюду, где бывал барин, читал Кантемира первым.

И сейчас, не страшась строгой Феклы Александровны, он изрекал напыщенно:

...Лучшую дорогу
Избрал, кто правду говорить всегда принялся,
Но и кто правду молчит, виновен не стался,
Буде ложью утаить правду не посмеет, —
Счастлив, кто той середины держаться умеет;
Ум светлый нужен к тому, разговор приятный,
Учтивость приличная, кто дает род знатный,
Ползать не советую, хоть спеси и гнушаюсь.

Афанасий Андреевич сидел ошастливленный. Хорошо прочел Тришка Борзый речь Филарета из сатиры «Филарет и Евгений». Вовремя и как следует звучно подхватил хор последние строфы сатиры.

Но понимали ли Афанасия Андреевича актеры? Они мучительно хотели спать, устав за день, позевывали и словно с клироса монотонно тянули надоевшие им строфы. Секунд-майор старался вникнуть в их речь, а Фекла Александровна сказала Афанасию Андреевичу открыто:

— Не мучай ты их! Хоть он и Кантемир, а язык его словно у иностранца. Вели им спеть что-нибудь деревенское.

И тогда обрадованные, в благодарность новоспасской барыне, разом отогнав сон и усталость, актеры дружно запели:

Уж вы сени мои, сени, сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решетчатые...

Секунд-майор одобрительно кивал головой, взгляд его теплел и останавливался на раскрасневшихся молодлицах. Трудно было им петь и стоять на месте, когда сама песня звала в пляс.

— Пусти их, пусть тешатся! — шепнул он Афанасию Андреевичу.

Шмаковский помещик махнул рукой, и актеры его в одно мгновение оказались на середине зала. Заколебались языки свечей и заскрипел пол. Ситцевые платки в руках девушек натянулись парусом, косы забили по плечам, бусы на груди стеклянно зазвенели, пестрые сарафаны и красные широкие юбки поплыли и смешались в один мелькающий багряный круг.

Окна старого дома оказались облеплены снаружи детворой. Прижавшись к стеклу, глазели на происходящее в зале сторожкие детские лица. За ними чинно высились устало-внимательные лица матерей, а сзади стояли, опершись на колья, как на посоха, старики и говорили отчужденно-задумчиво:

— Шмаковский барин нашего барина веселит!

3

В этот год, когда вернули Смоленску увезенный некогда поляками древний его герб — изображение чугуновой пушки на золотом лафете, с сидящей на ней райской птицей, — дворяне смоленские усиленно занялись приведением в порядок фамильных актов и записей своей родословной. Обновляли они в свою очередь гербы на каретах — знаки своего сословия — и заказывали фамильные перстни ювелирам, словно с прибытием смоленского герба несказанно возросла и их родовая знатность. К тому же герб Смоленска призывал к миру и благоденствию: чугунная пушка свидетельствовала о ратной его славе, а райская птица — о воцарении на Смоленщине ничем нерушимой тишины.

В эту пору и помещики Глинки выверили свои грамоты на дворянство и родовые списки, чтобы сохранить их, спаси бог, от посягательств однофамильцев. Установили они еще раз, что в годы царствования Алексея Михайловича, когда Смоленское воеводство отошло к России, первым русским дворянином Глинкой стал Викторин-Владислав Глинка, названный после принятия православия Яковом Яковлевичем.

Перерисовали Глинки герб свой и подсчитали, сколько поколений Глинок до секунд-майора Николая Алексеевича служили отечественному оружию, не пора ли просить о столбовом дворянстве, охота ли оставаться в мелкопоместных! Но ратовали за чины больше всего те из Глинок, кто никогда не бывал в баталии, — Глинки-Земельки, Глинки-Соколовские, а сам секунд-майор стал к старости очень равнодушен к почестям. Приходился им дальним родственником сочинитель Сергей

Глинка, но того совсем ни о чем не спросили и даже не записали о его принадлежности к знатному их роду.

Однажды встретились в Новоспасском самый старший, весь перетянутый выцветшими наградными лентами и в перьях от подушек Павел, с карлицей в карете, и рослый, в болотных сапогах, с убитыми зябликами у пояса Афанасий из Шмакова. Поговорили и разъехались. Потом собрались все старые и молодые Глинки на Смоленскую площадь в год прибытия сюда императрицы Екатерины. Дворянство выстроилось на площади, а на улице от Краснинской заставы до Успенского собора стояли по обе стороны жители города, среди них, ближе к городским воротам — одни смоленские красавицы в расшитых платьях, в высоких белых кокошниках. Вместе с Екатериной прибыл австрийский император Иосиф II, путешествовавший по России. Екатерина никого почти не отметила своим вниманием, не заметила вытягивавшихся перед ней Глинок и ознаменовала свое посещение Смоленска повелением... превратить один из самых больших кварталов, застроенный домами, в площадь для обучения солдат. После ее отъезда начали разрушать строения, и секунд-майор сострил:

— Императрица заранее готовит солдат для войны со своим гостем!

Слухи о надвигающейся войне с Австрией не миновали Смоленска.

Древний герб сиял золотом на воротах города, но уже мало кто верил в мир и тишину, что должна была принести с собой изображенная на нем райская птица.

Глинки зажили по-старому, а спустя много лет между двумя из них разыгралась ссора, памятная всему губернскому дворянству, но приведшая, однако, как заключил предводитель дворянства, к еще большему взаимному их согласию. «Не поссоришься — не поладишь», — говорили. О том, как поссорились шмаковские и новоспасские Глинки, хотел описать в своих произведениях литератор Сергей Глинка, отдавший много внимания Смоленщине. В бумагах его остались беглые записи о «властительной» Фекле Александровне, «тишайшем» супруге ее и братце Афанасии Андреевиче.

Стало известно, что стараниями свах и соседей сын Глинок Иван Николаевич объявлен в Новоспаске

женихом, а сестра Афанасия Андреевича в Шмакове — его невестой. И хотя сами молодые не смели и помышлять о браке, а родители отнюдь между собою не сговаривались, до Афанасия Андреевича — опекуна малолетней сестры — дошла весть о сборах к венцу, о близкой свадьбе молодых.

Афанасию Андреевичу не стоило труда догадаться, что во всем этом повинна Фекла Александровна, по ее указке и молва пошла, чтобы понудить его согласиться на этот брак, чтобы не осталось уже ему ничего иного, как смириться с молвой.

Однажды Фекла Александровна к нему уже приезжала, заявив без обиняков:

— Ты другого жениха Евгении не думай и подыскивать. Мы нашему сыну наперед изъявили волю свою, повелев на Евгении жениться, и отступить не можем!

Разговаривали на балконе. Дом Афанасия Андреевича был несравненно богаче и представительнее новоспасского, а лес казался более густым и глухим: кругом были прислонены к деревьям размалеванные декорации, сушились на веревках какие-то тугие холсты, должно быть куски занавеса.

— Стало быть, ты решила — и все? — не без восхищения спросил Афанасий Андреевич.

— Решила! — подтвердила, вздохнув.

В душе шмаковскому помещику нравилось поведение Феклы Александровны, к тому же сестра — не дочь, шестнадцать лет ей, сама слово имеет, но сдаваться перед старухой он не намерен был. Да и почему знать, может быть, счастье Евгении не здесь, а в городе, может быть, столичные женихи ее ждут? И главное, — признаться в этом он стеснялся, — как бы не поставили ему потом в вину в губернии брак его сестры и не затеяли бы против молодых какую-нибудь консисторскую кляузу. Не первый раз уже губернское духовенство грозило наказанием, а то и отлучением от церкви тех, кто допускал браки среди родственников, хотя бы и дальних... Впрочем, не ему, Афанасию Андреевичу — поклоннику Кантемира и блюстителю свободы — того бояться!

Фекла Александровна, как бы догадавшись об этих тайных его мыслях, тут же деловито сообщила:

— Может, о благословении свыше тревожишься?

О том, что архиерей скажет? Так будет же тебе известно: был у него, у архиерея-то, Николай Алексеевич, испросил у него разрешение на брак, предупредив о троюродном их родстве... И святейший выразил на то полное свое согласие. «Воля родителей», — сказал он. Стало быть, наша и твоя воля, Афанасий Андреевич. Ну и положил на Николая Алексеевича потребу: велел доставить своим церковнослужителям сорок пудов пшеничной муки для просфор. На этом и было покончено.

Афанасий Андреевич ответил глухо и небрежно, внимательно между тем ее выслушав:

— То своим чередом. Будет свадьба — будут и дары церкви.

И долго молчал, куря длинный, почерневший от дыма чубук.

Тогда, подобрев, Фекла Александровна сказала доверительно, как бы делая этим самым одолжение Афанасию Андреевичу:

— Могли ли мы сына готовить к иной мысли? Разве Глинки, вы и мы, не одной крови, хотя и не прямого родства? И разве земли наши не сопредельны? И тебе не о чужом женихе печься, не чужому красавцу землю отрезать, чтобы заложил он ее в банке и наведывался сюда денег ради, как делают это столичные.

— Нет, — оборвал ее вдруг Афанасий Андреевич, — не быть тому! Не ведаешь ты, что и в банке землю заложить можно, а все-таки остаться человеком, достойным уважения. Не те времена, Фекла Александровна, когда боялись мы высунуться из лесов. Не жить в лесах твоим детям и моей сестре, и пусть не укоряют нас, что, боясь всего нового, мы их соблазнов и собственного выбора лишили. Пусть выбирают. . .

И он, довольный своей речью, молодецкато глянул на нее, уверенный в философическом своем превосходстве и беспристрастности: «Вот она, его «золотая сердина», никому не в ущерб!»

— Ужели Евгения лучше моего Ивана кого выберет? — обиделась Фекла Александровна.

— Почем знать! А ежели о Глинках говорить, так опять же думаю: чтобы род наш возвысить, надо новую кровь в него влить, столичного молодца не побояться.

И сказал:

— Пусть Евгения сама решает, а чтоб выбор был, увезу ее в столицу на зиму, и если, там побывав, ощутит она сердечную тоску по твоему Ивану, — тем крепче будет любовь и, стало быть, судьба им!

— Говоришь, пусть сама выбирает? — угрожающе повторила Фекла Александровна, и он, озадаченный ее тоном, пожал плечами:

— Сказал ведь. Зачем сердиться? Я ведь за ее счастье в ответе! О ней стараюсь, не о себе, — понять надо.

— Ладно, Афанасий Андреевич, — произнесла старуха, вставая, — ты нас не выбрал, а она выберет!

Хозяин дома церемонно проводил до коляски Феклу Александровну и проследил, как кучер подложил ей подушки за спину, чтобы меньше трясло на ухабах, потом взмахнул кнутом по пыльным спинам коней.

А через несколько дней не стало в его доме Евгении.

Тихая, обычно сосредоточенная и чуть понурая, «книжница», как прозвали ее за любовь к чтению, она редко перечила старшему брату, оставшись с малых лет при нем сиротой, и никому бы не пришло в голову, что она может бежать из дома. Но сторожа рассказывали, как ночью, в теплом платке и с неразлучной книжкой в руке, она легко выбежала из дома. Ночная темь поглотила беглянку, и глухо отдался в ночи конский топот. Горничные тут же сбежались к ее горнице и, не веря сторожам, стучали в дверь. Потом, поднося к лицу белые свои передники, одна за другой, на цыпочках, поднялись к барину Афанасию Андреевичу.

— Барышня ушла в лес! — сказали они в один голос сонному камердинеру, поклонившись ему все разом.

И одна из девушек, осмелев, пояснила:

— Как бы греха не случилось, Савелий Николаевич!

Камердинер был из отставных солдат, глуховат на ухо, очень спокоен, по-отцовски прост с ними.

— Мало ли что барышне взбредет в голову, — успокаивал он их. — Барышня наша, сами знаете, — затейница. Как нет театра — так ей скучно. На днях велела мне о солдатах рассказывать, будто никогда о них не слыхала. Как в рекрутчину берут да как воюют... Книжница, а дите!

— Не томи, Савелий Николаевич, буди барина! — шепнули ему.

Он не согласился с ними и сам не спеша заковылял в горницу Евгении Андреевны, вошел, оглядел постель и встревожился, заметив небрежно брошенное на стул полотенце.

— Барышня наша — аккуратница, — бормотал он. — Может, и впрямь что задумала?..

С полотенцем на плече, прихваченным им в подтверждение того, что с барышней что-то случилось, он решился наконец разбудить барина.

Афанасий Андреевич выслушал его, вскочил и схватил старое свое черное от пороха и от времени кремневое ружье.

— Собирай погоню! — крикнул он. — Седлать всех лошадей!

— Куда, батюшка? — опешил камердинер.

— В Новоспасское. Быстро!

После Афанасий Андреевич говорил, что днем еще по натужно скромному виду своей сестры и по горестному ее взгляду он заподозрил неладное. Не решилась она подойти к нему и заговорить — что-то таила и, глядя куда-то вверх, мяла в руках платок.

— Да нешто, батюшка, барышня позволит себе... — бормотал камердинер, все еще топчась в комнате, пока барин надевал охотничий костюм. — Книжница наша!..

— Вот книжницы-то такие и есть! — беззлобно отвечал ему Афанасий Андреевич. — Без книг того не придумала бы, а в книгах во всех, почитай, романтические истории да бегства описаны!

Девушки всхлипывали в коридоре, шептались. Афанасий Андреевич прикрикнул на них:

— Чего вы? Али только в театре видели драмы?

Буен и весел казался сейчас шмаковский барин. Горничные сжались и пытливо глядели ему вслед, когда хозяйственно и не спеша затворив дверь, прошел он мимо них, рослый, налитый силой, ни на кого не повысив голос.

А беглянка, пока камердинер будил барина и в конюшне седлали коней, уже приближалась к Новоспасскому. Исцарапанная ветвями коляска, сопровождаемая верховыми, мчалась по лесной дороге. Из коляски доно-

сился зычный и повелительный голос Феклы Александровны:

— Гони! Нет, останови! Заваливай дорогу. Быстрее!

Кто-то из верховых бросался в темноте к небольшому мосту через обрыв и разбирал доски, кто-то валил дерево. Кони, бешено храпя, выскакивали на гору, словно из трясины, в грязи и в мыле, а Фекла Александровна, успокаивающе держа за руку Евгению, твердила:

— Вот и выбрала! Ах ты, олух лесной, погоди же!..

В глубине коляски сидел Иван Николаевич Глинка и глядел на мать благодарно и молитвенно.

Несколькими минутами позже новоспасский поп уже венчал молодых в старой, пахнущей сеном и грибной сыростью церкви, а на рассвете бледный, трясущийся секунд-майор в полном облачении и при орденах стоял на пороге своего дома перед Афанасием Андреевичем и говорил:

— На пистолетах драться не могу, милостивый государь, слаб стал и почитаю дуэль между родственниками неприемлемой, тем более при годах моих, но ради удовлетворения готов отвечать перед дворянским собранием во всеуслышанье...

И повторил, набираясь храбрости и багровея:

— Да, да, во всеуслышанье!

Афанасий Андреевич молча отстранил рукой старика и вошел на половину Феклы Александровны.

Она встретила его, скрестив руки на груди, довольная собой и монашески строгая, как бы ушедшая в себя.

— Все сделано, как ты хотел: Евгения сама выбрала! — сказала она.

— Пусть так! — примирительно ответил Афанасий Андреевич, выдержав ее взгляд. — Сила соломѹ ломит. Вдвоем будем теперь отвечать за их счастье! — И, не скрывая восхищения Феклой Александровной, сказал: — С тобой еще ближе породниться — тоже честь немалая. Для нашего-то времени. Характер-то твой — как... у царицны Софьи. Тебе бы родом Глинок управлять, как Посаднице в старину.

— Ну, а коли честь, так давай о празднике сговоримся. Общество — оно, может быть, нам и не нужно, но пусть думают, что мы в нем нужду имеем... в щеголях

этих да болтунах! — подобрев, рассудительно сказала старуха. — Им будет приятно, и нам не в тягость.

И велела пригласить Николая Алексеевича.

Секунд-майор пришел быстро, сменив мундир на халат, и, всхлипнув, по-родственному потянулся обнять Афанасия Андреевича.

— Это ведь она — всем нам воевода, она все решила, а я ей не перечу! — промолвил он, показывая взглядом на жену. — И, право, Афанасий Андреевич, не такие уж мы кулики болотные, чтобы ради столичных нами брезговать... Осведомлен, чего в нас боитесь, — ретроградства, как бы сказать. Вольнолюбивы вы, сударь, и потому заведомо к родне недоверчивы. Да ведь оттого, что театра не держим, дикарями еще не становимся.

— Хватит об этом! То-то нагнал на тебя страху Афанасий! — оборвала старуха мужа. — Похоже, будто ты в чем-то оправдываешься. Ему и дальше жить по-своему, а нам у него ума не занимать. Берите-ка счета, расходы прикинем.

Праздник вскоре состоялся, и старуха вела себя на нем так, словно распри между Глинками никогда и не было.

4

Ивану Николаевичу едва исполнилось двадцать лет, когда вышел он в отставку капитаном, — случай не столь редкостный в те годы и не единичный в дворянстве. В Санкт-Петербурге, в краткое царствование императора Павла Петровича, не влекло его к военной карьере, не сулила она ему ни прочности положения, ни достатка, служил царю приличия ради и, уйдя со службы, выкинул тут же из головы все, что повидал и пережил в столице: размеренные, нудные флаг-парады, шагистику, цыганские пляски у Демута и кадрили на небогатых балах... Стороной проходила для Ивана Николаевича петербургская жизнь, не осенила его ни серьезным раздумьем, ни большой печалью. Надлежало ему, смоленскому дворянину, в свете пожить, — ну и пожил и, как человек правдивый, отписал отцу о том, что боится в знаниях своих уподобиться фонвизинскому Недорослю.

«Капитан-Недоросль, да еще в отставке, — писал он

о себе, — таким ли вы хотели меня видеть, внимательнейший мой родитель? Отныне стремлюсь к книгам и уединению в деревню нашу, где впервые прозрел, на что я в делах способен».

Скромность, впрочем, входила в достоинства двадцатилетнего отставного капитана. В действительности был он начитан, пытлив и среди старших своих братьев, более любивших государеву службу, отличался, по мнению знакомых, простотой и завидной изящностью манер, несколько женственных, но идущих ему.

Шмаковская «книжница» не чаяла в нем души и с нетерпением ждала его отставки. Приезд его навсегда в деревню был праздником и для нее и для Феклы Александровны. Именно ему, Ивану Николаевичу, завещал отец после смерти Новоспасское свое имение, с тем, однако, чтобы Фекла Александровна была в нем при жизни своей полной управительницей. Но могло ли быть иначе при характере ее и привычках? С приездом Ивана Николаевича решили заново оборудовать дом и дворовые службы, выписать архитектора и нового садовника. Увлечся Иван Николаевич цветоводством, — на две-три версты тянулись летом в поместье клумбы с розами, «царскими кудрями», резедой, астрами, иван-дамарьей. Перенял он от шмаковского дядюшки — был он его шурин — любовь к певчим птицам, поселил, к неудовольствию матери, в одной из комнат великое множество снегирей и соловьев в клетках. Но главное, в чем изменил быт поместья, не без влияния жены, — это учредил при доме небольшой оркестр скрипачей и хор сенных девушек.

Фекла Александровна сперва относилась к этим новшествам снисходительно и втайне любовалась молодыми, когда просиживали они часами в гостиной за чтением Руссо и Вольтера, но однажды заявила им:

— Не пойму я вас. Что-то вы, как божьи странники на земле, как голуби на крыше... Все витаете где-то. Крестьян не порете, на людей никогда не крикнете. А если посягнут они на вас, на землю, на богатства?

— С чего бы им? — произнесла Евгения Андреевна, удивленно подняв кроткие большие свои глаза.

А Иван Николаевич сказал, стараясь казаться строгим:

— Соседи говорят, что в Новоспасском мужиков не порют, и правильно! Меньше обиды — меньше вражды!

Фекла Александровна рассердилась:

— Не пристало нам холопской вражды бояться, и помнить следует, что мужика голодом и холодом возле себя держать надо, а не милостями, не добротой. Книжки ваши с годами к такой вольности приведут, что управу на мужика забудете, не справитесь с ним. Сейчас уже на барщине лентяся. А что касается порки, — она сверкнула глазами, — пусть соседи о нашей доброте говорят, а я вечером Федьку Чухляева так кнутом в сарае выпороть велела, что еле водой отлили.

— Где он, маменька? — вскочила Евгения Андреевна.

— Где? — повторила старуха. — Али к нему побежишь?.. Ты, милая, что-то очень разумной стала. Жить на свете — не книжки читать: не книжки, милая, барскую породу красят. Свой ум надо иметь и нечего власти над мужиком бояться, а ты боишься. И ты, капитан, перед мужиком душою трусишь! — заметила она сыну.

— Как бы ни было, маменька, я прошу вас мужиков не пороть, — твердо сказал Иван Николаевич.

И тут же виновато шепнул жене:

— Маменьку нельзя судить... Все мы в ее власти!

Евгения Андреевна растерянно поглядела на него и отвела взгляд: боится матери или не хочет ей перечить при жене? Может быть, уйти ей к себе, пусть спорит с матерью наедине, пусть докажет ей!..

Старуха еще долго отчитывала молодых и потом пошла жаловаться Николаю Алексеевичу:

— Наследник Алексей, сын Петра, передавали, таким был, блаженным, а Петр как поступил с ним... Ты же сына без наставлений оставил. Ты что ему дал: лес, уголья, а характер?

Секунд-майор все чаще дремал в кресле, успокоенный старостью, и почти не внимал ее жалобам. Но сейчас он прикрикнул на старуху, несказанно удивив ее этим:

— Молчи! Дай детям жить, как хотят!

Больше она почти не заговаривала с ним о сыне и невестке, немного подобрела к ней, когда Евгения Андреевна родила сына. Были у Евгении Андреевны де-

вочки-погодки, но девочек старуха не баловала и редко присылала им со своей половины какой-либо гостинец.

Мальчик вскоре заболел. Вызванный из Ельни доктор, боясь Феклы Александровны, тайно уехал к себе, открыв Ивану Николаевичу, что младенца не вылечить. Что за хворь напала — не пояснил, сказал: простуда. Он умер.

В доме стало тихо на долгие месяцы. Изредка сядет Евгения Андреевна за старенький клавесин и вечером в полусумраке под треск оплывающих свечей сыграет Моцарта. Иван Николаевич тут же, притулившись к ломберному столику, проверяет какие-то счета или читает помещичий листок, издаваемый в Смоленске, входя в заботы губернии.

Но на следующий год в мае Евгения Андреевна родила второго сына. Священник нарек ребенка Михайлом, и, едва оправилась она от родов, бабушка изъявила свою непреклонную волю:

— Сына беру к себе! Не уберегли первого, не убежете Мишу, пеняйте на себя. Не могу вам внука доверить.

И унесла его наверх, где уже суетились сенные девушки и стояла, как напоказ, дородная кормилица в бусах, в кокошнике, в расписном полотняном платье.

Евгения Андреевна пробовала было возражать, плакала, жаловалась на Феклу Александровну мужу.

Иван Николаевич рассудил:

— Спорить с матерью трудно. И, знаешь, в ее руках надежнее, — а ведь Миша никуда не уйдет от нас, никуда...

Он не понимал обиды Евгении Андреевны и томительного желания ее самой пестовать сына.

Мальчика не выпускали лет пять из бабушкиной половины. Однажды, переваливаясь, выбрался он в нижний зал, мягко скатившись с лестницы и не почувствовав боли в пышной своей шубке. И тут в зале, рассказывали, увидел он сестренку свою, Полю. Девочка играла на паркете с куклой, и ему представилось, что мать ее, должно быть, повариха или его няня... Он подошел к ней и спросил:

— Ты чья, нянина?

— Маменькина, — ответила девочка, — а ты?

— Я бабушкин.

Она обрадовалась и допытывалась:

— Ты, Миша, братец наш... всегда болен, и потому тебе нельзя к нам выходить?

— Я не болен! — сказал он недовольно, и опять повторил: — Ты чья?

Она обиделась и молчала.

— Пойдем ко мне, — попросил Миша, смутно чувствуя ее обиду.

Он не слышал ее ответа, потому что был тут же поднят на руки няней, заметившей его исчезновение, и водворен в свою комнату. Так передавали после об этом. Немного позже ему рассказали о его сестрах, об умершем брате, о том, почему ему нельзя быть с ними...

И с малых лет внушили ему сознание своей болезненности, какой-то обреченности без конца простужаться и болеть.

В это время умер дед. Мальчику, которому редко доводилось видеть его, запомнились больше всего похороны: узкий, пахнувший сосной и ладаном гроб на плечах мужиков, дедушкины ордена и сабли в руках у кого-то из родственников, строгое лицо бабушки, разом осунувшейся за ночь, присмиревшие сенные девушки... Был декабрь. Приближалось рождество Христово.

Плыл над лесами, гулко отдаваясь в завьюженных опустелых полях, одинокий надрывный благовест.

5

Наконец затворничество кончилось. Сколько есть новооткрытых прелестей в доме! Как хорошо поют девушки за прялками в людских комнатах, жаль, что не пускает туда бабушка... Особенно грустно и хорошо поет «спальная покоевка» Настя, и лицо ее при этом такое страдальчески счастливое, иначе не скажешь, — так замечал он несколько лет спустя и так смутно чувствовал, тревожась за певунью, в свои семь лет. «Навзрыд плачет — навзрыд поет Настя, голосом уносится в небеса», — пробовал рассказать он впоследствии о ее пенье, о том, как светло и горестно поведет она, бывало,

синими глазами, тряхнет косами и выводит чистым и буйным своим голосом:

Скучно, матушка, весною жить одной,
Скучно повечер ходить мне за водой.

И что в Настином голосе пленяет? Разве можно рассказать? Кажется только, что вот она, незаметная и неграмотная девушка, а все знает, все чувствует, — есть такая широта души в человеке, выливающаяся в песне.

От Настинного пенья щемило в сердце; молитвенно-влюбленно слушал Миша девушку, приткнувшись в темном углу людской, возле громадной иконы с образом святого Меркурия Смоленского, того самого, железные сандалии и шлем которого хранятся, он слышал, в Смоленском соборе.

А как хорошо в лесу, когда в закатном блеске розовеет чаща, медью отливают стволы сосен, уходящие своими вершинами ввысь, и лес стоит, как глухая стена, и кажется, нет за ним никакой другой жизни. Отсюда, от лесной опушки, — глубже проникать в лес бабушка запрещала, — Миша выходил к Десне. Река, оправленная в берега, как зеркало в серебряную чернь, светилась перед ним на закате. Было начало осени, темная холодная рябь пробегала по реке, и сизый дым стлался на берегу. Подойдя ближе, Миша остро ощутил приход осени, но издали река играла и светилась совсем полетному.

Он очень рано начал отмечать перемены в природе, с ревнивой бдительностью следил за ними и запоминал все оттенки красок. Неустанно наблюдал он за одним из садовников, Сергеем Брокиным, старым солдатом. Любопытство вело его за стариком в сад, и там не раз, в грозу, осенью, видел он, как яблоневые ливни побивали старика и садовник смешно метался под яблонями, желая сохранить господское добро — собрать скорее в корзины упавшие яблоки. А весной он же сидел под яблонями и следил, как потрескивают и лопаются почки. Без тени насмешки звали старика в поместье Глинок «яблоневый мужик».

Миша возвращался домой и спрашивал мать, чуть смущенно и как бы невзначай:

— А про грозу есть песни?

- Поют! — тихо отвечала Евгения Андреевна.
Ей было невдомек, какое чувство тревожит мальчика.
— А про сады?
— Ну конечно и про сады.
— А ты спой или сыграй.

Евгения Андреевна подходила к клавесину и играла что-нибудь по нотам Моцарта. На поднятой крышке клавесина была изображена какая-то томная дама, играющая на клавесине, и возле нее под ангелочка — белокурый пухлый ребенок.

Миша молчал, явно недовольный. Он так любил игру матери, но сегодня чего-то в ней не хватало... Он зрительно представлял себе грозу, сад, старика садовника и теперь в музыке хотел услышать то же... Странная, казалось бы, потребность найти некие общие качества в цветах и в звуках. Рисовал на бумаге и тут же по-своему уже создавал себе мелодию виденного, музыкальную картину с натуры. Все это осталось в его памяти, подобно тому как у человека, следящего за полетом птицы, остается ощущение полета.

Он зачастил ходить в деревню, стал тихо, словно подкрадываясь, появляться на посиделках, в часы, выпрошенные у няньки перед сном. «Барчонка» пристраивали между собой в самой середке, на скамье возле избы. Он знал уже песни, которые поются в народе, и как поют песню, а главное, как зарождается песня... Позже он понял, сколь метко и правильно говорят в народе о певцах:

Первую песенку зардевшись поют,
Вторую песню на плечах несут,
А с третьей уже налегке идут.

При нем и впервые пели, робко и действительно зардевшись лицом, и натужно, надрывая голос, словно на плечах несли песню, и легко, привычно, радостно... С малых лет Миша почувствовал, с каким торжеством и ответственностью берутся за песню, сколь дорожат ею.

Настя скоро вышла замуж и выбыла из «спальных покоев», из круга людей, приближенных к бабушке Фекле Александровне.

Бабушка сказала как-то, что Настя глупая, и Миша остро встревожился за нее: разве красивая может быть

глупой, да еще с таким голосом? Он долго не соглашался с этим, не споря с бабушкой, но обиженный ею. Ему на долгие годы запомнился волнующе-чистый голос Насти, мягкий округлый жест, каким она перекидывала русые свои косы, и даже шорох ее платья, в котором она сидела среди сенных девушек за прялкой. Однажды он застал ее в кладовой наказанной: она стояла на коленях на мешке с гречей, стояла долго, всю ночь. Тихо и как бы жалеючи его, улыбнулась ему. Он пошел к бабушке и расплакался.

— Чего ты? — спросила Фекла Александровна.

— Отпусти Настю, — сказал он сквозь слезы.

— Она просила тебя об этом? — насторожилась бабушка.

— Нет, нет! Она ни о чем не просила. Я хочу, чтобы ты простила ее.

— Она утащила для мужа клубок шерсти на чулки! — сказала бабушка. — Она воровка, ты не должен любить таких.

— Ах, бабушка, как она поет! — ответил мальчик, не вникая в то, что рассердило Феклу Александровну. — Клубок шерсти к тому же — такая безделка, разве можно наказывать за такую кражу?

Он продолжал просить за Настю, и бабушка отпустила ее, сказав ей:

— Будешь приходить ко мне наверх, к внуку, петь ему. Только смотри у меня!

Что смотреть, зачем смотреть — было непонятно.

Миша принес к себе в комнату тазы, кувшины, медные ступки и бил в них, пробуя воссоздать полюбившиеся ему звуки колоколов, церковного благовеста.

За этим занятием застала его Настя. Она покосилась на мальчика и с безразличным видом сказала, глядя куда-то в угол:

— Барыня велела мне петь!..

— Нет, не надо! — ответил он тут же, капризно поморщившись. — Ты иди, Настя, иди...

И как взрослый прибавил, не без важности:

— Я тебя не неволю.

Настя помялась у дверей, вздохнула и села на пол. Ей было неудобно уходить, как бы послушаться барыню,

и еще того неудобнее начинать петь... И тянуло к дреме после бессонной ночи, проведенной в чулане.

Чуть качнувшись и покусывая кончик передника, поднесенного в смущении к лицу, она шепнула вялыми губами:

— Может, сказочку прикажете? Может, рассказать что?...

— Сказал — и уходи, — повторил мальчик непримиримо. Но, заметив смущенный вид Насти, снисходительно спросил: — А что ты знаешь о Сусанине, который в нашей деревне жил, когда-нибудь о нем слышала?

— О Петре Сергеевиче? — удивилась она. — Он песни складывал, и как хорошо!

Лицо у нее засветилось при воспоминании о нем и ожило. Она поглядела на Мишу расширившимися ясными глазами и потупилась, усомнившись вдруг в том, сумеет ли она рассказать мальчику о старике.

— Это дело, как бы сказать тебе... не господское, не барское, а наше... И грех о старике Петре впустую судачить, — строго произнесла Настя. — Лучше я тебе о Бове-королевиче...

— Нет! — перебил ее мальчик, со странным и, как показалось ей, злым упорством. — О Бове без тебя знаю, — о старике Петре! И впустую не говори, а то велю тебе к бабушке идти, и опять будешь...

Он не договорил, пожалев ее. Она догадалась: «Опять будешь наказана», — хотел он сказать. И поняла, что он просил за нее бабушку, что он ждал ее прихода, ее песен и теперь не из забавы выпрашивает о Сусанине...

— Милый ты наш, дорогой ты наш! — растроганным и приплакивающим голосом начала она, радостно глядя на мальчика. — И как это у господ нынче дитя такое уродилось, и все-то тебя до песен и до горя нашего тянет! Ведь горя в тех песнях старика Петра не счесть, и не думал, не гадал он, что ты его горе вспомнишь! Что ж, отведу тебя к внукам его, отведу и скажу, чтобы не таили от тебя своих песен. А тебе нынче одну его песню спою, по памяти — жаль, поправить некому...

Она спела ему то, что он уже слышал в деревне, но мальчик не признался в этом и, дослушав песню до конца, сказал, пугая ее своей серьезностью:

— А теперь иди!

И опять принялся бить в медные тазы и ступки, а потом долго сидел, углубленный в мысли, о которых не сумел бы рассказать взрослым, и удивил Полю, пришедшую к нему в комнату, тем, что тут же сказал ей просительно:

— Ты поиграй, Полюшка, поиграй у себя, не мешай мне...

И она, чуть не заплавав, убежала, не понимая, что с ним и чем она помешала ему.

А утром, когда поднялась к нему Настя, он был уже одет, причесан и быстро сказал ей:

— Ну, идем.

— Куда? — не поняла она.

И мальчик, удивившись ее забывчивости, произнес:

— Как куда? Ты же хотела меня отвести к внукам старика Петра...

Девушка смутилась, — вчерашний день был ей загадочен, но, овладев собой, ответила:

— Не рассердилась бы на нас матушка Фекла Александровна... Пойдем, милый, задами и не торопясь, гуляючи. Так оно удобнее!

Он шел с детской важностью, отнюдь не желая от кого-то прятаться, и опять следил за тем, как менялось доброе ее лицо, становясь все более грустным и открытым по мере того, как они приближались к деревне. Стояло июньское утро, парное и теплое после ночного дождя. Он был в толстом суконном пальто — маленький, тихий увалень, не посмевший выйти из дому налегке, и до чего же иной, статной и красивой, казалась ему сейчас Настя в одном полотняном платье, перехваченном бечевкой, босая, с колеблющейся сильной грудью. По кочкам ступала она, как по паркету, и казалось невесомым литое ее тело. Девушка привела его в избу Петра Сергеевича, и хотя многие годы прошли со дня его смерти, по тому, как заговорили здесь о старике его родственники, можно было подумать, что живет он с ними здесь и сейчас, только вышел в лес набрать хворосту. Позже Миша вспоминал, с каким спокойным достоинством, ничем не выразив своего удивления, отнеслись здесь к его приходу, как бережно и в то же время равнодушно повесили его пальто на деревянный крюк, в

сенях, где летом и зимой висел принадлежавший уже всем тулуп дяди Петра, и деловито позвали старшую его племянницу, пожилую, удивительно маленькую ростом женщину, спеть что-нибудь сочиненное стариком.

Она села напротив Миши и запела о том, как Сусанин впервые встретил в своей деревне ляхов. Наверное, она не переменила бы тона, если бы пришлось ей петь и о более ранних событиях, ее не томило ни время, ни пространство, и верность музыкальной памяти была сейчас верностью ему — Петру Сергеевичу. Мальчик узнавал из песни о том, что крепостной человек думал о ляхах, о Москве, о крестьянской жизни, и крепостной был в этом доме князем, властителем, — всем, может быть, и самим дядей Петром. Подобного Миша никогда не услышал бы у себя дома.

Потом подали барчонку его пальто, сунули в руку ему лепешку из гречишной муки, и Настя, очень довольная им и песней, повела его домой с чувством своего возросшего над ним превосходства и вместе с тем тайной близости. Дома на лестнице она шепнула ему:

— Петь многие у нас умеют. Только позовите... И когда-нибудь возьмите с собой в Шмаково.

Он начал звать к себе многих. В людской, бывало, раздавалась звонкая команда мальчика-служки, посыльного: «Прасковья, иди молодому барину петь». И одна из служанок, помощница стряпухи, неторопливо вытерев о фартук руки, охотно шла наверх. К пенью в этом доме относились слуги так же, как к занятию грамотой или языками, но занятию, всем понятному и важному не только для господ.

Пела ему и няня Авдотья Ивановна, пела тягуче и уныло, придерживаясь песенного обычая, заведенного исстари. И лицо ее при этом, серое, разграфленное морщинами, становилось особенно понурым и безжизненным. С годами он все более охладевал к ее пенью и предпочитал слушать Настю.

Праздником была для него поездка в Шмаково, к дядюшке. Не раз зимой провожала его туда на санях сестра Насти, еще подросток, но державшая себя по отношению к нему с важной и несколько смешной заботливостью, открыто гордясь тем, что ей вместе с кучером доверено опекать «барское дитя».

В Шмакове ждали его все новые музыкальные утехы, в которых надо было разобраться... Мишу здесь часто встречали мощные раскаты тяжелых немецких вальсов. Вскоре он и сам иногда «подыгрывал» в дядюшкином оркестре, очень тонко схватывал мелодию, но беда была в том, что мелодии как раз и не хватало... Мелодия терялась, мешала ей неслаженность исполнителей...

Миша не осуждал музыкантов и не сумел бы сказать дядюшке, чем оставался недоволен. Зато он был безмерно счастлив, когда мелодия надолго воцарялась в исполнении какой-либо неведомой ему музыкальной пьесы — пьесами дядюшка глубокомысленно называл все нотные партитуры, — заполняя собой зал, музыка обретала крылья и как бы поднимала ввысь всех оркестрантов и самого дядюшку...

В общем, в Шмакове было ему хорошо.

Однажды он признался дядюшке в своих... вкусах, попробовав по-своему определить, чем хорош Гайдн.

— Он не шатается, и когда бежит, то никого не догоняет, но бежит быстро!.. Ну, в нем нет суеты!

Афанасий Андреевич удивлялся его и отвлеченной и наивной мысли. Впрочем, мальчик изумлял дядюшку не раз находчивостью выражений. Проглотив мятную конфету, он как-то сказал: «Как будто сквознячок во рту!»

— Ты очень рано прозрел, — говорил дядюшка. — Ты, кажется, начинаешь разбираться в музыке!

В год Мишиного «музыкального прозрения» умерла бабушка, умерла так же сурово и просто, как жила, не преминув и в последние свои дни поругать сына Ивана за мягкосердие и лень. Лежала она у себя, слабея с каждым днем, с трудом приподымаясь на кровати, но открылась в этом только ельнинскому доктору, тому, кто не сумел вылечить первого ее внука, строго наказав ему никого не пугать:

— Ты, батюшка, сам знаешь, от смерти никуда не денешься, а других томить жалобами своими грешно и глупо. Умирать бы сразу надо человеку, если уж вышел ему срок, но пока жива, ты уж не порти мне жизнь — не пугай моих... Скажи им, что выздоравливаю. Ужо скоро опять к ним выйду.

И многие в доме ждали ее выхода, верили в то, что

придется еще увидеть им во дворе или на пашне расторопную и строгую новоспасскую хозяйку.

Ее смерть встревожила тем, что без нее некому, казалось, держать в доме издавна установленный порядок. Соседи по имению даже корыстно обеспокоились: не продадут ли Глинки часть своих земель, не иссякнут ли их силы? ..

И тут, к удовольствию Афанасия Андреевича, удивил всех молодой Иван Николаевич. Вскоре после смерти матери выехал он в Ельню, оттуда в Смоленск, сговорился с какими-то людьми о поставках казне хлеба, кож, овса, завел связи с купцами, вошел во вкус торговли, стал сведущим в том, где какие цены на рынках, и вернулся в имение, преисполненный самых радужных надежд на будущее свое благосостояние.

Прошел год, и отставной капитан прослыл в Ельнинском уезде «самым удачливым негоциантом из помещиков». Он двинул в ход лесную промышленность, получив откуда-то заказы на поставку бревен и досок, он хлопотал о постройке в Ельне какой-то «крупорушки» и только теперь, после смерти матери, обрел настоящие способности к хозяйству, способности, может быть, невольно подавленные ею. У него завелись деньги, притом в тех суммах, которые раньше казались ему немыслимыми, и он немедленно решил заново обстраивать Новоспасское. Он снес все пристройки к дому, выпяченные полукругом, переселив жену с детьми на время в деревню, и построил большой особняк с колоннами, не уступавший по размерам своим شماковскому. Не забыл он и о новых колоколах для новоспасской церкви, и о том, чтобы придать сельскому своему поместью вид столичных окрестностей, под Царское Село, разбить парк с широкими аллеями, посыпанными красным песком, газоны, площадки для игр с гипсовыми статуями в середине. Одну из них он засадил розами, украсил статуей Амура и назвал «Амуров лужок». На Десне перед домом возвел каменистый небольшой островок с беседкой — «Остров муз».

На глазах у Миши был привезен в село громадный колокол, издали похожий на бычью тушу. Волокли его цугом на дрогах, и была на нем выбита надпись: «К промыслу божию ктитор капитан Иван Глинка отлил сей

колокол в село Новоспасское, вес в нем 106 пудов, заводчик Алексей Шервинин. Вязьма».

Лишь года два спустя Миша понял всю значительность этого события — привоза колокола и водворения его в новоспасскую звонницу — и оценил по достоинству перемену, происшедшую с привозом колокола во всем их уезде...

Теперь во всех ближних селах звонили по Новоспасскому, а в тихие летние дни благовест новоспасской церкви был слышен особенно далеко.

Среди «колокольных распевов» были широко известны в те времена владимирский, смоленский и тихвинский, каждый из них родил свой отзвук и таил в себе подлинное богатство музыкальных тонов. Колокольным звоном ведали в селе «музыкальные умельцы» — старики, никогда не путавшиеся в «распевах», хотя и не знавшие, какой из колоколов при тихом ударе звучит, как ре-бемоль, и когда слышится в звоне минорная терция, — премудрость, которую скоро постиг Миша с помощью дьячка.

Впрочем, в восемь лет он бы и сам мог повторить мелодии колоколов и деревенских песен, с полным правом сказав несколько позже: «Музыка — душа моя». Только странно: чем дольше прислушивался он к колокольному звону, тем яснее ощущал он его неполноту, словно пели колокола о чьей-то песенной невысказанности, о своем песенном плене...

Чистый лад колоколов, полнота всего, что звучало для него музыкой, будь то крики журавлей в ясном весеннем небе или песня косарей в опустевшем, убранном поле, живо будили в нем желание запечатлеть и передать осязаемо ясно эти потайные, сокровенные мелодии, столь близкие к самому настроению его души. И он мучился бессилием своим охватить и выразить все это песенное богатство, тянущееся к нему и пока еще недоступное, сидел подолгу за клавесином, подбирая звуки, стучал по-прежнему в медные ступки и тазы, ловя мерные отзвуки ударов, и вновь обращался к песне, шел к няне Авдотье Ивановне, или в детскую, или звал к себе Настю.

СМОЛЕНСКАЯ ПРАВДА



Не русские журналы пробудили
к новой жизни русскую нацию, ее
пробудили славные опасности
1812 года.

Чернышевский

1

Каретник Векшин на шестом десятке своей жизни задался целью постигнуть грамоту и замучил новопасского дьячка расспросами о том, какие и о чем написаны на свете книги. Человек отважный, обошедший с Суворовым Европу, он вернулся с войны необычайно покладистым с виду и вместе с тем самоуглубленным. Каретное дело он считал превыше всего, а карету условием просвещения, ибо без кареты, как говорил он, и наука не движется. . .

О Суворове он рассказывать не смел. Суворов был, по его представлению, прямым укором господам, хотя и вез он Пугачева в клетке по указу царицы, и . . . Суворов не сошелся бы никогда характером с ельнинскими и смоленскими помещиками. А вот о каретах поговорить Векшин любил. И оказывалось, по его словам, что самая незамысловатая, но прочная карета была у Бонапарта. . .

— И не к добру это, — тут же оговаривался Век-

шин. — Бонапарту потому такая карета нужна, что задумал он на ней все страны объехать и подчинить своей власти.

— А как же Россию? — спрашивали Векшина крестьяне.

Он приумолкал и, как бы прислушиваясь к собственному голосу, отвечал тихо и медленно:

— Об этом генералиссимус давно своим генералам, а через них и солдатам, передал: Бонапарт всегда на Россию зарится, без России нет ему власти на свете, но только поломается и завязнет его карета в наших губерниях, может, и у нас, в Ельне.

— В Ельне! Не иначе, как в нашей губернии застрянет, — смеялись мужики. — Ему-то, Бонапарту, прямой путь на Москву мимо нас, ну и конечно здесь карете его остановка. Кто его дальше пустит? Не кому другому, как Векшину, его карету чинить!

— Смех смехом, братцы, а французы, верно сказывают, наступают на нас! — обрывал их «яблоневого мужик».

— Господам было бы известно! — успокоительно отвечали ему. — И не бывает, чтобы так зачалось сразу. Сперва, как водится, один царь другому войну объявит, а потом уж в поход.

Садовник не успокаивался. Потупившись, он твердил, ни на кого не глядя:

— Французы идут на нас, больше некому...

— Да ты пугать, что ли, задумал, Корней, — удивлялись мужики, — или что слышал?

— Наслышан я, что дым над лесами с Немана стелется, люди с тех мест бегут, а воронья — тучи летят, поля застилают. О том брат писал, его слова...

— Может, учения проводятся. Полки напоказ вывели, и то бывает, когда силой грозятся друг другу, — спокойно заметил Векшин. — Барин не беспокоится — чего нам!

— А ты знаешь, что барин думает? — ворчливо спросил его «яблоневого мужик». — Я вот сорок лет в саду, около их дома, а господских дум не пойму. Феклу Александровну, покойницу, ту знал и боялся, господские ее думы проще были, все о доме да о поместье, а молодые господа мудренее.

— Было бы что — перво-наперво карету б себе заказали! О карете бы спросили, — рассудил Векшин.

С ним согласились: раз господу каретой не интересуются, значит, невдомек им, и до войны далеко! Зря люди о войне слухи пускают. Бонапарт еще небось полки свои во Франции считает да генералов учит умудуму.

Разговор происходил на лужайке, возле каретной, стоявшей в отдалении от барского дома. Черные оглобли вместительного старого рыдвана, схваченные по концам кож, выпирали из приоткрытых ворот. Каретная возвышалась как каланча, на крыше ее громоздились бадейки и ведра. Ромашковая белая лужайка вела отсюда к низеньким, недавно отстроенным конюшням. Каретная была выше их, и не мудрено: сама карета, предмет неусыпной заботы и гордости Векшина, представляла собой без малого избу. Были и другие кареты, меньше, в одной из них похищала некогда Фекла Александровна невестку из Шмакова.

Мужики охотнее всего собирались здесь, около каретной. Может быть, потому, что вид барских карет и разного рода дорожных ремней да подсумков подстрекал их воображение, внушал смутную тревогу о неведомых путях, о городах и селах за Новоспасским. Но вероятнее, привлекал их сюда сам Векшин, бывалый солдат, неожиданно осиливший к старости грамоту.

О том, что каретник стал грамотеем, толковали, как о его жизненном подвиге. Полвека жил без грамоты и воевал неграмотным, и вдруг осенило человека! Другие перед смертью в монастыри отпрашиваются, об успокоении духа твердят, наученные попами, а он к старости не постеснялся и дьячка совратил разговорами, ходил к нему день за днем, пока азбуку не выучил. И теперь точно десятка два лет с себя скинул. Ай да Векшин-каретник! Нет Феклы Александровны, она бы призадумалась над случившимся: не из-под ее ли власти ускользает старик?

О войне потолковали и разошлись, а через неделю неистово забили колокола над глухими ельнинскими лесами. Малые церквушки в лесах и дальние соборы надрывались в «едином колокольном плаче», — как поведствовал в те дни некий наблюдатель со страниц

«Губернских ведомостей». Колокола били неустанно, ночью и днем, и звонари с высоты колоколен следили за тем, как собирается народ на площадях и как по дорогам, запруженным возками и каретами, летят стремглав, не жалея коней, фельдъегеря от поместья к поместью.

И о войне прошла весть всюду. Стало известно, что армии Бонапарта давно уже пересекли границы России, но лишь теперь Бонапарт объявил русским войну. С юга и с севера собирались разноплеменные многоязычные его корпуса, с Северного моря и с Дуная шли они к Неману через покоренные Наполеоном государства.

— Татарва на Русь движется! — говорили старики в деревнях, провожая рекрутов. На площадях читали царский манифест «Ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским», миновавший в адресе своем лишь крестьян и ремесленников, крепостных людей, тех, кто вставал стеной против врага.

И тогда вызвал Иван Николаевич Векшина, сказал ему, наказав готовить карету:

— Тебя с собой возьму. Таких мастеров и верных людей, как ты, нельзя оставлять дома. В Орел собирайся с нами.

— Дозвольте дома остаться! — произнес, вздохнув, старик. — Читал я, что генерал Лесли и сыновья готовятся биться с Бонапартом и зовут к себе крестьян в ополчение. . . Солдат я, как уйду с боя? . .

Отставному капитану неудобно стало перед своим каретником. Как же он, Иван Николаевич, дворянин, офицер, покидает землю свою, оставляет крестьян, не идет ни в армию, ни в ополчение?

Как бы оправдываясь, он счел нужным ему сказать:

— Я с детьми и с барыней, по воле губернатора, непременно должен уехать. Лесли — он много дал людей в ополчение, и я велел управителю добровольцев вызвать и немало денег на ополчение пожертвовал. Хочешь — оставайся, не неволю. Даст бог, отстоит армия русскую землю, не пустит сюда французов, — вернусь сразу же.

Говорил, но не мог заглушить чувства своей виноватости перед стариком, перед дворовыми, подумал: «Мать бы иначе рассудила, а впрочем, почти все помещики уезжают! . .»

— Книжки, барин, из вашей библиотеки не прикажете ли сберечь мне, может, зарыть их в кирпичный погреб под домом, не пропали бы без вас?

«Твоя ли забота это, о книжках?» — хотел было возразить ему Иван Николаевич. Все больше удивлял его каретник, но сдержался, тихо ответил:

— О том управителю распоряжение уже дал. Иди, Векшин, готовь карету на дорогу. До Орла велик путь, смотри, чтоб не поломалось что-нибудь дорогой, чинить будет негде, а кучера, сам знаешь, только за лошадьми смотрят, каретника не заменят.

Весь день на глазах у дворовых смазывал да проверял на скрип Векшин громоздкую, но прочную карету, с кузовом, поставленным на металлические «жерди», смягчающие толчки, с большими фонарями у кучерского сиденья.

И хотя тревогой и запустением веяло сейчас от барского особняка и парка с красными дорожками, Векшин и дворовые глядели на карету с некоторым утешением. . . Великое дело — ясность. Дошел черед до кареты — стало быть, все подытожено, определено, чему быть! Прав был садовник, толкуя о Бонапарте! Куда тяжелее, когда не знаешь, чего ждать и чему верить. Недаром и у господ пьеса есть, называется «Карета». «Спасительницей на колесах» кто-то назвал карету. Быть войне и скрываться крестьянам в лесах на случай, если подойдут французы. Но не владеть французам Русью.

Няньки собирают в дорогу барчука, птицы выпущены им из клеток, игрушки отложены в кучу, а сам он недоуменно и внимательно следит за приготовлениями к отъезду и тоже направляется к карете, к Векшину.

У Векшина для всех находится в этот день бодрое, вразумительное слово. Внимателен он и к барчуку. Говорит ему, возясь с какими-то постройками:

— Ко всем странствиям готова карета. Не извольте бояться, Михаил Иванович. Как вы, позволю спросить, начитаны о путешествиях?

И оказывается, многие книги, лежащие в комнате у Миши, среди них излюбленная его «История о странствиях вообще, по краям земного круга, сочинения господина Прево», известны старику.

— Что нашлось у дядька, то и читал я! — с тем же

оттенком виноватости пояснил Векшин. — Но жизненные странствия мои до того еще начались, как получил я эти книги, а теперь и вам, Михаил Иванович, предстоит...

«Михаил Иванович» стоял грустный и в растерянности рыл концом башмака землю.

— Не по-книжному война пойдет, не по-расписанному, прямо скажу, Михаил Иванович, — все так же, как к взрослому, обращался к нему каретник и этим немало располагал к себе мальчика. — Но было ли видано, чтобы кто-нибудь русской землей владел?..

Мальчик осторожно допытывался у Векшина о том, о чем не мог спросить ни отца, ни кого-либо в доме:

— А почему, Корней, война? Разве иначе, без войны, нельзя?

И книжник Векшин, как умел, с полным уважением к своему собеседнику толковал, почему не обойтись без войны.

— Я полагаю, Михаил Иванович, что цари иначе не могут... Знаю я, что Суворов, на что славнейший генералиссимус наш, и тот больше всего не любил войн. И говорил он, что, если бы не был генералиссимусом, то стал бы...

— Кем же?

— Писателем, Михаил Иванович, — слышал я так от офицеров.

— А может быть, музыкантом? — серьезно спросил Миша.

— Может быть, Михаил Иванович, — согласился старик. — В народе говорили, Суворов больше всех народ любит, и мир, и песни, ну и книги, а всю жизнь — воевал!

Вот ведь какой Векшин! Миша ушел от старика и ревниво думал: почему каретник больше обо всем этом знает, чем отец или дядюшка Афанасий Андреевич? И почему не пригласят они к себе Векшина поговорить?.. Будто Векшин-каретник не стоит того! А может быть, он такой же, как старик тот, из Сусаниных, сочинявший песни?.. Скажут о Векшине: «У них, у дворовых, своя жизнь, Мишель». А не странно ли, что у них своя жизнь? Нет, надо обязательно рассказать маме о Векшине!

Но через день новоспасские Глиники уже ехали по запруженной повозками дороге. Чутко ловя напоследок отдаленный звон новоспасских колоколов, прижавшись острыми коленками к обитой кожей стенке кареты и упираясь лбом в желтую слюду окна, Миша в острой, захватывающей все его существо тревоге наблюдал теперь за великим передвижением людей. Мимо кареты проходили ополченцы с вилами и лопатами, пахнущими землей и сеном. Шли они мерно, словно на работу, и Мише очень хотелось, чтобы они чем-нибудь да выдали, куда идут!.. Шагали, разметывая грязь, гвардейцы в киверах и темно-синих шинелях, усатые, рослые, все на одно лицо, как показалось мальчику. Неслись фуражиры на «гитарах» — плоских длинных дрожках, трубачи на конях, курьеры! Кого только не было на дороге! Мальчику представилось, что где-то здесь обязательно должен находиться и такой человек, как Векшин. Может быть, вот он, справа, среди тех, кто, остановившись, подбивает подкову лошади, а может быть, среди гвардейцев?.. С Векшиным теперь надолго вошло в сознание мальчика представление о порядке и спокойствии в стране, и где, как не здесь, на дороге, больше всего хотелось верить в порядок, в то, что все идут и едут по своему верному назначению и скоро вернутся домой.

Иван Николаевич дремал после бессонной, проведенной в хлопотах ночи, уткнувшись лицом в высокий стоячий воротник форменного своего мундира, надетого для того, чтобы возбуждать к себе большее почтение, а Евгения Андреевна, окруженная детьми, кошелками и узлами, уставилась невидящими глазами куда-то вдаль и машинальными движениями бледных рук кормила детей пряниками.

2

Орел — город с домами, похожими на лабазы, весь в ухабах, в рытвинах и в густых спокойных садах, которые раскинулись на окраинах, словно крылья, поднимая его ввысь, отгоняя дурной запах чада, доносящийся с постоялых дворов, с дорог, заполненных беженцами. Таким представился мальчику этот старый губернский город.

— Маменька, почему он называется «Орел»? — спрашивал мальчик.

И Евгения Андреевна нехотя рассказывала все, что знала о городе, прибавляя:

— Недолго нам жить здесь, недолго, потерпи, Миша.

Выходило по ее рассказу, что город этот, собственно, и совсем «не тот» Орел, который получил свое название от речки, еще в войне с татарами, бывший пограничным, горел и отстроился на другом месте при Дмитрие.

Ей было неприятно здесь, и казалось, что сыну также тяжело. Они жили в разбухшем от сырости, похожем на каравай, длинном и нескладном доме на самом берегу небольшой болотистой речки. Иван Николаевич проводил время в «Дворянском доме», в клубе Дворянского собрания, занятого под жилье, туда приходили вести из Москвы и наезжали случаем курьеры, а Евгения Андреевна жила чаще всего без него, с детьми и слугами. Дом, предоставленный ей, принадлежал дальнему родственнику Глинок, — местному купцу, разбогатевшему на подрядах. Купец и сейчас доставлял армии какие-то кожи для седел и сапог и уезжал недолго из дома на черном, страшном рысаке с выпученными глазами. Семья его всячески старалась украсить время смоленской гостии, зазывала в дом гадалок и даже приглашала цыганский хор, но вскоре отказалась от всего, возмнив в обиду, что Евгения Андреевна грустна и одинока от дворянской гордыни своей и не чета она им, простым, малообразованным людям.

Евгения Андреевна же только довольна была своим одиночеством, читала французские книги и ждала, тяжело ждала возвращения домой, тоненькая и хрупкая, как девочка, забиваясь куда-нибудь в угол сырого и холодного дома, и все назойливые заботы родни обращались теперь на Мишу.

Кто только не трепал по голове его, не усаживал на колени и не предлагал ему длинных орловских леденцов, яблоч и медовых пряников!..

Всего этого уже мало осталось в городе, и тем более дороги были эти купеческие угощения. Дочери и сыновья купца попеременно читали ему сказки, как псал-

мы, и пели колыбельные песни над его кроватью, обычно оканчивавшиеся одним и тем же припевом:

И купец, не зная горя,
Потрясал мощной.

Они раскладывали перед ним ассигнации, как карты, желтые и синие, не раз виденные им у отца, звенели серебром и рассказывали об охотнорядцах в Москве, выкупивших у губернатора свободу для одного промотавшегося драгунского офицера. Во всех их рассказах и притчах звучало наивное и упорное желание вселить в мальчика зависть к купцам или хотя бы уважение к ним, отнять его от непонятного им мира книг и книжных домыслов. Мальчик засыпал в некотором смятении от их рассказов, беспомощно поглядывая на мать, на дебелих, раскидистых в плечах неожиданных своих нянек, а просыпался при утреннем перезвоне колоколов, гулко отдававшемся в комнате: в церквах вымаливали победу и спасение — французы уже входили в Москву.

Таким взбаламученным и пестрым остался в памяти год, проведенный в Орле.

А в Новоспасском в это время произошли события, украсившие стараниями местных летописцев страницы «Русского вестника». Ивану Николаевичу даже казалось потом, что все написанное в журнале о героизме его людей, единоборствовавших с Бонапартом, как-то поднимает и его фамильную честь. А написано впоследствии было следующее:

«...Когда Наполеон, враг мира и спокойствия, вторгся в пределы любезного нашего отечества; когда несметные полчища его спутников и единомышленников, грозивших повсеместным опустошением, расселялись в пределах смоленских, когда село Новоспасское, отстоявшее от города Ельни в двадцати верстах, подвержено было равной участи с прочими селениями Смоленской губернии, помещик и ктитор того села, капитан Глинка, обремененный многочисленным семейством, удалился по мере приближения неприятеля в другие губернии, поручив храм Преображения господня со всеми церковными утварями охранению и попечению священника Иоанна Стабовского.

Крестьяне, вразумляемые и одушевляемые его сове-

тами, общими силами нападали на отряды французов, устремлявшихся к грабежу и разорению».

Неприятельский отряд из семидесяти человек окружил церковь... В ней хранились запасы. Церковь обороняли крестьяне. Враги, тщетно силившиеся пробиться в железные двери церкви, отошли.

И далее следовало подробное описание подвигов новоспасских крестьян. Об этом же доносили Ивану Николаевичу сюда в письмах, сообщали о каретнике Векшине, дравшемся в отряде Дениса Давыдова, о «яблоневом мужике», заведшем однажды группу французов в лес к партизанам.

Письма эти читали при Мише вслух. И теперь вся многоголосая и доселе неведомая здешняя родня Глинок слушала, вздыхала и радовалась. А Миша торжествовал. Вот какие люди в Новоспасском, в Ельне, в Смоленщине! И разве может быть охота после этих рассказов слушать что-то об охотнорядцах... .

3

Рассказывали при Мише, будто смоляне первые создали отряды земского ополчения. Войска Бонапарта еще не вторглись в пределы Смоленщины, когда ополченцы уже выступили в поход. В разгар Бородинской битвы они подоспели к позициям русских войск и заменили санитаров, вынося с поля битвы раненых.

— Какая форма у русских санитаров, они ходят в черном? — спросил французский генерал своего адъютанта, наблюдая за боем.

— Это население помогает войскам, — ответил адъютант.

— А вот нам никто, кроме нас, не поможет на этой земле! — заметил генерал.

Вскоре Кутузовым была объявлена благодарность смоленскому ополчению.

Русские армии Барклая де Толли и Багратиона, отступая, сошлись в Смоленске. В обращении к губернатору Барклай призывал жителей помогать армии в ее отпоре врагу:

«Да присоединятся сии верные сыны России к вой-

скам нашим для защиты своей собственности. И, ваше превосходительство, примите немедленные нужные меры, дабы набранные вами ратники надлежащим порядком были к вам представлены. Сверх того, именем отечества просите обывателей всех близких к неприятелю мест вооруженной рукой нападать на уединенные части неприятельских войск, где оных увидят. Нашествие вероломных французов отражено будет Россиянами, равно как предки их в древние времена восторжествовали над самим Мамаем. . .»

Смоленск был похож на громадный военный лагерь. Не менее ста двадцати тысяч солдат разместилось в нем биваком. Крестьяне, пришедшие из Новоспасского копать рвы и укреплять городские стены, оказались не нужны городу. «Каменщикам и землекопам некуда, рассказывали они, взмахнуть руками, не задев другого, так много уже набралось людей».

Шестнадцатого августа, в день рождения Наполеона, французские маршалы штурмовали город. Кавалерия Мюрата первая бросилась в атаку. Пехота Нея шла за ней. Полки русских войск — Орловский, Ладожский и Нижегородский — трижды отбивали атаки французов. Наполеон посетил поле сражения и приказал открыть артиллерийский огонь по городу. Ночью город горел и боролся с огнем, к утру оказался окруженным с трех сторон французами. Польский корпус Понятовского готовился захватить город. Перед новым штурмом Наполеон сказал офицерам корпуса, воскрешая в их памяти времена, когда смоленские земли входили в Речь Посполитую:

— Поляки, этот город принадлежит вам!

Корпус погиб в схватках с драгунами у крепостных стен. Раненые поляки кричали проезжавшему на коне Наполеону:

— Ваше величество, город должен остаться польским!

Наполеон не слышал. Сквозь дым канонады, застилавший город, и орудийный гул было трудно что-нибудь разобрать. Стук барабанов тонул в грохоте орудий, и барабанщики сзывали солдат горящими головнями.

Говорили, будто молоховские ворота города были завалены трупами, и по трупам, как по настилу,

беспрерывно лезли французы. К вечеру сами ворота уже были не видны. Но город стоял за ними неприступный, весь в дыму горящих садов и церквей. Наполеон приказал бить из ста пятидесяти гаубиц и отъехал в сторону.

«В чудную августовскую ночь, — записал он в своем бюллетене, — Смоленск представлял французам зрелище, подобное тому, которое представлялось глазам жителей Неаполя во время извержения Везувия».

Тем временем русские армии по заранее принятому Кутузовым плану отступали в глубь страны, обходя дороги, занятые французами, и сохраняя главные свои силы. Из пятнадцати тысяч жителей Смоленска в нем осталось при занятии города Наполеоном не более тысячи человек. Упорная защита Смоленска войсками Барклая де Толли оттянула сюда армии Наполеона и дала возможность облегчить участь Ельни, Дорогобужа и других городов губернии, стоявших на пути у французов.

Этим самым село Новоспасское, по невольному стечению обстоятельств, сравнительно не скоро оказалось в полосе, захваченной французской армией. Фуражиры и квартиреры наведывались сюда редко и каждый раз, придя в село, не заставляли крестьян дома.

Пустым был большой помещичий дом со старым кладезем в зале, нежилыми казались и деревенские избы — ни детей, ни старух. Изредка провояет собака, где-то прокукарекает петух. Между тем печи еще хранили спокойную теплоту, полы были вымыты, и свежий след вел почти от каждой избы в лес или к церкви, на площадь.

Квартиреры, забредшие сюда, недоумевали...

Оказывается, крестьяне выставили звонаря дозорным на колокольню и звонарь предупреждал их о приходе французов мерными ударами колокола. Заслышав колокол, жители уходили в лес. Управитель сбежал, и крестьяне выбрали на сходе старостой и военачальником каретника Векшина.

Казалось бы, теперь, без господ, как не поживиться барским добром, не проникнуть в тайную жизнь Глинок, скрытую в оставленных на чердаках гудах книг, альбомов, семейных реликвий, не излить накопившуюся

обиду и злость на барина, не потешиться, живя в его доме. Векшин сказал:

— Не то время!

— Да придет ли оно, время? Что ты, Корней Филиппович, не ждешь ли, что пригласят нас самих пожить вместо бар? — роптали те, кто, устроившись на барских перинах, ждали удобного часа вскрыть кладовые.

— Не знаю, думаю, что придет... А пока... хотите, сам раздам... на душу, за что ответ не держать. Вот полотно, например: управляющий должен был нам отдать, а припрятал. Зачем оно господам, домотканое, а если и в запас — так обойдутся, не бархат...

— Скуп ты, Корней Филиппович... А если, вымолвить страшно, Бонапарт волю нам даст и упредит господ?.. Скажет: «Ныне я здесь царствую».

— Тогда другого старосту выберете. Я при французах не пригожусь. А что до воли — так хотя у Бонапарта и нет крепостных, зато иноземные ему крепостными станут, иначе — мы с вами!

Люди удивлялись уверенности его, с которой он говорил об этом, и еще больше тому, с какой жадностью, без сна и отдыха, дорвавшись до господской библиотеки, читал он сутки напролет и, бывало, спрашивал в изнеможении тех, кто навещал его:

— Ну где там... французы? Не прибрели еще? Я еще немного поразберусь тут... в людских мыслях и выйду...

Жена носила ему еду в библиотеку, как летом в поле, и, выходя, жаловалась встречавшим ее женщинам:

— Читает... Может, нужно это ему, чтобы француза встретить. Не рехнулся бы? Сколько сил кладет... И чего ищет в книгах?

День, когда Векшин наконец покинул библиотеку, запомнился мужикам по буйной метели, закрывшей все входы к барскому дому. По сугробам, прокладывая путь из нетопленного заброшенного флигеля, шел он с пачкой книг под тулупом, радостный и немного смущенный... Очень уж откровенна была сейчас его неуместная радость, но трудно было ее спрятать. Он повел мужиков к себе и при жене, довольной его приходом, читал о французах переложения из Корнеля, стремясь запомнить в адрес французских «господ» самое ядови-

тое и этим навсегда снять вопрос о возможном их превосходстве, о том, что принесет сюда Бонапарт. Но главное — Векшин так ловко, пользуясь больше слышанным, чем книгами, сумел изобразить французов в лицах, что как бы подготовил мужиков к их приходу.

Свободного времени стало много, барщина отошла, работа замерла. В избах шли беседы о том, что делать, когда придут французы, об ополчении. Напевали песенку, занесенную кем-то из Ельни:

И не та еще беда,
Что сбежали господа,
Но приходят фуражиры,
С ними синие мундиры.
Но мужик наш не простак,
Знает, надо встретить как. . .

В лесу вырыли глубокие ямы, обложили их тесом и свезли туда имущество, что поценнее, зерно и припасы. Коров и коней загнали в чащу, поручив их попечению пастухов, и кто не ушел в ополчение — напустил на себя придурковатость и немощность. Бабы стали вдруг ходить скособочась и прихрамывая. Утверждали после, что виной этому их поведению был не только Корнель, но и театр в Шмакове: якобы посвященные в игру деревенских актеров, в то, как следует в комедиях ломаться, пытались они одурачить нежданных пришельцев.

Трудно судить о том, удавалось ли это им, но тех фуражиров, от которых не успели вовремя скрыться, они ввели в явное замешательство и даже растерянность.

— Кто жил в этом доме? — спрашивал Настю молодой французский лейтенант, указывая на барский особняк.

Лейтенант хорошо говорил по-русски. Это и подкупало и настораживало.

— Генерал Глинка! — ответила Настя, не покраснев.

— Где он?

— Его убили мужики.

— Что ты? — удивился лейтенант.

— А мужиков угнали на каторгу, — тем же тоном сообщила Настя.

— И никого теперь нет?

— Никого.

— Когда же это случилось?

— Да вот перед войной.

— И соседа вашего — верст двадцать отсюда — также мужики убили? — начинал догадываться лейтенант об издевке над ним.

— Тоже убили, — соглашалась она.

— Почему же это? ..

— Не было от него жизни, отнял все у мужиков, коров, кур. . .

— Ничего после него не осталось? — спросил лейтенант недоверчиво.

— Что осталось — взяли в армию.

Фуражир минуту о чем-то раздумывал, потом безнадёжно махнул рукой своим солдатам и увел их с дороги. Он не мог знать о том, что разговор его с крестьянкой был лишь повторением одного из актов старинной пьесы, относящейся к временам Пугачева, которую играли некогда в شماковском поместье и теперь вспомнили, несколько изменив на свой лад.

А Настя ночью нашла в лесу Векшина, рассказала о происшедшем.

— Стало быть, уберегла?

— Говорила то, что вы велели, — скромно ответила она. — Ушел.

— Ну, другой придет, Настя.

Другой фуражир пришел вскоре, и без драки не обошлось. Произошло то, что описывали Ивану Николаевичу в письмах и позже в «Русском вестнике». Отряд французов осадил новопассскую церковь, в которой заперлись крестьяне. Из-за икон через выбитые окна во французов стреляли из дробовиков. Священник Иоанн Стабровский руководил крестьянами.

— Что с них взять? — раздраженно спрашивали друг друга два французских офицера, видя бесплодность этой осады. — Что у них есть в церкви, кроме икон? Зачем они дерутся?

И отряд отошел от церкви. Солдаты ринулись в барский дом и в крестьянские избы. В доме поломали кое-где оставленную мебель, а в зале на стене кто-то из

солдат написал по-французски: «Победители должны кормиться лесом! Да здравствует император!»

В это время в армии Наполеона уже начинался голод и разброд. Вскоре Наполеон отступил. Следом за ним шли, не миновав и Новоспасское, войска Кутузова. Фельдмаршалу, проезжавшему в карете через Ельню, рассказали о действиях партизан, о том, как новоспасские комедианты надсмеялись над французами.

— Неужто так было? — спросил Кутузов своего адъютанта.

— Верно передают, ваше сиятельство.

— Стало быть, не только дубиной мужик воевать горазд, но и словом... А кому поместье принадлежит?

— Капитану в отставке Глинке, ваше сиятельство.

— Старик небось?

— Молод, ваше сиятельство, с малых лет, как говорится, в отставке. Не воевал никогда.

— Вот что? — фельдмаршал поморщился. — Знаю таких, «коммерции-офицеры» называл их Суворов, ну да ладно, хоть крестьян своих не в загоне держал, ишь бойкие какие! Что придумали!

Новоспасским крестьянам вскоре передали «фельдмаршальское одобрение». Офицер, поведавший местному священнику обо всем, что заинтересовало Кутузова, как жили ельнинские и новоспасские мужики без своих господ, не мог передать дословно похвалы фельдмаршала крестьянам. Но молва уже досказала за него... Слухи пошли о том, что Кутузову сообщили и о партизанском отряде Векшина, и о Насте. Крестьяне, радуясь бегству французов, говорили:

— Вот она, смоленская-то наша правда! Ужель бы Смоленск принял французов?

И казалось, забывали о том, что Смоленск был разбит и полусожжен, а французы бежали из Москвы.

И ждали господ. А еще до возвращения помещиков откуда-то нагрянули в поместье городские чиновники, обследователи да ревизоры. Какие-то дошлые регистраторы, до этого отсиживавшиеся у дальней родни на юге, были присланы из губернаторских управлений.

Наведывались эти регистраторы и в село Новоспасское, искали выборного старосту Корнея Векшина. Но каретник погиб, добывая со своим отрядом разрознен-

ные и мечущиеся в лесах французские части. Не наполеоновскую карету пришлось ему чинить в последние дни своей жизни, а, по слухам, большую фуру, груженную золотом и поломавшуюся от тяжести своего груза.

Везли эту фуру через Шмаково, и заметили голодные французы, прятавшиеся в лесу, блеск золота из-под парусины, которой была прикрыта фура. Не могли они не напасть на конвоиров, не попытаться отнять это золото, хотя и некуда им было бы его увезти. Тут-то пал в бою каретник Векшин, только что починивший фуру, а раненная пулей лошадь, впряженная в фуру, бросилась через плотину и бухнула вместе с фурой в озеро. Там и потонуло заповедное это золото.

А о ревизорах, шедших по следам войны в деревни и города, появилась вскоре сложенная прославленным партизаном Денисом Давыдовым песня. Песня о русском воине — расточителе славы, о Мирабо и регистраторе.

В Новоспасском ждали хозяев. Дядюшка Афанасий Андреевич, уже вернувшийся к себе в Шмаково, теперь доглядывал за поместьем шурина. На крыше брошенного дома поселился аист, где-то горел лес, и ветер доносил запахи гари. Распустилась сирень, и от нее поголубело в саду. Была весна. На «Амуровом лужке» второй год зацветали вокруг пообитой статуи, заполонив весь лужок, одичалые без прививки розы самых неожиданных красок — и бурых, и землисто-серых. Таких роз еще не видал и здешний садовник.

4

Как странно было, возвратясь в Новоспасское, увидеть в саду гипсовых амуров, психей. Этаким мишурой казались они здесь после всего пережитого!

Сад, похожий на лесную чащу, буйно разросся и клонился на ветру к Десне, поблескивая сквозь бурьян красными покатыми дорожками. «Яблоневый мужик» был похоронен на погосте, и черные скопища ворон безбоязненно кружились над белым яблоневым цветом в гулкой прозрачной тишине весеннего неба.

Миша долго ходил возле аквариума в саду, в кото-

ром некогда на серебряный звон колокольчиков в руках Евгении Андреевны послушно выплывали, словно выпархивали на поверхность, красноперые карасики.

Теперь и опустевший аквариум, отдающий сыростью, матовой желтизной замшелого камня, и умильные надписи на старой беседке казались одинаково неправдоподобными и будили острое чувство недоверия к прошлому, словно никогда не было здесь ранее ни веселого, радужного на солнце аквариума, полного воды, ни беседки, зовущей к уединению. Да и Евгения Андреевна стала иной с тех пор, как уехала отсюда. Миша чувствует в голосе матери нотки тревоги и незнакомой раньше раздражительности, а отец погрубел и действительно стал похож на «негоцианта», на «орловского купца», каким прозвали его соседи. Он по долгу расспрашивает о каждой пропавшей вещи, хозяйственно подсчитывает убыток от потравы, от того, что гусями побито пшено, и торопит с водворением в дом на старое место фамильной, спрятанной в сараях мебели — словно шкафы, ломберные столы да золоченые подсвечники должны утвердить собою незыблемость барских покоев и самой барской жизни. Мише не верится в прошлое, а Ивану Николаевичу наоборот — прошлое несокруσιμο!

Аквариум он тут же приказывает почистить и наполнить водой, а надписи на беседке сам протирает бархатной тряпицей.

«Нет, не военной повадки барин наш, не храбр и не боек, — думают об Иване Николаевиче мужики, наблюдая за ним. — И словно не было для него войны и Бонапарт не прошелся по нашим землям».

Миша мучительно раздумывает над всем этим, не умея определить, что, собственно, случилось в мире его собственных детских представлений. Почему так нерадостно ему здесь, на старом месте, несмотря на общее оживление и хлопоты отца? Почему так тянет к мужикам, послушать рассказы о пережитом ими и подальше от беседки с надписью, кажущейся нелепой. . . И мальчик ловит себя на том, что не прижился он еще к этому облюбованному его родителями дому в Новоспасском, что там, в Орле, более родными и близкими представлял себе эти места, а сейчас хочется ему поездить и погля-

деть, сесть в карету и двинуться дальше, до самого Санкт-Петербурга.

Неудобно признаться отцу и матери в этих чувствах, и смутно томит ожидание чего-то совсем нового, что должно произойти теперь, после войны, после того, как сметены пожарами города, завалены дороги разбитыми телегами и толпы французов в лохмотьях и в касках изгоняются пастухами из лесов.

Он сидит на бревнышке в какой-то праздничной растерянности, когда милая его сердцу певунья Настя хватается его за спину, поворачивает к себе и целует радостно, приговаривая:

— Вырос-то как, милый наш барчик, родимый! А мы-то здесь...

И кажется, никому он не рад здесь, как Насте: с трудом сдерживая себя, чтобы не расплакаться на теплой ее груди, шепчет:

— Как хорошо, что ты жива! Ты ведь могла умереть, Настя, могла...

Словно только теперь в полной мере понял он грозившую ей опасность.

— Ну что ж такого, что могла? Видишь, не умерла ведь!...

«Как «что ж такого»? — думается ему. — Разве ба-тюшка и маменька так рассуждают? Вот они, дворовые, какие, все перенесут и еще «что ж такого» скажут». Почему-то он вспоминает рассказ об умершем старике Сусанине, Векшине, и мысль его направляется к временам еще более давним, к событиям тех годов, когда завел Иван Сусанин ляхов в леса...

Он пытливо спрашивает Настю, давая наконец-то волю своему нетерпению узнать в подробностях о том, что здесь было:

— Ты у французов жила? Прислуживала им?

— Один здесь фуражир ихний, лейтенант, богатства господские искал, так мы с ним в театр играли, словно в комедии...

Она смеясь рассказала, как было дело, и добавила:

— А ныне фуражир этот пойман мужиками и в гвернерны просится, своему языку молодых господ учить. Вот как обернулось ему!

— Может ли это быть? — удивлялся Миша.

— Тебя, Михайлушка, станет обучать! — настаивала Настя.

— Где он? — осторожно спросил мальчик, обеспокоенный ее словами.

— В кухне. Ждет, пока барин с барыней его примут, да им недосуг сейчас.

Она окинула взглядом барский дом и дворовых, вносивших туда тяжелые ящики. Некогда белые колонны дома, украшавшие подъезд, теперь были грязные, с покоробленной краской, а между колоннами на веревках висели полотенца и ковры.

— А домой разве он не вернется? — допытывался Миша о новоявленном пленнике-гувернере.

— Куда ему домой? — засмеялась беззлобно Настя. — Не дойдет, пожалуй, не выберется из наших лесов. Разве потом, когда отъестся да такого же, как он, сыщет где-нибудь попутчика себе.

И любопытствовала:

— А далеко ведь ему идти до Франции? Почитай, месяц? Дошел же сюда на свою и нашу беду!

Было в ее отношении к пленному французу что-то и сожалительное и снисходительно-насмешливое, а оттого, что удалось ей недавно поморочить ему голову, когда был фуражир властен еще и страшен, он казался ей теперь «обхоженным», как медведь у бродячего фокусника.

— Настька! — крикнула за их спиной горничная, облаченная уже в белый передник с кружевными разводами и такой же чепец. — Барыня кличет!

— Пойду я, Михайлушка, — сказала торопливо Настя, поднимаясь. — Песни-то не разлюбил наши?

— Что ты? Разве могу разлюбить? — обидчиво прошептал он. — Я, Настя, все твои песни помню и тебя в них, в песнях, всегда вижу.

— Как в снах, значит! — сказала, улыбнувшись, Настя.

— Как в снах! — согласился он.

Настя ушла, и тут же, словно утешенный разговором с ней, он стремглав побежал в детскую и, встретив сестер в пустынном коридоре, произнес с видом лукавым, испытывая их любопытство:

— У нас губернатором француз будет! Тот, что в кухне сидит, пленный!

Поля рассудительно заметила:

— Солдат не может быть губернатором. Губернаторов приглашают на службу, а не берут в плен.

Миша молчал.

Сестры привыкли относиться к нему настороженно. Он всегда был для них взрослее своих сверстников.

К вечеру о губернаторе все выяснилось... В столовой, за ужином, в час, когда впервые за последние два года собралась в собственном доме семья Глинок и настроение тревожной торжественности еще владело взрослыми, Иван Николаевич, перемигнувшись с Евгенией Андреевной, произнес благодушно:

— Дети! Губернатор ждет за дверьми!..

И добавил:

— Ныне от губернаторов отвала не будет! Так и прут из лесов в поместья.

И не без мстительного самодовольства приказал горничной:

— Позови француза.

Губернатор действительно ждал за дверьми, быстро шагнул в комнату и остановился на пороге. Был он хил, бледен, выцветший мундир плотно облегал сухонькое его тельце, пуговицы на мундире блестели, а ремень, на котором еще недавно висела сабля, и маленькие сапоги на ногах отдавали глянцем. Видно, немало повожился он над своей внешностью, прежде чем предстать в доме новоспасского помещика.

И тем суровее отнесся к нему Иван Николаевич, усмотрев в этом льстивость и способность его к любой подлости, лишь бы войти в доверие к хозяину. Дети смущенно рассматривали пленного, не верилось им, что такой, как он, может быть виновником их несчастий, что от него уезжали они отсюда, и чем, собственно, он отличается от тех усталых и тихих людей, служащих канцелярий, которых они встречали в деревне? Их больше страшил гнев отца и слова его, обращенные к пленному:

— И вы разрешаете себе наниматься в дома, где только что грабили ваши соотечественники? Какие же мысли о Франции и о себе вы хотите внушить детям

тех людей, с которыми вы воевали? — мстительно звучал голос Ивана Николаевича.

— О, я не думал, мсье, что все это вы будете напоминать побежденному, — лепетал француз. — Неужели в вас нет иных чувств?..

— Нет, — возгласил Иван Николаевич, как бы в наидание всем. — В нынешнем вашем положении способны вы вызвать, милейший, не только жалость, но и неуважение к себе. Слышал и другое: о том, что излишне много мы иностранцев в дома наши к детям приглашали, отечественному нашему развитию во вред. Но, дабы не быть относительно вас несправедливым, прикажу я, милейший, мужикам моим проводить вас к соседям моим, и, думаю, некоторые помещики иных взглядов будут, вас примут и меня поблагодарят, что чистокровного и дарового француза послал им!

А когда француз вышел, Иван Николаевич объявил Мише главное:

— Ныне учительницу я выписал тебе, Мишель, из Петербурга. Многому, в том числе и музыке, тебя наставит. Звать ее — Варвара Федоровна. Слушайся и люби ее, скоро приедет.

Но без новых слуг из числа незваных пришельцев все же не обошлось: нашелся синьор Тоди, итальянец, младший офицер наполеоновской армии, архитектор и строитель по занятию. От его услуг не отказался Иван Николаевич. Пусть возводит итальянец новые постройки в Новоспасском, а заленится — в Смоленск передать его: там и ему и потомкам его, если будут такие, работы по восстановлению города хватит!

С этого дня появился еще один обитатель дома: лысый, горбоносый, он всегда высоко держал голову, словно чего-то искал в небе, и дети не раз замечали, как он сам с собою разговаривал шепотом.

Дети ждали приезда гувернантки. Однажды отец им объявил:

— Синьор Тоди будет учить вас рисованию!

Миша встревожился и спросил:

— А чему будет учить Варвара Федоровна?

— Языкам, географии и музыке, Мишель, музыке! Без музыки нет образованности, музыка — предмет необходимый.

Ох, надо ли об этом говорить! Разве отец не знает, как тянется он сам к музыке? ..

Но странно, узнав о том, чему будет учить гувернантка, Миша замкнулся и взгрустнул:

«Какая она собой — поет ли, и как будет учить, если не поет и не любит колокольного звона? Ведь есть такие! Вот в Орле, в доме у купца Ладыгина, совсем колокола и песни не слушали. Впрочем, было не до них!»

...В эти дни произошло еще одно заполнившее воображение мальчика знакомство, быстротечное, случайное. .. На стыке трех лесистых дорог, раздвинутых войной, раньше менее приметных, обнаружил он однажды трех музыкантов, словно встретившихся здесь, как в сказке, на пути из трех царств. Царствами этими, если уж следовать летописным канонам и судить по обличью путников, были: Великоруссия, Белоруссия и Украина. Откуда-то из днепровских низовий пришел сюда кобзарь — могучий старик с кривой казацкой сабелькой и грузной кобзой, при которой сабелька казалась смычком от скрипки. Рядом с ним сидел, держа на коленях кувички, озорноватый и добрый с лица белорус в живописном литовском наряде, в коротенькой кожаной куртке с какими-то пампушками; третий был в этой группе самый невидный собой, нелюдимый и плохо одетый, но кремневой твердости россиянин, — сухонький, светлоглазый, стриженный под скобку, как мастеровой, и держал он в руках самый радостный инструмент — гусли, не менее, чем кувички, редкостный в этих местах. Впрочем, и кобза была мальчику в новинку. И такое долгое оторопелое удивление выразилось на его лице, что все трое музыкантов рассмеялись.

Гусляр спросил:

— Ты небось управляющего сынок? Из богатых?

Мальчик молчал, и тогда кобзарь, подмигнув ему, по-свойски спросил, неизвестно почему решившись на эту преждевременную откровенность:

— Скажи, где здесь самый богатый барин, что собаками нас не затравит? ..

— Поесть нам надо! — деловито сказал третий, как бы в пояснение. — Из запасов выбились, народ-то беднее после войны. . .

И тогда, впервые гордясь своим правом повелевать —

ведь здесь, на отцовской земле, он как-никак властитель, — громко проговорил, придав своему голосу оттенок приказания:

— Вставайте и следуйте за мной. Я здесь... самый богатый.

Они послушно двинулись за ним. Миша отвел их на кухню, распорядившись накормить, ушел, но когда часа через три вернулся, музыкантов уже не было: они направились куда-то к Ельне. Миша поспешил за ними в лес, но нагнать не мог.

Он сел под деревом и, готовый заплакать, мысленно представлял себе их сидящих подле. Они как бы унесли с собой вместе с инструментами и заплечными мешками тайну своего говора, лишь слегка уловленного им, и, должно быть, тайну чудесных мелодий — трех речевых и музыкальных стихий, вдруг явившихся вместе.

5

Вскоре учительница прибыла — несуразно высокая ростом, худая, очень застенчивая и потому... шумливая. Именно говорливостью и суетностью движений хотела подавить она свою робость, часто отряхивалась, хотя на выцветшем стареньком платье ее не было ни пылинки, часто сморкалась.

Рекомендовали ее Ивану Николаевичу петербургские знакомые, сказали, что она — сирота, успешно кончает институт благородных девиц и охотно поедет в смоленскую глушь, ибо на гувернанток спрос ныне небольшой, женихов нет, и ехать ей некуда.

Комнату ей отвели в бабушкиной половине — там, где когда-то взаперти, как в скворечне, «отогревался» внучек в пуховиках, не смея и помышлять о воле. Впрочем, дом с тех пор разросся, трудно определить, где в нем была эта бабушкина половина.

К обеду учительница вышла более спокойная и потому, как держали себя за столом дети и взрослые, старалась определить, в какую же, собственно, семью привело ее сиротское положение. И быстро ободрилась: Евгения Андреевна показалась ей простой, «идиллической» с виду и без капризов, не под стать провинциаль-

ной барыньке; Иван Николаевич — грубоватым, прямым, но в общем славным, а дети, в особенности Миша, воспитанными в надлежащей строгости.

На следующий день она уже занималась с Мишей музыкой, и тут-то начались между ней и мальчиком те долго скрываемые ими распри, о которых узнали родители лишь через несколько лет. Учительница привезла с собой связку нот — сочинения Моцарта, Гайдна — и сказала:

— Вот, Мишель, здесь лучшее, что создано музыкантами. Научишься играть — тебе не будет стыдно показаться в самом богатом доме, в самой знатной семье!

— А крестьянские песни здесь есть? — спросил он, глядя на ноты.

— Нет, Мишель, конечно нет! Я же тебе говорю о серьезной музыке, о том, что мы будем с тобой учить, — ответила она, приписав его вопрос не столько дурному, сколько еще не развитому музыкальному вкусу.

«А как же Настины песни?» — подумал он и возразил:

— У дяди в Шмакове оркестранты, а у нас в Новоспасском крестьяне поют очень серьезно и хорошо!

И опять она объяснила ему терпеливо:

— То, Мишель, не учи, простонародье. Они вроде тех денщиков, которые говорят по-французски. Есть, конечно, в столице кружки, где и музицируют прилично, но только не крестьянские песни исполняют там. Я не знакома с твоим дядюшкой из Шмакова, но уверена, что и он не захочет, чтобы племянник его тянул «Камаринскую» или отплясывал трепака.

— Да, плясать-то я не буду, — согласился Миша грустно. — А впрочем, в нашей деревне и пляшут чудесно. — И сказал с загоревшимися глазами: — А вы послушайте их. Вам понравится.

— Кого? — не поняла Варвара Федоровна.

— Крестьян наших.

— Вот что, Мишель, — заметила учительница строго. — Батюшка твой желает обучать тебя столичному вкусу, а если бы дело касалось пения дворовых людей, то, наверное, можно было бы обойтись и без меня, без науки, без Гайдна и Моцарта.

— А я знаю их, — заметил он кротко. — Я играл Гайдна при дядюшке.

Она удивилась:

— Когда?

— Два года назад, а Моцарта исполнял дядюшкин слуга...

— Мишель, это святотатство! Конечно, он уродовал его! Мишель, вкус дворянина в обществе должен быть чист, как его честь! — Она сказала это с пылкостью оскорбленного в своих лучших чувствах человека и была недовольна собой: не хватало только, чтобы она стала спорить с мальчиком, вместо того чтобы наставлять его разуму!

Но шаг за шагом ей пришлось ему уступать. То, о чем он ее спрашивал, обнаруживало в нем знания, о которых она не могла подозревать. Он допытывался, что такое контрапункт и какие первые правила композиции. И почему хорошая игра столь часто похожа на импровизацию, на сочинительство?..

Из его слов она сделала для себя вывод: ей самой необходимо очень хорошо играть! И остро встревожилась. Вскоре стало казаться, что он следит за ней, не подавая виду, и уже не верит...

6

Где же застрял дядюшка Афанасий Андреевич? Должен же он подтвердить учительнице, какие чудесные музыканты в Шмакове и что не одним Моцартом и Гайдном вдохновлены они. Но похоже, будто Афанасию Андреевичу совсем не до музыки и не до племянника, терпит он в жизни один урок за другим, давно лишился своей спасительной в жизни «золотой середины» и должен отвечать на новые вопросы века, о всем том, чему война научила общество... И уже Кантемирова мудрость не ответит требованиям века, а вольнодумцы-радикалы нет-нет да и поднимут голову, повторяя, что говорил Радищев о положении крестьян, о нелепом устройстве общества. А заговори с этими вольнодумцами о Кантемире, скажут, пожалуй, что новый век требует нового, притом живого, народного языка, и Кантемир,

сын молдавского господаря, не зря считает себя потомком Тимура (что выражено и его фамилией); не дается ему подлинное русское словотворчество и лучше ему заниматься переводами Монтескье, чем писать самому.

И хотя отнюдь не чуждался Афанасий Андреевич песен простонародья, любил русскую музыку, — тем не менее никогда не возникало у него мысли восставать против иноземных влияний на нее столь резко и горячо, как сделал это почтенный однофамилец и свойственник его Федор Глинка в статье «О природной способности русских к приятным искусствам», читанной Афанасием Андреевичем еще в рукописи.

«Может ли иноземец петь хвалу русским с таким непритворным восторгом, с таким усердным жаром, как соотечественники их? — спрашивал Федор Глинка. — И как знать ему то, что мило сердцу русскому? Он знает песни странствующих рыцарей, поет любовь Даманов, Филис, Ликасов и резвых пастушков, которые существовали только в воображении. Но где узнать ему, как пели наши красны девы во златоверхих теремах, как певала Милославна, провожая друга верного на ратное поле за Дунай-реку. . . Отголоски сии, рассеянные в народных песнях, представлено собрать только истинно русскому музыканту».

Статьи эти перечитывали Глинки, собираясь вместе. Федор Глинка да Иван Андреевич, живущие в Петербурге, куда ближе к наукам и искусствам, чем он, Афанасий Андреевич, ничего в жизни не выходивший, кроме своего недурного оркестра. Там же, в Петербурге, обитает еще и Сергей Глинка — издатель «Русского вестника», его так и зовут среди Глинок «издателем». Трое знатных петербуржцев — литераторов и меломанов Глинок! Раньше от души смирялся с этим шмаковский помещик, радовался тому, как входил Федор Глинка в известность трагедией своей «Вельзен, или Освобожденная Голландия» и песней о «Тройке», дошедшей и сюда, в ельнинскую пустошь, и успехам Ивана Николаевича, а теперь возревновал и закрылся в своем доме, третий месяц оттуда не выезжая. Ивану Николаевичу на записку его, посланную с верховым, запрашивавшую о здоровье, ответил загадочно-раздраженно: «Здоров, да если бы в этом было дело! . .»

Появилась как-то в Шмакове и Варвара Федоровна. Приехала оттуда странно оживленная и заперлась у себя. Впрочем, на людях мало ее видели и прозвали в Новоспасском «схимницей», хотя за последнее время приблизила она к себе Настю и няню Авдотью и даже слушала их пенье.

Миша не мог знать обо всем этом, но в разговорах с Варварой Федоровной смутно чувствовал происшедшие в настроениях взрослых перемены. Давно не стало в новоспасском доме прежнего сонного покоя. А может быть, раньше не мог Миша знать, чем жили его родители, — мал был, и война вскрыла в нем, словно родничок из-под земли, многие, дремавшие в неведении чувства.

«Раздумью подвержен», — говорит о мальчике Иван Николаевич, слишком занятой, чтобы доискаться, какие мысли овладевают его старшим сыном. Вечерами Иван Николаевич спорит с гостями о губернских делах и не замечает сына, притулившегося в углу, в кресле. А Миша вслушивается в спор, и все ему интересно: и то, что костромчане прислали на восстановление Смоленска изрядную сумму денег, и что Полевой, Шаховской и другие замыслили писать о подвиге Ивана Сусанина, воскресив в литературе времена Минина и Пожарского, и что прочат в губернаторы Смоленска Николая Хмельницкого, поэта... Иван Николаевич, по мере того как богател на подрядах, обретал все большую холодность в рассуждениях. Бесстрастно и снисходительно говорил он об оскорбительной для помещиков песне Дениса Давыдова, которая ходила по губернии в рукописи:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый,
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок
Корчит либерала.
Деспотизма супостат,
Равенства оратор,

Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.
Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.
А глядишь, — наш Мирабо
Старого Гаврилу
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло! ..

— Старые люди тверже нас были волей и привычками, — изъяснялся Иван Николаевич при гостях. — Могла ли мать моя, покойница, быть либералкой? Или людей обманывать либерализмом? Смешно подумать! И что русский мужик без барина? О чем хлопочут господа либералы?

— Но мужик после войны сильно духом поднялся, — замечал один из гостей, Александр Иванович Куприянов, недавно еще воевавший в здешних местах с Бонапартом. — В войне на мужика надеялись, а после войны, буде не понравится, торгуем им или продаем его, да еще объявим в «Ведомостях»: продается-де хороший садовник, забавный попугай с ним и пара пистолетов.

Куприянов нравился Мише открытым загорелым лицом и решительной, насмешливой речью. Ходил он в офицерском мундире, носил погоны подполковника, однажды пришел сюда с золотой шпагой на боку, подаренной ему, как узнал Миша, самим Кутузовым. Он был хорошо знаком с дядей Иваном Андреевичем, жившим в Петербурге, вхож в военные круги, и к мнению его всегда очень прислушивались новоспасские Глинки.

И сейчас Иван Николаевич согласился с ним.

— Всяк русский человек ныне воспарил духом, — сказал он, помедлив, с важностью, — и стране нашей, как Державин пророчествует: «век будет славой, то есть, как звезды, не увянет». Но следует ли из этого, что крепостных отпускать надо и склоняться к просьбам о конституции? ..

Миша понял, что отец отвел прямодушное заявление Куприянова, соглашаясь якобы со своим гостем, и горестное недоумение, которое возбуждала в нем, в Мише, судьба Векшина и Насти, крепостных музыкантов, так и остается неразрешенным.

Разговор происходил в гостиной, обставленной отцом во вкусе небогатых, но верных старине меценатов. Над невысокими шкафами с книгами висели картины местных крепостных художников, купленные Иваном Николаевичем в Ельне, большой домотканый платок с вышитыми на нем красными петухами и тут же неизменные изображения амуров и психей на безвкусных, вставленных в стекло олеографиях.

За окном белым полотнищем лежали снега и чернел лес, закрывая доступ сюда ветрам и выюгам.

Накануне сочельника праздновали в Новоспасском именины Евгении Андреевны. В зал внесли по старинному обычаю копну сена, накрыли скатертью и на шатком этом столе установили блюдо кутьи с воткнутыми в нее восковыми свечами. Гости размещались вокруг, в торжественном молчании, и старший из них — на этот раз Афанасий Андреевич — провозгласил тост за ниспослание долгих лет имениннице в тишине родного ее поместья.

Евгения Андреевна сидела с детьми, растроганная и, как обычно, тихая, погруженная в свои мысли. Миша замечал грустную ее задумчивость и сдержанность в разговорах. Казалось, она стеснялась за свой дом, за богатство, — муж все с большею пышностью обставлял покои, обклеивал их бархатными обоями, привез из столицы дорогую стильную мебель, и ей, Евгении Андреевне, было дорого посидеть с гостями по-деревенскому, в полусумраке, около стога сена. . .

Иван Николаевич управлял теперь обширными поместьями Энгельгардта, племянника сиятельного князя Потемкина, заводил конские заводы, получал большие ссуды от петербургских «деловых людей» и все больше отдалялся от здешней родни своей, от шмаковских и духовищниковых Глинок «холодной, как они говорили, респектабельностью» своего тона, почтительностью к ним, за которой они не чувствовали ни его внимания, ни подлинного участия в их жизни.

И все это понемногу отзывалось на Евгении Андреевне.

— Он никого не любит! — шепнул ей в этот вечер Афанасий Андреевич, показав взглядом на мужа. — Или, если хочешь, он всех любит, — добавил он едко.

И грустно похлопал по плечу Мишу:

— Песня сытому человеку не нужна, как думаешь, музыкант?

Миша молчал, силясь понять, на что намекает дядя.

— Оставь, Афанасий, совсем неуместны эти разговоры, — болезненно поморщилась Евгения Андреевна.

— Неуместны! — подхватил он. — Знать бы, что из такого сентиментального скромника, каким был твой Иван, такой жмот выйдет!..

— Что тебе нужно? Денег нет? — шептала Евгения Андреевна.

— Нет, и не попрошу! — отчеканил Афанасий Андреевич и замолчал, заметив обращенный к нему настойчивый взгляд Ивана Николаевича.

Миша вслушивался в их разговор, и ему хотелось плакать. Именины отпраздновали, и началось рождество Христово. В эти дни Миша уже не замечал распрей в их доме, радовался празднику, играл с дядей на клавишине в четыре руки при Варваре Федоровне, но к отцу начал относиться с некоторым отчуждением.

7

— Ты, пожалуй, прав, — песни здешних крестьян действительно чудесные! — сказала Варвара Федоровна своему ученику, пожив в Новоспасском около года.

Разговор происходил в зале после конца музыкальных занятий.

Миша обрадованно поглядел на нее и потупился: ему стало ее жаль.

Она продолжала:

— А пуще всего я убедилась в том, что тебя, когда ты играешь, всегда тянет к народным мотивам и что ты хороший импровизатор... Больше: из тебя выйдет большой музыкант, и я тебе уже мало могу помочь!

Миша слушал и мял в руках тетрадку с нотами.

— Видишь ли, — говорила она с той же прямоотой, решив ничего не скрывать от мальчика, — мне не приходилось бывать в деревнях, я выросла в столице, в каменных стенах, и теперь вижу, что, не попади сюда, я так и не знала бы народных песен и, пожалуй, самого народа.

Вот до каких признаний дошла новоспасская «схимница»!

Лицо ее сурово, но дышит правдивостью, откровенность делает ее неловкой, словно обличает ее в земных грехах. А есть ли грехи у учительницы? Хорошо, если есть! До сих пор она все больше молчала и слушала, теперь заговорила! Оказывается, она не раз подолгу бродила по селу и засиживалась на досуге в деревне. Няня Авдотья лишь недавно сказала об этом при Мише Евгении Андреевне: «Чего-то ищет наша учителька». Вот чего она искала в селе — музыки! Решала, как быть ей с Мишелем!

Миша ответил ей осторожно, чтобы ничем не обнаружить свое превосходство:

— Варвара Федоровна, а правда, ведь оркестр в Шмакове часто сбивается с лада, и играют они не чисто Крузеля и Мюгеля.

Ему хочется перевести разговор на другое и показать, как высоко он ставит ее суждения.

Варвара Федоровна улыбнулась этой слишком ясной ей наивной его выходке, и взгляд ее потеплел:

— Милый вы, Мишель, очень вы милый! К чему вы сейчас заговорили о Крузеле и Мюгеле? Да, Мишель, вы чувствуете себя совсем взрослым, и ваши приемы как у взрослого. И я почти не нужна вам, я это знаю. Я полезна вам, пока вы путаетесь в арпеджиях и в гаммах и не умеете обозначать гармонию знаками генералбаса, и все. Что ж, я буду больше полезна вашим сестрам. Но всегда, всегда я останусь вам преданна, Мишель...

— Вы говорите так, словно собираетесь со мною расставаться, Варвара Федоровна.

И тогда, в удивлении, она спросила:

— А разве вы не знаете, что мы расстаемся?

— Когда? Зачем? — вырвалось у него.

— Мишель, вас везут родители в Петербург, вы поступите в Главный педагогический институт, неужели вам не сообщали этого?

— Нет. А вы говорите, что я взрослый... Маменька молчит, а папа... Папа месяцами, вы знаете, не бывает дома. Я почти не вижу его.

— Спросите вечером, Мишель, у родителей. Иван Николаевич ночью приехал.

В большом их доме можно лишь за обедом его встретить, когда вся семья собирается к столу. Последнее время Иван Николаевич почти не приходит в детские и, приезжая домой, уединяется у себя в кабинете. Его посещают там подрядчики, жокеи, купцы и инженеры — самые разные люди, иные с трубками во рту, в длинных высоких шляпах, иные с хлыстами в руке, донельзя подтянутые, с комариной талией. Откуда только берутся такие?

Миша простился с учительницей и ушел. Перед обедом он застал мать и отца беседующими в гостиной. Прикорнув на коленях у матери, спала двухлетняя Оленька. Они разговаривали тихо. Миша подошел к отцу и, поцеловав протянутую им руку, спросил:

— Папенька, вы говорили Варваре Федоровне о намерении вашем меня отдать в петербургский институт? ..

Евгения Андреевна ласково и с оттенком страдания поглядела на сына.

— Это еще не решено, Мишель, — прервала она.

— Посиди со мной! — сказал Иван Николаевич. Он был настроен добродушно и деловито-весело. — Кто сказал тебе? Варвара Федоровна? О, она знает, как живут и учатся в институтах! А ты бы куда хотел поступить, в царскосельский лицей?

И обратился к жене:

— Я опять думал о Мише, Евгения, и нам бы помог Энгельгардт (видимо, разговор об этом уже не раз поднимался у родителей, понял Миша), но ты знаешь, государь принимает туда по личному ему представлению и очень знатных фамилий.

— Так вот, Мишель, — теперь он глядел на сына, — на военную службу тебе не идти — слаб ты, в лицей, к сожалению, не удастся, и решили мы с матерью направить тебя этой же зимой в благородный пансион к нашему дальнему родственнику Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру, окончившему лицей и тамошнему теперь учителю словесности. Кстати, двое его двоюродных братьев из Духовищ поступают туда же. А для того чтобы не было там тебе особенно тяжело на казенном коште,

при заведенном порядке, будем мы просить инспектора Линдквиста принять тебя на положение приватное, — и за оплатой мы не постоим. Жить ты должен там вместе с твоими родственниками, а гувернером твоим, по лицейскому же образцу, будет не кто иной, как Вильгельм Карлович. И не следует потому жалеть, что не отдали мы тебя в лицей.

— Я не жалею, папенька, — тихо сказал он, поняв, что в глубине души отец сам еще не примирился с невозможностью видеть своего сына в лицее... И спросил: — Когда же ехать?

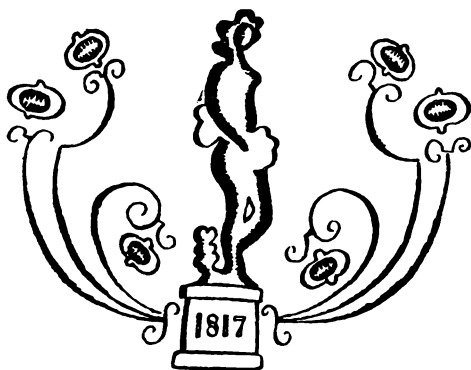
Евгения Андреевна страдальчески поглядела на мужа и что-то пыталась сказать, но он тут же положил свою руку на ее и шепнул:

— Нельзя иначе. Ведь надо же!..

Миша подошел к окну и увидел, как недалеко от дома чистили щетками возок, обитый изнутри мехом, и выколачивали пыль из его подушек. Не для него ли готовят в путь?

Он вспомнил каретника Векшина и дорогу в Орел. Пожалуй, как ни жаль было оставлять Новоспасское, ему все же захотелось ехать. Петербург тянул к себе. «Петербург не минуешь», — привык он слышать от Афанасия Андреевича. Петербург — это ворота к зрелости и, правду сказать, к вольности... В лесах и впрямь одиноко!

В ДЕРЖАВНОМ ГРАДЕ



...В отечестве моем
Где верный ум, где сердце мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенно и пламенно свободной?

Пушкин

1

Издатель «Азиатского музыкального журнала», он же капельмейстер хора преосвященного Анастасия Братановского и учитель музыки в Астрахани, зимой 1818 года посетил столицу. Было объявлено о намерении учителя «повидать истых орфеев нашего времени и законодателей музыкальных вкусов, дабы по возвращении сделать доклад читателям журнала о всем том, что остается неведомым в музыкальной провинции».

Ивану Добровольскому — как звали издателя журнала — было бы трудно, однако, осуществить эту свою цель: немало провинциальных меломанов довольствовалось приезде сюда двумя-тремя случайными беседами с петербургскими музыкантами о их житье, не вдаваясь в оценки столичных постановок, — музыкальной критики слышно не было, в литературе первенство отдавалось Державину и Карамзину, а в музыке властен

под стать им, возрождая щеголеватый и самоуслаждающий «Екатеринин век», старый Бортнянский — автор русских, французских и итальянских опер, некогда певчий придворной капеллы, а теперь ее управляющий.

Все это было не ново учителю из Астрахани, и сам он отдавал должное Бортнянскому, которого почитал, по собственному признанию, всем сердцем, но не за официальными истинами совершал он сюда дальний свой путь. И не столичных анекдотов ждали от него многочисленные подписчики его журнала, издававшегося, кстати говоря, на пожертвования церковного хора и местных ревнителей музыки. Сообщали из Астрахани, якобы учитель, первый в стране, начал усердно собирать и печатать, не прибегая к инструментальной обработке, местные народные мелодии — «пестовать песни», — среди них принадлежащие к восточным народам. Учитель ездил по селам и записывал песни на ноты, пытаясь чаще всего передать их в фортепианном изложении, и в Астраханском крае, по свидетельству жителей, широко привились пришедшие в город из степей «новые, никем не подсказанные мотивы», а местные дворяне все чаще посылали своих управляющих в Москву и Петербург добывать новейшие клавирины, именуемые фортепиано...

В Петербурге стала известна благодаря журналу «Персидская песня» Фат-Али, дербентского хана, записанная, по словам знатоков, «как бог на душу положит», без разделения на такты, в виде народной импровизации и без какого-либо влияния общепризнанной официально музыки. Ее исполнял в домах маленький оркестр из двух скрипок, флейты и барабана. Это было легко.

«Азиатский музыкальный журнал» бросил вызов столичным музыкантам. О судьбах народной песни, о подвластности ее иссушающему духу светских традиций в музыке глухо заговорили и ссылались на добрый пример астраханского учителя. Прозвучала в те времена в столице и грустная, сочиненная кем-то песенка о самой песне:

Скучно песне стало,
Ох, как песне скучно!
Ей ведь не пристало
Жить благополучно.

Ей уйти б от света,
Ей уйти б от лести,
Или «песня спета»
Для самой же песни!

Поговорить о собирании песен, об инструментовке их и вознамерился учитель Иван Добровольский. Он не был одинок в своем деле: петербургские композиторы Даниил Кашин из крепостных и слепой Алексей Жилин записывали и оберегали народные мелодии и песни. Ивану Добровольскому было известно о намерении Кашина издавать «Журнал отечественной музыки», в котором печатать народные песни и вариации на их темы. Знал Добровольский о доме любителя русских песен Львова и о трактире «Капернаум», где собираются изредка крепостные музыканты и композиторы, отторгнутые от музыкальных кругов подневольным своим положением, чужой им, хотя и молодой музыкой «Русалки Лесты» и бравурными операми прижившихся в столице иноземцев. Здесь исполняли крепостные музыканты хором «Не у батюшки соловей поет» и песни ямщиков из оперы «Ямщики на подставе», отдыхая от пьес, написанных императрицей Екатериной, «Федул с детьми» или «Февей», в которых приходилось им играть. Здесь говорили о молодом Верстовском, только начинавшем входить в известность, и сочиняли пьесы, которые так и не суждено было поставить.

Но первый свой визит издатель «Азиатского музыкального журнала» нанес Бортнянскому.

Чинный, в широкой, нескладной шубе, шитой астраханским портным, он, зная, что вечерами композитора застать труднее, посетил его в ранний час, около двенадцати дня. Визитная карточка, переданная через швейцара Бортнянскому, должна была напомнить композитору о прежней их встрече, лет шесть назад, и о том, что ныне учитель Иван Добровольский издает «Азиатский музыкальный журнал».

Беседовать с Бортнянским на дому выпадало не всякому провинциальному издателю и музыканту, к тому же Бортнянский болел, новые знакомства почти не заводил, но с теми, с кем приходилось ему хоть раз встречаться, он считал своим долгом поддерживать отношения.

«Директор вокальной музыки», некогда музыкальный учитель императора Павла, принял учителя в огромном своем кабинете, похожем на певческий зал. Статуя Аполлона возвышалась возле красного, заваленного нотами пюпитра, в углу, под большим портретом Екатерины. Приткнувшись к стене, неприметно стояло раскрытое фортепиано, и солнечный свет играл на желтоватых его клавишах, одного цвета с лежащим на полке черепом. Виды Италии и сцены из произведений Вольтера были изображены на картинах, закрывавших сверху до низу, в два ряда, одну из стен кабинета. Все здесь было значительно и неуютно, лишено пропорций и почти хаотично в огромности всего представившегося глазу учителя: белая статуя Аполлона походила на какую-то мумию анатомического музея. . .

Композитор предложил своему гостю место у камина, в глубине которого, словно в кузне, бурливо шумел огонь, и сам погрузился возле него в высокое, обитое красным бархатом кресло. Бортнянский был бледен, подтянут и по-деловому строг.

Седой, высокий ростом, с усталым лицом, он был вместе с тем изящен и выверенно точен в движениях, как человек, привыкший держаться в жизни так же, как на сцене.

— С чем приехали к нам? — спросил он гостя, учтиво-приветливо и вместе с тем холодно посматривая на него из-под нависших седых бровей косым, отдаляющим от себя взглядом. И тут же продолжил: — С народными песнями? А почему духовной музыкой пренебрегли вы в вашем журнале? Музыка культа и музыка песен одинаково может помочь истинной народности искусства!

— Вот забота о народности музыки и привела к вам, — сказал Добровольский обрадованно. — Разъясните, Дмитрий Степанович, сделайте одолжение, не считаете ли вы, что музыка наших учителей-иностранцев и столичных мастеров вытесняет русскую музыку с родной ее почвы и вносит в нее не присущую нашему народу дробность и манерность, лишая нас широкой симфонии.

Учитель говорил торопливо, сбивчиво и по тому, как сидел, сложа руки на коленях, подавшись всем корпусом вперед, походил на просителя или подопечного чиновника, пришедшего к высокому своему попечителю. Но в

решительности, с которой он излагал эти выношенные в себе вопросы, звучавшие обвинительно, и в сухом, гневном блеске его глаз Бортнянский почувствовал несогнутую его волю и располагающее к себе прямоту.

Видно, очень досадили провинции выпранные столичные пьесы, и не один этот учитель тянулся душой к живому сердечному слову!

Бортнянский усмехнулся и, как бы в подтверждение сказанного учителем, тихо произнес:

— Помню, я сам когда-то негодовал, слыша тираду из «Притчи о блудном сыне»:

Утешою печаль обычно лечите,
Сладкоигрателям вели приходится.

Ведь только утешою была музыка ранее. Что ни говорите, милостивый государь, а время рабского ее состояния минуло, на моем веку воспарила музыка к таким вершинам духа, о которых не мыслили мы. О песенном ладе тревожитесь, о сохранении песни народной? Да, милостивый государь мой, ни Державин, ни Жуковский не создали еще песенного народного языка, и не знаю, само ли устройство нашего царства мешает принятию этого языка, но не вижу силы, способной противоборствовать направлению, принятому при дворе, не вижу!.. А потому все наш разговор о том будет, все!

— Как же так, Дмитрий Степанович, ведь обработка народных мотивов сама по себе способна создать новое музыкальное направление, а мотивы народные везде слышны, ведь не Керубини, не...

— Знаю, что скажете! — раздраженно прервал его композитор. — Известно ли вам, что представлял я правительству проект об отпечатании древнего русского крюкового пения, имея цель создать отечественный наш контрапункт, и с той же прямотой, как вы сейчас, говорил в сем проекте о возрождении подавленного отечественного гения к созданию собственного музыкального мира. Не вы один, милостивый государь, и мы здесь печемся об этом народном гении, не сломленном победой нашей войной с Бонапартом, о ладе, о языке и симфонии, о всем, что изволили мне сказать.

— Нужно ли по крайней мере издание нашего

журнала? — воскликнул учитель. — Способствует ли оно созданию этого музыкального гения?

Учитель переменил позу, еще ближе подвинулся к композитору, и его руки теперь в волнении сжимали подлокотники мягкого кресла.

Композитор снисходительно-ласково оглядел напрягшуюся его фигуру, перевел взгляд в сторону и ответил назидательно:

— Век учит нас сохранять равновесие! И не только, разумеется, в музыке... истинному творцу не следует сердиться, дорогой мой, и опять же, явится ли ваш журнал тем богатырем, который поборет своего противника? И может ли одна народная музыка восторжествовать в поединке с музыкой светской? Все сии вопросы, милостивый государь, надо решать разумно и к пользе вашего журнала. Всему свое место, я так понимаю, и не малая польза для любителей в публикации народных текстов. Суть в другом, дорогой мой...

Композитор помолчал и, как бы высказывая гостю свое сокровенное, закончил вполголоса:

— Суть в том, что судьбы музыки не спорами решены будут, сударь мой, и кроме музицирования есть еще композиция. И лишь новая композиция, если будет, способна решить споры о музыке. Я же стар, ныне отдаю силы духовному пению, а об опытах по новой композиции что-то не слышал.

И закончил, вставая, дав этим понять, что ничего нового гостю сообщить не может:

— Нет на Руси человека такого, нет композитора, могущего выразить своим творением народные думы. В старости убеждаюсь в этом...

Разговор был короток. Учитель музыки уходил грустный и явно недовольный хозяином дома. Полусонный лакей, похожий на драматического артиста, с тяжелым взглядом не то обведенных синеватой краской глаз, не то с синяками под глазами, медленно проводил его до парадных дверей и наклонился с такой скорбной торжественностью, словно провожал учителя отсюда в какой-то крестный, многострадальный путь.

Бодрящий морозный воздух и ослепительно белый снег, мирно лежавший на пустынной улице, словно на равнине, успокаивали расpalенное воображение учите-

ля. Он не сумел сказать Бортнянскому и половины того, что хотел, направляясь к нему. Плотнее запахнувшись в шубу, он сел в извозчиьи санки, ожидавшие его у подъезда, и велел везти себя в трактир Демута.

2

В это время поселился в Коломне, в мезонине пятистенного дома, занятого Главным педагогическим институтом, пансионер его Михаил Глинка. Ушел в Смоленск возок, привезший его сюда с родителями, уехали родители, и первый вечер провел он один, изредка выходя на заснеженную Фонтанку, в безмолвии большого города. Здесь было удивительно тихо и совсем не столичному пустынно. Одно время ему даже не верилось, что он в столице, о которой дядюшка Афанасий Андреевич и отец рассказывали, как о некоем скопище домов и людей. . .

Коломна еще застраивалась: у Калинкина моста, перекинутого через Фонтанку, неподалеку от которого помещался пансион, раскинулись купеческие дома, не отличимые от лабазов, широкие, с маленькими окошками, обнесенные тесовыми заборами. Были каменные постройки, похожие на остроги, в них сдаются квартиры вдовами-чиновницами не дороже, чем за тридцать рублей, угол с отоплением и кофею — за четыре с полтиной в месяц. Коломна — район дешевых пансионов и тихих загородных прогулок. Чиновники ходят по праздникам сюда, в конец Торговой улицы, стрелять в болоте куликов. Коломна живет отражением столицы, «ее вздохами» — так говорят старожилы. И действительно, здесь, вдалеке от проспектов, в узеньких, пахнущих чадом улочках, ютятся те, кто обездолен столицей: ремесленники, откупающиеся у господ, актеры, которым некуда податься. . .

И только дальше, вверх по Фонтанке, отсюда за шесть-семь кварталов, потянутся в ряд дома именитых людей, выложенные гранитом особняки за чугунной решеткой заборов, с будками сторожей, такими же пестрыми, как шлагбаумы, и с одинокими деревьями, поса-

женными еще при Петре, на ветвях которых провисают похожие на сито галочки гнезда.

Михаил Глинка, однако, смотрит в ту сторону, пытаясь понять петербургские контрасты. Откуда-то доносится отзвуком тихое, рыдающее пенье, женский голос выводит в соседнем доме никогда не слышанную им еще песню о покинутой сапожником Марусе. Впрочем, Коломна вся полна смутных, тревожных звуков. О чем не поют в ее домах! Глинка не может отойти далеко от пансиона, возвращается в дом и видит идущего с прогулки Кюхельбекера.

Вильгельм Карлович, прозванный в пансионе аистом за удобу свою и несуразно высокий рост, поселен вместе с ним в комнате. Стараниями отца он полностью посвящен в сокровенные дела Глинок, в заботы о Мишеле. «Мальчика надо устроить, мы надеемся на вас, Вильгельм Карлович», — говорила Евгения Андреевна, впервые вместе с сыном прибывшая в столицу. Но кому Кюхельбекер скажет о том, что и самого его надо «устроить» и что неустройство свое здесь он чувствует больше, чем Миша. В новинку и ему эти места в Коломне. Он, только что окончивший царскосельский лицей, знает больше греков и литературу, чем, вообще говоря, жизнь! И постигает жизнь, как многие, по литературе. Молодой их педагог сам, собственно, многому учится вместе со своими учениками.

Заметив мальчика, он подходит к нему и спрашивает, вглядываясь в его лицо:

— Скучаешь?

— Нет! — неопределенно тянет Глинка. — Но, пожалуй, немного грустно!

— Что ж, будем вместе грустить! — говорит он просто.

И уводит его с собой в мезонин. В одной из комнат поселены вместе с Глинкой два племянника Кюхельбекера, здешние пансионеры. Сейчас их нет и можно поговорить наедине.

Полы скрипят, как в истинно купеческих, притом новых, необжитых домах. Разве могли бы так скрипеть начищенные до блеска паркетные в покоех царскосельского дворца? Герань на окнах в их комнате испускает за-

пах тлена, и кажется им, что светится. Низенькие потолки нависают над головой, и весь дом купца Отто, в котором разместился институт, представляется деревенской избой. Впрочем, это как раз делает его более уютным.

Лежа на кроватях, они разговаривают о Петербурге. Учителю литературы — восемнадцать лет, ученику — тринадцать. Разница не столь уж велика, но главное — родство, хотя и дальнее. А общее чувство своей одиночества здесь и внутреннего неприятия дома купца Отто усиливает их близость. Кюхельбекер подробно рассказывает о лицее, и Миша как бы воочию видит дворцовый парк и небольшое озеро Царского Села с каменным шляпочным сараем, которое лицеисты прозвали «адмиралтейством», и памятник посередине озера, поставленный здесь в честь победы русского флота в Средиземном море. Кюхельбекер весело рассказывает, как однажды он чуть не потонул на байдарке в этом озере.

Да, Царское Село, которое называл Пушкин «своим отечеством», — это не их пристанище в Коломне. Там долины, луга, озера с лебедями, дворцы и парки под Версаль. Но лицейская жизнь отнюдь не пастораль, не идиллия! Кюхельбекер спокойно повествует о событиях в лицее, о Пушкине, о преподавателях, из которых некоторые одновременно преподают и здесь, в институте.

— Из них кое-кто вольнодумцы — ты поймешь это, — улыбаясь говорит Вильгельм Карлович.

Несколько лет спустя, читая «Горе от ума» Грибоедова, вспомнил Михаил Глинка осторожный рассказ Кюхельбекера об этих вольнодумцах, иначе названных в реплике княгини Тугоуховской:

... в Петербурге Институт
Педагогический — так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и безверьи
Профессоры!

Как умело ввел его в здешнюю жизнь Вильгельм Карлович, не сказав ничего лишнего, чтобы не отшатнуть от пансиона, и в то же время подготовив к тому, что здесь его ждет!..

Были среди преподавателей института люди стран-

ные, и о странностях их немало толковали между собой воспитанники — о ком беззлобно, о ком с ненавистью. Англичанин мистер Биттон, в прошлом шкипер, прославил себя малым знанием собственного языка, которому должен был учить других, и нелепым пристрастием к рисовой каше... Воспитанники могли заслужить его расположение тем, что отдавали ему свои порции каши за ужином. Француз Трипе, любитель играть в лапту, и воинственный пьемонтец Еллену были одинаково грубы и способны лишь к зубрежке. Впрочем, зубрить — значило развивать память и не вдаваться в суть предмета. Воспитанники не могли требовать ничего иного от таких учителей. Но преподавал здесь и Куницын, о нем рассказывал Глинке Кюхельбекер, — тот лицейский Куницын, которому Пушкин посвятил полные благодарности строки:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Историк Арсеньев пленил воображение воспитанников рассказами о будущих государствах, лишенных рабства, и откровенными высказываниями о том зле, которое представляет собою «крепостность земледельца».

И, наконец, Кюхельбекер, гувернер Глинки, ставший вскоре любимцем воспитанников! Им известна была его дружба с Пушкиным. Об этом поведал его брат, Лев Пушкин, учившийся в одном классе с Глинкой. О самом же Пушкине знал к тому времени весь читающий Петербург.

В стороне остался инспектор института Линдквист — его мало видели и им мало интересовались воспитанники. Втайне им казалось, что любой инспектор должен быть грозным и требовательным, на то он инспектор, а людей с этими качествами не так трудно найти. Только перейдя уже в старшие классы, стали они всерьез судить об инспекторе. Зато общим расположением их пользовался вдоволь общученный ими помощник инспектора Иван Акимович Колмаков — само олицетворение кротости и простодушия. Прозвали его «нашим пансионным утешением» и «милым чудаком». Все забавляло в этом

человеке: и сапоги с кисточками, свешивающимися с голенищ, и привычка поправлять желтый, вечно сползающий куда-то в сторону жилет, и рябоватое лицо с часто моргающими, выulptенными глазами, и милая лысинка на темени. . .

Вряд ли воспитанники верили в серьезность педагогических намерений Ивана Акимовича, но участливость его в их делах и искреннее желание помочь каждому из них были поистине трогательны. В быту он был скорее дядькой их, чем наставником, хотя отлично преподавал латынь и в первый же год учения Глинки приохотил его к чтению Овидия. Глинка участвовал в жестоком и, может быть, незаслуженном осмеянии Ивана Акимовича воспитанниками. Один из них, Сергей Соболевский, баловень, всезнайка, но, впрочем, отнюдь не пустослов и не задира, написал на Колмакова эпиграмму, начинавшуюся строками:

Подинспектор Колмаков
Умножает дураков:
Он глазами все моргает
И жилет свой поправляет.

Глинка тут же подобрал к этим стихам музыку из модных и ходких мелодий Кавоса, и эпиграмма стала песенкой. Велик был соблазн спеть ее перед лицом самого Колмакова, трудно было от этого воздержаться. И ее спели.

Но Иван Акимович нашелся. С грустью в голосе он поправил запевшего ее воспитанника.

— Не верю, — сказал он. — Следует петь так:

Подинспектор Колмаков
Обучает дураков!

Присутствовавшие при этом воспитанники бурно зааплодировали. Колмаков весь просиял и успокоился.

— Следует ли платить мне злом за добро? — сказал он Глинке.

Песенка почти вышла из обихода. Гнев и насмешки, по общему признанию, следовало обратить на других.

Глинка привыкал к пансиону. Произошло событие, оставшееся надолго памятным ему и внесшее некоторое

оживление в пансионную жизнь... Иван Николаевич считал необходимым «устроить» сына возможно лучше, ни в чем ему не отказывая, и в один из своих приездов в Петербург купил ему в подарок... новейшее фортепиано фабрики Тишнера.

Фортепиано было в тот же день водворено в комнату Миши в мезонине — случай сам по себе редкостный и обнаруживающий особое благоволение инспекции к воспитаннику, — и Миша мог теперь вдосталь наслаждаться музицированием.

Он вместе с отцом ездил на Конюшенную, в музыкальный магазин, покупать фортепиано. По дороге Иван Николаевич коротко рассказал о новостях в Новоспасском и шутливо передал о Варваре Федоровне:

— О тебе хлопочет передо мною. О музыкальном твоём развитии. Словно музыка может тебе помочь карьеру сделать! Кто-то посчитается с тем, хорошо или плохо ты играешь? Была бы голова на плечах! Но, как видишь, я отнюдь не мешаю твоим увлечениям...

И прибавил не без самодовольства:

— Глинки всегда были способны в музыке и в письме...

Миша хотел было спросить его о деде, любил ли дед музыку, вспомнил об истории с колоколами, но сдержался, показалось неудобным.

Музыкальный магазин представился ему подлинной сокровищницей, чудесной кладовой, в которой каждая вещь кажется реликвией, будь то золотая арфа, стоящая здесь на фигурной колонке, или маленький черный органчик, притиснутый в угол.

Был март, мостовую перед магазином, покрытую льдом, подтачивала весенняя капель, от извозчичьих санок пахло сеном, из кухмистерской с угла несло щами. Магазин блестел начищенными зеркальными витринами с выставленными в них чучелами попугаев, державшими в клювах небольшие квадратные тетрадки с нотами Моцарта.

Хозяин магазина, толстый немец на маленьких ножках, в белом пикейном жабо, церемонно водил Ивана Николаевича с сыном по магазину и нудно объяснял что-то, так и не понятое ими, о разнице в устройстве спинета и... клавира, о том, чем примечательно форте-

пиано Тишнера. Выходило, по обстоятельному, хотя и скучному его рассказу, что даже воронье перо, вставленное в конце тансента, которое легко трогает струну при опускании клавиша, представляет собою некое нововведение, делающее честь мастеру.

— Играть можно одинаково плохо на изрядных и посредственных инструментах, — заметил Иван Николаевич.

Немец наклонил голову.

— На посредственном играть плохо не так грешно! — сказал он. — Вы же выбираете лучшее? Стало быть, для истинного музыканта?

И заговорил о том, «какие муки претерпевало на своем пути» фортепиано, вытесняя «царственный» клавесин. И чего стоит сделать резонансную гармоническую доску. Мастер выставляет ее и под дождь и на солнце-пек, чтобы доску испытать и расщепить, а потом заполняет трещины, вклеивает в них пластинки.

Он вспомнил Баха, прислушиваясь к отзыву которого мастер дважды ломал топором свое детище — громозвучный рояль, и прочитал на память письмо придворного органиста королевы Марии-Антуанетты: «Никогда этому мещанскому выскочке не удастся развенчать благородный величественный клавесин».

Ныне в магазине стояли только «мещанские выскочки» — рояли и фортепиано.

Возвращаясь вместе с сыном в пансион, Иван Николаевич вдруг забеспокоился:

— А может, ты в действительности плохо играешь и подарок мой только услада пустому твоему рвению? Ты должен играть хорошо, иначе конфузно будет перед обществом. . . Много ли понимает в этом Варвара Федоровна? Тебе надо учиться у Фильда.

— Разве Фильд согласится, папенька?

— Пусть не главное для карьеры твоей музыка, но если учиться ей, то у лучшего мастера и на лучшем инструменте. Чтобы не конфузно было! — продолжал свою мысль Иван Николаевич, не отвечая сыну. — Нынче недорослей — сынков богатых родителей — развелось много, и все они небось побренчать на фортепиано умеют, тебе же не под стать им, тебе похвалу самого Фильда

заслужить следует, чтобы иной раз и в бомонде¹ блеснуть умением своим играть!

Свой расчет был у Ивана Николаевича на музыкальные способности сына.

Миша заметно опечалился, но не перебивал отца: не для того, конечно, он хочет учиться музыке, чтобы блеснуть в бомонде! И вообще о музыке так рассуждать — святотатство!

Собственное фортепиано в комнате пансиона во многом облегчало теперь жизнь и даже как бы приподнимало его, Мишу, над дразгами и скукой в пансионе. Игрой же своей он уже сыскал в пансионе общее признание.

Но и тут помех случалось немало: облепят фортепиано — мешают играть... Или комнату наверху займут. Хорошо было композитору Гайдну: он в таких случаях уходил на чердак с клавикордом под мышкой — таким маленьким был этот излюбленный в те годы инструмент.

Иван Николаевич перед отъездом в Новоспасское беседовал о сыне с Вильгельмом Карловичем.

— О многом наслышан, но мало что действительно умеет. Ну, да не его одного литература ведет по жизни сквозь воображение, а не опыт, — говорил помещику Кюхельбекер. — Тонок, как струна, детски чувствителен, но — это сердце! А ум! Ум весь в благородных поисках...

— Ох уж эти поиски! — с неодобрением заметил Иван Николаевич. — Что вы имеете в виду? То, что сами ищете? Вы уж, пожалуйста, Вильгельм Карлович, не рядите его в свой кафтан, не по росту ему будет...

Но тут же, сдержав себя, боясь, как бы не обидеть Мишиного наставника, осведомился:

— Он ведь молчалив? Откуда знаете о нем? Или разговаривал с вами?

— Молчалив! — согласился Кюхельбекер, также сдерживая желание осадить «благополучнейшего» Ивана Николаевича и нагрубить ему. — Молчалив и даже, пожалуй, скрытен. Но что с этого? Кто мало говорит, того больше слушаешь!

¹ Бомонд — высший свет.

Катерино Альбертович Кавос — музыкальный инспектор благородного пансиона — узнал как-то утром о примечательных способностях к музыке воспитанника Михайлы Глинки. Сообщил ему об этом синьор Калиныч, так звали слугу Кавоса, бывшего одновременно при нем его петербургским импресарио.

— Отлично берет на слух, без нот, — докладывал слуга, — но сам петь не может, слаб голосом и, кажется, грудью. Воздуху, как бы сказать, не может вобрать, некуда.

— Мал ростом? — поинтересовался Кавос. — Плохо! Портной всегда певцу шьет широкий жилет, певец — не воробей, певец — сокол, так, что ли, Калиныч? — И тут же спросил: — Богатых родителей сын?

— Ельнинского помещика, отставного капитана, — небольшого достатка и чина, да ведь иначе, сами знаете, в лицей могли бы определить сына, в Царское Село, а не к господину Отто.

Господин Отто был владельцем большого дома у Калинин моста, занятого под пансион, и этим кончалось его отношение к пансиону, но слуга Кавоса был мнения иного: ему казалось, что господин Отто не иначе как опекает пансион.

Днем Катерино Альбертович проехал в пансион. Кучер, возивший его, по привычке остановился возле театра, где шла опера Кавоса «Иван Сусанин», но композитор на этот раз не пожелал здесь сойти, он спешил увидеть новичка-пансионера Михайлу Глинку. Случилось ведь, что за год с начала занятий в пансионе не удосужился он, Катерино Альбертович, доподлинно узнать, может ли быть введен этот Михайла Глинка в музыкальные салоны столицы и представляет ли он повод для заботы о нем столичных музыкантов? А сколько раз спрашивали Катерино Альбертовича в музыкальных кругах, да и в московском салоне княгини Волконской, скоро ли порадует он их явлением молодого таланта — детищем пансионного радения? Вот в лице поэтические таланты давно объявились и затмили, говорят, своих учителей...

Приехав в пансион, Катерино Альбертович осторожно осведомился у подинспектора Колмакова о Глинке: — Музыкален ли? В чем успевает особо?

Иван Акимович, поправляя, по неизменной привычке, свой жилет, сощурился, подумал и доверительно сказал:

— Полагаю, большую честь нашему пансиону окажет по окончании. В рисованье с картона, в музыке и в науках ничем себя не проявил, но в изучении языков, в филологии больших успехов достиг и. . .

Кавос уже не слушал. Он отдавал должное желанию Ивана Акимовича в каждом из своих питомцев находить таланты, но сейчас не интересовался филологией. . . Да и кто ныне в филологии да в стихосложении не успевает и кто не пишет, не рассуждает праздно о печали, любви и общественных судьбах в мире?

— Следует послушать Михайлу Глинку на уроке или на репетиции, — предложил он.

Подинспектор засуетился.

— Сей воспитанник, — сказал он, — часто музицирует на фортепиано и очень робок на занятиях в классе. Но, конечно, узнав о вашем к нему интересе, сочтет за честь! . .

Ох уж эти увертливые и вошедшие в обыкновение слова о чести! Кавос поморщился и оборвал подинспектора:

— А классным порядком — не в чести дело, — приближенно к экзаменам, могу я этому пансионеру приказывать сыграть мне по нотам?

— Сделайте честь, — несколько удивленный раздражительностью Кавоса, быстро согласился Колмаков.

И в этот же час Глинка предстал перед Кавосом в синем своем мундирчике с красным стоячим воротником, подтянутый, маленький, со спокойным любопытством взирающий на знаменитого композитора.

О Кавосе не раз толковали при нем в Новоспасском.

— Вы учитесь у Фильда? — спросил Кавос покровительно. — Ваш отец не посоветовался с нами о том, как лучше поставить ваше обучение. Почему так? Ваши способности должны стать предметом нашего общего к вам внимания. . .

Глинка поклонился. В глазах его промелькнул на-

смешливый огонек. Разговор их происходил наедине, в опустевшем классе. За полуоткрытой дверью темнела невысокая фигура Ивана Акимовича. Подинспектор прислушивался к разговору.

— Вы имеете мне что-нибудь ответить? — спросил Кавос.

— Нет. Я благодарю вас за внимание...

Пансионер еще раз с достоинством наклонил голову.

— Может быть, имеется о чем-нибудь меня спросить?

— О контрапункте и генерал-басе, о композиции, — неожиданно проговорил Глинка, тут же пожалев о сказанном: что нового, тем более после Фильда, может открыть ему этот обрусевший иноземец?

Но Кавос уже ухватился за сказанное воспитанником и, поняв его вопрос как неосведомленность Миши в контрапункте и в гармонии, начал пространно изъяснять ему давно известные истины.

— Вы поняли? — спросил он.

— Да. Я знал это.

— Что же вас затрудняло? — удивился Кавос.

— Я не могу это объяснить... — признался Миша. — Но, может быть, есть свой у русских контрапункт, более ясный мне в игре, чем в определении.

— Русская музыка — я понимаю, но русская теория музыки — такой нет, — назидательно заметил Кавос. — И следует быть уже большим мастером, чтобы судить о теории. Юноши ваших лет должны предпочесть наслаждение самим звуком.

— Об этом не думаешь! — кротко ответил Глинка. — Наслаждение и познание разве не могут жить вместе?

— Не для вас, не в вашем возрасте. О, вы слишком юны! — И тут же, словно что-то вспомнив, предложил: — Идите отсюда. Я хочу видеть вас, мой юный друг, за роялем. У вас ведь лучший тишнеровский инструмент.

Рослый Кавос, весь в черном, с двумя шарфами, повязанными вокруг шеи, стремительно последовал за Глинкой в мезонин. Миша спешил, слыша за собой большие беспокойные шаги композитора. «И что ему от меня нужно?» — мелькнуло в мыслях.

В комнате его, на счастье, никого не было. Дмитрий и Борис занимались в этот час фехтованием. Миша вежливо остановился у фортепиано и вопросительно поглядел на Кавоса.

— Играйте, — нетерпеливо и почти грубо скомандовал музыкальный инспектор.

Миша недоуменно спросил:

— Что играть?

— По памяти, хорошо бы по памяти, без нот! — быстро ответил Кавос, усаживаясь в глубокое и единственное кресло, чуть поломанное Кюхельбекером.

— Что? — кратко переспросил Миша, сидя перед открытым фортепиано и дивясь перемене, происшедшей с Кавосом. Только что тот был мягок и участлив, теперь требователен и нетерпелив.

— Что было первым, услышанным вами в Петербурге? — присущим ему тяжеловесным слогом и с жестокостью в интонациях осведомился Кавос.

— «Сотворение мира» Гайдна.

— Играйте.

Не догадываясь о том, что инспектор попросту экзаменует его, и приписывая нетерпение Кавоса каким-то чертам, должно быть свойственным истинным музыкантам в моменты, когда заговорят о музыке, Глинка заиграл.

Он не мог не заметить, с каким напряженным вниманием следил за ним Кавос.

— Феерично! — сказал инспектор, вытирая платком руки и лицо, словно сам он только что трудился за инструментом. — Феерично! — повторил он радостно и сразу забыл недавнее свое недоверие к воспитаннику, разговор о контрапункте и даже то, зачем пришел в пансион. — С таким исполнением нельзя быть без дарования. Причем, мальчик мой, вы влагаєте в игру свой смысл! Да, Кавос, может быть более несчастный, чем вы думаете, говорит вам это, ибо он не умел мальчиком играть так.

«Несчастный Кавос?» При чем это здесь? Глинка никак не ожидал подобного конца!

— Истинно говорю вам, — Кавос стоял над ним, поднявшись во весь рост, — вы музыкант! И отныне можете спрашивать меня еще раз о контрапункте!

Инспектор пожимал ему руку и куда-то спешил, может быть от охватившего его волнения. Он быстро ушел, и Миша одиноко глядел ему вслед, скорее встревоженный порывистым его признанием, чем обрадованный им.

Вот бы Варваре Федоровне присутствовать при их беседе!

Однако ведь ни в чем не подвинулся он, Михаил Глинка, в своих сомнениях и исканиях. Пожалуй, только затруднительнее стало! И только сейчас Мише становится ясно, зачем приходил сегодня сюда Катерино Альбертович.

В раздумье он грустно покачал головой.

Перед ужином в этот день к нему пришел Мельгунов. С недавних пор Мельгунова прозвали в институте «Сен-Пьером», лишь потому, что в журнале «Украинский вестник» обнаружился прозаический его перевод из Сен-Пьера. Вот уже и в институте появились свои литераторы. Не только лицею торжествовать ныне!

Сен-Пьер пригласил Мишу послушать Пушкина.

— Новые стихи будет читать.

— Кто, он сам? — оживился Глинка.

— Конечно, брат Пушкина, Лев, — он всегда знает последние его стихи!

Глинка чуть сконфуженно заморгал глазами и пробормотал:

— Да, да, Лев читает и сам, кажется, забывает при этом, что не он их написал. А самого Пушкина слушать нельзя?

— Зачем тебе?

Глинка попытался объяснить:

— Все же, знаешь, Льву не так верить!..

— Но ведь он не переврет, не изменит ни одной строчки. Ты знаешь, как он относится к брату!

Глинка досадливо махнул рукой:

— Соболевский скорее тебя это поймет. Когда слушаешь Льва, а не самого Пушкина, то кажется, словно поэта мы так и не знаем и кто-то излагает нам мысли и чувства какого-то великого незнакомца. Я его голос хочу слышать!

— Все же пойдем к Льву или нет? — в нетерпении спросил Мельгунов.

— Конечно! — Глинка вздохнул. — Конечно, пойдем!

Вечером они чинно сидели в этой же комнате, пригласив сюда Кюхельбекера. Преподаватель литературы слушал Льва с таким видом, словно впервые услышал о его брате и вообще о стихотворениях Пушкина. Дмитрий и Борис Глинки жались в сторонке, почтительно поглядывая на гувернера.

Лев Пушкин волновался и часто хватал себя за волосы. Закидывая голову, он отрывисто читал на память, лишь изредка поглядывая на лежащий перед ним листок:

Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул.

Он оглядел собравшихся, как бы спрашивая их взглядом: разве не хорошо? — и продолжал, повысив голос:

Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя...

И только хотел было перейти к заключительным строфам стихотворения и придать своему голосу насмешливость, как товарищи опередили его и воскликнули громко, с торжеством, в один голос:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора.

Голос Соболевского выделялся в общем хоре. Глинка вторил ему низеньким своим фальцетом. Лев недоуменно глядел на товарищей, улыбаясь.

Соболевский поднялся во весь свой могучий рост, сказал наставительно:

— Не думай, Левушка, что ты один у нас передатчик его стихов...

— Но откуда же вы знаете? Брат никому их не чи-

тал! — ревниво забеспокоился Лев и тут же тревожно взглянул в сторону Кюхельбекера.

Лицо Кюхельбекера светилось тихой и спокойной грустью. Кому, если не ему, знать эти стихи, прочитанные Пушкиным накануне их лицейского выпуска!.. В этих стихах выражена была тогда жизненная программа многих близких к Пушкину лицейцев, ей следовал Федор Матюшкин, Вольховский — «Суворчик», как его звали в лицее, — и сам Пушкин. Как-то на днях в разговоре Вильгельм Карлович прочитал эти стихи Соболевскому. И с этого дня их запомнили в пансионе.

Маленький Глинка, единственный, кажется, из непосвященных в сии тайны, сказал:

— Эти слова Пушкина, я представляю, равно относятся ко всем нам.

И еще раз они произнесли хором, как бы с вызовом кому-то:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора.

Но внезапно в дверь просунулась и перед ними бесшумно выросла оскорбленная фигура подинспектора.

— Кто вас просит туда ползти? — спросил он. — Ваше дело прилежно учиться, а не размышлять праздно и преждевременно о том, что еще непосильно детскому вашему восприятию. — И тут же обратился к Кюхельбекеру: — Не думаете ли вы, Вильгельм Карлович, что чрезмерно пользуетесь полуприватным положением находящихся здесь воспитанников и можете навлечь этим неудовольствие господина Линдквиста? Что же касается меня, не посвященного в вашу систему этих бесед с ними, то прошу впредь или сообразовывать подобные беседы с программой вашего курса — творения Пушкина еще, кажется, не вошли в программу? — или... — добавил он тихо, уморительно подтянув жилет и страдающим взглядом обведя собравшихся, — ...или, — повторил он, — делать это гораздо тише!..

Он круто повернулся и вышел.

— Bravo, Иван Акимович! Отлично кончил! — тихо сказал ему вслед Соболевский.

Кюхельбекер строго остановил его:

— Стоит ли нам восстанавливать против себя милейшего Ивана Акимовича, тем более что он о столь малом просит. Надо ли было читать эти стихи хором? И относились они к вопросу о вашей карьере, о вашем будущем? Меня и Михайлу Глинку зачислили, к слову сказать, в иностранную коллегию, на дипломатическую службу, ну а дипломаты, как знаете, должны быть особо осторожными людьми. Потому надо считать, что я и Глинка особо виноваты в приходе сюда Ивана Акимовича, в шуме, произведенном нами.

Глаза его смеялись. На голове воинственно топорщился напояженный хохолок, делая еще более удлиненным его и без того длинное худое лицо. Мишин гувернер явно сдерживал сам себя, чтобы не посмеяться над происшедшим и не наговорить лишнего. Да и трудно было ему сохранять роль наставника.

Неуклюже встав с низкого кресла, упершись при этом на покатые подлокотники большими костлявыми ладонями, он сказал:

— Спокойной ночи, друзья. Идите к себе!

4

— Федор Николаевич Глинка твой родственник? — спросил как-то Лев Пушкин Мишу.

— Дальний, а что?

— Его мой брат хорошо знает и даже дружит с ним.

— А я, напротив, с ним не знаком!

— Как же так? Неужели нам знакомить тебя с твоим дядей?

— Не дядя он мне, — возразил Миша. — И родители мои с ним встречаются совсем редко.

— В хорошем обществе почтенный и дальний родственник для молодого человека — дядя, так же, как и троюродные сестры — кузины, — учил Лев. — Ни к чему твоя провинциальная точность! И ведь бываешь же ты у другого, у Ивана Андреевича, — истинного провинциала в столице.

— А Федор Николаевич не провинциал?

— Что ты? — обиделся Лев за приятеля своего бра-

та. — Ты читал ли его «Письма русского офицера»? Они совсем безыскусны, притом столь современны и широки. . .

«Безыскусность, современность и широта взглядов стали отличать столичного писателя от провинциального», — сделал для себя вывод Глинка и вспомнил Афанасия Андреевича. Всегда ли так? Может быть, потому ревниво относятся провинциальные Глинки к столичному своему родичу?

Прочем, Лев Пушкин как раз в том возрасте сейчас, когда ломается голос, характер, манеры. И самому ему, говорят, требуется эта спокойная безыскусность. В каждом неосведомленном или неуверенном мнении он склонен видеть провинциальность. И легко ли ему, брату Пушкина? . . За его ошибки взыщется вдвое.

Федор Николаевич между тем сам дал о себе знать, пригласил к себе домой коротким письмом, в котором и разрешил вопрос, может ли он считаться дядей дальнему, но все же подопечному своему родственнику.

В одну из суббот, в день, когда воспитанникам разрешены отпуска, явился маленький Глинка в дом блистательного адъютанта генерал-губернатора Милорадовича на Мойке. Его встретил в парадной сонм девушек-школьниц, только что принесших адъютанту какое-то свое прошение. Взмахивая черными своими пелеринками и большими косами, перевязанными строгими черными бантами, они пытливо спрашивали седобородого швейцара: добр или сердит гвардейский полковник Глинка?

Увидя юношу, направляющегося к полковнику, девушки приумолкли и проводили его сторожим грустноватым взором.

Чувствуя на себе их взгляды, он нервно дернул звонок у двери в квартиру и предстал перед дородной черноокой горничной, смотревшей на него сверху вниз весело и выжидательно.

— С прошением? — спросила она добродушно и певуче.

— К Федору Николаевичу, — ответил он как можно строже и значительнее. — Приглашен им.

— Войдите! — так же певуче сказала она и тут же из прихожей выглянул какой-то усатый солдат в высо-

кой драгунской шапке и с палашом в руке. Глянул на Мишу и застыл. — Как доложить? — не сводя глаз с хрупкой фигурки юноши, пропела горничная.

— Глинка. Михаил Глинка.

Он не успел ничего больше сказать, как очутился в ее руках, поднятым к потолку, куда-то над головой уса- того солдата.

— Барин, сынок Евгении Андреевны!.. — радостно сказала она и внесла пансионера в большую, всю в синем бархате комнату. Она опустила его на ковер перед письменным столом, за которым сидел в халате, такой же, как и она, веселый с виду, хозяин дома, с открытым большим лицом, и повторила восхищенно: — Радость-то какая! И не узнает ведь меня! Думает небось: что за нянька такая?

И, обратившись к юноше, смущенно поправлявшему на себе мундир, сказала, пытаясь напомнить ему какие-то события его детства:

— Сестру Насти Звягиной, песенницы твоей, ну, что у матушки Евгении Андреевны в девках была, а после барином Федор Николаевичем к себе взята, — ужель не помнишь? А концерты в Шмакове, с которых домой тебя отвозила?

Миша стоял озадаченный не только встречей, но и простотой, которая обнаружилась в этом доме в отношениях барины Федора Николаевича со своей горничной. О том, как возили его из Шмакова, он действительно не помнил: возили, укутывали зимой в шубу, ну и все тут!.. Настю же забыть он не мог. Теперь медленно он припомнил ее сестру.

— Садись, Мишель, садись! — обратился к нему, вставая из-за стола, Федор Николаевич. — Ты в столице, может, отвык от деревенских, а они по доброте своей и впрямь обидятся, если их не помнишь. Они, брат, сами всех нас помнят и к себе того требуют! Как же это ты Парашу-то, Настину сестру, запомнил?..

Лицо горничной принимало выражение обиды и недоумения. Зорко следя за юношей, она проговорила, бледнея:

— Где уж им! Небось учатся! В ученье память-то ушла.

— Помню, Параша, помню! — быстро и облегченно

сказал Миша, сразу представив себе в этот момент зиму в Новоспасском, и бег саней по лесной дороге из Шмакова, и заботливую Настину сестру.

— Ну то-то! Ну, я пойду. Позовете, коли нужна буду.

И ушла, статная и сильная, вызывая собой в юноше ощущение домовитости и покоя, неразрывного с этим большим и еще не понятным ему домом.

Федор Николаевич подвел юношу к дивану и, всматриваясь в его худенькое лицо, освещенное каким-то тягостным раздумьем, сказал:

— Хвораешь, слышать, часто? Слаб здоровьем? Меньше докторов слушай. Мне давно кончину сулили; чем не болел и гораздо слабее тебя выглядел, а вот ведь выжил, да еще и воевал зиму...

Над диваном, между двух картин из Отечественной войны, висела подаренная ему Милорадовичем золотая шпага.

— Федор Николаевич, что за прошения носят вам? — спросил Миша, вспомнив о девушках, толпившихся в парадной.

— Да ведь я, милый ты мой, за богоугодными заведениями и тюрьмами в Петербурге наблюдаю. Хорош тюремщик-то? — Он откинул голову, потешаясь сам над собой. — Ну и в субботу на воскресенье валит ко мне народу видимо-невидимо, все с просьбами. Вон солдат принимает посетителей да Параша. Чем могу, всегда помогаю, да только власть моя больше от благорасположения старших ко мне зависит...

Миша смутно знал, что по каким-то важным делам Федор Николаевич привлекается к их рассмотрению самим государем императором, а в особой следственной комиссии состоит неизменным ее членом.

— Вот недавно Пушкин ко мне и к Тургеневу обращался за помощью по делам благородного пансиона вашего. Воспитанника Соболевского дело касалось... Не довольны им. Что? Или на самом деле злокозненные разговоры в пансионе ведете? А ну-ка скажи, Мишель, не таясь? Проникло к вам недовольство?

И так просто спрашивал об этом Федор Николаевич, что Мишель, поддавшись теплоте и открытому чувству к нему, сказал:

— Арсеньева и Кюхельбекера не жалуют, а они правду о нашем государстве говорят!

— А Карамзина жалуют! — живо откликнулся Федор Николаевич. — Его-то «История государства Российского» всем льстецам пример! Читал я и удивлялся: пишет он, якобы роскошь барская создала людей искусных и в ремеслах и мастеров своего дела... А мы-то думали, что народ, сметка его, и что, напротив, простые люди барам роскошь доставили! А знаешь, что Пушкин написал об «Истории»?

И Глинка зачитал на память:

В его «Истории» — изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута!

— Как, брат, хорошо? Впрочем, Карамзина по-своему чтит Пушкин.

Глаза его залучились, засияли.

— А к чему готовишься, какое дело выберешь? — спросил он мимоходом.

— В иностранной коллегии батюшка служить велит.

— Ну, окончишь пансион — тогда посмотрим, — неопределенно пообещал Федор Николаевич. — А будет в пансионе трудно и мешать начнут — дай мне знать. Но поймей в виду, Мишель: человеку с совестью никуда от «злых вопросов» не деться, разве равнодушным регистратором добра и зла с малых лет стать. Вопросы отечественного устройства обличительны и суровы! Хочешь, Мишель, дружить со мною — будь смел и правдив. Но и что такое правда, Мишель? Глинок много, и у всех у них своя правда. Упрекнешь их во лжи — обидятся. Порядочность ныне понята как выполнение заповедей: «Не убий», «Не укради», «Не пожелай жены ближнего твоего...» А правда перед народом своим? Кто этой правде в глаза смотрит?

И, поняв, что отвлекся в сторону, зародил в юноше сомнения, которые потом трудно будет разрешить, поправился:

— Это я к слову... Обо всем этом не переговоришь, да и не знаю я тебя, не обижайся, способен ли ты к длительному размышлению. Понял ли ты меня? Лстецов и

фатов везде вижу, стало быть, не хочу их в своем доме терпеть. Будешь правдив — рад тебе, станешь манерничать — извини, скучать с тобой буду.

После такого предисловия он позвал Парашу и велел подавать к столу. Жил он одиноко, с той холостячкой, однако, бестолковой, как показалось Мише, пышностью: на дорогих, инкрустированных бронзой стульях навалены пачки книг, на диване рассыпан табак, на золоченых ризах икон в углу — лампадная копоть.

Спустя неделю довелось Мише вместе с Федором Николаевичем быть в опере и слушать «Ивана Сусанина».

Костромское село Домнино и его крестьяне представили перед зрителями в первом действии оперы. Юноша наклонился вперед и впился взглядом в артистов. Но напрасно он искал в их игре то сокровенное и известное ему с детства полное достоинства и тихого величия раздумье крестьян над своей судьбой, над жизнью. Крестьяне на сцене были суетны, «ничем собственным не осияны», как сказал ему тут же Федор Николаевич, говорили они меж собою на том испорченном языке, на каком изъясняются долго жившие при сановных господах лакеи их и дворники. Односельчане Ивана Сусанина явно не могли бы подкрепить слабеющий дух своего земляка. Нет, не от их имени, не именем народа совершает Иван Сусанин свой подвиг, по наитию верен он царю и отечеству...

Антонида Сусанина не в меру кокетлива, совсем городская девица, фривольна и порою сладка в речах, а суженый ее Сабинин галантен и речист, но, право, невпопад... И поет не то очень риторично, не то просто безграмотно, не понять:

Воспрослався в веки вечные,
Ты спаситель наш, Пожарский князь,
Ты от гибели конечныя
Нас избавил, со врагом сразясь!

Федор Николаевич наклонился к Мише и шепнул: — Досадно! Князь-то Шаховской — русский человек, а тоже, кажется, пишет не по-русски... Или в тон ему, Кавосу?

— А что такое опера, притом опера отечественная? — спросил его в волнении Миша, когда занавес опустился и зрители церемонно поднялись со своих мест. — Необходима ли ей отечественная форма, или строится она по одному принятому ритуалу? Может быть, и не вправе мы осуждать господина Кавоса, сами связав его театральными обычаями?

— Ты рассуждаешь как человек, поживший уже на свете! — улыбнулся Федор Николаевич. — Заметь, что и поляки у Кавоса — суть не народ польский, а рыцарские шуты и царедворцы. Что Кавосу до народа? И понял ли он, кто победил в нашей войне с французами? А что до обычаев, так в том-то и сила Пушкина, что вышел он поэзией своей из их плена, а музыка наша действительно все еще в плену пребывает!

Возвратившись в пансион, Миша перечитывал в эту ночь недавно подаренную ему Федором Николаевичем книгу: «Собрание народных песен с их голосами». И предисловие ее составителя о «странностях музыкальных». «Не знаю я, — писал составитель, — какое народное пение могло бы составить столь обильное и разнообразное собрание мелодических содержаний, как российское. Между многих тысяч песен нет двух между собою похожих, хотя для простого слуха многие из них на один голос кажутся. Можно себе вообразить, какой богатый источник представит сие собрание для талантов музыкальных, не токмо для Гайднов, но и для самих сочинителей опер, какое славное употребление могут сделать они из самой странности музыкальной, какая есть в некоторых песнях наших».

А вот же не сделал этого Кавос! Или в музыке, подобно тому как и в политическом строе, неизбежно нужна своя революция и от него не отделима? Поэзия — в существе и в форме своей — революцию эту сейчас переживает, об этом Вильгельм Карлович говорит. А в музыке? Что в музыке? И примут ли народность ее как явление желательное, но не обязательное? Об этом молчит составитель сборника. Мог бы сказать за него Федор Николаевич и Кюхельбекер. Может быть, еще скажут...

Грустный день сегодня для Миши — день посещения им «Ивана Сусанина». И странно, сквозь досаду на Кавоса проступает жалость: не кажется он тупым царе-

дворцем, угодливым и льстивым, этакий хлопотун и ревнивец в музыке. И рассуждает ведь о простонародных напевах, о роли их, а не дано ему их понять, как глухому. Вот еще странность!

Глинка тушит лампу и ложится в холодную постель, прикрытую пуховым одеялом, привезенным из дома. Сейчас это одеяло будит тоску по дому, по матери. Одинок и холодно в столице, а еще холоднее в эту ночь в пансионе! Во всем виноват Кавос! Да, если бы была та, по-новоспасскому сердечная, неизведанно крылатая, истинно народная музыка. Она бы согрела!

Борис и Дмитрий — смоленские Глинка — мирно спят. Из коридора слышны шаркающие шаги и громкое позевывание дядьки Семена. В окно светит холодная, остановившаяся над самым Калинкиным мостом луна и заливает своим светом как бы сжавшуюся на морозе пустынную Фонтанку.

5

Весна размыла дороги, и возле дома господина Отто экипажи и возки ныряли по ухабам, как по волнам. А по Неве, развернув по ветру флаги, плавно шли торговые шхуны, и лоцманы, стоя на борту, раскланивались перед прохожими. С моря бил ветер, раздувал бахрому извозчичьих карет, косынки мастериц, спешащих по улице, и хлопал ставнями в пансионском мезонине. В воздухе вместе с бодрящим запахом моря плыл откуда-то тонкий аромат распускающихся деревьев, сирени и липы — должно быть, из наглухо закрытых заборами пучеческих садов.

— Сиги волховские, сиги! — кричали разносчики с корзинами на голове, оттесняя на углах сбитенщиков, молочниц и торговцев взмокшими, отсыревшими под полотенцем блинами. Дворники размашисто счищали снег, и всюду, куда достигал взгляд, прибавилось, казалось, веселой расторопности и движения...

Появился во дворе пансионского дома шарманщик, в драном картузе и гарусном шарфе, и с ним обезьянка в тирольском платье, верхом на пуделе. Шарманка залилась: «По всей деревне, Катенька...», обезьянка загар-

цевала на пуделе, а из оконных створок полетели вниз гроши, булки и пряники. Безмолвствовали только этажи, в которых с обычной зимней чинностью продолжались занятия, где, слушая одним ухом шарманку, читал в это время Михаил Глинка касыды Саади учителю персидского языка Джафару.

Так весной преобразилась Коломна. Старший Пушкин живет в Коломне, недалеко от пансиона, уже не раз он заходил в мезонин к Льву, стремительный и легкий, разом осиливал узкую крутую лестницу наверх, но никак не доведется Мише увидеть его.

Но наконец, когда меньше всего ждал он встречи с ним и будни тянулись в однообразии весенней распутицы, перебиваемой изредка вьюжными холодными ночами и заморозками, Пушкин явился сам. . .

С ним был Лев, и оба брата, курчавые, статные и необычайно подвижные, стали на пороге его комнаты. Он же кормил кролика, высвободив его из клетки, и теперь смущенно запихивал его опять в клетку.

— Где Вильгельм? — спросил старший Пушкин, оглядывая Глинку голубыми ясными своими глазами, — взгляд их слишком ребячески мирный для твердого, упрямого подбородка и невеселой, даже чуть скорбной складки губ. И тут же поправился, поклонившись: — Вильгельм Карлович? Где он?

Можно ли так просто именовать при пансионерах их наставника!

И Глинка ответил:

— Не знаю. Он у меня не был.

И укоризненно глядел на Льва: «Познакомил бы сперва! . . .»

Лев Пушкин понял его и поторопился исправить ошибку:

— Я хотел представить тебе моего товарища Михаила Глинку, — сказал он брату. — Отличный музыкант и твой почитатель!

— Вот как! — последнее замечание он не принял всерьез. — Кюхельбекер ведь ваш гувернер! — Искорка смеха пробежала в его глазах. — А ведь мы думали в лице, что никому не нужен так наставник, как самому Вильгельму Карловичу, — я разумею не знания его, а характер. . .

Он протянул руку и рассеянно обронил:

— Пушкин.

— Садитесь.

Глинка подвинул Пушкину кресло и взглядом показал Льву на кровать.

Они присели, и Пушкин тут же спросил:

— Скучаете? В пансионе куда свободнее, чем в лицее! Егор Антонович¹ считал, что нет ничего полезнее молодым, как провести взаперти шесть лет!

— Но ты полюбил эти годы, а Дельвиг написал песню в честь проведенных в лицее шести лет, — заметил брат. — Наш же пансион, право, пока любить не за что...

И добавил с грустью:

— Не будь лицея, не знали бы мы, что плохо, что хорошо в преподавании. Спасибо лицей! От него знаем!

— Так ли уж знаете? — покосился на брата Пушкин. — Из рассказов Кюхельбекера, что ли?

— Вильгельм Карлович много мне о лицее рассказывал! — подтвердил Глинка, внимательно слушая Пушкина. — И... о вас...

— Ну и зря! — добродушно сказал Пушкин. — Языку русскому, во всяком случае, не в лицее обучен, у народа учился, у простых людей...

— А музыке? — быстро спросил Глинка.

Возбужденность его не ускользнула от Пушкина. С кажущейся небрежностью он повторил его вопрос и ответил немедленно:

— Музыке учил нас Тепер де Фергасен — человек несчастный, но образованный и большой оригинал. В Царском Селе у него был свой домик, мы бывали у него запросто по вечерам и музицировали. Скажу вам лишь, что и поэзии нашей и музыке одинаково прививают чуждые их духу законы, толкуют, например, о мнимой неспособности языка нашего к современному метрическому стихосложению, ну, а в музыке я не знаток, в ней придерживаются того, что сказали итальянцы, а они, как корсары в море, захватили наши театры...

И тут же спросил Глинку:

— Песни Кирши Данилова знаете? Хорошие песни!

¹ Е. А. Энгельгардт, директор Царскосельского лицея.

И задумчиво добавил вполголоса:

— Корсакову и Яковлеву — товарищам моим по лицею — весьма я обязан тем, что включили они и мои некоторые стихи в песенники, имею в виду романсы «К живописцу» и «Под вечер, осенью ненастной». Однако не вижу, кто бы вполне мог помочь соединению нашей поэзии с музыкой. . .

И тут же сказал брату, как бы освобождаясь от охватившего его раздумья:

— Обо всем этом на досуге никогда не прочь поговорить с приятелем твоим, коль он того пожелает, но сейчас надобно нам искать следы неистового нашего Кюхли.

— Пойдем! — согласился Лев Пушкин, вставая.

Прощавшись, они ушли.

А вечером Лев осторожно сообщил Глинке:

— Брат очень беспокоится о Кюхельбекере! Ты заметил? И искал он его по безотлагательной надобности. Что-то неладное с Вильгельмом Карловичем. Начальство хочет отрешить его от нас. Существует, Мишель, говорят, тайное общество, замышляющее свергнуть царя и объявить в стране конституцию. И сколь многое неизвестное нам происходит ныне! . .

Лев Пушкин снисходительно-насмешливо оглядел зал, где они находились, с окнами, выходящими на Фонтанку, словно хотел сказать: «Что стоит все это по сравнению с тем, что я знаю!» — и закончил:

— Ты, Глинушка, не робей. Я чувствую, ты тих да смирен, но тверд волей. Соболевский противоречив, Маркевич скрытен, но и ты не менее. . . С виду тебя сразу не поймешь, кажешься рассеян, а между тем внутри в кулак собран. Так вот, если будут в пансионе клеветать на Вильгельма Карловича, — все мы должны помочь ему, все! Лекции его большое неудовольствие вызвали, и говорят о них всякое. . . Так вот, птичка-невеличка, в тихой Коломне нашей не так уж тихо! А брат понравился тебе?

И с откровенной гордостью, не сомневаясь в ответе, он поглядел на товарища.

— Он подтвердил то, что я сам думал! — помедлив, сказал Глинка.

— Как это? — хотел было обидеться юноша, пред-

ставив себе, что этим самым брат его не сказал ничего нового...

— О музыке! — пояснил Глинка. — О песне! И теперь мне стало легче. Словно я гору взял с разбегу, понимаешь?

— Понимаю! — успокоился Лев. — В поэзии и в музыке цели могут быть едины, но брат не очень доверяет композиторам, знаешь! А музыку он любит скрытно и горячо, пожалуй, не меньше, чем ты.

Звонок к ужину прервал их разговор.

Кюхельбекер не появлялся долго... Иван Акимович с унылой вежливостью поведал Соболевскому, что учитель их «не только масон, но и большой путаник», и есть секреты, которые не должно знать воспитанникам, но которые и держат сейчас Кюхельбекера в отдалении от института.

Оказалось, как узнал Глинка позже, Вильгельм Карлович заслужил высочайшее неодобрение одной из своих лекций на стороне, особенно же стихами своими в одном из последних номеров «Соревнователя». Кюхельбекер получил предложение занять кафедру русской словесности в Дерптском университете, но сейчас, кажется, польстился на несколько унижительное, но освобождающее его от политических подозрений предложение... стать секретарем обер-камергера Нарышкина.

В пансионе он уже пропустил несколько занятий. Дмитрий и Борис Глинки беспокоились больше всех о своем гувернере. Миша хранил молчание. В начале года был у него разговор с Кюхельбекером о совместной поездке в Смоленск и в Новоспасское на время каникул — теперь планы срывались.

Приезжал Кавос и интересовался успехами Глинки у Фильда. Неоднократно наведывался дядя Иван Андреевич, а по субботам приходилось бывать у него, в доме у Львова или у Федора Николаевича.

Во всех впечатлениях этого года было много смутного, плодящего тревогу, и явно «невпроворот» наслаивались эти впечатления одно за другим. В пансионе Маркевич, самый, пожалуй, методичный и спокойный из близких здесь Глинке, затеял учредить общество

«Малороссиян» для изучения малороссийской старины, фольклора и музыки. И в это общество, правильное бы назвать «кружок», вошел и Глинка. Немало было предложений познакомиться с масонами и с историей масонства, приглашали его для этого к какому-то старому адмиралу, к родне некогда маститого сановника. Распылить свое время оказывалось так легко. . .

Петербург все больше захватывал пестрой и шумной своей жизнью. Довелось быть с дядей Иваном Андреевичем у кузин своих, доселе незнакомых, в их радушном веселом доме на Невском, и в трактире «Капернаум», где собрались в тот день музыканты-самоучки. Здесь видел Глинка слепого Кашина и строгого незнакомца, прибывшего из Астрахани, издателя «Азиатского музыкального журнала». Незнакомец выглядел уставшим и раздраженным. Полы его шубы были обношены, а высокие сапоги покоробились, заметно, что он много ходит и чего-то пытливо ищет в столице. По тому, как внимательно он слушал слепца и недоверчиво глядел на собравшихся, Глинка вдруг почувствовал, что у него, пансионера института, есть что-то общее с этим угрюмым пожилым человеком. словно оба они ищут чего-то одного. . .

Миша наклонился к Ивану Андреевичу и спросил его о странном этом посетителе, и дядюшка с живостью сообщил о нем все, что слышал, сказав и о посещении им Бортнянского и о журнале, издаваемом в Астрахани.

— Ходоки! Музыкальные ходоки к нам, в Северную Пальмиру, — благодушно хихикнул Иван Андреевич. — Ты еще не знаешь, Мишель, этих людей. Следующий раз я покажу тебе «итальянщиков» — музыкантов из Италии разных чинов и рангов, от бродячих до тех, кого сама Великая Екатерина к себе приглашала.

Но в следующую субботу Иван Андреевич прихворнул, и Миша, с нетерпением ожидавший этого дня, провел его не без пользы у музыканта.

Учитель приоткрывал ему завесу над тайнами музыкальной композиции и, зная о том, что волнует его ученика, внушал тоном сказочника, повествующего о древности:

— Великое слово «квартет» звучит для слуха понимающего его как гимн. Само слово, мой молодой друг,

«квартет» — это высота музыкального гения, что рыцарский замок на горе. . .

Почему в воображении учителя возник рыцарский замок, Глинка не понял, но и не посмел бы об этом спросить. Учитель сбросил с плеч черную свою пелеринку, как бывало с ним в минуты волнения, и, оставшись в одной длинной рубашке, подпоясанной шнурком, подвел его к изображению каких-то чинно сидевших в три ряда музыкантов. Гравюра эта висела в непомерно тяжелой раме на стене.

— О великий Моцарт! — сказал Фильд. — Он тут сидит среди людей малодаровитых, как и пристало сидеть гению, и составляет с ними квартет. Он учится понимать гармонию звуков. Попробуй же понять эту гармонию и ты. Слушай же меня. Квартет — это пробный камень для композитора. Казалось бы, композитору, способному соединять воедино много голосов, вокальных или инструментальных в оркестровом исполнении, как не справиться с четырьмя партиями в квартете? А между тем ты, гений, — Фильд грозно наступал на ученика, и голос его дрожал, — ты бываешь бессилён. Как трудно создать тебе независимое и самостоятельное произведение, чтобы под творческим дыханием твоего гения любовь и ненависть, радость и отчаяние одушевили четыре звучащих куска дерева. Скрипка будет испускать стон, альт глухо вздыхать, виолончель поднимет к небу орошенные слезами глаза. То возникнет перед нами инструментальный драматический квартет — иначе говоря, опера без действия, без слов, без певцов. . . но в лицах-невидимках. И ты один, ты, гений, в силе повелевать им!

Фильд задыхался. Михаил Глинка усаживал учителя в кресло, подносил к разгоряченному его лицу стакан с водой и боялся, как бы эти сокровенные рассказы о квартете не кончились бы для Фильда ударом.

Прошла весна, сырая и дымная, — в тот год гарь лесных пожаров проникла в столицу, и вот нежаркое петербургское лето с белыми ночами, со штормовой

свежестью моря словно спустилось наземь с холодных, задернутых туманом небес. И в проясненном небе медленно поплыли над равнинами площадей и проспектов косяки птиц откуда-то с Ладоги к югу.

С Казанского собора гулко ударил новый, на днях повешенный колокол. Михаил Глинка вслушивался в благовест и вспоминал перезвоны новоспасских колоколов. Все более замедляя шаг, Глинка шел по Невскому. Казалось, солнечные блики и легкие тени колышутся от ударов колокола. Движение на Невском замерло, и не один Глинка забыл, куда направлялся... Остановились кареты и пешеходы. Кучера медленно снимали шапки и широко крестились. Длинные кнуты их свисали с козел, похожие на заброшенные удочки. Было слышно, как кони лязгают удилами и бьют подковами по торцу.

— Чудесно! — сказал стоящий около Глинки какой-то хилый чиновник в мухтаровом сюртучке, с розой в петлице.

— Чисто гудит! — одобрительно заговорили кучера, снова надевая шапки и трогая лошадей. Глинка присел на приступочку дома и слушал, забывшись. Раскатистый звон колоколов парил в небе. Били с Исаакия. Глинка сидел и улыбался.

В таком блаженном состоянии застал его здесь Мельгунов, чинно проходивший по Невскому.

— Это ты, птичка-невеличка? — с изумлением сказал он, глядя на товарища. И, стряхнув с форменного его мундира пыль, увел его отсюда. — Чему ты так радуешься? И давно ты сидишь здесь?

Глинка не отвечал и покорно следовал за товарищем.

— Меня отец за границу с собой берет на каникулы, может быть, Париж увижу, — говорил Мельгунов оживленно. — А ты куда, Глинушка, этим летом?

— Куда? — озадаченно переспросил Глинка. — Ну постой, куда же? В Новоспасское. В деревню!

— В деревню! — снисходительно повторил Мельгунов. — Что там делать?

«Там матушка, там сестры, там песни поют», — хотел было сказать ему Глинка и застеснялся: что Мельгунову

до песен, до Новоспасского? Как поведать ему о тишине новоспасских полей и о том, чем чудесна Десна летом?

— А я думал, ты уже большой стал и совсем серьезный, — проговорил Мельгунов, когда они подходили к Фонтанке. — Думал, что вырос Глинушка в пансионе, а, оказывается, ты совсем дите и способен сидеть на камешке, на Невском проспекте, как пастушок на лужку. Со своей дудочкой. Эх, ты!

Глинке представилось, что действительно он чем-то осрамился сегодня перед товарищем. И не станет ли странностью его способность любить эту Северную Пальмиру, столь много открывшую перед ним, и в то же время тянуться к сельской тишине, к лесной таежной глуши? ..

Каникулярное время — всего лишь один месяц, июль. Вот уже прибыла карета из Новоспасского, мещанской запряжкой в две лошади, как считается здесь, в столице. На козлах сидит молодой кучер Игнат Саблин, взволнованный важностью возложенного на него поручения — привезти домой барчука, и простосердечно говорит:

— Вы уж, Михайла Иванович, сами покажете мне дорогу. Очень я боюсь вас везти, как бы не случилось чего и не сбиться мне на улицах! И тут еще напасть... — Он озадаченно чешет за ухом. — Велено мне, коли ваше позволение будет, родных повидать, деверь на Миллионной поваром в услужении, за девятнадцать целковых новому барину продан.

Глинка слушал его с недоверием. Был Саблин важен собой, строг, хотя и молод, с той особой проясненностью и вместе с тем лукавой хитринкой во взгляде, которую уже приходилось юноше замечать у новоспасских мужиков. Все они казались посвященными в большие дела, а выдавали себя подчас за простаков. Глинка с любовью глядел на кучера, на карету — хотелось погладить ее гладкий кожаный верх, блестящий словно лакированный, а в мыслях стоял Векшин. Помнят ли его в Новоспасском? Странно и даже несколько обидно казалось, что обходятся без него, что возит теперь Глинок этот новый речистый кучер.

И вскоре, напутствуемый товарищами, так и не дождавшись прихода Кюхельбекера, выехал Глинка из Коломны на каменистый, ведущий из города тракт. Ехали они мимо главных проспектов, которых так боялся кучер, миновали мосты и площади, обойдя их стороной, и прямо из Коломны попали на привольный простор низких некошенных лугов. И хотя далек был путь до Ельни и не очень резвы оказались порядком уставшие лошади, неделя, проведенная в дороге, промелькнула, как один день. Все было интересно на этом пути: и тихие, приткнувшиеся возле лесов деревеньки, излучавшие на солнце дремотный дымок из невидных, ввалившихся внутрь печных труб, и озорные жеребцы, со ржаньем носящиеся по комковатым печальным полям, чтобы рассеять на ветру свою застоявшуюся силу. «Тишина и сила, — говорил себе благородный пансионер, трясаясь в карете, обложенной старенькими подушками и коврами, — ведь в этой тишине неразгаданная народная сила!»

Встречались помещичьи коляски, и каждый раз Игнат Саблин круто заворачивал своих лошадей.

— Лучше уступим, Михайла Иванович, — говорил он. — Ишь сколько господ едет, а мы с вами одни. . .

Из колясок слышалась французская, «вертопрашная», как говорили в народе, речь, а из окон глядели, словно с какой-то картины в раме, завитые головы старух в буклях и сползших на лоб чепцах, рассеянно-добрые лица детей и оскалившиеся морды болонок.

Ночевали в помещичьих домах, а то и на лугу под небом. Глинка выпытывал у кучера новоспасские новости и как живут в деревнях.

В одну из теплых ночей, устроившись на ночлег в постоялом дворе, они разговорились.

— Восьмой год, как Бонапарт ушел! — рассказывал Игнат. — Считайте поэтому, Михайла Иванович, что иным всего восьмой год ударил, заново обстроились, огляделись. . . Папеньке вашему, конечно, достатку прибавилось не по восьми годам, ну а мужику — его год дольше тянется. О том мужике, которому нынче годов двадцать минуло, говорят: «Двенадцать, стало быть, до Бонапарта было. . .» С этого и счет ведут!

— Мне, выходит, всего лишь шестой пошел, — усмех-

нулся Глинка необычному этому исчислению, — а тебе, Игнат?

— Я женатый, барин! — не без гордости отвечал кучер. — А женатый всегда старше. Считать же по писаному не знаю как, матери нет, отец убит Бонапартом, а бабушка счета не найдет, когда родился, — забыла. Я вас, барин, о другом спрошу. Скажите вы мне, ради Христа, правда ли, что звезды движутся? Есть у нас в деревне старик, не находит он звезду на старом месте и сильно по ней убивается. Всю жизнь она была при нем ночью. И еще скажите, барин, правда ли — только батюшке вашему об этом не извольте передавать, — будто в городе господа сильно между собою не ладят и офицеры присоветовали царю дать волю крестьянам...

— Может быть, и так, Игнат, — уклонился от ответа Глинка. — Что касается звезды, которую твой старик потерял, — не знаю, что и сказать тебе. Она светила ему по-особенному, что ли? А воля будет, Игнат, будет. Сам чувствуешь, что раз мыслью народ на волю выходит — не удержишь его...

— Старики иное говорят, Михайла Иванович.

— Что же они говорят, Игнат?

— По-ихнему, как бы сказать, сами господа должны победнеть, ну и подобреть, что ли. Припугнуть их надо! В войну-то мужики много за них стояли...

— Побойся бога, Игнат, что говоришь? — вознегодовал Глинка.

— А чего же, барин? Али что-нибудь сказал не то?

— За Русь они стояли, Игнат, не за господ...

— Во как! — согласился тут же кучер. — Да ведь я иначе и не думал. Господа — что же, господа везде... И по мне, как без господ? ..

И, помолчав, спросил:

— Барин, и Сусанин, стало быть, не за царя, а за всех нас жизнь отдал. Так я понимаю?

— Кажется, так, Игнат.

— Вот и хорошо, барин. Так и надобно. И о нем никто не споткнется на добром слове.

— А ты знаешь, Игнат, о Сусанине? ..

— Как же, барин! А в нашей-то деревне старик из их рода жил. Нынче без вас какие-то люди приезжали

из города, о нем выпрашивали, кто что помнит о самом, об Иване.

«От Кавоса небось, — догадался Глинка. — А может быть, Хмельницкий, драматург, из Смоленска? Он хотел писать о Сусанине».

И тут же Игнат Саблин, словно в подтверждение его догадки, прибавил в раздумье:

— От сочинителя, люди его. Только фамилии не помню. А чего они, барин, пишут о Сусанине в книгах-то? Эх, если бы уразуметь грамоту! При мне старик один в споре Сусаниным клялся, и как помянул его, так все поверили. . . Что он сделал такое, Сусанин? Царя спас, государство? Он себя спас, барин. Совесть свою. От трусости. Душу свою спас, так и священник толковал, барин. И теперь среди мужиков он — как мужицкая наша совесть. А ведь хитер был, — усмехнулся Игнат, — и нашим, что при Бонапарте хитрили, не уступит. Он ведь спервоначалу, как пришли к нему ляхи, за стол их садил, чтобы время выгадать. . .

И кучер во всех подробностях рассказал Глинке все слышанное о Сусанине.

Наутро тронулись в путь. Уже остались позади Холм и Торопец, все уже становился тракт, стиснутый с обеих сторон лесами, все голосистее и сумрачнее доносились из леса песни, и казалось, приближалась пора, когда должна была упереться карета их в глухую лесную стену, за которой дальше не будет дорог. Но показывался впереди лесной тупик, неожиданно где-то открывалась в лесу вырубленная прогалина, и в ее тенистую прохладу весело вбегали кони. Еще день — и карета в Новоспасском. Был вечер. Игнат Саблин лихо остановил коней у барского дома, и тут же чьи-то руки мягко схватили и словно насильно вытащили юношу из кареты, и тихий, непередаваемо добрый голос матери прозвучал над ним:

— Наконец-то! Мы заждались, Михайлушка. . .

Устроили его в комнате, предназначенной для гостей, рядом с Варварой Федоровной, но он перебрался в детскую и долго сидел среди сестер, любуясь их живостью и тем, как в один голос хлопотливо рассказывали они ему о себе. И легче всего, оказывается, узнаются новости от детей. Как ни стеснено воображение

сестер строгостями, заведенными с недавних пор в доме, уроками Варвары Федоровны, синьора Тоди и новой гувернантки, жены музыканта Гампеля, — они успевали побывать в деревне, следить за тем, кого приводит с собой отец и о чем говорят взрослые. А старшему брату всегда доверия больше. Поля шепнула ему:

— Я знаю, где в лесу клад лежит!

— Чей же? — в тон ей, серьезно спросил он.

— Каретника Векшина. Он от французов спрятал.

— Вот что! Помню его! — он кивнул головой.

Что творит, оказывается, людская молва о Векшине!..

Наутро Михаил Глинка предстал перед всеми домашними в новом институтском своем одеянии, сдержанный, стройный, грустновато-строгий. Мать заметила, что он стал ласков к людям и созерцателен.

Но зато, когда был весел, веселостью своею увлекал всех и смеялся до упаду, так простодушно и заразительно, как может смеяться только человек отрочески чистой души. Про него Настя сказала Евгении Андреевне в этот день: «У нашего Михаила Ивановича грехов нет». Мать поняла ее по-своему: «И мудрец и ребенок». Но характер его оставался еще для Евгении Андреевны непонятен: не очень ли добр, беспечен и может ли за себя постоять? Вспоминалось ей, что говорила покойная бабушка Фекла Александровна о ней самой.

Ивана Николаевича дома не было. С посыльным прислал известие, что навестит сына в столице. Где-то в Харькове, на конной ярмарке, обретался в эти дни удачливый новоспасский помещик, увлеченный беспроегрышным пока «негоциантским» своим делом. Евгения Андреевна сказала сыну, что отец очень занят делами и мало бывает дома. И, вздохнув, прибавила:

— Ты ведь старший. Ты помнишь об этом?

Он молчал.

И, как старшему из детей, она сказала доверительно:

— Отец слишком привык быть в отлучках, и можно подумать, что там ему лучше, чем в нашей деревне. Впрочем, Афанасий Андреевич говорит, что ныне повелось так: одни живут деревенским и дают средства на то, чтобы другие жили всем городским. Отец не очень здоров, Мишель, он располнел и жалуется на тяжесть

в сердце... Все от беспокойств. А надо ли ему так беспокоиться о... чужом, о конских базарах, о мельницах, о заводах. Говорят, Англия отказывается покупать у нас хлеб, и теперь помещикам нашим труднее будет его сбывать. Но что с того?

Верная себе, она не очень ясно представляла, чем, собственно, занят Иван Николаевич.

Дядя приехал из Шмакова, неузнаваемо тихий и словно в чем-то виноватый перед людьми. Он сильно постарел и ходил теперь, опираясь на палку. Только тот же прямой, нетерпеливый взгляд и не померкший еще насмешливый огонек в глазах из-под седых бровей выдавал в нем прежнего Афанасия Андреевича. Дядя привел его в гостиную, запер двери, сел рядом с племянником на диван и ревниво спросил:

— Глинок всех повидал?

— Сергея Николаевича не встречал, в Москве он.

— «Издателя», стало быть, не видел? Так! А Федор Николаевич все в гору идет? А Иван Андреевич забавляется? А Григорий Андреевич? Не видал? Его ведь Каграмзин любил.

Расспросив о Петербурге, он положил тяжелую руку на колено юноши и сказал с болью в голосе:

— Я нынче тебе, Михаил, важное свое решение открою, тебе на пользу. Слушай. Все, что я до сих пор делал, как музицировал, как жил, — все это оказалось сушей чепухой!

И, заметив недоумение и протестующее движение племянника, он предупредил его:

— Не перебивай и слушай. Глинки из Суток, из Ельни в большинстве своем не были лежебоками и тюфяками. Тому и причина есть. Заметь, что сутокское ремесло славилось в Петербурге и даже помечено в учебниках отечественной географии — «изделия крестьян». Однако дело не в том, еще Ломоносов говорил:

Кто родом хвалится, тот хвалится чужим.

Глинки, сделавшие, мой друг, отечественную литературу, пошли вперед и оказались вровень с веком, я же — пойми меня — остался лишь досужим исполнителем, верным Хераскову и Сумарокову — духовным учителям моим. Разве не мог я уйти отсюда, из лесов, на то же

поприще? Нет, дух любителя и свободного ценителя муз задержал меня. Не вступать в спор, а думать наедине хотел я, но только там, на поприще борьбы, можно быть, даже наедине с собой, зрелым, иначе уподобишься праздному российскому рассуждателю, каких немало, волонтеру в искусствах. «Дворянство — тень великих людей, — размышлял я, — и дворянину постыдно быть игроком на сцене». Он, Сумароков, меня пленил, — возвысив голос, словно исповедовался Афанасий Андреевич. — С его разумом и сейчас подхожу к критике созданий Глинок и иных петербургских поэтов. Помнишь ли стих его «Недостаток изображения»:

Трудится тот вотще,
Кто разумом своим лишь разум заражает,
Не стихотворец тот еще,
Кто только мысль изображает. . .

Бессмертные слова! Потому и не хотел умножать их ряды, друг мой. Они же умножили и определили. Поэтому говорю тебе: дух любительства, презрения к свету и ложного бескорыстия пагубен для истого дарования, пагубен будет и для тебя, Михаил. Век требует своего. Ныне якобинцы толкуют о равенстве людей так, словно до них никто о том не думал, хотя еще Херасковым сказано о том обществе:

Где каждый человек другому будет равен?

Но старое остается лишь в разумении летописцев, а все потому, что не так старые люди жили и действовали. Ты понял меня, Михаил? Так вот, отказался я и от своего театра и от своих статей. . .

Михаил Глинка молчал. И лишь когда дядя дважды повторил свой вопрос, ответил нехотя:

— Кажется, вы, дядюшка, правы во многом, и все же боретесь с ветряными мельницами. Глинки ничуть не опередили вас в искусствах, если требовать от искусства того, что хочет от него новый век. Право, перед стихом Пушкина стих всех Глинок наглядно убог!

Дядюшка больше не вступал в спор. Он выговорился и, кажется, обрел теперь необходимое равновесие. Он просил лишь запомнить месяц и день, когда открыл

племяннику «свое решение», и, стуча палкой, ушел в гостевую комнату, отдохнуть с дороги.

Варвара Федоровна скорбно спросила воспитанника своего за обедом:

— Мишель, вы помните, мы с вами играли в четыре руки Кугеля? Почему до сих пор, с того дня, как приехали, вы не попросили меня сыграть с вами снова?

— Я хотел это сделать сегодня! — чуть потупившись, ответил он.

— О, я знаю! — сказала она, вздохнув. — Вы учитесь у Фильда. Вы знаете Кавоса!..

При этих словах он прыснул со смеха. Вот кого помнянула: Кавоса!..

— Ну как же, творца отечественной оперы. Есть ли у нас более патриотическое произведение?

Он помрачнел и, словно сразу устав, сказал кисло:

— Я действительно, впрочем, разучился с вами играть в четыре руки и теперь, пожалуй, не сумею...

И за две недели своего пребывания дома он ни разу не сел с ней за фортепиано. Варвара Федоровна пожаловалась Евгении Андреевне:

— Я не знала, что Мишель бывает строптив и что Кавоса не так ценят в столице!

— Строптив? — повторила Евгения Андреевна, словно обрадовавшись: вот он и не безгрешен! — Это хорошо. О Кавосе же не знаю, что вам сказать. Конечно, у Миши уже воспитываются свои вкусы! Да и в столице небось все иначе, чем у нас!

«В столице иначе!» — к сознанию этого привыкал, находясь дома, и Михаил Глинка. Каникулы уже не были безмятежным отдыхом. Вспомнились разговоры с Кюхельбекером, с Соболевским, с Львом Пушкиным. Глинка далек был от какого-либо осуждения Варвары Федоровны и той почти безгласной, хотя и непринужденной обстановки, которая царила в новоспасском доме в отсутствие отца, но уже ясно понимал, что отдаляет его от родительского поместья. Судьбы расходились. Жизнь Глинок, среди них и Афанасия Андреевича, только теперь становилась ясна, освобожденная от иллюзий целомудренного покоя. Приходили на ум стихи Батюшкова из не раз читанных в пансионе «Моих пенатов»:

Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливым. . .

Михаил Глинка не мог не признать, что, по его мнению, эта счастливая безызвестность имеет свою прелесть. Но и только.

Каникулы кончились, и тот же кучер Игнат Саблин вскоре увозил задумчивого и опечаленного разлукой Глинка в столицу. Мать опять сказала, прощаясь: «Помни, ты старший. Тебе ни в чем не откажем, но от тебя многого ждем».

В Петербурге все еще стояли хорошие, ясные дни. Колокола Казанского собора гудели спокойным, «бархатным» звоном. Глинка знал, что малиновый звон неисчислимых московских звонниц более drobный, суетный, буйный. Во всяком случае, колокола бодрили!

Осень в этот год запаздывала. В августе Коломна выглядела еще более по-домашнему: привольно гуляли, облюбовав зеленые берега Фонтанки, дворовые, приказчики и третьей гильдии, богатевшие на мелочной торговле, купцы. Державный город с его чинными фронтонами домов и закрытыми глазу особняками начинался дальше, за несколько кварталов отсюда. В небогатой Коломне было непринужденнее и веселее.

Тем неожиданнее было строгое новшество, введенное в институте. Инспектор Линдквист заявил воспитанникам, что отныне приватное пребывание в пансионе отменено, ибо признано не отвечающим целям высокого этого учреждения. И предупредил: не только в этом, но и в остальном порядки отныне будут более суровыми!

Произошло ли что-нибудь за лето, или виной этим строгостям какие-нибудь не ведомые воспитанникам события в столице?

Спросить было некого. Товарищи по классу еще не вернулись, Соболевский и Мельгунов опаздывали.

Глинка поместился с новичками в общей, «казенной», спальне, выходившей окнами на Фонтанку. Белье и одеяла на постелях были грубые, серые, под один цвет. Поговаривали о том, что весь пансион будет переведен в район квартирования Семеновского полка, на Охту.

О московском дядюшке — Сергее Николаевиче — Мише довелось слышать много разноречивого и путаного. Памятно было и досадливое сетование Афанасия Андреевича: «Издатель! Смоленск ему мал и темен, и мы для него темны». Тем любопытнее было встретить Сергея Николаевича на квартире его брата. Издатель «Русского вестника» удивил в тот день не одного Мишу старомодным, «отнюдь не европейским», как говорили потом, своим видом: он носил широкий синий фрак со стоячим двойным воротником, синие панталоны и гусарские сапоги с высокими выпуклыми голенищами и кисточками. Так одевались в екатерининские времена. Белый замаранный пикейный жилет и тонкий черный галстук, болтавшийся веревочкой, потешно выделялись в этом сановном его одеянии. Клочковатые бакенбарды на его большом лице со следами бритвенных порезов и лохматые, нечесанные волосы устрашали. «Словно леший», — шептали о нем гости Федора Николаевича.

К тому же он был могуч в плечах и высок ростом, ходил степенно, но неуклюже, взгляд его был спокойный, ушедший в себя, и в петербургском свете он действительно являл собою нечто необычное, московское, и притом купеческое. «Вот она, Москва-матушка, — говорили о нем при Мише с беззлой насмешливостью. — Вольность-то какая во всем! И держит себя словно в своей вотчине. Ну и братец у Федора Николаевича — купчина!»

Со смехом передавали о том, как живет в Москве, в приходе «Неопалимые Купины», этот необремененный приличиями человек, как держит в доме своем одну лишь стряпуху и обходится без повара и без кучеров, а выезжая в непогоду из дома, нанимает двух «Ванек» — одного с санями, другого с дрожками — и попеременно, пересаживаясь по мере надобности с саней на дрожки, пробирается по московским хлябям. Ездит весь день по городу и вслух читает стихи, размахивая палкой, машинально ударяя изредка ею себя и извозчика. Рассказывали при Мише и о том, как однажды сидел Сергей Николаевич на гауптвахте, посаженный за какую-то статейку, — случай смешной, но утвердивший в Москве добрую его славу. Гауптвахта находилась в Кремле, во дворе сената, и столько гостей наведывалось к Сер-

гею Николаевичу, что весь двор оказался запруженным колясками и каретами. Привозили цветы, вина, книги и даже... фортепиано. Узнав об этом, начальство решило перевести заключенного на другую гауптвахту, но повторилось прежнее... Гости направились туда. Так выразили московские почитатели Сергея Николаевича свое к нему доброе отношение.

— Знакомься, сын Ивана Николаевича, — подвел к нему юношу Федор Николаевич.

Издатель задержал в широкой своей руке маленькую руку юноши и спросил весело:

— К какой карьере себя готовишь? В дипломаты? Нынче-то, — он перемигнулся с братом, — все смоленские уголья Наполеоном растоптаны и молодые помещики не чают, как бы в столице остаться, чтоб дел с крестьянами не вести. Правда, отец твой, писали мне, большой достаток нажил и потому к тебе перейдет хозяйственное его умельство. Ты, поди, и мануфактуру заведешь и другой какой промысел?

Глаза его смеялись, и трудно было понять, одобряет ли он эти столь непреложно родившиеся в его воображении задачи молодого Глинки.

— Не к этому стремлюсь, Сергей Николаевич, не к этому! — вполголоса, но твердо произнес юноша.

— Не к этому? — повторил издатель. — Стало быть, не своей землей хочешь жить, а так же, как и другие: подаванием из столицы, придворными благами. Или столоначальником каким станешь в департаменте? Чем же жизнь помещичья тебе не сродни?

— В коллегии путей сообщения, как известно мне, определен буду. А хотели... по иностранным делам!

— В музыке души не чает! — мягко сказал о нем Федор Николаевич брату. — И ежели верить, что их пансион полезных государству людей даст, то почему же Мишелю обязательно в деревню ехать, почему здесь не остаться? В театрах, в пьесах себя попробовать, кроме канцелярии...

— В пьесах? — московский дядюшка удивился. — Избави бог! О сочинениях ли пьес говоришь или о музыке? Разве же это занятие? И какой талант надо иметь, чтобы посметь на эдакое покуситься! Или мало у нас праздных рассуждателей об искусствах? Я с Кашиным,

истинно талантливым человеком, не знаю, что предпринять для блага его. Песни Кашина народ поет, а в наших кругах Алябьева да Верстовского одних чтут. Ты что же это, — обратился он к Мише, — духовное предпочитаешь сочинительство или светское? Может, с Кашиним тебя свести, он подвижник музыки своей, музыки народной, той самой, что никого не поит, не кормит и никому славы не сулит. Эх, ты уж делом-то помещичьим займись, исконным, а потом уж и музыкой!

«И чего это он? — досадливо думал Миша, отходя от московского дядюшки. — Столько наговорил, и ничего в толк не взять. И зачем Федор Николаевич о музыкальных моих занятиях как о сиротстве моем или о блажи, мною овладевшей, речь ведет? Ведь среди забот государственных никто еще заботу о музыке как даже заботу государственную не приемлет. Будто на потеху, на ряженье далась им музыка! Стыдно слушать».

С этого дня Глинка стал неохотнее и сдержаннее вступать в беседы о музыке и говорить о своих музыкальных занятиях. Но вскоре пришлось ему повстречаться на квартире у Федора Николаевича с людьми, о которых приходилось слышать в институте от Льва Пушкина и Кюхельбекера...

Среди этих людей были Рылеев и Бестужев и многие авторы готовящегося к изданию альманаха «Полярная звезда», в котором участвовал Федор Глинка. Здесь, у Федора Николаевича, познакомился он со статьей А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России» и со стихотворением Рылеева «Иван Сусанин», предназначенным для альманаха. Дядюшка показывал ему рукописи и мельком рассказывал о том, что делается в литературном и музыкальном мире столицы, не подозревая даже, как запоминает все сказанное им молодой Глинка.

Случайная шутка его над кем-либо из знакомых или оброненное в разговоре острое слово уже вызывали в Михаиле Глинке любопытство и стремление досконально разобраться в услышанном. Он знал, как проходят «Русские завтраки» у Бестужева, затейные для объединения близких ему и Рылееву литераторов, что делает Фаддей Булгарин и что говорят в модных сало-

нах о Пушкине. И если сперва разговоры у Федора Николаевича запоминались им бессвязно, отрывочно и не могли создать общего представления о том, чем жила столица, то потом он научился по ним уже постигать и серьезные, происходившие в глубине общественной жизни события. Он мог сравнивать услышанное в институте с тем, о чем со светской непринужденностью, не устаивая обычно вниманием его самого, говорили при нем у Федора Николаевича. И сам дядюшка Федор Николаевич представлялся при этом все более загадочным. Но вскоре беседы его с дядюшкой и с его гостями стали все более значительными по своему содержанию, пансионер педагогического института жил в столице настороженной и несколько раздвоенной жизнью, сясь охватить весь пестрый и многоликий столичный мир и не находя ключа к разгадке многих «злых», по выражению Федора Николаевича, вопросов. Немало помогла ему в этом и встреча с Рылеевым в один из сентябрьских дней этого года.

Рылеев пришел к Федору Николаевичу, явно раздраженный чем-то и усталый. Он кинул на диван плащ и сказал, упав в мягкое, обитое голубым бархатом кресло:

— Надоело! Все с живостью толкуют о второстепенном и молчат о главном... А Пушкин знаешь как зло посмеялся надо мной?

Из темного угла, весь погрузившись в такое же кресло, внимательно наблюдал за Рылеевым маленький Глинка. Сам же хозяин дома с легкой иронией, понимающе глядел на гостя и не прерывал его.

— Бестужев показал мне его письмо к нему, — продолжал Рылеев. — Он считает, что Хвостов — достойный поэтический соперник знаменитому Панаеву и знаменитому Рылееву, какими нас называет, хвалит «Мечту» Хвостова и корит меня за употребление мною слова «признание» тревожных дум вместо «взрыванье», слова, которое якобы по-русски ничего не значит... Недавно Пушкин посмеялся и над тем, что изобразил я в «Полуденной деннице» герб российский на вратах византийских. Во время Олега не было-де герба русского, а двуглавый орел, помимо того, есть герб византийский и означать должен разделение империи на западную и восточную... И более ничего не сказал

Пушкин! Неужели не нашел он слов о том, ради чего сии стихи написаны! А я-то жду от него гневных слов, пророческих, а не поправок к стилю. . . Я-то всем сердцем в него верю и жду слова его. . .

— Набатного слова? — вставил Федор Николаевич.

— Да, — поднялся в кресле Рылеев. — Пусть так — набатного, прямого, поднимающего народ.

— Может быть, и тихое его слово тоже отдастся громом и не след ему, Кондратий Федорович, в наших рядах первому на себя царский гнев навлекать? — осторожно заметил хозяин дома, и Михаил Глинка почувствовал, что он чего-то недоговаривает и не при нем ли, при юноше — третьем здесь человеке, не хочет помнить о том, что тайно связывает их с Пушкиным.

Михаил Глинка беспокойно зашевелился в кресле, и тут только Рылеев заметил в углу маленькую, затемненную настольной лампой его фигурку.

— Здравствуйте! — дружелюбно кивнул Рылеев, не меняя позы. — Это вы, пансионный житель? К чему готовитесь? К службе в иностранной коллегии и безмятежным дням у матушки вашей в смоленском поместье? Слышал о вас.

В тоне его вопроса было трудно уловить издевку, — Рылеев подшучивал над юношей и подстрекал, ни в чем его при этом не укоряя. Но Глинка быстро понял Рылеева. Что-то готовилось в стране, грозное и неминуемое. «Дух восстания» парил над городом. И это давало право Рылееву подшучивать над безмятежным покоем смоленского поместья, над его, Глинки, непосвященностью в то, что сулило будущее. Но разве так уж далек от жизни скромный пансионер Глинка? И так ли уж трудно понять ему, что между блистательным родственником его и Кондратием Рылеевым существует некий тайный сговор, особые доверительные отношения?

Михаил Глинка поднял на Рылеева тихий, сосредоточенный взгляд и в тон ему ответил:

— К безмятежным дням готовлюсь. . . у матушки в смоленском поместье!

— Зря ты, Кондратий Федорович, испытываешь его, — сказал Федор Глинка, довольный ответом юноши. — Можно ли думать, что одни мы вызываем к бурям, а все остальные вызывают к тишине. Суть в том, что с

мала до велика все в стране перемен ждут, и то на благо, иначе в каком положении ты бы себя увидел?..

— Так ли? — усомнился Рылеев, оживившись и внимательно глядя на юношу. — Разве племянник твой к студенческим бунтам тоже причастен? Впрочем, говорят же о педагогическом институте, что оттуда выходят «отечественные карбонарии». — И тут же обратился к к Михаилу Глинке: — В этом году кончаете?

«Мне не приходится доводиться Федору Николаевичу племянником», — хотел было поправить его юноша, но хозяин дома ответил за него:

— Почитай, уже кончил. Последний год. Служить будет. Но в мыслях другим занят... Был с ним на опере Кавоса и какого нашел в нем противника этой оперы! У Миши, как понял я, давнее знакомство с Сусаниным в натуре...

— Моего «Сусанина» прочитал бы, — сказал Рылеев. — Еще не напечатал...

— Читал, — сказал Михаил Глинка потупившись, — в списке. Только мне, Кондратий Федорович, другие ваши стихотворения по душе... О Сусанине писать — то же, что о всем народе нашем, двумя штрихами не обойтись, и дум его, поистине дум народных, одним вздохом не выразить... И в подвиге его разуть надо великую силу не храбрости одной, а сознания его учености, величия духа, общего его превосходства над врагами...

Глинка говорил взволнованно, и волнение его передалось Рылееву. Кондратий Федорович, наклонив вперед голову, приглаживал рукой черные свои, слегка завитые волосы, и глаза его блеснули.

— О каких стихотворениях моих говорите? — задал он вопрос.

— В пансионе, Кондратий Федорович, «Гражданина» вашего чтут. И, смею сказать, заповеди этого стихотворения многие следуют, хотя читать «Гражданина» довелось опять же в списках.

— Не Лев ли Пушкин передал вам полученное от брата?.. — быстро спросил Федор Николаевич, переглянувшись с Рылеевым. — Откуда в благородном пансионе сия крамола?

— Учась у старших осторожности, не смею открывать, кто принес нам это стихотворение, — не без лукавства и как бы в ответ на недавнее подшучивание над ним Рылеев сказал Михаил Глинка. — Помню же это стихотворение наизусть. Хотите, прочитаю?

Он выжидающе поглядел на ставшее слегка встревоженным лицо Федора Николаевича и, приподнявшись в кресле, медленно, чуть нараспев продекламировал:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с холодной душой бросают холодный взор
На бедствие своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны!
Они расскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Рылеев слушал его растроганный и молчаливый.

— Выходит, зря я толковал с вами о безмятежных днях...

— ...в смоленском поместье у моей матушки... — досказал юноша. — Выходит, зря, Кондратий Федорович. И оба облегченно рассмеялись.

Федор Николаевич подошел к Рылееву и сказал:

— Надо ли радоваться, Кондратий Федорович, тому, что и в Мишином институте обрели вы, оказывается, известность. Тем неспокойнее для нас...

— Но тем больше уверенности в нашей силе, в нашей готовности! — живо откликнулся Рылеев и сразу же умолк, встретившись глазами с предостерегающим взглядом Федора Николаевича. — Потом как-нибудь поговорим, потом, — вяло закончил он, недвижно глядя перед собой в угол и делая вид, что не замечает, с ка-

кой пытливей наблюдательностью следит за ними обоими молодой Глинка.

Они перевели разговор на другое и больше не возвращались в этот день к тому, что могло их снова втянуть в разговор о политике. Вскоре Рылеев ушел, так же стремительно, как явился в дом. За ним поднялся и Михаил Глинка.

— Приходи, племянничек, приходи! — говорил, провожая его, Федор Николаевич и, задержав юношу в передней, шепнул: — А вести-то себя умеешь? Стихи-то Рылеева надо знать, где читать. А то прочтешь себе на погибель! Ну да вижу, что осторожен, вижу! Приходи, Мишель!

«Лед тронулся, — сказал себе в этот день Михаил Глинка, укладываясь спать в холодной, плохо топленной «казенной» спальне пансиона. — Теперь Рылеев доверительнее отнесется ко мне! А почему так встревожился дядюшка Федор Николаевич? Не сам ли он раньше заговаривал со мною о правах в обществе?»

И, думая обо всем этом, молодой Глинка смутно догадывался, что толки о существовании в столице тайного общества, из людей что-то замысливших против царя, не так уж безосновательны и, во всяком случае, Рылеев и Федор Николаевич что-то скрывают и чем-то связаны втайне.

Прошло еще полгода, и Михаил Глинка написал в Новоспасское родителям:

«Я не осмеливаюсь порицать то заведение, в котором, по воле вашей, милые родители, я приобрел те малые сведения, кои могут проложить мне путь к большим познаниям, однако же, говоря правду, должен признаться, что теперь учение у нас в совершенном упадке...»

В институте действительно преподавание велось все хуже. Глинке, одному из лучших учеников, собственно, нечего было делать... Алгебра, зоология и география уже постигнуты им «на год вперед». Успехи его в изучении языков удивляли педагогов и отпугивали от него доброго Ивана Акимовича: благородный пансионер за полгода обучился немецкому языку, за год — английскому, освоил латынь и отлично учился персидскому у

профессора Джафара. Не успевал лишь в фехтовании и танцах.

— Глинка, заколю! — грозил ему каждый раз фехтовальный учитель. — Можно ли быть таким равнодушным к шпаге! — И не раз больно колол своего замечтавшегося ученика.

Кюхельбекер не возвращался, почему-то он оказался в Париже, а российскую словесность вместо него преподавал теперь профессор Толмачев — большой любитель «Россиады» Хераскова и откровенный противник новой поэзии.

— Творчество Пушкина, — объявлял он, — коль возможно еретическое и блудное славословие его называть творчеством, представляет собою безнравственное начало, лишенное извечной красоты русского слога, оставленного нам Державиным и Карамзиным. В память их, наших гениальных отечественных пиитов, не потерпим мы с вами кощунственных оборотов Пушкина!

— А как же, господин профессор?.. Почему Жуковский полюбил еретика Пушкина, а Державин, присутствовавший на лицейских экзаменах в Царском Селе, пророчествовал ему великое будущее? — осмелился спросить Соболевский.

Профессор терпеливо выслушал его и наставительно изрек:

— Похвальна ваша осведомленность в сем, воспитанник Соболевский, но не дальновидно мышление. Из чувства поощрительной вежливости к младшему своему собрату по перу вели себя так Державин и Жуковский, но не более!.. Ежели в институте нашем явятся ко мне почитатели Пушкина и заявят о нем, почту за оскорбление преподаваемому мною предмету.

И тогда случилось необычное и надолго оставившее в Глинке чувство гордости за товарищей: класс встал, и Мельгунов запальчиво возгласил, придерживаясь принятой профессором велеречивой манеры говорить:

— Да почтите же за оскорбление для себя, господин профессор, наше глубокое уважение к Пушкину и да лишите нас удовольствия слушать оскорбленный нами предмет.

Лев Пушкин стоял, закусив губу, еле сдерживая сле-

зы от восхищения происшедшим. А класс неистовствовал, кричал:

— Вернуть Кюхельбекера! Вернуть, хотя бы из Парижа!

Инспектор Линдквист, вскоре пришедший в класс, должен был не только осудить воспитанников, но и заявить профессору:

— Официальное суждение высокопоставленных лиц о Пушкине не исключает, господин Толмачев, права наших воспитанников воздавать должное его таланту. Суждение этих лиц не столь неблагоприятно для Пушкина, чтобы отказать в праве восторгаться им, а молодость всегда восторженна и дерзка, не так ли?

Профессор Толмачев заявлял позже, что бунт, учиненный в институте, показал силу влияния Куницына с Кюхельбекером и слабость верных престолу учителей.

В институте передавали из рук в руки стихотворение Рылеева «К временщику», посвященное Аракчееву, а по ночам в общих спальнях исполняли хором песни Рылеева:

Ах, где те острова,
Где растет трин-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle
И летят под постель
Святцы.
Где Мордвинов молчит,
Аракчеев кричит:
Вольно.
Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно.
Где Сперанский попов
Обдает, как клопов,
Варом.
Где Измайлов-чудак
Ходит в каждый кабак
Даром. . .

И, бывало, всю долгую зимнюю ночь, лишь на рассвете забывшись сном, судили и рядили в спальнях, кто чего стоит: Сперанский, Аракчеев?

Глинка слушал товарищей, зябко кутаясь в казенное одеяло, и время от времени тихо напоминал:

— Нашего Толмачева, братцы, не упоминали.

И, продолжая по-своему песню Рылеева, воспитанники пели:

Где сидит наш лингвист,
С ним и верный Линдквист
Под ударом.

Дядьки спали в самоварной и ничего не слышали. Коломна веселилась — за окном звенели бубенцы, гикали ямщики: была масленица.

В эти бурные дни, несущие с собою неясное ощущение надвигающихся в столице волнений, а может быть, уже порожденные ими, каким одуховлением были для Глинки занятия у музыкальных его учителей и мирные игры в домах, куда возил его кроткий Иван Андреевич!

Фильд переехал в Москву, и один за другим Оман, Цейнер и наконец Майер учили Глинку музыке. Лучшим, конечно, был Фильд. Его сильная, мягкая и отчетливая игра на фортепиано казалась Глинке чудесной. Как неправ был Лист, называя ее вялой! Не ему ли, Фильду, оказался обязан Глинка тем, что достиг в те годы высокого мастерства в фортепианном исполнительстве. Позже он всегда думал о Фильде с благодарностью: Фильд был поистине верен мастерству, он никогда не обезображивал искусства шарлатанством, «не рубил пальцами котлет» для пустого эффекта, как делали многие пианисты.

И какую радость доставлял в ту пору Глинке Русский театр! Он видел оперу Керубини «Водовоз», «Красную шапочку» Буальдьё и «Жоконд» Николо Изуара. Ему запомнилась певица Семенова, мягкая и «добрая» красота которой была привлекательнее ее голоса, полюбились тенор Самойлова и бас Залова. Легкая и тихая Истомина считалась по праву первой в балете.

Бывало, сидел Михаил Глинка с дядюшкой Иваном Андреевичем в ложе... Зал сверкал огнями, и все кругом представлялось глазу ослепительно белым: светлые платья женщин с высокими поясами, похожими на греческие туники, диадемы, гирлянды цветов, алебастровые вазы, курильницы и драпированные в белую ткань колонны вдоль стен зала свидетельствовали об увлечении

античностью, которой только мешал официально принятый в театре стиль ампир.

Иван Андреевич хорохорился, потешно выставлял вперед грудь с блестящими на фраке орденами, томно закидывал голову и наслаждался видом театрального зала, в котором все сидящие казались благороднее, чем у себя дома, и он сам, Иван Андреевич, — одним из лучших людей.

Племянник замечал это и улыбался. Для него излюбленным моментом было, когда гасли огни и зал погружался в темноту. И не арии, и даже не хор, а сам оркестр в слитности звуков, из которых каждый, однако, мог быть уловлен юношей отдельно, таинством своего согласования увлекал его. Он постигал в музыкальной игре то, что оставалось незаметным для большинства сидящих в зале и иначе расхолодило бы их. Своими впечатлениями он редко делился с дядей, и обычно лишь общепринятыми словами «очень мило» или «удачно» они обменивались о спектакле. Но он становился сосредоточен и молчалив. К нему, к его разуму и сердцу, как бы зывали два мира: один из них, несколько идиллический, хотя и не чуждый элегий, — театральный, а другой — в институте, притом существующий воочию не в классах, а в спальнях и на буйных товарищеских сходках. Два этих мира явно враждовали. В музыке, которую он слышал, еще не было мелодии, которая могла бы их объединить. Больше того, иногда ему казалось, что музыка только уводит от мира, более близкого к действительности. И об этом, собственно, не с кем было поговорить. Разве лишь с Федором Николаевичем? О «злых вопросах» удобнее всего беседовать с ним. Но порой вскипало раздражение, и тогда в мыслях являлись образы «музыкального ходока» — издателя астраханского журнала и других подобных ему искателей правды в искусстве. Юноша приставал к дяде с просьбами «ввести его в круг итальянщиков» или познакомить с композиторами. Дядя отмалчивался: с Варламовым он не знаком, Верстовский обычно в Москве, Бортнянский недоступен, другие — их немало — в тени большого света совсем не видны. Но однажды в Коломне Михаилу Глинке посчастливилось все же услышать неизвестно кем сложенную песню о

композиторе, песню о певце, и она захватила его своей правдой и грустью больше, чем опера какого-либо «корсара», как прозывали музыкантов-«итальянщиков». Женский молодой голос пел эту песню с чердака ветхого, наводящего уныние дома. Глинка слушал ее, притаившись, и записывал отдельные строфы в тетрадку, предназначенную для алгебры, оказавшуюся в кармане.

... Он угас, избранник неба,
Под ярмом земных забот.
Он угас! — Семья без хлеба
Над могилой слезы льет.

Неведомая певица передохнула, с чердака что-то упало — может быть, она прачка и развешивала там белье? И опять с новой и скорбной силой зазвучал ее голос:

Но когда под звук рояля
Глас красавицы молодой,
Полный думы и печали,
Нам романс напомним твой,
Грудь подыметса высоко,
Заблестит слезою взор,
Будет внятен всем глубокий
Замогильный твой укор.

Глинка не мог уйти, не повидав певицу. Ему хотелось, чтобы она была красива, стройна, печальна, но чтобы страдающий облик ее был бы мил и душевен, как ее песня. Ему недолго пришлось ждать. Какая-то разряженная деваха в стеклянных бусах и со следами зубного порошка на лице, употребляемого вместо пудры, вывела вниз по лестнице пьяного околоточного надзирателя — он спал на чердаке, и может быть, после веселой попойки. Благородный пансионер ушел, недоумевая.

В этот день в институте много говорили о командире Семеновского полка Шварце, против жестокости которого не так давно восстали солдаты. Утверждали, что в армии неспокойно, что не на все полки царь может полагаться. А наутро приехал в Петербург дядюшка Афанасий Андреевич и тут же явился в пансион к племяннику. Не вспомнив последнего разговора, который был между ними в деревне, и ничем не выдав своих го-

рестей, стараясь казаться во всех отношениях «благополучным», дядюшка увез его в дом, где остановился. Он привез Михаилу Глинке письмо и гостинцы из дома — рубашку на пуху, несколько банок варенья, — расспрашивал о новых его знакомствах и о себе сказал:

— Хочу отдохнуть в столице и восстановить связи... На днях поедем с тобой, Михайлушка, к Гуммелю — он сейчас в Петербурге. Он ученик Моцарта и тебя должен послушать... Почем знать, может быть, на роду тебе написано стать музыкантом, а тогда уж, Михайлушка, — только отменнейшим, чтобы нами упущенное наверстать... Иван Андреевич и дочери его что-то очень тебя хвалят!

С тех пор у Афанасия Андреевича приходилось Глинке бывать часто. Гуммель принял благосклонно. Глинка сыграл ему из его же концерта. Возникали большие планы, куда идти, кого слушать... Ежеженедельно собирались у тороватого любителя музыки Петра Ивановича Юшкова, державшего свой оркестр. У него, не раз участвуя в оркестре, восполнял Глинка то, что не мог делать на уроках музыки — импровизировал, играл, что хотелось. Но недуги вдруг ограничили планы и сковали желания, пришлось лечь и лечиться от простуды, от общего, как неопределенно говорили врачи, «расстройства здоровья». В пансионе не было своего госпиталя, и Линдквист разрешил Глинке... выздоравливать на частной квартире, восстановив на время право его на приватное положение в институте. Квартиру эту предоставил генерал Василий Энгельгардт, племянник фельдмаршала князя Потемкина-Таврического. С сиятельным этим домом Глинка завел доброе знакомство в начале года. Генерал жаловал своего гостя вниманием и подарками. В его доме бывали теперь и родные Глинки и пансионные товарищи. Болезни проходили, но возвращаться в пансион Глинка не спешил. Новое знакомство, происшедшее в начале весны, удерживало на приватном положении, дававшем свободу действий. Соболевский лукаво объяснял товарищам, что теперь Глинку отдаляет от института не болезнь, а влечение его к чудесной незнакомке, играющей на арфе...

Незнакомке было под сорок. Глинка называл ее тетужкой, посещал ее вместе с дядей Иваном Андрее-

вичем, но из всех встреченных им женщин считал в ту пору ее самой притягательной. У нее был звонкий, серебряный голос и во всем подкупающая простота: в пении, в обращении с людьми, в быту. Она первая познакомила Глинку с арфой, заговорила с ним о композиции. . .

— Вам разве не мало той музыки, которую мы знаем? — говорила она ласковым певучим голосом. — Почему не придумать новую! . . Я не могу, но вы, вы, Мишель!

Она, сама не зная того, затрагивала самые тайные его желания, говорила о музыке, не отдавая себе отчета и не очень разбираясь в ней, подчиняясь лишь любительским своим вкусам и зову сердца. Но Глинке было интересно именно последнее, и он хотел доставить ей радость, ей, но еще. . . не музыке, вернее, написать на тему, любимую ею, но не им. И впервые на нотном листке он вывел, как подобает сочинителю: «Михаил Глинка. Вариации на тему оперы Иосифа Вейгля «Швейцарское семейство». Сперва он хотел посвятить музыкальный текст ей, потом раздумал. Не будет ли это слишком значительно? И стоит ли того первая его проба своих сил в композиции?

Шарлю Майеру он сыграл «вариации», не говоря о той, ради которой он их писал, и о том, почему его вдохновителем стал Вейгель. Майер ничего не узнал, но нашел сочинения своего ученика необыкновенными для начала.

Однако время шло, было изрядно пропущено уроков в институте, и как бы плохо ни учили в нем, но пришлось многое нагонять. Впрочем, не было секрета, о чем будут спрашивать на выпускных экзаменах. Всего упущенного не нагонишь, а ответить на вопрос экзаменатора можно, не зная предмета, но зная его самого. . . Особенно если речь идет об уголовном и римском праве! Соболевский знал, что Глинка решил слукавить и что-то придумал. Глинка не умел к тому же скрывать своего лукавства и раньше других любовался своей собственной выдумкой. Он ходил беспечный и словно осененный каким-то знанием, которое было недоступно и экзаменатору. «Болящий», потерявший время пансионер мысленно приготовил ответы на вопросы экзамена-

торов и на тот случай, если бы он не мог ответить по существу. Пусть спасают риторика, а она же софистика, находчивость ученика и тугодумие учителей! Поможет Глинке и слава хорошего ученика.

Институт он окончил вторым, блистательно оправдав свои надежды и. . . «надежды учителей», а на выпускном вечере исполнил фортепианный концерт Гуммеля столь уверенно и легко, что создал о себе славу в присутствии Кавоса как о молодом пианисте.

Афанасий Андреевич к этому времени уже отбыл в Шмаково. Собрался в Смоленск дядюшка Иван Андреевич с дочерьми. Могла ли случиться более удобная okazия? Михаил Глинка быстро собрался и вместе с ними выехал из столицы. Ему надлежало переговорить о своем будущем с матерью и отцом, ко многому обязывало положение старшего сына, но прежде всего предстояло путешествие на Кавказ на лечебные воды. Спасибо ельнинским врачам, убедившим отца послать его туда на лечение после окончания института. Спасибо и кузине Тане, которая однажды изрекла в состоянии транса, что для Мишеля необходимы минеральные воды. Кузину лечили магнетизмом — она болела галлюцинациями, — и к «святой болезни», к пророчествам ее прислушивались родные. Впрочем, не только ее «волшебное слово» подействовало на отменно делового Ивана Николаевича. Он известил сына о своем желании отправить его на Кавказ, не объясняя причин. По всей вероятности, решению его помогла не менее своевременно подоспевшая, чем сейчас, okazия: из Смоленщины выезжали на Кавказ двое его знакомых, один из них в недавнем управляющий смоленской удельной конторой, другой — смоленский врач.



ДАНЬ КАВКАЗУ

Нет, не дряхлому Востоку
Покорить меня!

Лермонтов

Ссылный Пушкин хранил среди своих рукописей нотный листок с записью полюбившейся ему в Молдавии песни, слышанной им от служанки трактира Мариулы, — «Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня!» Кто-то из друзей положил эту песню на ноты, и, уже во всем придерживаясь ее мелодии и народного замысла, Пушкин написал по-своему: «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня!...» От девушки Мариулы — служанки «Зеленого трактира» в Кишиневе — дошли до Европы благодаря Пушкину многие песни юга. И уже сама Мариула стала их героиней, совсем иною представ перед всеми, неведомая певица южного края, и песня, рожденная сегодня, живо передала всю историю ее народа. Впрочем, о ней, о песне, сказано было, будто

Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,

Ее бывало в зимнюю ночь
Моя певала Мариула,
Перед окном качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.

Так вмешательством Пушкина «смешались песенные грани между написанным им и самим народом». «Кавказский пленник» и «Цыганы» уже стали известны везде, и по нему, по Пушкину, стали теперь заново читать о Востоке... Но не было музыки к поэмам. О том, как нужна музыка к пушкинскому тексту, как «одиноко бытуют теперь без музыки, сами по себе, так и напрашиваясь на музыку, пушкинские стихи», говорили молодому Глинке в Горячеводске.

Какие-то шустрые затейники из местных артистов хотели было сами «писать музыку». «Какие бы сборы дало театрам музыкальное переложение этих поэм!» — горевали они.

Но не находилось на Кавказе того, кто мог бы «взять на душу грех». Повезло лишь молдавской песне о старом муже...

А сам Пушкин с явным недоверием относился в это время к такого рода труду композитора. Стало известно, что Вяземский, Грибоедов и Верстовский собрались втроем сочинять оперу-водевиль «Кто брат, кто сестра» (прозу выпало писать Грибоедову, куплеты — Вяземскому и музыку — Верстовскому), и Пушкин заявил Вяземскому с насмешкой: «Что тебе пришло в голову писать оперу и подчинить поэта музыканту? Чин чина почитай. Я бы и для Россини не пошевелился».

Обо всем этот Глинка был наслышан от Льва Пушкина. Немало рассказывал ему о жизни Пушкина на юге и Соболевский. Что же касается поэм Пушкина и того, как принимали их на Кавказе, — свидетельств не требовалось. В квартировавших здесь полках, в домах и в бараках, где жили приехавшие сюда на лечение столичные люди, — всюду, где бывал Глинка, читали «Кавказского пленника». Кавказ, представший перед всеми ними своими одинокими снежными вершинами, среди зеленых, еще овейных пороховым дымом пустырей, с

редкими русскими селениями, разбитыми кое-где, как лагерь, с неведомой и скрытой от глаз курортников жизнью горцев, с песнями их, долетавшими сюда вместе с горными ветрами, — этот Кавказ живо дополнялся в представлении приезжих образами поэмы... И поэма вела воображение мирных пациентов из пригорных долин Горячеводска в аулы, в горы, словно некий путеводитель по Кавказу.

В тот год юноша еще не предвидел, как хорошо послужат ему в работе над «Русланом и Людмилой» кавказские впечатления, откладываясь в копилку памяти. И Восток, освобожденный от мишуры, от всего наносного, заново предстанет в его воображении. Так уж водится, что художник — благодарение богу! — воспринимает все вместе, ложное и действительное, но воспроизводит свое собственное, освобожденное от докучной приземленности и плена лет. Ну, а для вида, чтобы не портить жизнь окружающим, надо меньше выделяться, и, стараясь так поступать, какое-то время он становится особо покладистым, всем довольным.

Попутчик из Смоленска, доктор, несколько задержавшийся в дороге, нашел Глинку в полном здравии и в «целительном от всего увиденного здесь восторге». Лазарь Петрович поселился вместе с пациентом своим в том же небольшом домике на единственной улице, которая ведет к Машуку и на которую буйно стекают с гор целебные воды. Улица сама по себе не могла не разбудить необычностью своего вида сонное воображение толстяка доктора. Здесь жили, свалив набок коляску и перетянув через нее холстину, какие-то панночки из Варшавы, и, служаая им, единственный их слуга, кучер, в расшитой серебром ливрее и с непомерно длинными усами, здесь мог сойти за гусара. Неподалеку шумным, пестрым кочевьем, отбросив светские условности, расположились в полном благоденствии три литераторские семьи, прибывшие из Петербурга.

Из палаток их, называемых здесь шатрами, слышалось:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом,
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Не им ли, поэтам, подражали приезжие?

Лазарь Петрович важно похаживал вдоль этой нелепо возникшей улицы, налаживая связи с ее обитателями, напрашиваясь на услуги, но вскоре убедился, что докторов здесь не менее, чем пациентов, и что большинство из приезжих прибыло сюда отнюдь не из-за недугов плоти, а из-за «томления духа», из-за того, что стало модным побывать на отечественных минеральных водах, предпочтя их Карлсбаду, не убоившись ни горцев, ни диких мест, — отдав своего рода «дань Кавказу». Созданная правительством комиссия по устройству кавказских вод отнюдь не спешила с постройкой новых зданий для приезжающих, тем более в печати появлялись увеселительного характера заметки о необычайной прелести кавказских вод, природных лагерей, куда приезжают, как на длительный и роскошный пикник. . .

Лазарь Петрович привез с собой чемодан, полный разных снадобьев, они прежде всего пригодились Глинке, который вскоре почувствовал себя плохо и стал тяготиться самим видом Горячеводска и его обитателей. Раздражали братья Петровские-Муравские, слишком вождественно беспокоившиеся о своей утробе, занятые всегда мыслями о завтраке и обеде. Надоедали нескончаемые разговоры о кавказских горцах, их обычаях, нападениях на почтовые кареты и прочих напастях, словно весь мир переместился и главным стало здоровье и благополучие приехавших сюда чиновников и их дам. Теперь уже не помогали Глинке ни поэмы Пушкина, ни просторы горных равнин с вечно парящими в небе орлами. Тянуло уйти отсюда и познать настоящий седой Кавказ с его скрытой в горах жизнью. К тому же от ванн стало значительно хуже, и Лазарь Петрович поговаривал о пользе других ванн — теплых, в тридцать два градуса, которые текут недалеко отсюда, на Железной горе.

И Глинка вскоре выбрался из Горячеводска. Напоследок посетил он ближний аул, где видел пляску горянок и скачки на лошадях, и, не очень веря в натуральность их (не верилось, что горцы будут при чужих людях веселиться столь же естественно), все же уловил и запомнил многие неподдельно грустные, хватающие за сердце мелодии. В этот день окончательно опостылел

Горячеводск с его «шатрами» на улице и спящими вповалку возле карет дворовыми людьми, с винными лавками местных негоциантов и со всем тем духом корысти и шалой, в одурь приводящей праздности, которую принесли с собой некоторые новоявленные чайльд-гарольды.

Но и ключи Железной горы мало помогли Глинке. Может быть, потому, что не в той норме и не в том порядке пользовался он ими и быстро «перекупался», до сердечной слабости, а может, из-за самих условий здешнего существования... Жить пришлось в шумном, наспех сколоченном бараке, с земляным полом, в котором кишели блохи. Пол обливали той же «железной водой» — единственной здесь, но блохи не унимались, и путники уходили ночевать в степь. Но наступала осень и ночной холод гнал в свою очередь куда-нибудь под крышу. Глинку мучили головные боли, и ванны уже казались ему теперь сущим наказанием.

Лазарь Петрович столь же решительно решил прибегнуть к последнему средству: к замене железистых вод кислыми, — благо есть и такие... И вот охраняемые полуротой солдат с пушкой, взятой для устрашения, путники двинулись в Кисловодск. Дорога шла горным лесом, и, по мере приближения к Кисловодску, осень все явственнее оставалась позади, и могучее горное лето во всей свежести своих красок, казалось, снова встречало их.

Отдаленный и гулкий звон горных ручьев в прозрачном, напоенном прохладой воздухе, редкий крик беркутов и запахи мяты и ледников провожали их в глубь гор. Солдаты ехали на конях тихо и устало. Коляска мягко катилась в гору. Лошади были сильные и волокли ее без труда. Иногда они забывали об упряжке, стремясь наверх, к горным пастбищам, и тогда кучер резко осаживал их и кричал:

— Пьяные! Ишь пьяные! Земли не чуют!

Лазарь Петрович раскладывал, сидя в коляске, какой-то бесконечно долгий пасьянс, а Глинка дремал и думал о Новоспасском. Иногда, очнувшись от дремы, он говорил доктору:

— Зря мы едем туда. Домой надо бы! Воды без толку мне, а Кавказа все равно не видим!

— А где же мы, разве не на Кавказе? — сердился Лазарь Петрович.

— Где-то на Кавказе, да!.. — соглашался Глинка. — Но на водах, на трех водах, серных, железных и теперь на кислых, а нельзя ли без вод, просто у речки! И нельзя ли, чтобы приняли нас в ауле так, как где-нибудь под Курском или под Орлом, и не убили бы, а спели бы нам о своих бедах да радостях. Вот хорошо было бы! И никаких вод.

— Юноша! — изрекал доктор. — Юноша мечтатель, дитя!

— Да, конечно! — так же охотно соглашался Глинка, кутаясь в плед. — «Горец — дитя природы», так, кажется, говорят, я — дитя столицы. Одно дитя другому дитяти невесть за что кинжал может всадить в бок. Дитя ведь неразумное. А музыка, она бы, доктор, чудесно помогла нам повзрослеть и подружиться. Вы не думали о такой музыке, доктор?

— Нет, я родителю вашему представлен был врачом, а не тапером, сударь мой.

— И неужто вы только порошками врачевать людей умеете? — не без лукавого озорства спрашивал Глинка.

— Да, сударь мой, порошками, как изволите выражаться, не пеньем. Не Орфей я. И не стихами. Впрочем, если я правильно понял вас, вы возлагаете какую-то надежду на стихи и на музыку как на лекарства для кого, для горцев? Для умиротворения их?

— Нет, — уже скучающе пояснил Глинка. — Пока мы печемся о слабонервных воинах и разделяем ваш образ мыслей, мы не можем того добиться стихами и музыкой. Даже Пушкин, пожалуй, не поможет нам. Но стоит нам изменить себе...

— Вы сами слабонервный, сударь мой, — оборвал его Лазарь Петрович.

— Но не слабохарактерный, заверяю вас, Лазарь Петрович, и в положении моем слабому больше дано увидеть, чем вам, к примеру, лекарю моему.

— Это о чем же вы? — не понял доктор.

— Так. Это я к слову, — умолк Глинка, не желая вдаваться в рассуждения, которые ничего, кроме отчужденности, не внесли бы в его отношения с Лазарем Петровичем.

Но доктор понял его:

— Это вы о языке музыки и поэзии говорить изволите, о том, что, пойми горцы, чего хочет господин Пушкин, и они сразу пригласят вас к себе в дом, куда покамест ходят только наши офицеры с охраной. Вы на Кавказе вкусили политику, а до этого под крылом у маменьки не видали ни крови, ни распри... И сердце ваше угнетено здешней войной! — ехидствовал теперь Лазарь Петрович, поглаживая выпуклый свой в бархатной жилетке живот, как делал, когда бывал настроен благодушно.

— Опять-таки заверяю вас, — с живостью откликнулся Глинка, и глаза его блеснули, — что сие материнское крыло, как и слабость моя, сокроет меня от многих действительных бед, падающих на мою голову, но не нарушит сознание мое и волю мою к действию. Не столь идилична моя жизнь, как пробуете вы представить ее, добрый мой врачеватель, а вот к чему приложить свои мысли, помимо музыки, — это стоит размышления.

— Помилуйте, Михаил Иванович, вас батюшка к дипломатической карьере готовит, и случилось мне о том от него слышать... Ну, а музыкантом быть, не извольте обидеться, не стоит усердий. О серьезной вашей карьере идет речь. И куда лучше, став чиновником, у себя дома музицировать, как Львов, например. С друзьями... Этак и я готов за кларнет взяться...

— Ох, и кто в столице за инструмент не берется! — заметил Глинка. — Оттого, может быть, не только хорошие, но и дурные вкусы повелись. Во всем этом разобраться надо, милый доктор, и вывести музыку на высоту, ей присущую и народом хранимую. Не люблю говорить, — закончил он строго, — о том, что требует сперва ясного для всех разумения, но скажу вам только, Лазарь Петрович, что музыкантов наших, по неведению, больше портят, чем учат. В том числе и наши оркестранты-любители правдивому и ложному, и русскому и нерусскому с одинаковым усердием следуют. Потому и нет у музыки еще своего слова, как у поэмы или у повести.

— Своего слова? — повторил Лазарь Петрович.

— Да, такого, какое внес в поэзию Пушкин, наперекор Карамзину и даже Державину, всем строем речи

нашей, языком, мыслью. Да, прежде всего мыслью, Лазарь Петрович.

— А ведь богатство-то какое, — попробовал было спорить Лазарь Петрович, — поэзия-то наша, да и музыка!..

— Вот из этого богатства выбрать нужно одно, понимаете, одно, что-то самое верное, иначе богатство бедности становится сродни, — я так понимаю, — оборвал его Глинка.

— Такой музыкальный дом ваш, сударь мой, такие все Глинки давние радетели на ниве языка и музыки, такой Афанасий Андреевич заслуженный в этом человек в нашей губернии, — неопределенно тянул Лазарь Петрович, — зачем восстаете против них, какого слова хотите, о чем?

На радость Глинка, разговор их был прерван звуком кавалерийского рожка, раздавшегося где-то совсем вблизи. Они подъезжали к заставе. Кони, позвякивая удилами, жевали листья буйно разросшихся темно-зеленых кустов, голубело небо. Коляска стояла в широкой расщелине какой-то горы. Из ущелья тянуло холодом. Безусый молодой офицерик, добродушно поглядывая на кучера, проверял подорожную. Солдаты с единственной их пушкой о чем-то перешептывались. Офицерик спросил кучера:

— Кого везешь?

— Смоленского помещика с домашним их доктором, — негромко отвечал кучер.

— Купаться, стало быть?

В полуроте солдат пронеслось минутное оживление, и Глинка слышал, как кто-то из них бойко выкрикнул:

— Своей-то воды им мало, вот сюда за живой водичкой и едут.

И тут же, заметив осанистую и грузную фигуру доктора, вылезавшего из коляски, солдаты зашикали, замолчали, и тот же, самый говорливый из них, сказал:

— Доктор. Стало быть, помогает, братцы, эта водичка, и впрямь, видно, везут больного барина!

И Лазарь Петрович, пользуясь незыблемым своим признанием у солдат, медленно и важно прошелся взад и вперед возле шлагбаума.

— Трогай! — сказал офицерик кучеру, махнув палашом и отошел в сторону.

Кони нестройно дернулись, доктор поспешил к коляске. Шлагбаум поднялся.

Они въезжали в Кисловодск, иначе — на кислые воды.

Кисловодск тоже не помог Глинке, и Лазарь Петрович, отчаявшись, заявил:

— Медицина бессильна. Может быть, действительно вас излечит... музыка!

Между тем здесь было все строже, а потому приятнее, чем в Горячеводске и на Железной горе: меньше надоедливых и праздных людей, больше удобств. Глинка часто поднимался на горы, а однажды привел к себе старика горца в рваном бешмете, сонно и недоверчиво глядевшего на всех, и упросил его спеть что-нибудь о весне и осени. Доктор, присутствовавший при этом, спросил Глинку:

— Почему именно об этих двух временах года? А зима? Или лето?

— Отстаньте! — махнул рукой Глинка. — Надо понимать, доктор, что весна равнозначна любви в народных песнях, ну, а осень — закат жизни, старость ее. Певцу легче сообразить, что я хочу от него.

Горец пел, но пытливым и холодным взглядом озираал обоих незнакомых ему людей, и голос его звенел воинственно и непримиримо. Глинка опечалился, подсел к нему и, стараясь не замечать насмешливых ужимок доктора, вполголоса запел старику старинную смоленскую песню «веснянку»:

Уж ты поле мое, поле чистое...

Старик слушал недоумевая и косил на Лазаря Петровича белесые, полные молчаливой тоски глаза, потом, поддавшись ритму песни и обаянию глуховатого, но очень верно поставленного голоса, улыбнулся и сказал, с трудом подбирая слова:

— Офицер поет хорошо!

Для него каждый здесь из тех русских людей, кого он не мог считать простонародьем, был офицером. Лазарь Петрович засмеялся.

Глинка велел слуге принести вино, брынзу, баранину, усердно угощал старика и продолжал петь ему. Старик потеплевшим взглядом глядел на Глинку, долго о чем-то думал, слушая его, потом движеньем руки остановил и попросил пригласить переводчика. Слуга привел из селения русского казака, побывавшего у горцев в плену. Но стоило ему войти в комнату, как старик протестующе отвернулся от него и отрицательно покачал головой.

— Не допускает он меня! — растерянно объяснил рослый казак, чувствуя себя виноватым. — Что-то важное хочет вам сказать. По-ихнему, значит, надо уметь хорошо говорить и веру их знать. И чтобы старик был. Я же годами не вышел. Извиняйте!

Казак поклонился и ушел.

Певец подождал, пока он уйдет, встал и сказал, приложив руку к груди:

— Идем к нам. Не бойся — песня твоя, песня моя — одно сердце.

Глинка хотел было идти со стариком, но доктор воспротивился:

— Не пущу, сударь, как хотите, не пущу. Родителю вашему отпишу и солдат сейчас вызову.

Старик догадался, о чем возник спор. И некоторые слова, произнесенные доктором, видимо, были ему понятны.

Он снисходительно улыбнулся и быстро ушел. Спустились сумерки, и искать его на улице было бы бесполезно.

«В чем он хотел мне открыться?» — думал Глинка. Доктор сердился:

— Вы, я вижу, Михаил Иванович, не только из режима выбились, но и всякий такт потеряли. Да, да, хотя бы передо мною. Вы обязаны лечиться и слушаться меня. Не прикажете ли созвать к вам знахарей, гадалок и скоморохов, чтобы они пели вам и играли... Говорят, русским царям некогда помогали при хвори люди эти из народа...

— Не путайте, Лазарь Петрович. Знахарь — не певец... Пушкин в селе Захарово одевался по-крестьянски и со всеми вместе ходил на гулянки ради того, чтобы песни послушать. Песни — это зарытый клад. Как жаль,

что здесь, на Кавказе, я не могу этого сделать... Да еще ваши ванны! Меня к ночи теперь лихорадит от них!

С этими словами Глинка лег на пышно взбитую кровать и оттуда, маленький, легкий, почти утонувший в подушках, глядя на доктора большими своими беспокойными глазами, пылко продолжал:

— Но ничего, Лазарь Петрович, я таки приеду на Восток без вас, а то и до моря доберусь, до самого моря, через Тифлис и Грузию. Только без вас ужю!

Доктор смягчился и бормотал:

— Ну что с вами делать? Дитя! Говорю ведь, дитя! Поезжайте, сударь мой, к морю, поезжайте, а пока надо домой собираться. В дорогу!

Дня через три они выехали обратно. Путь был мучительно длинен. Произошли обвалы, и коляска подолгу стояла на дороге, пока расчищали путь. Где-то палили из ружей. Откуда-то сыпались на коляску камни и проламывали ее верх. Конвоиры залегли в кустах, а доктор сокрушенно говорил:

— А еще хотят на этих водах лечить нервы! Тут и здоровый станет слабонервным!

Наконец миновали Машук и через двое суток выбрались к тракту, ведущему в Харьков. Замелькали левады, тополя, белые, крытые снопиками хаты, потянулись запахи жилья, хмеля и кизячной золы. По вечерам воли недвижно, как истуканы, чернели по краям пыльных дорог, чумацкие возы шумно проталкивались куда-то, задевая очеретовые заборы селений, и приглушенный, совсем не похожий на бой новоспасских звонниц, плыл над степями одинокий перезвон казацких церквей. Тени колодезных журавлей и громадных лип расчерчивали дорогу, и, путаясь в этих тенях, словно в сетях, коляска добиралась до шинка. Там распрягали лошадей и сами до утра спали в своей же коляске, на подушках, пропахших полынью и мятой, просыпаясь изредка от чьих-то голосов и призывного конского ржання.

В Харькове прожили дня три и тронулись дальше. Через неделю были в Орле и подъехали к похожему на лабаз дому в ту пору, когда будочники стали стучать в ворота, как в иных местах сторожа в колотушки, и ночной неусыпный лай собак делал весь город похожим на какую-то громадную псарню. Какой-то гуляка в чу-

нях, как называли в Орле обноски, удостоверил, кому принадлежит закрытый ставнями и со всех сторон запертый этот дом. Тогда начали бить в ставни, стараясь перестучать будочников, и разбудили хозяев.

— Пожар, что ли? Кто горит? — отодвигая пудовый завес и не очень тревожась, спросил купец, давний, по двенадцатому году, приятель Ивана Николаевича. — Да никак гости к нам, — сказал он, рассмотрев в темноте очертание коляски и внушительную, хотя и понурую, фигуру доктора.

Ночью Глинка сидел в жаркой горнице, наполненной полуодетыми людьми, среди двух блестящих самоваров и множества мерцающих в углах икон, и неловко отвечал на вопросы о том, помнит ли он, что в этом самом доме двенадцать лет назад «обрел он защиту от Бонапарта», рос и «наливался соками».

Здесь жила и мамаша Евгения Андреевна, а молодые девицы, ласкавшие его, Мишу, на коленях, — он сделал вид, что всех их помнит, — иные замужем и живут при мужьях хорошо, как у Христа за пазухой.

Купец рассказывал обо всем так, словно не прошло с того дня и года, и только самый не стоящий уважения человек может не помнить его дома и его дочерей, и Глинка понимал, сколь кощунственно было бы в этом доме говорить о чем-либо, кроме как о «хорошей жизни», торговле да замужестве...

Но он уже скучал и поглядывал на пышную постель с горой подушек, возносящейся к темному потолку... Доктор что-то втолковывал купцу о горцах и завоевании Кавказа, поминал Магомета, «Битву русских с кавбардинцами», и все сидящие за столом начинали рассказывать, что слышали о Кавказе, словно Глинка и Лазарь Петрович отнюдь там не были и не оттуда возвращаются... И оказалось, что существует для чьей-то улады издатель Баляскин и какой-то маркитант продает в Орле изданные Баляскиным лубки о жизни на Кавказе, и на лубках этих красуется имя Пушкина... Глинке трудно было доказать, почему не могут принадлежать перу Пушкина строки: «Куда, приказный, ты стремишься? Ужель в погибельный кабак?» или: «Зачем ты, друг мой, стремишься на тот погибельный Кавказ?»

Из комодов вытащили пахучие куски залежалой ма-
терии, какие-то куски штофных обоев и среди них
лубки, изображавшие голых полонянок, перекинутых
через седло, и виды минеральных вод, какую-то поме-
ранцевую рощу у гор и грузинскую деву, плещущуюся
в роднике.

— Как это все глупо! — вырвалось у Глинки.

— Что же тут глупого, сударь мой? — осведомился
купец, весь в облаках самоварного пара, потный и отя-
желевший. — Красиво ведь, а красота нужна человеку!

— Красота? — повторил Глинка зло и сделал вид,
что ему до смерти хочется спать.

Купец мигнул служанке, и Глинке начали стелить
постель.

Засыпая, Глинка увидел через раскрытую дверь, как
Лазарь Петрович угодливо натирает купцу ягодицу
репейным маслом. На столе лежали вынутые из его
чемодана набрюшники и наколенники. . .

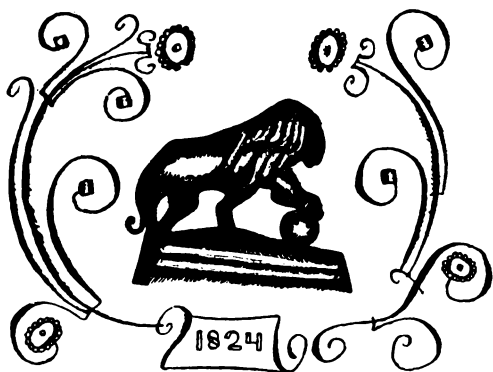
Утром Глинка почувствовал себя нездоровым и сам
был не прочь обратиться к доктору за снадобьями. Но,
превозмогая недуг, он торопил с отъездом. В доме купца
его во всем преследовала несносная «баляскинская»
красота. Казалось, даже купчиха улыбается по-баляс-
кински несусветно. Что-то общее с лубками он обна-
ружил в портретах купеческой родни, висевших на сте-
не. Родственники купца глядели удивленно и по-баляс-
кински чопорно.

Глинка скучал.

Осень в Орле стояла оловянного цвета, тягучая и
тоже странная, город был большой и неуклюжий. Брев-
на, сваленные возле ворот, походили на катапульты,
березки в палисаде с какими-то лоскутами веток — на
нищенок, а волосатые ветлы никли на ветру и, словно
наклонясь, что-то искали. Возле окон гуляли одни и
те же люди: какой-то бледнолицый чиновник, одетый
с окаменелым, скучным щегольством, и две рябые де-
вицы в юбках колоколами и в кружевных чепчиках.

Глинка незаметно выпрыснул на чиновника пузырек
с «сердечными каплями», прописанными доктором, и
утешился. От чиновника теперь остро несло валериан-
кой, и кошки сонно ласкались у его ног.

ПЕВЕЦ ВО ПРИКАЗЕ



Есть на земле такие превращенья
Правлений, климатов, и нравов и умов... »

Грибоедов

1

На новоспасских полях лежали уже успокоительно белые снега, и непорочный цвет зимы ласкал глаз. Зима настелила за окнами новоспасского дома валкие белопенные сугробы, застывшие словно волны, схваченные морозом на бегу, погребла в снегах речку. Неясное русло ее чуть заметно в подрагивающем, дышащем в этом месте снегу. Под пышной тяжестью снега деревья кажутся невесомыми, и все вокруг вызывает ощущение округлости и этой странной невесомости: и лес, покато всходящий к небесам, и луга, похожие теперь на холмы.

По первому снегу приехали в Новоспасское соседи и музыканты из Шмакова. Принимал их Михаил Глинка, гостей передавал попечению матери, с музыкантами занимался сам.

Чудесная это была пора! Без дядюшки Афанасия Андреевича, прихворнувшего и потому не прибывшего

сюда, довелось руководить его оркестром. Да еще и своих новоспасских музыкантов в оркестр включить.

Чинно открывались двери в большой зал, и входили гости. Были среди них и смоленские «меломаны», сами имевшие оркестры. Садилась в круг Евгения Андреевна и старшие дочери ее с неизменным рукоделием в руках, сосед Яков Соболевский — нареченный жених молодой Пелагеи Глинки. Не было, по обыкновению, в этом семейном кругу лишь Ивана Николаевича, и место его оставалось пустым, рядом с Евгенией Андреевной, как требовал того заведенный здесь церемониал.

И произошло необычайное: оркестр играл без «бравурных взлетов», без «минорных падений» и без той нестройной многоголосицы, которая была при дирижировании Афанасия Андреевича...

Гости не знали, сколько сыгровок провел Михаил Глинка с музыкантами до выступления в зале и как строг он был к музыкантам! Раньше каждый из музыкантов умел играть только в оркестре и терялся, оставаясь один. Одиноким звук флейты и трубы казался гласом вопиющего в пустыне и столь неуверенным в себе, что тут же замирал. Но Глинка заставлял музыкантов играть отдельно и был неумолим. Каждый из них вдруг стал ответчиком за то, что долгие годы подлаживался к голосу оркестра и не полагался на себя.

Глинка вывел сегодня дядюшкин оркестр в зал, как капрал, гордый славой полка, выводит свой взвод. Музыканты не смели фальшивить, горбиться и засматриваться один на другого. Они обрели, казалось, новую осанку и вместе с тем независимость один от другого. Музыканты играли симфонию Бетховена, и Варвара Федоровна, скромно сидевшая в зале рядом с синьором Тоди, не верила тому, что слышит. Дирижер отверг модные, легкие для оркестровки мелодии Крузеля...

Гости рукоплескали и шептали Евгении Андреевне:

— В музыкантов вселился дух гения, — они играют осмысленнее, чем когда-либо...

— Не иначе, Евгения Андреевна, то играли не они, а ваш сын!

А к ночи, когда гости уже предавались отдыху, молодой Глинка вел разговор с музыкальным своим воинством, оставшись с ним в людских комнатах.

— Ты говоришь, что в Шмакове «пушной хлеб»¹ едят и народу не до песен? — спрашивал Глинка одного из лучших музыкантов Афанасия Андреевича, старого шмаковского скрипача.

— «Пушной хлеб», Михаил Иванович, да водица! Все, чем богаты! Ныне немало уже баб да мужиков умерло. В Новоспасском, изволите ли знать, батюшка ваш запасы имеет, а в Шмакове сгребли все подчистую.

— Ныне, сказывали нам, Михаил Иванович, — вступил в разговор кларнетист, — будто помощи нам оттого ждать нечего, что Смоленская наша губерния недоимки никак не выплатит. Оркестр барина Лисогорского в Вязьме в полном составе пошел играть на смоленские улицы, вроде за подаванием, но ведь и в Смоленске голодно. Да и мужик бунтует, Михаил Иванович.

— Бунтует? — переспрашивал Глинка. — Помещиками, что ли, недоволен?

— Мужик, Михаил Иванович, при Бонапарте силу свою почуял и большой благодарности удостоился, а ныне господа все позабыли и в ярмо его гнут! — объяснял трубач, маленький, сивый, с непомерно развитой грудью, оттого казавшийся всегда драчливым и раззадоренным.

— Что же делать, братцы? — спрашивал Глинка у них же, у жаловавшихся ему. — У батюшки продовольствия я выпрошу и в Шмаково вам пошлю. Оповещу о том и Афанасия Андреевича, но как с другими быть?

— О ком это вы, Михаил Иванович? О музыкантах наших или о всем народе? — не понял трубач.

Но трубача перебили:

— Помолчи. Дай барину поразмыслить. Может, что-нибудь затеет...

И самый младший в оркестре сказал:

— Коли барин в музыке нас уму-разуму наставляет, то и в жизни небось не оставит...

Но что им мог ответить молодой Глинка? Он с грустной озабоченностью похаживал по комнате из конца в конец, молчал и раздумывал. Ему вспомнилось слышанное о том, что года два назад в неурод смоленские

¹ «Пушным хлебом» прозывали в деревнях тяжелые темные караван из ржи с мякиной.

помещики Якушкин и Фонвизин объявили сбор пожертвований в помощь голодающим и немало помогли этим губернии. Иван Николаевич говорил как-то при сыне о недовольстве царя непрошеными благодетелями. Царь сказал начальнику штаба князю Волконскому: «Эти люди могут, кого хотят, возвысить или утопить в общем мнении, к тому же они имеют огромные средства, во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды».

Михаил Глинка вспомнил сейчас об этом и спросил шмаковских музыкантов:

— А никто в губернии пожертвований не собирал?

— Кому-то начать надо, барин, — вздохнул трубач, — а господа, известно, один на другого надеются.

— Ну, вот с нас и начнем! — решительно сказал Глинка и словно обрадовался собственному решению. — Завтра же в Шмаково зерно прикажу возить, а там и другие помогут.

— Ой ли, барин? — смущенно сказал трубач. — Оркестр-то под вашим началом — верно, а животы людские да богатства ему, Ивану Николаевичу, одному подсудны.

— Идите! — коротко прервал его Михаил Глинка и отпустил музыкантов.

А утром, до завтрака, он тихо вошел в спальню родителей и, поцеловав руку матери, сказал:

— Маменька! Я распорядился вашим именем отослать в губернию для Шмакова десять возов ржи, дядюшка Афанасий Андреевич занемог и не просил сам...

— Что ты, Мишель, о чем это ты?.. — встревожилась Евгения Андреевна. — Что тебе до шмаковских крестьян, до губернии?

— Я распорядился уже, маменька...

— Без батюшки, без меня, Мишель?.. Это такой грех!

— Я не мог иначе, маменька!

Евгения Андреевна знала о его беседе с музыкантами, о бедствиях крестьян в губернии. Еще лучше — о его обычно покорном родителям и мягком характере.

Она понимающе взглянула на него и ласково сказала, принимая его «грех» на себя:

— Музыка ли тебя довела до этого, Мишель? До того, что вмешиваешься в чужое тебе?

— Музыка, маменька! — подтвердил он, выдержав ее взгляд.

И еще раз благодарно поцеловал ее руку.

Вскоре он уехал в Петербург определяться на службу.

2

«Музыка ли тебя довела до этого?» — звучал в его ушах ласковый голос матери, и... тут же вспомнилось полное надежды и доверия к нему обращение одного из музыкантов: «Коли барин в музыке нас уму-разуму наставляет, то и в жизни небось не оставит».

Разве неправ شماковский музыкант? Нет, музыка сама не оставит! Музыка не слепа и не глуха к горю! И не сокровенные ли, сближающие людей голоса слышатся в ней? Не потому ли изверился дядюшка Афанасий Андреевич в Сумарокове, что не внял в свое время живому голосу самой жизни?

Музыка правдива, и музыка честна! Певец, чуждый страданию людей, может ли быть хорошим певцом? И музыка, прячущаяся от «злых» вопросов, убаюкивающая сознание нежными настроениями мотивов, — эта ли музыка не фальшивит?

В рассуждениях обо всем этом Глинка провел первые дни после возвращения в Петербург. Жизнь в Новоспасском предстала перед ним на этот раз новой своей стороной, и пусть маленькое в ней событие — беседа его со شماковскими музыкантами, — но столь значительно оно сказывается и в петербургской жизни.

Разве не в предупреждение титулярного советника Михаила Глинки написано царем повеление, прочитанное Глинкой в канцелярии при поступлении на службу:

«...Обращая всегда бдительное внимание, дабы твердая преграда была положена всему, что ко вреду государства послужить может, и в особенности в такое время, когда в несчастье от умствований, ныне существующих, проистекают столь печальные в других краях последствия, я признал за благо: все тайные общества, под какими бы наименованиями они ни существо-

вали, как-то масонские ложи или другие, закрыть и учреждение их впредь не позволять!»

Нетрудно понять, в каких «других краях» сказались эти зловредные «умствования», не помянуть же в царском указе Францию и Пьемонт, но ведь и педагогический институт и лицей тоже заражены «умствованием».

Итак, Михаил Глинка, только что назначенный помощником секретаря Главного управления путей сообщения, должен «не умствовать». Главноуправляющим этого управления — герцог Вюртембергский, а одним из адъютантов его — писатель штабс-капитан Бестужев. Управлению много дела, а еще больше тревог: еще нет в России железных дорог, но тем труднее с проездами, с выполнением дорожных повинностей, с безопасностью движения по стране. Обильная и бездорожная Русь выступает перед Глинкой со страниц губернских отчетов лихоимством чиновников и произволом начальников дорожных станций. Управление ведает охраной дорог, защитой их от разбоев, переписью ямщиков и даже участвует в организации аракчеевских поселений.

Управление занимает несколько анфилад комнат, находится на Фонтанке, у моста, окнами выходит на Загородный проспект, а в просторечье именуется «дорожкой». О нем говорят кучера дворникам: «Забеги в «дорожку», узнай, когда в Ораниенбаум кареты идут». Известно, что здесь знают и о пригородных рейсах. Поговаривают, будто по городу скоро пойдет конка.

Управлению соподчинена и пограничная стража — та самая, о которой злословят: «Пограничная стража — казенная кража». Сюда приезжают фельдъегеря на запыленных конях и, прежде чем войти в дом, начищают обшлагом шинели медный кивер и пряжку пояса. У лестницы дежурит пышнобородый швейцар, стоят чахлые пальмы и кактусы, похожие на светильники.

Композитор сидит за пюпитром в большой, обитой коврами приемной секретаря.

Адъютант герцога Александр Бестужев говорит, испытывая втайне нового своего сослуживца:

— Вы бы нам не дали что-нибудь свое в «Полярную звезду»? В нашей просьбе не отказал ни Пушкин, ни Рылеев!

— Я не пишу, Александр Александрович.

— Полноте. Вы не можете не писать...

Оказывается, товарищ Глинки по пансиону, а теперь и хозяин дома, в котором живет Михаил Глинка на Загородном проспекте, сказал Льву Пушкину о первом литературном опыте его — поэме «Альсанд», а тот в свою очередь ненароком сообщил об этом Бестужеву: «Ваш сослуживец не только музыкант, но и поэт».

— Право, не пишу!

— Смотрите, Михаил Иванович, — шутиливо грозит Бестужев. — Корсак пишет, Мельгунов судит о написанном, но и сам не прочь писать, Соболевский — еще с юности меценат, Маркевич собирает песни, Лев Пушкин представляет своего брата, — из ваших близких товарищей все сочинительствуют. А помните, Пушкин сказал: «С младенчества дух песен в нас горел». Да ведь здесь иначе умрешь в управлении...

И адъютант с безнадежным и злым унынием оглядывается на дверь, ведущую к герцогу.

— Помилуйте, Михаил Иванович, ужель вы здесь будете писать лишь рескрипты о подорожных? Этаким певец во приказе!

Адъютанта вызвали к герцогу, и он ушел.

Странно, но Глинке кажется, что здесь никто всерьез не занят делом и не обманывает себя значением содеянного им в управлении. Четыре генерала занимают посты членов Совета управления, и каждый из генералов домовит, покладист, добр с виду и даже несколько смущен своим положением. «Что вы, неужели берете всерьез занимаемую мною службу? — говорит генеральский взгляд. — Я считаю, что делаю честь этому месту, как опекун в опекунском совете. Но что мне до путей сообщения? Мой совет ему нужен? У меня — семья, боевое прошлое, свои заботы...»

В этом четыре генерала — на одно лицо. Впрочем, еще сближает генералов и генеральские дома, на удивление Глинки, тяготение к музыке. При этом у главного из генералов по должности — графа Сиверса — поют очень неплохо, а учителем пения — некий итальянец Беллоли.

Глинка посетил генеральский дом и не почувствовал в нем ничего управленческого. И сам он был принят

скорее как племянник царедворца, чем как титулярный советник.

Успех его в доме Сиверса открывал ему двери и в дома других трех генералов. Знай герцог о скромном своем служащем — столь видном музыканте, — он тоже, может быть, пригласил бы его к себе. И приятно и неудобно! Неудобно, потому что нелегко привыкнуть к такой службе, где плохим тоном считается служить, а хорошим — толковать обо всем, что не относится к управлению. Правду говоря, состояние это удручает и раздваивает. Глинка пожаловался на генералов Соболевскому — тот смеется: «Ты, мимоза, радостей жизни еще не знаешь». Сказал о своем затруднении Льву Пушкину — брат поэта глубокомысленно провозгласил: «Да, Глинушка, не след генералам заниматься дорогами, но ведь кучеров на генеральское место не поставишь».

Прошел месяц, и Глинка начал смиряться со службой и тоже, собственно, ничего не делать.

Но однажды в приступе раздражения, вызванного генералами, решил он, что служить так, лишь бы иметь чин, все же прискорбно дворянину, и написал прошение об отставке, но не подал. Отставка ведь может быть взята и через полгода... Событие, скажут, произошло — титулярный советник отслужил! В этот час он заново прочитал поэму свою, о которой было известно Рылееву, и нашел, что она подражательна и сентиментальна, а потому должна быть уничтожена. Его даже неприятно удивила эта открытая в себе способность к словесному подражанию. Не влияние ли это генералов и не следствие ли «дурной», сиречь бестолковой жизни.

Лишь года четыре спустя вышла эта поэма в «Славянин» стараниями друзей Глинки, отнюдь не доставившая ему славы.

Поэма начиналась со строк, звучащих к его, Глинки, петербургской судьбе этих лет каким-то нелепым панегириком:

Альсандр безвременно узнал
Неверность милых наслаждений,
Обман прелестных упоений,
И боле их он не искал.

Впрочем, можно ли было изменить поэтической моде, не сказать о безвременных горестях своих и разочарова-

ниях, хотя все это имело так мало отношения к тому, что он действительно чувствовал и о чем думал. Еще одна светская дань времени и, может быть, обман бомонда, но не себя... Этакая рассеивающая и после томящая душу обязательность!

Но служба продолжалась, а с нею и отношения с генералами.

3

Федор Николаевич встречает племянника все озабоченнее, и в холостяцком доме его все более заметен беспорядок. Кажется, что каждую ночь здесь происходят какие-то оргии: подушки на диванах раскиданы, пепельницы дымят, на подоконниках — бутылки из-под вин и на коврах — клочки порванной бумаги.

В довершение всего уборку комнат совершает сам хозяин дома.

— Ты не удивляйся, Мишель, были литераторы у меня, ну, а литераторы — народ шумный! Пристал ли ты к твердому берегу или еще носишься по волнам? Что обрел за это время, кроме очередных успехов в науках?

Федор Николаевич смотрит на гостя с усталой и недоверчивой благожелательностью, а в тоне его юноша находит что-то общее с тем, как говорят с ним, Михаилом Глинкой, Рылеев и Бестужев...

Не дождавшись ответа, Федор Николаевич сказал:

— Тяжелые времена приходят, Мишель! В управлении твоим тишь да гладь. С Бестужевым дружишь?

И, спросив об этом, он почему-то кинул взгляд на диван. И юноше, от которого не ускользнуло это движение, представилось, словно здесь, на диване, только что сидел Бестужев.

С небрежным видом Михаил Глинка спросил:

— Разве что-нибудь должно случиться?

Федор Николаевич, казалось, не понял вопроса, прытко заходил по кабинету, и маленькое лицо осветилось странной, немного смущенной улыбкой.

— Не волен человек в животе своем. Сам знаешь! — ответил он наконец.

Михаил Глинка чуть заметно пожал плечами и усмехнулся: не в первый раз уже столичные знакомые играют

с ним в прятки! Что может быть обиднее недомолвок? И до чего же противоречива петербургская жизнь!..

Побеседовав о том, что нового на Смоленщине, и чувствуя, что присутствие его чем-то тяготит Федора Николаевича, Михаил Глинка ушел.

В этот день он навестил еще дядюшку Ивана Андреевича и своих кузин. Канарейки хлопотно верещали в клетках. Девуцы сидели в пеньюарах и томно слушали очередную сказку из «Тысячи и одной ночи», которую читала им гувернантка. А сам дядюшка, в белой жилетке и с черным большим бантом на груди, полудремал, сидя в качалке. Вдоль стен стояли, словно застывшие великаны, громадные шкафы с книгами, солнечный луч касался страниц из Вольтера так же случайно и затейливо, как было и само движение дядюшкиных мыслей.

Кузины, увидя гостя, вскочили и кинулись переодеваться, гувернантка строго поклонилась, а дядюшка, очнувшись от дремы, сказал:

— Это ты, Мишель, друг мой? Не прикажешь ли подать кофе?

И за несколько минут с видимым удовольствием передал племяннику все новости в музыкальном мире, с грацией истого пересмешника упомянув об анекдотах, ходивших вокруг новых постановок Кавоса («Я уеду из России, когда исчерпаю весь российский фольклор», — якобы сказал Кавос), и о новых, не очень сдержанных романсах Верстовского («А романс ведь должен быть сдержанным и тугим, как тетива... Может ли романс напоминать распоясавшегося купца?»).

— А приезжий из Астрахани, издатель музыкального журнала, уехал из Петербурга? — спросил Михаил Глинка с любопытством.

— Уехал, Мишель, уехал! Его провожали какие-то музыкальные голодранцы, но среди них и хорошие певцы из крепостных. Уехал с пачками нот народных песен и, говорят, каких-то издевательских песен о Петербурге!..

— Жаль, я его не мог проводить! — вырвалось у Глинки.

Дядюшка без какого-либо осуждения согласился:

— И я бы с тобой сходил на проводы. Людей много было... Напоследок толковали они о создании такой

народной оперы, которая помогла бы возвеличению мужика и вообще простого человека. Ну, понятно, Мишель, о чем могут говорить эти люди! Не нам же с тобой этим заниматься, а мужицкие идеи даже в живопись ныне проникли. . . Ну, рассказывай о Кавказе. Спокойно ли там и стоит ли туда ехать?

«Нет, — сказал себе Михаил Глинка после визита к дяде, — этак, не торопясь ни к чему да рассуждая обо всем праздно, можно и в столице, как в Новоспасском, прожить. . .» Ему становилось обидно за время, потраченное неразумно, за то, что, выражаясь словами Федора Николаевича, он «не пристал еще к твердому берегу» и носится по волнам.

Казалось душно кругом! Душно без дела, в неведении чего-то происходящего, тревожного и смутно ощущаемого, как бывает при наступлении грозы. И совсем уж опостытели вечера в генеральских домах и служба в управлении.

Лев Пушкин жил у брата в селе Михайловском, Кюхельбекер — где-то в Царском Селе, Мельгунов, покинувший институт до его окончания, — за границей, Соболевский — в отлучке.

Право, в институтские дни жилось веселее!

4

Седьмого ноября 1824 года высокий дом Русско-американской компании, где жили Бестужев и Рылеев, у Синего моста на Мойке, был похож на маяк в море. Кругом бушевали волны, затопляя низкие одноэтажные дома и гулко перекатываясь по их крышам. Баржи с дровами и с сеном, прибитые волной, закрывали высокий подъезд здания. Морские офицеры смотрели в подзорные трубы из верхних этажей и рассылали матросов на лодках. Тысячи баркасов и челноков неслись сюда со стороны эскадры, стоящей на Неве. Палили пушки, и в свинцовой мгле туманного осеннего дня всюду над водой дымно горели факелы.

Бестужев перетаскивал в верхние этажи гранки и рукописи «Полярной звезды» и собирался пробраться на лодке к Невскому.

Весь мокрый, с папками в руках, он слушал, приостановившись на лестнице, что рассказывали друг другу моряки: «Коломна смыта морем, на месте галерной гавани будет пустырь, каменный Петербург выдержит, деревянный — погибнет... Но если бы знать, долго ли еще будет прибывать вода!»

Матрос с баржи прокричал:

— Адъютанта герцога Вюртембергского!

Кто-то внизу тихо спросил:

— Разве герцог не потонул?

И ему ответили из темноты дома:

— Герцоги не тонут. Не знаешь, что ли?

Бестужев быстро отнес папки наверх и высунулся из окна. Он заметил, что баржи тяжело оседают под тяжестью людей, а возле дома между лодками шныряют матросы на узких плотках, сделанных из дверей, и подбирают плавающих в воде коз, собак и кошек. Плакали дети и женщины, столпившиеся на верхних пролетах лестницы, робко спрашивали моряков: «А если вода поднимется выше?..» Кругом было тихо, и голос человека был слышен явственно, как на палубе корабля. Бестужев крикнул:

— Кто спрашивал адъютанта герцога?

— Титулярный советник Глинка, — четко ответил кто-то из матросов.

«Глинка», — не мог не рассмеяться Бестужев. Образ маленького чиновника-композитора, хрупкого и изящного во всем, так не вязался сейчас с видом разбушевавшихся морских стихий. Но тут же Бестужев подумал, не случилось ли с ним что-нибудь, требующее безотлагательной его помощи, и спустился по наведенному к окну трапу на баржу.

— С кем я говорил? Что с Глинкой? — спросил он, осматриваясь.

— Господин Глинка просит сообщить, что с управлением, что делать с бумагами, — поднялся рослый человек, в котором Бестужев без труда узнал одного из слуг генерала Герголи, члена совета. — Господин Глинка заперт дома водой, ему перенесли рояль на верхний этаж и все его вещи, но он человек служащий и упорно считает, что должен быть на службе сейчас. Вот и послал меня к вам.

- А где генерал Герголи?
- В здравии и благополучии! — ответил слуга.
- И не беспокоится о бумагах?
- Никак нет, ваше благородие, не беспокоится.

Слуга тут же рассказал Бестужеву о том, что происходит в столице. В здании Главного управления путей сообщения затоплены два этажа. На крышах домов собираются с узлами жители из нижних этажей.

— Говорят, было в тысяча семьсот семьдесят седьмом году наводнение, ваше благородие, но нынешнее не сравнить!... Одних детей — «наводняшек» этих — больше трех тысяч подобрано. Где размещать будут? Слышать, будто государыня императрица приюты обещала открыть.

На барже глухо плакали, толковали о «наказании господнем», о том, «высохнут ли дома за зиму» и поможет ли правительство пострадавшим от наводнения?

Бестужев отпустил слугу, сказав:

— Добирайся домой, а господина Глинку на службе увижу.

Вода спадала. Первые коляски и лошади курьеров пронеслись по освобожденной от воды тверди. Никогда не был так радостен стук копыт и колес, как в этот день, в первые часы после наводнения. Утром отовсюду свозили утопленников в морги. Поврежденные наводнением дома были пусты и безлюдны. После писали, что Петербург долго еще походил на стоянку разбитой в боях армии. Пушкин прислал из Михайловского поздравление Бестужеву:

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте — не беда,
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная звезда».

Через несколько дней титулярный советник Глинка растерянно похаживал по отсыревшим, пахнущим плесенью комнатам управления. Обои свисали, а взмокшие ковры грудями лежали в коридорах. В каминах не загорались дрова. «Дорожка» пустовала. Ни один экипаж не подъезжал к дому.

Было странно получать в эти дни надушенные конверты с графскими вензелями, с заказами на почтовых

лошадей и, как обычно, чинопослушные донесения из российских губерний о проявленной там ревности в строительстве мостов и шоссейных дорог.

Генерал Герголи предложил Михаилу Глинке тоном, каким отдавал приказания:

— Вечером быть у меня дома! Слышали?

И спросил, стараясь казаться грозным:

— Дочерей моих как зовут, помните? Таисия, Досифея, Поликсена. Почему знать, может быть, приглянетесь одной из них? ..

Генерал раскатисто засмеялся.

В душе он считал, что подобная вольность к «нижнему чину» в управлении сама по себе показывает, насколько он, генерал Герголи, либерален и прост с подчиненными. Правда, помощник секретаря уже бывал в его доме и держал себя во всем независимо.

Город все еще приходил в себя после наводнения. Дома, на Загородном, было неуютно. Глинка послушно явился в этот вечер к генералу и до изнеможения терпеливо играл его дочерям на рояле. За игрой он забывался сам.

Генеральша выплыла в этот день в гостиную сияющая расположением к гостю и добротой. За ней следовал генерал.

— Милый Глинка, — сказал генерал уже по-свойски, — мы решили с женой, что можем дать тебе небольшую комнату в доме и держать тебя рядом с собой. Такой молодой и приятный человек, как ты, может быть принят в свете и может ухаживать за девицами из знатных семей. . .

Генерал чего-то не договаривал. Три дочери его стояли потупившись и мяли в руках нотные тетради, как провинившиеся в чем-то школьницы.

Глинка вежливо поблагодарил и отказался.

Нет, положительно надо уходить со службы, подавать в отставку!

Романс свой «Моя арфа» Глинка называл «допотопным», то есть написанным до наводнения. Он считал его неудачным и любил свой другой романс, сочинен-

ный немного позже, — «Разуверение» на слова Баратынского. «Приворотный», как говорили тогда, вошедший в столичный быт романс этот исполнялся отныне во всех салонах и любительских кружках России. По нотным листкам, переписанным чьей-то рукой, заворуженно пели и в институте благородных девиц, и в белошвейных мастерских:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей.
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

Иван Андреевич, бывший в это время в Шмакове, прислал оттуда письмо:

«Не могу и вообразить, куда тебя, маленькую Глинку, приведет талант...»

А Афанасий Андреевич приписал:

«Тонкость чувств такая, что подумал я: не был ли когда-нибудь к тебе груб».

Только Иван Николаевич остался безгласным к успеху сына и в ответ на его просьбу о разрешении выйти в отставку написал резко: «А потом куда? В скоморохи, что ли? ...»

Что касается Федора Николаевича, он понял успех романа по-своему. Завел однажды Михаила Глинку к себе, встретив его на улице, и спросил:

— Стало быть, ты уже оказываешь влияние на умы? Знаешь ли, чем пленил ты Петербург в своей элегии? Пушкинской ясностью печали! «Печаль моя светла» — сказано поэтом. И вместе с тем силой бодрости, силой веры в себя, ну и, если хочешь, напевностью необыкновенной, но притом отнюдь не сентиментальной. Если бы довелось мне писать о романсе твоём, я бы начал: «Философическая элегия эта поднимает сникший в брэнной печали наш дух и доказует, что печаль может создавать движение и красоту».

И тут же сказал:

— Лев Пушкин говорил мне, что в Михайловском твой романс исполняют вечером при свечах, и кажется, будто некий дух появляется в зале, живой дух: так осязаема и хороша твоя музыка.

От этих похвал племянник бледнел и краснел попе-

ременно. Он хотел было признаться в том, что романс этот первый, понравившийся и ему самому, и он, конечно, рад тому, что весь Петербург поет его, но все-таки это... только романс — ну, вроде интересной записи в записной книжке. А впереди ждет какая работа!.. Но ведь он-то, Федор Николаевич, не доверяет ему своих чаяний и тайных дел!

И этой же неделей он получил письмо из Астрахани, от «музыкального ходока». Издатель писал:

«Чудно. Проникновенно. Богом прошу, давайте что-нибудь большое».

Глинка носил это письмо, как заверение в любви самого близкого, хотя и незнакомого ему человека. И короткие строчки этого письма звучали повелением: «Давайте что-нибудь большое».

Он учился у маэстро Беллоли пению, твердо решив изменить свой слишком слабый, какой-то недоразвитый голос. Часами работал дома и... легче мог выносить скуку в управлении.

Во многом человек настроения, он был готов теперь быть подвижником своей цели до конца. Он мог работать напролет днями и разбираться в музыкальных теориях с вниманием и кропотливостью новичка.

Все достигнутое им он считал для себя только началом и ни в чем не преувеличивал своих успехов, не сомневаясь при этом в своих силах.

В таком настроении он провел весь этот год, и события, происшедшие в декабре, если и застали его врасплох, то лишь утвердили в его стремлении к цели...



«СЕКРЕТНЫЕ»

Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Баратынский

1

Карамзину и Сперанскому было поручено новым царем заготовить манифест к народу... В ноябре умер император Александр, и в Петербурге ждали воцарения Константина, старшего его брата. Ему присягнули уже младший, Николай, Государственный совет, и готовилась к присяге армия. Константин отсиживался в Варшаве и молчал... В столице ползли слухи о распрях в царской семье, об отречении Константина от престола. Наконец отказ Константина от царствования был доставлен курьером.

Карамзин, издавна сочинявший при дворце указы и письма «исторической важности», представил императору Николаю проект манифеста, должный смягчить сердца ожесточенных самодержавием, вызвать смутную надежду на дарование конституции у людей доверчивых и упрочить положение рабски верных престолу.

«...Да благоденствует Россия истинным просвещением умов и непорочностью нравов, плодами трудолюбия и деятельности полезной, мирною свободою жизни

гражданской и спокойствием сердец невинных... Да исполнится все, чего желал тот, коего священная память должна питать в нас ревность и надежду стяжать благословение божие и любовь народа».

Четырнадцатого декабря новому царю должны были присягать войска. Император накануне получил донос о готовящемся на него покушении.

В этот день Глинку разбудил приход товарища его по пансиону и сына инспектора Линдквиста.

— Идем на Петровскую площадь! — сказал он сонному Глинке. — Корсака небось не поднять. Идем одни, быстрее. Там будет парад — новому царю присягают.

— Николаю? — спросил Глинка, одеваясь. — Ну пойдем, поглядим на парад. Один я опоздал бы туда, пожалуй.

Они отправились и услышали вскоре, подходя к сенату, спокойный тысячешаговый гул, — на Адмиралтейскую и Исаакиевскую площади вливались с ближних улиц армейские колонны. Грязно-серый снег на улицах и тени мутных, еще не везде погашенных фонарей навевали утреннюю скуку. Глинка и Линдквист не могли знать, сколь важно было в этот час слитное шествие к площади полков, один за другим, и сколь пагубно разрозненное их движение...

Подойдя ближе к площади, уже шумевшей народом, Глинка и Линдквист могли видеть, как подходили полки, становясь совсем в разных концах. Гвардейский экипаж присоединялся к тем, кто стоял в каре у сената, гренадеры встали рядом с Московским полком.

И неожиданно Глинка увидел возле солдат адъютанта герцога Вюртембергского Александра Бестужева. Тут же ему показалось, что мелькнула долговязая высокая фигура Кюхельбекера, а за ней и Льва Пушкина с пистолетом в руках.

Люди куда-то бежали, и Линдквист первый почувствовал, что на площади совершается нечто совсем далекое от подготовки к параду. В незастегнутой шубе, в шапке, сползшей на лоб, пробежал мимо них, не узнав товарищей, давний знакомец по пансиону Михаил Глебов. Тревожно били барабаны и еще тревожнее доносились голоса из толпы: «Скоро ли?..»

И кто-то из офицеров громко сказал:

— Мы предупреждали, что нам грозит провал. Вот и гвардейский экипаж пришел без пушек и без патронов.

— Мишель! — шепнул Линдквист. — Здесь что-то другое!.. Армия не хочет присягать. Да, да!

— Я слышал об этом, — ответил Глинка так же тихо.

— Значит — восстание?..

У колоннады Зимнего дворца, где, насколько мог разобрать Глинка, темнели стройные ряды преображенцев, произошло движение, и оттуда чуть слышно донеслось:

— Разойдитесь!

— Это царь! Его голос! — сказал кто-то в толпе. — Послушаются ли?

— Пойдем отсюда! — лихорадочно сказал Линдквист и тянул за собой Глинку, проталкиваясь сквозь толпу.

Глинка неохотно брел за ним вслед, раздумывая над совершившимся, когда орудийные залпы гулко раздались на площади.

Они остановились. Вокруг бежали люди. Отряд конной полиции промчался с шашками наголо на площадь.

«А может быть, восставшие победят? — мелькнуло в мыслях у Глинки. — Какие полки восстали?»

Он пробовал представить себе силы восставших, судя по тому, что видел на площади, и не мог...

— Иди, — сказал он Линдквисту на повороте улицы. А сам вошел в дом Бахрушиных.

И, оставшись один, долго прислушивался, стоя на лестнице, к пушечным залпам, прежде чем постучаться в дверь. Душой он был с теми, кого расстреливали из пушек на площади.

Петербург погрузился в темноту. Казалось, даже днем в городе стало темно и безлюдно. Конные конвои уводили в Петропавловскую крепость арестованных с собственноручными записками царя. Михаил Глинка ходил к Федору Николаевичу, — его не оказалось дома. Заплаканная Параша сказала:

— Уходите скорее, барин! За нашим домом следят!

Солдата в прихожей не было. Швейцар исподлобья, хмуро наблюдал за тем, как выходил на улицу Михаил Глинка.

Спустя несколько дней Глинка начал собираться в Новоспасское. В управлении ему был обещан отпуск.

Ночью он услышал стук остановившейся у подъезда кареты, бряцанье шпор по деревянному тротуару, ведущему от калитки во двор, хриплый голос дворника:

— Здесь живет господин Глинка, здесь...

Посланный герцогом Вюртембергским штаб-офицер, полковник Варенцов, коротко сказал, не поклонившись:

— Я за вами, от герцога.

Время приближалось к двум часам ночи, когда Глинка был принят герцогом. Помощник секретаря Главного управления впервые стоял перед высоким своим начальником и братом вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Да и герцог вряд ли помнил в лицо скромного служащего своего управления.

Голосом скрипучим, как гусиное перо, герцог тихо спросил:

— Вильгельм Кюхельбекер ваш родственник? Где он сейчас?

— Да, родственник, — подтвердил Глинка, не желая отречься от родства, хотя бы и дальнего, с своим наставником и другом, которого искала сейчас полиция. — Где он, мне неизвестно.

— Вот как? — с угрозой протянул герцог. — Вы что же, его племянник? — И тут же заметил, что-то обдумывая: — Он ведь совсем молод!

— Нет, племянником Вильгельму Карловичу я не довожусь, — ответил Глинка. — Племянники его Дмитрий и Борис — сыновья Григория Андреевича Глинки, бывшего кавалера при государе, тогда великом князе Николае Павловиче.

— С того бы и начали! — пробормотал герцог. — Ну, и давно видели вы его?

— С год не видел...

— Идите!

Герцог наклонился над бумагами. Допрос был кончен.

Михаил Глинка на извозчицкой пролетке вернулся домой коротать бессонную от раздумий ночь. Радовало, что Кюхельбекера не нашли, и хотелось верить, что он успеет скрыться за границу.

Новый Смоленск мало походил на привольный, разросшийся по холмам и тяжелой кладки город, сожженный тринадцать лет назад французами. Новому городу было всего несколько лет, и тихие улочки-одногодки смиренно вырастали в тени старых, не тронутых пожарами садов. Немало домов, веселых, пахнущих смолой и тесом, было построено на месте, где совсем недавно стояли каменные терема с глухими, обнесенными решеткой оконцами. Иные новые постройки упирались стенами в каменные кряжи разрушенных крепостей, а в садах и в огородах то и дело находили весной в опавшей земле захороненные трупы.

Город вырастал заново. Были воздвигнуты и большие здания в память одержанной победы над врагом, должны составить гордость нового города. На месте сожженного французами деревянного дома дворянского собрания, где выступали братья Лесли, был построен в стиле ампира двухэтажный особняк, выходивший двумя своими фасадами на пустынную улицу. Вблизи высились многогранные крепостные башни, сооруженные Федором Конем, о которых некогда писал Борис Годунов: «Построим мы такую красоту неизглаженную, что подобной не будет во всей поднебесной, одних башен на стене тридцать восемь, и поверху ея свободно поезжай на тройке». Только кое-где на Днепре и в кварталах, не поддавшихся огню, был приметен в отличие от нового города посадский неторопливый стиль строений, с каменными амбарами, воздвигнутыми один за другим, и с дубовыми, вросшими в землю заборами.

Таким был и дом Алексея Андреевича Ушакова, родственника Глинок, к которому приехал вместе с родными Михаил Иванович в самом конце декабря 1825 года.

Падал снег хлопьями, и тихий звон колоколов реял над белым от снега городом. Евгения Андреевна устало высунулась из возка и сказала:

— Вот здесь!

Иван Николаевич первый вылез из возка и направился было к дому, когда оттуда гурьбой высыпали дети и сам хозяин дома, чернобровый, статный крепыш, показавшись на пороге и весело крикнул:

— А петербургский певец тоже с вами?

И никому, казалось, не были здесь так рады, как сочинителю «Разуверения». В теплом доме Ушаковых, заставленном шкафами, тумбочками, глубокими креслами, стояло возле иконостаса в полотенцах старинное фортепиано. Дочь Ушакова — девушка с русыми косами, с синими в поволоке глазами — вскоре усадила композитора играть, что ему вздумается...

Здесь остерегались расспрашивать о событиях, происшедших в Петербурге, и сами неохотно рассказывали о местных «бунтовщиках». Дочь Ушакова проронила однажды при Глинке, смотря в окно:

— Опять «секретных» ведут!

— Кого? — переспросил Глинка.

— «Секретных», — повторила девушка. — Тех, кто участвовал в заговоре против царя.

— Их много в Смоленске?

— Мы не знаем, но, наверное, много! — тревожно ответила она. — Вы спросите об этом батюшку!

Алексей Андреевич лишь тогда поведал гостю обо всем, что знал, когда убедился в его домоседских привычках и осторожном характере. Он увел его к себе в комнату, запер дверь и спустил шторы. Судя по всему этому, он был человек робкий, хотя и веселый нравом.

— О «секретных» спрашиваешь? У нас в Смоленске несколько зачинщиков заговора, из них больше всего известны Петр Каховский — владелец села Тифеневского, Иван Якушкин — Жуково его село, может быть, слышал? — и Фонвизин. Кстати, генерал-майора Фонвизина к нам в губернаторы прочили они же — бунтовщики — вместо барона Аш, старого уже, но царь согласия не дал. Генерал был масон, ну, а масонские ложи ведь закрыты... Поговаривают, будто умерший весной Пассек причастен был к бунту. А у него — у Пассека — собирались в компании Якушкин, Фонвизин, ну и наш Кюхельбекер.

Вильгельма Кюхельбекера Ушаков знал лично.

— Видишь, сколько их, мятежников, у нас, — говорил Ушаков Михаилу Глинке не то сокрушенно, не то сам удивляясь происшедшему. — Может быть, и в Смоленске какой-нибудь свой штаб они держали, почем знать... Поэтому и слезка сейчас идет за каждым дво-

рянским домом! А со всех служащих берутся расписки, что они не будут принадлежать к тайным обществам. Военный губернатор будет у нас в Смоленске, кроме губернатора нашего Храповицкого. Стало быть, военная власть нужна! Смутное время пришло, Михаил Иванович. И как это поднять руку на царя? Вы ведь были в Петербурге в это время, Михаил Иванович, неужели народ не растерзал нечестивцев?

— Народ стоял за восставших, — в раздумье сказал Глинка, — и, пожалуй, он, народ-то, посмелее нас с вами!..

— Да что вы, Михаил Иванович! — всплеснул руками Ушаков, не поняв насмешки над собой. — Смелость-то она от чего же, от ненависти к монарху, от беспутства? Неужто прямо так и высказывались на улицах против царя?

— Прямо так и высказывались, Алексей Андреевич.

— Неразумные, чтобы не сказать больше!..

— А может быть, храбрейшие, Алексей Андреевич!

— Да вы никак жалеете их, Михаил Иванович?

— А вам Якушкина не жаль? Слышал я, будто он школу в селе открыл и крепостным предлагал вольную, чтобы взять их потом к себе по вольному наему! И народ-то наш кто больше любил — они, мятежники, или другие наши помещики?

— Да, да, выходит, так, — растерянно соглашался Ушаков, отдергивая шторы и открывая дверь. — Идемте, Михаил Иванович, из затвора.

На другой день Иван Николаевич строго спросил сына, выждав время, когда они останутся наедине:

— Ты это что же тут столичные вольности позволяешь себе, Мишель? Так-то ты оплачиваешь Алексею Андреевичу за его гостеприимство?

— Чем я виноват, батюшка?

— Чем? Ты еще спрашиваешь? Может быть, и действительно Кюхельбекер вселил в тебя свои мысли? Не о таком думали мы «благородном пансионе»...

— Батюшка, — сказал Михаил Глинка твердо и радостно. — От мыслей Вильгельма Карловича отречься мне не надобно, ибо и мои мысли такие же, но делом и характером, как и помыслами, столь от него отличаюсь,

что общего между собой и им не вижу. Однако хулы на него не дозволю и вас прошу не хулить зря.

Вечером опять как ни в чем не бывало играл Глинка, к удовольствию семьи Ушаковых и ее соседей, и даже на радость милой дочке Алексея Андреевича, Варе, написал тут же, при людях, романс, позднее появившийся в печати: «Да будет благословенна мать!...»

...Пребывание семьи Глинок в Смоленске было связано с предстоящим замужеством Пелагеи. Иван Николаевич торопился обратно в Новоспасское, жена и дочери хотели еще погостить здесь.

Как-то вечером он спросил Ушакова:

— Что-нибудь новое слышал?

— Да вот Мишель письмо из Петербурга получил. Кто-то пишет ему, что заговорщиков неминуемо ждет казнь. Да ведь иного трудно ждать!

Иван Николаевич неслышно подошел к сыну, сидевшему за столом в раздумье над чистым нотным листом, нагнулся и прочитал вслух выведенное на листе заглавие: «На смерть героя».

Сын повернул голову и встретил понимающий и неодобрительный взгляд отца.

Оба молчали. Михаил Глинка не опускал глаз и отнюдь не хотел прятать нотный листок.

— Будь осторожен! — только и сказал ему Иван Николаевич.

Сын посмотрел на него с благодарностью и сразу низко наклонил голову. Глаза его заволокло слезами. Нечаянно он задел рукой, уронил листок и теперь, нагибаясь за ним, незаметно вытер глаза платком.

В небольшом доме Ушаковых тепло светили и потрескивали свечи. За окнами высились снега и всходили редкие зимние звезды, и казалось, что дом находится где-то внизу, в глубокой ложбинке холмов, среди снегов, и все больше погружается вместе с обитателями его в какое-то спасительное покойное небытие.

Варя подошла и ласково сказала:

— Не сыграете ли, Михаил Иванович?

— Опять? — тихо улыбнулся он.

— Да ведь вечер!

— Ах, да! — поглядел он в окна.

И, отгоняя от себя мысли о Петербурге и Кюхель-

бекере, покоряясь мягкому ее голосу и шелесту платья в этом тихом, вступившем в вечернюю пору доме, подсел к фортепиано и открыл крышку.

— Что играть? Хотите «Колыбельную»?

Девушка качнула косами. Вечер пришел для нее вместе с музыкой.

Глинка играл.

На столе лежал нотный листок с выведенным на нем заголовком: «На смерть героя».

В мае Глинка выехал в Петербург.

3

Пушкин из села Михайловского писал в этот год Жуковскому: «Какой бы ни был мой образ мыслей политический и религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку необходимости».

Эти строчки из письма Пушкина были известны некоторым его друзьям в Петербурге. Но кто из них не знал «образ мыслей» Пушкина?

Соболевский, навестив Глинку в доме у Александра Корсака, завел разговор о «благоразумии» поэта.

— Пушкин покорился необходимости. Да, не может он растрачивать силы. Цензором его будет государь. Ты слышал об этом?

— А «Послание в Сибирь» тоже прошло цензуру? — едко спросил Глинка. — В чем хочешь меня уверить, не пойму? В том ли, что Пушкин изменил своим взглядам и товарищам?

— Товарищи его не только те, кто сейчас в Сибири! — горячо возразил Соболевский. — Почему только о них помнишь? И разве не они, не Рылеев и Бестужев, придирчиво осудили «Евгения Онегина», когда вся Россия восхищалась им?

И Соболевский на память привел известное ему высказывание Бестужева:

— «...Свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов, поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его

резкие черты? Я вижу франта, который душой и телом предан моде, вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо сама холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов». А разве не постыдно для Бестужева другое его обращение к Пушкину, известное мне по его письму об «Онегине»: «Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка, когда у тебя в руке резец Праксителя? Страсти и время не возвращаются, а мы не вечны!» Судя по всему, они хотели, чтобы Пушкин участвовал в восстании вместе с ними!

— Ты неправ! — ответил Глинка, помня, что говорилось при нем в доме Федора Николаевича. — А что касается того, кто к Пушкину ближе, — сейчас нет для него и, пожалуй, даже для нас с тобой более близких товарищей, чем те, которые в Нерчинске. Кстати, ты ничего не слышал о Кюхельбекере?

Было известно, что институтский наставник его, случайно пойманный жандармами в Варшаве, препровожден в Шлиссельбургскую крепость.

— Нет, не слышал, — отмахнулся от вопроса Соболевский, удивленный твердостью, с которой оспаривал сегодня Глинка выдвинутые им упреки против людей, которые, по мнению Соболевского, долгое время тянули Пушкина к катастрофе. — Ты, мимоза, отличаешься нынче несносным характером, я не знал за тобой такого упрямства...

— Оставь шутки, Сергей, — с тихим укором сказал Глинка, — если можешь не шутить. Я ведь знаю, что ты привык так же, как и Пушкин, кажется, общучивать всех и все. Что до моего отношения к тому, что ты сказал, я думаю так: образ мыслей действительно следует хранить про себя, не противореча благоприянтому, сколь это ни трудно, но значит ли это, Сергей, что не могу я выразить своих мыслей... ну хотя бы в музыке... и что останусь безгласным?

— Нет, мимоза. Вот теперь ты подходишь к самому трудному, к тому, как остается жить...

— Я не думаю, чтобы это для тебя было так трудно, — с живостью откликнулся Глинка. — Ты, Сергей, из природных счастливцев, из тех, кто может не в ущерб себе горевать над чужим бедствием и, не лишившись

сна, наслаждаться чужим вымыслом, ты человек меры, мне же хочется иногда выйти за пределы всего, измеренного тобой...

— И что же мешает? — оборвал его Соболевский.

— А мешает то же благоразумие, о котором ты так поучительно говоришь, пусть даже переходящее порой в скуку. Весь мир иногда похож на большой свет, по его привычкам, ну и подчас трудно выбраться из этого света, разве опять же в музыке... Но я не намерен, дорогой мой, ни у кого учиться, как жить. Кончили мы с тобой институт, — поучились и отныне ученые!

Разговор их прервал приход хозяина дома. И как ни просил Александр Корсак не стесняться его присутствия, никто из них не мог продолжать беседу. Соболевский задумчиво глядел в окно. Маленький флигель, второй этаж которого занимал Корсак, выходил окнами в сад. Стояла осень. Среди оголившихся деревьев виднелась беседка; Соболевский, не раз бывавший здесь, знал, что над ее входом висит затейливая дощечка с надписью: «Не пошли далече, и здесь хорошо». Владельцам дома сад их представлялся по крайней мере Версалем. Из сада к Загородному проспекту вела узкая, плотно утрямбованная дорожка с какими-то гипсовыми бюстами по обеим ее сторонам. Сад был маленький и походил на сквер.

— Какие мечтатели так украсили свою землю? — вырвалось у Соболевского.

Он повернулся к товарищам и начал рассказывать им о своем предстоящем отъезде в Москву. Соболевский служил в архиве государственной коллегии иностранных дел. В этом древнейшем хранилище государственных актов он приистрастился к сочинению... сказок, используя необыкновенные истории, описанные в архивных бумагах. Архив уже прослыл сборищем московских выдумщиков, или «архивных» юношей, как их прозывали.

От Соболевского и Мельгунова Глинка узнавал о музыкальных увлечениях Пушкина. Пушкин часто навещал пианистку Идалию Полетику и бывал в салоне

Марии Шимановской, старшая дочь которой, Целина, вскоре стала женой Мицкевича.

О пианистке Шимановской восторженно писал князь Шаликов в «Московских ведомостях». В ее домашнем альбоме, хранившем надписи ученых, поэтов и музыкантов всех стран, после подписей Гёте, Грибоедова и Моцарта появилась завитушная роспись юного Пушкина под бисерно выведенным текстом. К большому удовольствию Глинки, он написал здесь:

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает.

Как мог не радоваться Глинка этому признанию?

У Шимановской бывал и Глинка, чаще всего на «музыкальных утрах», презрев службу, опаздывая в Главное управление.

Кое-где музыка становилась фетишем. Сенковский — он же барон Бромбеус — изобрел музыкальный инструмент «оркестрион» и заявлял о чудесах акустики, создаваемых этим инструментом. В печати толковали о лечении музыкой болезней, о том, что Платон, Гомер и Шекспир «почитали людей, бесчувственных к музыке, существами несовершенными».

Глинка смеялся и говорил:

— Стало быть, все лишённые слуха — дурни, а итальянская сладкозвучность — лекарственное снадобье!

Он заметно возмужал. Ломался голос его, и ломалась речь, все более ясная, твердая, лишённая присущих старому веку оборотов, той замедленности, с которой говорили при нем в детстве в Новоспасском и в Шмакове.

Об опытах «новой композиции», о переложении на музыку стихов сообщалось в газетах. «Жажда романсов томит публику, — писалось в «Петербургском листке», — ибо только теперь, с появлением новой поэзии, мы почувствовали, что у нас нет новых песен».

Глинка знал о том, что Верстовский пишет романс на стихотворение Пушкина «Казак», а композитор и выходец из трущоб Есаулов, опекаемый Пушкиным, на мотив «Прощание» — «В последний раз твой образ милый...».

Встретившись с Яковлевым — лицейским товарищем Пушкина, — Глинка сказал с досадой:

— Романс вроде обязательной тривиальности у нас. Кто нынче романсов не пишет? Даже и тот, кто музыкального голоса не имеет. А романс, я полагаю, — это по глубине — диссертация, по звуку — предел простоты и благозвучности.

И Михаил Яковлев, композиторские опыты которого отнюдь не принимал всерьез Глинка, а стихотворные — Пушкин, добродушно ответил:

— Что касается меня, то, видимо, таланты мои — таланты фокусника и чревовещателя, я могу отлично потешать людей, что и делаю. Но заметь, Глинка: хочешь стать композитором — не следуй нашему примеру. Волна дилетантизма захлестнет тебя, а «милые мелодии» лишат критического ума. По мне так: хочешь заняться музыкой — не ходи на вечера, сиди дома, или, во всяком случае, учись, учись так, чтобы никто не знал, а то не поверят. Нынче композиция у нас — самая ветреная из муз!

— Я и сам так думаю! — ответил Глинка.

Но для Михаила Глинки пришло время бывать не только на вечерах у Львова, под крылышком дядюшки Ивана Андреевича. Он посещает аристократические салоны столицы. Титулярный советник Глинка сидит, уединясь в углу, на званых вечерах у графа Михаила Юрьевича Виельгорского и ревниво слушает музыкантов. После поездки в Смоленск он особо ревнив к столичному исполнению и нетерпим к дилетантам. У Виельгорского редко играют профаны. Глинка почувствовал позже, сколь верно сказал о Виельгорском Вяземский:

И многострунный мир был общим строем связан,
И нота верная во всем была слышна.

У Глинки много расхождений с Виельгорским во взглядах, но Глинка не выдает себя, молчит. Рано еще спорить! Надо подчинить себе музу композиции, «самую ветреную из муз». «Род Виельгорских право на музыкальные оценки завоевал вместе с дворянством» — так говорят шутники. Отец Михаила Юрьевича — один из основателей русского филармонического общества, и он и сын — «музыкальные советники» при дворе, от них зависит приглашение иностранных певцов для петер-

бургской оперы. Музыка помогает славе и даже достатку Виельгорских.

Сюда часто приходит Пушкин, на тексты которого пишет Виельгорский романсы и песни. Здесь можно встретить князя Одоевского, поэта Ознобишина и Антона Дельвига. Все они постоянные знакомцы Михаила Глинки, они связывают его с музыкальным и литературным Петербургом. Федор Николаевич Глинка сослан в Олонецкую губернию, квартира его закрыта, а Параша живет теперь у тихого, успокоенного старостью Ивана Андреевича.

Среди знакомых Глинки — шурин Пушкина Николай Павлищев, пробующий заняться издательским делом, и князь Сергей Голицын, приятель поэта, — весельчак и меломан. В доме у Павлищевых новые, памятные навсегда знакомства: с Мицкевичем, с Жуковским, с певцом императорской капеллы Николаем Ивановым... Не оставлена и дача Оленина в Приютино. Доводится Глинке посещать Дельвига и у него играть для Анны Петровны Керн, «любви которой должна уступить музыка». С помощью Павлищева выпущен Глинкой «Лирический альбом» — первое издание его романсов. Разумеется, в «альбоме» этом нет уже законченного теперь текста «На смерть героя», как и нет того, что могло бы звучать крамоллой.

Казнь пяти «мятежников» свершилась. Казнен Рылеев. Бывший поручик Финляндского полка Розен занял после экзекуции над остальными «мятежниками» тот же четырнадцатый номер Кронверкской куртины, где был заточен Рылеев, и с благоговением пил из оловянной кружки недопитую Рылеевым воду. «Я вступил туда, как в место освященное», — писал Розен друзьям. Бестужев в Сибири, не так далеко от Кюхельбекера. Пушкин в разговоре с Глинкой нет-нет да и помянет Вильгельма Карловича добрым словом.

Холодно в Петербурге и зимой и летом, холодно и казенно. Если бы не новые друзья, если бы не музыкальные вечера, что делать в Петербурге? Во всех департаментах и управлениях берут от служащих подписку о том, что они не состоят и не будут состоять в тайных обществах.

В июне 1828 года Глинку посетили Пушкин и Гри-

боедов. Был вечер. Гости застали Глинку за фортепиано. В большой комнате с окнами, выходящими в сад, потрескивали свечи в простых, привешенных к стенам канделябрах. Низенькая, похожая на тахту кровать была придвинута ближе к фортепиано.

— Спит рядом с музыкой! — заметил Пушкин, сядя к столу, на котором белели листы бумаги и несколько гусиных перьев. — А службу не оставили? — спросил он.

Грибоедов чинно повесил шляпу и трость на вешалку в передней, потом подсел к столу.

— Кажется, оставляю! — сказал Глинка и протянул Пушкину только что полученное им от генерала Герголи письмо.

Генерал предупреждал о своем неудовольствии работой Глинки, допускавшего последнее время в составляемых им бумагах много грамматических ошибок.

— Я знаю одного письмоводителя, он прекрасно пишет бумаги, но он не дворянин и служит у какого-то купца, другого не нашел себе места — вот бы его порекомендовать в канцелярию к генералу.

— Генералу Герголи важно меня уволить, а ошибок он никогда не замечал ранее, — ответил Глинка.

— Тогда почему вы не подали сами в отставку? — спросил Грибоедов. — Если нужна служба, я могу предложить...

— Из-за отца, Александр Сергеевич, только из-за отца, — признался Глинка. — Иначе трудно мне будет выехать из Новоспасского, да и мои родители будут считать меня неудачником. Ради них вот... и ошибки делаю.

— А правда ведь, — со смехом сказал Пушкин. — Не служи Глинка и не имей средств — куда податься ему? К родным, в деревню! Он ли один в положении таком? А что в службе? Одно приличие!

— Подумайте, Михаил Иванович, может быть, примете мое предложение, — повторил Грибоедов, — могу посодействовать в устройстве.

— Да нет же, — беспечно ответил Глинка, — в другом, Александр Сергеевич, посодействуйте, в другом: помните у Виельгорских — мелодию вы мне подсказа-

ли... грузинской песни? Сплю и думаю теперь о ней...
А слов нет.

— И что же? — не понял Грибоедов.

— Попросите Александра Пушкина написать слова. Эти уж мне «песни без слов»! Знаете, какое томление от них. Словно в потемках бродишь.

— Легче ли писать мелодию на слова, чем слова для готовой музыки? — в раздумье произнес Пушкин. — Почему же сами ни разу не сказали мне, Михаил Иванович?

— Да ведь как скажешь, Александр Сергеевич? Романс — он как возглас, как «волшебное слово», его не закажешь. Композицию-то самой ветреной из муз Яковлев мне называл. Но никто, кроме вас, не напишет, Александр Сергеевич, то, что хочу сказать сейчас в этой кавказской мелодии...

— И я боюсь, что никто, кроме вас, не создаст ее, — в тон ему не то опечаленно, не то задумчиво сказал Пушкин.

И они заговорили о Кавказе, о жестокости горских напевов и совсем ином, ласкающем воображение и печальном образе грузинской девы, о том, что было общим для них, для Пушкина и Глинки, в их впечатлениях о Кавказе и теперь уносило в мир других столичных представлений. Грибоедов растроганно слушал.

— Зачем же мне просить его написать слова? — спросил он Глинку, показывая взглядом на Пушкина. — Вы сами уже его взволновали...

Слуга Глинки, Илья, начал в соседней комнате накрывать на стол и неловко зазвенел посудой. Глинка вышел к нему. Грибоедов сел за инструмент и коснулся клавиш длинными и тонкими своими пальцами. Ему и Пушкину было просто и уютно в квартире Глинки.

Месяца через два одним из самых известных в столице романсов после «Разуверения» стал новый, сложенный, как сообщали, на слова Пушкина:

Не пой, красавица, при мне...

И многие из друзей Пушкина, и в их числе Грибоедов, слышали теперь и в других стихах его, не положенных на музыку, мелодию этого романса, «мелодическую природу глинковской музыки».

Ивану Николаевичу пришлось в это лето много времени провести в Смоленске и нанести визит губернатору.

Губернатором был теперь здесь драматург и поэт Николай Иванович Хмельницкий, о стихах которого весьма похвально отзывался Пушкин.

Губернатор должен был пригласить к себе Глинку по безотлагательному делу письмом, но предпочел, чтобы тот сам догадался к нему прийти.

Хмельницкий принял его немедленно и ничем не дал ему понять о том, что текст такого письма уже был написан и лежал у него, губернатора, на подписи. Он усадил помещика возле себя в большом своем кабинете, похожем на зал, с портретами династии Романовых и князя Кутузова-Смоленского, и спросил просто:

— Глинки не боятся за себя?

Вопрос губернатора был понятен Ивану Николаевичу. Духовщинские уже лишились своего кормильца — Владимира Андреевича, арестованного по обвинению в связях с членами тайного общества. Федор Николаевич Глинка был допрошен самим царем, посажен им в Петропавловскую крепость и потом сослан в Петрозаводск с устройством на службу «по бедности». Передавали, будто царь сказал ему: «Ты чист, но должен еще больше очиститься». В Смоленске был недавно арестован и дальний родственник Ивана Николаевича — Кашталинский.

— Чем я и моя семья провинились, ваше превосходительство? Почему спрашиваете об этом? — осведомился Иван Николаевич, намеренно говоря только о себе и своей семье и давая понять этим, что за других Глинок он не в ответе.

— В Сутоках давно был? — так же просто спросил губернатор, оставив без внимания все сказанное помещиком.

— Года два назад, ваше превосходительство.

— А с Пассеками и Повало-Швейковскими дружил?

— Отцы наши поддерживали связи, в дальнем родстве мы с ними, ваше превосходительство.

— Ну и что же? Гостили, виделись?

Глаза губернатора чуть смеялись. Открытое большое лицо его казалось Ивану Николаевичу приветливым. Но Иван Николаевич не смел верить этой его приветливости и чувствовал себя все же на допросе.

— По большим праздникам, ваше превосходительство.

— Только! А напомните мне, — ведь брат вашей жены Григорий Андреевич женат, кажется, на сестре Кюхельбекера?

— Так точно, ваше превосходительство, сестра Кюхельбекера Устинья Карловна доводится нам родней.

— А как же сын ваш, Михаил Иванович, в бытность его в Петербурге...

— Какой-нибудь донос у вас, ваше превосходительство? Не верьте доносам.

— Доноскики бывают и в армяках и в кавалергардских мундирах, но верить нельзя никому из них, — согласился губернатор. — Потому и спрашиваю! Конечно, в Петербурге для молодого человека больше соблазнов!

Он явно допускал, что молодой Глинка мог вести себя в петербургских кругах неблагонамеренно, но не очень и осуждал за это.

— Впрочем, романсы его пока вне подозрений! — прибавил он.

Иван Николаевич молчал.

— Будьте осторожны, мой друг, — сказал ему, прощаясь, губернатор. — И знаете что: в таком возрасте сыновей полезно или женить, или посылать за границу. Женятся — будут жить на ваших глазах, а уедут дальше Петербурга и Москвы — уже не страшно!.. Там тревог меньше!

Помещик ушел успокоенный, — он знал, что Хмельницкий расположен к нему и далек от намерений следить за ним. А губернатор перелистал после его ухода какие-то правительственные распоряжения о всемерном наблюдении за дворянами, связанными знакомством с заговорщиками, и положил их в ящик рядом с книгами своего сочинения. Здесь же лежало прибывшее с нарочным к нему письмо одного из близких ему петербургских сановников, дружески уведомлявшего о том, что за ним самим, смоленским губернатором, приказано следить неусыпно.

Совет губернатора не мог все же не обеспокоить Ивана Николаевича. Глинки оказались как бы причастны к бунтовщикам. «Сына в таком возрасте полезно женить или послать за границу!» Что имел в виду губернатор, говоря все это?

Из деревни в эту пору сообщили, что барин Афанасий Андреевич совсем плох. Ельнинские врачи уповают лишь на милость Божию...

Иван Андреевич вызвал сына из Петербурга и сам выехал в деревню.

6

Старый бурмистр Михеич встретил Михаила Глинку на подъезде в Новоспасское и сообщил, что барин Афанасий Андреевич преставился...

Крестьянские возы, идущие в Шмаково по большаку, поворачивали в лес. Шустрый корабейник, бредший из Ельни, увешанный лоскутами ситцев, детскими китайскими фонариками и трещотками, остановился и разбил на дороге шалаш, желая переждать здесь, пока похоронят шмаковского барина.

— Пошел отсюда! Пошел с дороги! — гнал Михеич корабейника. — Невзначай барина повезут...

И горестно говорил Глинке:

— Всякому свое! Невдомек им, что нельзя занимать дорогу. Кто же теперь, Михаил Иванович, в Шмакове будет княжить?

В разговоре с господами бурмистр позволял себе вольности, хотя и держался строгих, издавна заведенных порядков. Старость ли и многоопытность давали ему на то право или знал, чем пленить приуставших земной суетой господ, — этаким полушутливым, полунасмешливым и в то же время почтительным отношением к барской жизни, но вольность эта не казалась им обидной.

«А верно ведь, — подумал молодой Глинка, — кому теперь перейдет Шмаково? Прав Михеич, не перевелись еще на Руси удельные князья. Жил Афанасий Андреевич удельным князем, своим миром, своими устоями. И, наверное, почти все, закрывшись в своих поместьях,

так живут, что-то очень малого достигают, но малое это уже кружит голову... Малое, да свое».

И тут же ясно представилось ему, сколь мужественны были помещики-бунтовщики, не пожелавшие жить по этому образу и подобию. Он вспомнил о Якушкине, о Фонвизине...

Глинка посадил в карету Михеича и вместе с ним приближался к отцовскому дому. Стояла спокойная, примиряющая с собой и не поблекшая еще осень. Леса были одного цвета с закатом и по вечерам, весь багряно-красный, пылал горизонт. Сентябрьский холодок тронул не успевшую опасть листву, и она чуть держалась на ветвях, иссохшая и легкая, готовая разметаться и покрыть собой землю. Запах яблок и сена плыл над полями вместе с курным дымком деревенских изб. Карета въехала в господский сад. Бурмистр сидел беспокойно, готовясь выпрыгнуть при появлении господ.

Иван Николаевич был дома, он встретил сына и сказал коротко:

— Сейчас поедem в Шмаково!

И, увидя Михеича, приказал ему:

— Поедешь с нами! Поживешь пока там, со шмаковскими людьми.

Бурмистр степенно поклонился.

Они тут же выехали дальше: Иван Николаевич, Евгения Андреевна и старший сын. Евгения Андреевна с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться, молчала, глядела в сторону. Иван Николаевич поучительно рассуждал, обращаясь к сыну:

— Умер гордецом, таким, каким был при жизни. Никого из нас не позвал. Вот они — старые Глинки — мечтатели и гордецы. Что нажил, кроме оркестра? И то, пока ты не учился, думал, оркестр забросит, а с твоим приездом спешил музыкантов переобучивать. — Он усмехнулся.

Михаил Глинка понял: отец чувствует свое явное превосходство над другими Глинками. У него дела, у них — оркестры и праздные рассуждения... А между тем при жизни Афанасия Андреевича всегда казалось, что шмаковские, а особенно духовщинские Глинки шире и благороднее в своих помыслах его, новоспасского «неоцианта».

Иван Николаевич продолжал:

— Было время, ездили из Шмакова наши деды во Францию, жили во Франции мирно. Теперь же, после Наполеона да якобинцев, с открытой душой туда не поедешь. У нас в Роѣсии «секретные», как зовут в народе бунтовщиков, испортили жизнь, лишили нас царского доверия, и там, слышать, на революциях помешались! Бунтовщики пали, а спокойствия нет, Мишель, дорого стоят нам эти «секретные». Трудно после них покой обрести господству.

— И все ждут в народе чего-то, батюшка Иван Николаевич, — поддакнул бурмистр, — потому и солдат из бунтовавших полков начальство домой не пускает. А бабы спрашивают, не погибли ли. Добро бы за царя сложить голову, а то на плахе!..

— Теперь начальство, Мишель, это, как бы тебе сказать, главная идея, начальственность имею в виду. Приказный пьет водку, взятки берет и детей колотит — с разрешения начальства, воздухом дышит, потому что начальство разрешило! Вот чего «секретные» добились. Раньше-то без начальства легче жилось, теперь без него — ни шагу.

— А урядник, батюшка Иван Николаевич, вроде губернатора стал, такой важный ныне, — сказал Михеич.

— Хочешь знать, Мишель, — все более горячился Иван Николаевич, словно забывая уже о смерти Афанасия Андреевича и зачем едут они в Шмаково, — народ ожесточен, а начальство испорчено. Я за этот год взяток передал больше, чем за всю жизнь, и раньше не уставал в разъездах, а теперь извелся. И всё они, «секретные», такую смуту да недоверие породили!

— Стыдно вам, батюшка, тем ли они известны, чтобы о них так говорить! — не удержался сын.

— А чего достигли-то, что принесли государству? — рассердился Иван Николаевич. Но тут же заметил укоризненный взгляд жены и, не желая спорить, сказал: — Положим, не к месту о них речь вести, не к месту.

И, помолчав, спросил:

— Повышение по службе не получил ли?

— Я в отставку вышел, батюшка, месяц как не служу, — тихо ответил сын.

Иван Николаевич умолк от неожиданности, сгор-

бился и, наверное придя в себя, тут же вылил бы весь свой гнев на сына, но карета приближалась к Шмакову. Понурая толпа крестьян окружила барский дом, и совсем неуместны были бы сейчас пререкания...

— Ты ведь сам вышел в отставку девятнадцати лет! — напомнила Евгения Андреевна, становясь на защиту сына.

Бурмистр понимающе смотрел на молодого Глинку и чуть заметно усмехнулся в усы. Он был в толстой поддевке, схваченной красным широким поясом, в смазных сапогах, ловкий и быстрый в движениях, несмотря на старость, и напоминал Михаилу Глинке одного из разбитных слуг генерала Герголи, в Главном дорожном управлении... «Мудреный народ — бурмистры, — подумал молодой Глинка, — но чем-то они на одно лицо и, не побывав в столице, совсем столичные слуги».

Они остановили карету. Крестьяне скорбно наклонили головы, пропуская их в дом. Из толпы радостно глядели на Михаила Глинку дядюшкины оркестранты.

Хрупкая и строгая фигурка Ивана Андреевича в черной пелеринке показалась в темных, с завешенными окнами, комнатах.

И тут же Михаил Глинка заметил, входя в дом, рослую фигуру прибывшего из Ельни со взводом солдат тамбурмажора. Мундир его переливался серебряным шитьем, эполеты на его широких плечах походили на генеральские, высокий воротник туго подпирал шею, в руке тамбурмажор держал раскрашенный жезл и, казалось, готов был им тотчас же отдать команду. Но лицо тамбурмажора было и грустное и рассеянное, он стоял, по привычке вытянувшись, но думал совсем не о том, как бы лучше проводить Афанасия Андреевича на покой, а может быть, о смерти, уравнивающей всех, и о своей рекрутской молодости.

7

В доме родителей одно горе следовало за другим: умерла Пелагея, тяжело заболев вскоре после свадьбы. Плох был и младший брат. Доктора прописывали ему лечение на водах, но путь на Кавказ был слишком изну-

рителен. Варвара Федоровна покинула Новоспасское, опять перебравшись в Петербург. Новоспасская «схимница» обрела, побыв здесь, необычную живость характера и воображения. С неожиданной резкостью она отзывалась теперь об институте благородных девиц в Смольном, где прошли ее сиротские годы.

В Петербург Михаил Глинка вернулся вместе с отцом, примирившимся с уходом сына в отставку, но втайне остро встревоженным за него. Доктора сказали Ивану Николаевичу, что здоровье старшего его сына требует неустанной заботы, петербургский климат вреден ему, исцелительна была бы Италия. Евгения Андреевна в слезах упрасивала мужа отправить сына в Италию. Иван Николаевич обещал. Род Глинок катастрофически уменьшался. Иван Николаевич в беседе с Иваном Андреевичем сказал: «Не пойму, что случилось, одни Глинки к «секретным» пристали, к другим хвороба пристала. Никогда этого не было».

В Петербурге жили у Ивана Андреевича. Пользуясь настроением отца, Михаил Иванович не раз заговаривал с ним о поездке в Италию:

— Не забота о здоровье тянет меня туда, а музыка... Не сердись, батюшка.

— А потом, вернувшись оттуда, что будешь делать?

— Воле вашей перечить не буду. Коли захотите — поступлю служить.

— В деревне бы тебе жить, хозяйством заняться — вот и здоров бы был, — вздыхал Иван Николаевич. — И мать бы порадовалась!

— Не хочу, но уж коли пожелаете — покорюсь.

А в мыслях другое. Только бы совершить задуманное, обрести силы, достичь мастерства, испытать себя! А тогда... и надолго в деревню можно!

Иван Андреевич и кузины уже подыскивали «оказию»: только и разговоров бывало по вечерам за столом о том, кто едет в Италию. Поминали Штерича, знакомого Мише, едущего туда с матерью, русского посланника графа Воронцова, который мог бы помочь в Италии.

Иван Николаевич рассудил:

— Мише нужен попутчик особый — вроде дядьки при нем, нанятый нами...

— Подумай об Иванове — певце из капеллы, — на

всю жизнь благодетельствуешь человека, — предложил Иван Андреевич. — Он не раз признавался мне в сокровенном своем желании ехать в Италию. И давно бы поехал, но средств у него не хватает.

— Пригласи ко мне этого певца! — попросил Иван Николаевич.

И певец явился. Было ему на вид не более двадцати лет, а в действительности — тридцать, розовощекий, статный, неприятно заботливый о своей внешности.

Иван Николаевич уединился с Ивановым, и сын слышал доносившиеся из закрытой комнаты голоса их.

— Львова попросим послать вас туда, а деньги я дам вам, — громко говорил Иван Николаевич.

— Денег больно много надо, на три года, — с сомнением отвечал Иванов.

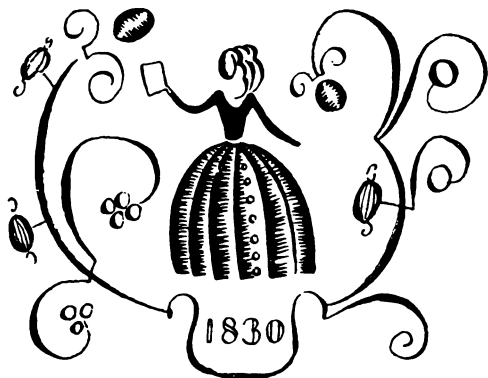
— Денег дам, — повторял Иван Николаевич. — Считайте себя у меня на службе.

Дальше разговор не был слышен. Иванов вышел из комнаты довольный, беспричинно смеялся, по-свойски, вместе с тем попечительно сказал композитору, прощаясь: «Будем здоровы, Михаил Иванович... Унывать не станем. Ужо увидите».

Иван Андреевич смотрел на Иванова почти испуганно. Михаил Глинка ничего не ответил.

В Италию выехали в конце апреля.

В СТРАНЕ КАНТИЛЕНЫ



В самостояньи человека
Залог величия его.

Пушкин

1

Салоны миланской знати все реже принимали иностранцев, и кавалер Николини не мог пригласить к себе композитора Глинку и певца Иванова, только что прибывших из России. Кавалер боялся молвы, а больше всего городских властей: после ареста карбонариев власти остерегались русских, говорили, что из пяти приезжающих сюда — один бунтовщик и не зря русский царь не пускает своих людей во Францию.

За русским мастером установили надзор, и сам кавалер Николини отрядил своего слугу следить за тем, как будет вести себя в Милане молодой композитор. Вскоре ему донесли, где поселился композитор и что обедать ходит в трактир, притом в первый этаж, где кормятся слуги, то ли от бедности, то ли по ошибке. Ростом мал, даже тщедушен, но строен, очень сдержан и тих, смотрит на людей светло, пылливо, чуть закидывая голову вверх, но притом ничему не удивляется. Рядом с

ним Иванов, певец, выглядит гренадером. Приехали они в Милан в дилижансе из Швейцарии, вместе с ними в своей коляске чахоточный помещик Штерич, причисленный к русскому посольству при Сардинском дворе.

Русские из пансионеров, живущих в Милане, рассказывали о композиторе восторженно и считали, что он несравненно интереснее Березовского, столь известного здесь итальянцам, и кавалеру Николини — лучшему знатоку искусств — было от чего встревожиться. Его отец, президент Академии художеств, стал известен в кругах художников... своей виной перед русскими! На академической выставке в Неаполе он не поверил в подлинность картины «Портрет отца», выставленной Кипренским, возомнив, что перед ним творение Рубенса, которое русский художник выдает за свое, и тут же заявил, что он не позволит иностранцу столь нагло вести себя. Петербургская академия свидетельствовала в пользу Кипренского, и президент, одетый в римскую тогу, под портретом папы, на собрании академии, вручал художнику награду.

История эта была памятна, и во дворе короля Франческо I говорили с осуждением о том, что в самые горячие для Италии годы «национальных войн», вызванных неаполитанской смутой, как называли революцию, национальное искусство стало слишком многим обязано русским... Мастером итальянского пейзажа называют ныне Сильвестра Щедрина, Италию знают по картинам Брюллова, а перед недавним крепостным Орестом Кипренским Итальянской академии пришлось виниться.

Не зная, что говорят о нем, и меньше всего интересуясь этим, Глинка вторую неделю лежал в Милане больной. Здесь застал его Соболевский, недавно прибывший из Москвы. Вместе они подолгу засиживались, беседуя об Италии, о том, что представилось им в этой стране.

— Вот она, Италия, — «страна кантилены», певческая страна! — вполголоса и как бы сам с собой говорил Глинка. — Кто не писал о ней! Пушкин писал о ней, не бывав здесь:

Италия — волшебный край,
Страна высоких вдохновений...

Старец Гёте утешил всех повидавших Италию словами, ставшими изречением: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет вполне несчастен».

Есть италиеманы, люди, ослепленные Италией. Они превозносят ее и копаются в ее древности с явной надеждой самим стать моложе, — им очень холодно, и потому они на все лады воспевают солнце, — пошутил Глинка. — Но, конечно, есть люди, и в их числе наш Пушкин, которые с высокой справедливостью отдают ей должное... Что касается меня, я еще не смею сказать, что хорошо ее видел, и потому лишен удовольствия мнить себя всегда счастливым.

Соболевский ответил в раздумье:

— Ты, мимоза, рассуждаешь на сей предмет очень пространно, но холодно. Поверь, что после России самый приятный для жилья край — это Италия... В одной только Италии люди довольно-таки дети, чтобы радоваться радостям и тешиться прекрасным. Вне Италии, где я был, исключая Россию, все — чайльд-гарольды, все ряженные, радуются и удивляются, насколько разрешает этикет. А немецкие студенты? Разве они умеют радоваться жизни, не мудрствуя при этом, без суеты душевной, не отмечая в своем грессбухе, что сегодня они решили себе порадоваться? О, ты не знаешь Европы, мимоза, и потому не знаешь Италии. Но, побывав в Европе, ты поймешь, как велики мы, русские, противу ей. Поистине русский человек — сокол между человеками!

— У них нет крепостных!.. — пробовал возразить Глинка, как бы для того, чтобы еще более уверить себя в правоте Соболевского.

И Соболевский, зная эту склонность его «к подтверждению путем отрицания», манеру не соглашаться сразу, а выискивать противоречия, терпеливо ждал.

— У них нет крепостного права, — повторил Глинка. — Правда, нищеты не меньше. Заметил ли ты, сколько нищих на улицах, но, — глаза его весело заискрились, и он приподнялся с софы, — даже нищие поют, и богачи поют, неплохо притом, или песня всех равняет, любую душу объемлет, как думаешь?

И пока Соболевский собирался с мыслями, не зная,

что ответить, и чувствуя, что товарищ его втайне уже решил для себя этот вопрос, Глинка тихо сказал:

— Жил в нашей деревне Федя, кларнетист, мальчик, сын нашей няни, болел чахоткой, и говорили, что долго не проживет, что возьмет его бог к себе. . . Пел и играл, что родители мои хотели, — Моцарта, а то Беллини. И умер. И по сей день, поверишь ли, считаю себя виноватым: ведь была для него своя музыка, и не мелодиями бы Беллини жить ему. . . Так ли и здешней бедноте мелодии Беллини сродни?

— Что же хочешь? — откликнулся наконец Соболевский. — Чтобы беднота свои песни пела? А откуда ей, и что это за музыка будет?

— Трудно сказать, чего хочу. Признаться тебе, думаю так: песни бедноты — песни народа, и богаче богачей они, — сыграл он на слове. — И ежели ты прав в том, что русский человек — сокол между людьми, то и музыка наша — соколиная во всем мире. Не почуял ли ты, что музыка Беллини «цветочная», парники и клумбы под голубым небом напоминает, и не заметил ли ты, что итальянец, стоящий со скрипкой в руках, от соборной стены правее, играет что-то больно хорошее и уж больно натуральное, а среди прихожан я сегодня заметил двух девушек, которые с лицами несказанно печальными вытягивают такие ноты, что им явно жить, любить хочется, но совсем не молиться. . . Впрочем, церковное пенье тем и хорошо, что в нем подчас слышится, как сердце по-своему бьется, попом не остановленное. С певчими людьми, с простыми людьми и с нищими хочу завести связи; оно, может быть, и проще, чем с композиторами, у коих я учиться должен.

Разговор их прервала соседка по дому Дидина. Постучавшись в дверь, она тихо вошла, спокойно присела у софы больного и испытующе глянула на Соболевского. «Кто ты и что тут делаешь?» — спрашивал ее взгляд. Черные, перевитые вокруг головы косы оттеняли ее оливкового цвета недвижимое и казавшееся чуть надменным лицо. Она скрестила на груди сильные и такие же смуглые руки и, не желая первая заговаривать с гостем, а при нем с Глинкой, простодушно ждала, пока ее о чем-нибудь спросят. Соболевский удивленно поглядывал на девушку и переводил взгляд на това-

рища. Непринужденность, с какой она вошла сюда, заставляла думать о ее близком знакомстве с хозяином или об очень простых нравах в Милане.

Глинка, поняв его замешательство, сказал по-итальянски:

— Моя попечительница в доме. Она, кажется, первая не здоровается, не так ли?

— Может быть, вашему гостю неинтересно знакомиться со мною и, может быть, он уже уходит домой? — с неожиданной и грубоватой прямоотой, смягченной мягкой певучестью голоса, ответила девушка, но тут же привстала и представилась Соболевскому: — Дидина!

«Дзинь-дзинь» — прозвучало в его ушах, и он не успел запомнить ее имя, но тут же церемонно поклонился и важно сказал:

— Соболевский Сергей Александрович.

За ним наблюдали смеющиеся глаза Глинка. Столь бойкий и находчивый в обществе и на балах и обычно ловкий и быстрый в движениях, несмотря на свой исполинский рост, Соболевский выглядел сейчас беспомощным и как бы расслабленным в своей важности.

Девушка внимательно прислушалась к его словам и быстро спросила:

— А дальше?

Он не понял ее, и она пояснила в нетерпении:

— Ну кто вы, откуда, чем занимаетесь?

В ее голосе уже сквозило еле скрываемое раздражение.

— Помещик, если вам угодно, да, русский помещик, может быть, скоро фабрикант, — покосился он на Глинку, знавшего о его планах завести бумагопрядильное предприятие. — Ну еще библиограф, литератор, вы удовлетворены, барышня?

— Да, — коротко и строго кинула она ему и обратилась к Глинке: — О вас много допытываются в городе, и ваш товарищ не должен удивляться нашей осторожности с новыми для нас людьми. События во всей Италии нас научили тому. Везде ищут карбонариев, а кто не карбонарий, например, в моей семье, из оставшихся на свободе? Отец, мать, я?

Глинка в свою очередь спросил ее:

— А кто же и о чем спрашивает обо мне?

Она показала на окно комнаты, выходящее на одну из главных в Милане улиц, и спокойно сказала:

— Вы сейчас лежите и потому не можете подойти к окну, но когда поправитесь, я покажу вам кучера, избравшего себе стоянку на углу лишь для того, чтобы наблюдать за вами с высоты своих козел, — это посыльный нашего синдика, а в лавку зеленщика беспрерывно бегают слуга из кухни кавалера Николини... Но он, впрочем, ничем не опасен вам, это добрый надсмотрщик за вами, я так думаю...

— Кто же он — Николини? — заинтересовался Глинка.

— Антиквар, владелец большой картинной галереи, музыкант, богатый человек. Что вам еще сказать о нем? Он низенький, толстый, смешной и очень боязливый, у него дома висят такие иконы, каких по ценности нет в нашем соборе, и папа посылал к нему духовников уговорить его продать или пожертвовать их церкви.

— И что же? — спросил Соболевский.

Девушка ответила сдержанно-холодно, поглядев на него:

— Я не знаю. Кажется, он их не продал. Может быть, вы хотите купить их? В Италию ведь приезжают или молиться, или поправлять свое здоровье, или за редкостями!

— Барышня, будьте ласковее ко мне, — почти взмолился Соболевский, искренне и почти ребячески обиженный в душе ее недоверием к нему, — скажите, а что нужно кавалеру Николини от нас?

— Музыки, песен!.. — просто ответила она, улыбнувшись. — Ведь говорят же, что к нам в Милан приехал большой русский мастер, и, конечно, Николини не терпится узнать о нем скорее, до зимы...

— А почему до зимы... Что будет зимой? — в раздумье произнес Глинка.

Она с живостью подхватила его вопрос:

— О, зимой гораздо интереснее в Милане, и зимой легче знакомиться с людьми, как ни осторожны миланцы. Они ведь очень общительны, — как бы в извинение тут же заметила девушка. — В конце декабря откроются два наших театра, импресарио уже теперь тя-

нут к себе артистов. В «Карсано» будет петь Паста, наша Паста, великая Паста, в опере «Анна Болена». Ну вот, — сдерживая свое желание рассказать о Пасте, закончила девушка, — приезжие музыканты сходятся в эти дни в кружках, знакомятся в театрах...

— Вы скажите, Дидина, этому человеку Николини, пусть его хозяин не ждет зимы и пусть не тратит зря денег на зеленщика. Он может прийти ко мне, — предложил Глинка.

— Хорошо, — улыбнулась Дидина. — Я сделаю это, моя мама жалеет этого слугу, наблюдая за его беготней сюда. И как он, должно быть, надоед вашему товарищу, Иванову, все встречает его на улице и выспрашивает о вас.

Девушка подошла к окну и тут же увидела на другой стороне улицы Иванова, беседующего с вихлявым седеньким старичком в зеленой ливрее и в красной бархатной шапочке с кисточкой. Старичок суетливо шаркивался, держа в руке небольшую плетеную корзину с луком. Иванов направился к дому.

— Я пойду! — недовольно сказала девушка Глинке и поклонилась Соболевскому. И, уже скрываясь в дверях, наставительно произнесла, обращаясь, видимо, к композитору: — Вы пошлите за мной завтра!

— Кто она? — спросил Соболевский, проводив ее взглядом.

Глинка весело откликнулся:

— Певица. Да, певица. И как поет! Какая девушка, какая сердечность и красота! И знаешь, Сергей, необычайная зрелость во взглядах. Этакая натуральная, самой жизнью созданная зрелость. Ты хотел бы видеть в ней, по привычкам нашим, наивность, зависимость, легкое сердце и безоблачный приятный ум. Помню, Дельвиг серьезно изъяснялся мне о том, что женщина должна быть в конце концов глуповата, как бы ни была чутка, и деловитость ее портит. Но Дидине как не быть деловитой, она всей душой с карбонариями. Ты, кстати, веришь ли, Сергей, что у них, у карбонариев, выйдет что-нибудь? Помнится мне, Пушкин писал о неаполитанцах и революции их... Дай вспомнить, да:

...Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воспрянет!

Воспрянет ли, Сергей? Ну да ты, я вижу, о другом думаешь! О Дидине? — оборвал он себя, поглядев на рассеянное и чем-то озадаченное лицо приятеля.

В этот день, вернувшись к себе, Соболевский писал другу своему А. Шевыреву в Рим, жившему там в доме княгини Зинаиды Волконской учителем ее сына:

«...Живу в Милане для свиданий с Глинкой. Придумали ведь, якобы Глинка умер по дороге в Италию. Глинка — музыкант, меж тем в порядочном здоровье и, как и я здесь, усердно впитывает в себя все, что несет с собою новая миланская жизнь. Учится языку, а Иванов его... мимике, тому, как держать себя. Отнес я Глинке Симона де Сисмонди «Историю итальянских республик» и книгу Риенцо. Пусть читает об Италии и сличает потом прочитанное с впечатлениями».

2

— Работать! — буйно и радостно кричал Глинка, по утрам распахивая занавеси окон.

Лучезарное миланское утро вставало над блестящими от ночной росы крышами домов. Солнце мягко светило с гор.

— Скажите лучше — вставать! — сонно откликнулся Иванов, потягиваясь в углу на диване. — Работать — это, Михаил Иванович, другое, это не петь и не играть на фортепиано. Итальянцы, слава богу, поют, но не работают... Потому у них и с души льется не то, что у немцев, прости господи... Вот и господин Соболевский говорил о немцах...

Наставительный и уверенный в себе тон его мгновенно выводил Глинку из себя. Глинка с минуту зло глядел на развалившегося на постели своего спутника, как бы удостовераясь, что действительно ему принадлежат высказанные только что мысли, и, придерживая руками наброшенный на плечи халат, садился возле него на постель.

— Ну, подумай, что ты сказал? — сдерживая волнение, говорил он Иванову. — Петь — не работать! Да самое естественное пенье, то, что с души льется, достигается певцом лишь большой работой. Дурень ты! Пони-

маешь — дурень! Работать, а не петь, как на душу придет. Вот твое дело!

— Моим голосом, Михаил Иванович, здешние мастера без того довольны! Меня, Михаил Иванович, хотите знать правду, так в здешние театры петь зазывают, — обиженно возражал Иванов. — И потом, Михаил Иванович, вы опять же неправы, я упражнений не избегаю, но работать — голос свой мучить — это потерять его. Мне не по-итальянскому петь, сами знаете! А не Россини ли говорил, что певец подобен соловью, природа в нем поет, а не ноты. . .

— Знаешь, Николай, — грустно заявлял Глинка, — а я, кажется, тебя уволю и батюшке о том напишу. Хотя и соединил он меня с тобою, но пользы от того не будет! Живи сам, как хочешь, и пой, как соловей!

Такого оборота Иванов не ожидал. Привстав с постели и заморгав глазами, он растерянно спрашивал:

— Неужто я чем обидел вас, Михаил Иванович? — И жалобно добавлял: — Работайте, Михаил Иванович, на здоровье, работайте, сколько душевненьке вашей угодно. Я вот тоже батюшке вашему отпишу, потому лечиться вам следует, а не работать! . .

— Ишь куда повернул! — смягчился Глинка. — Лечиться! Смотри, Николай, коль от глупости сказал такое о Россини, о работе, — прощаю, а коль от испорченности душевной, от лени, — не прощу: стало быть, не певец ты, не музыкант, нет в тебе своего сердца.

— А какое же сердце? Чужое? — нагло спрашивал Иванов.

— Чужое! Знаешь ли сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце», об угольщике Петере Мунке, обменявшем свое сердце на каменное, лишь бы жить богато да беззаботно! Не знаешь? Прочитай. Хорошая сказка. Нам, брат, с тобой, Николай, одно спасенье — в работе!

Иванов молча одевался и скучая поглядывал на рояль:

— Стало быть, с утра за ноты, Михаил Иванович?

— С утра. А ты иди пока по делам.

И тут же поручал ему достать «музыкальную теорию» Базили, того самого, кто не признал таланта юного Верди и отказал ему в приеме в Миланскую консерваторию, узнать, где выступает старик Полини — в его

игре на фортепиано столь много нового, — но при этом остерегаться шарлатанов, не заводить с ними знакомств.

Дидина принесла завтрак, убрала комнату и ушла, не желая отвлекать приезжих от занятий. Иванов долго прилаживал поверх рубашки большой черный бант, одно из вещественных отличий музыкантов и артистов в Милане, и наконец, в темной, зеленоватого отлива бархатной шляпе, со стеклом в руке, отправился в город.

Тотчас же после его ухода композитор сел за работу. Рояль в комнате с открытой крышкой напоминал фигуру сгорбившегося вороного коня, упершегося о землю всеми четырьмя ногами, на крышке рояля и впрямь был изображен конь. На стене над роялем висел простой крест черного дерева. Хозяин дома был ревностный католик и играл здесь духовные гимны. Мирским же его занятием было ухаживать за конем. Он служил в кавалерии и любил ее не меньше, чем музыку. По словам Дидины, он был связан с карбонариями, подвергся преследованию и куда-то бежал. Рояль был высокий, и Глинка играл на нем, возвышаясь в кресле, заваленном подушками. Он играл подолгу, обычно без нот, и постороннему человеку трудно было бы уловить ход его мыслей, выраженных в игре. Главным, что увлекало композитора в эти месяцы, он сам позже называл «поисками мелодической полифонии», того ключа к созданию подлинно гармонических мелодий, которые позже вошли в народную русскую оперу, задуманную им здесь, а может быть, и раньше.

Как ненавистны ему были в эти часы работы те «бесхарактерные музыкальные фразы», то музыкальное фразерство, присущее «цветочной музыке», которое, увлекая многих поверхностной мелодичностью своих мотивов, на самом деле являло собою пример абсолютной пустоты содержания. Но насколько легче поймать с поличным светского болтуна в обществе, чем музыкального фразера, убаюкивающего слух мнимыми музыкальными красотами.

Но Италия? Где она в музыке? И где та музыка, что врывается в жизнь так же страстно и свободно, как голос карбонариев в душную тишину папского двора?

Глинка играл, и Дидина, стоя в коридоре, узнавала знакомые ей мелодии Беллини, нежные и стеклянно-

хрупкие, и вслед за ними романтические, бурные «касыды» молодого Доницетти, входящего в славу. Иногда композитор возвращался к уже проигранному и опять повторял мелодию, словно читал развернутую перед ним большую книгу об Италии, и заглядывал в перелистанные страницы с ревностью историка, желающего все знать досконально. Дидина слушала, и ей казалось, что русский композитор оголяет перед всеми их миланских любимцев и доискивается в музыке неведомых ей тайн... Она не смела войти к нему и топталась у дверей, пересиливая недовольство свое тем, что жилец так непочтительно обращается с мелодиями, которые можно исполнять, как казалось ей, только с начала и до конца, но никак не откуда-то с середины...

Бывало, Глинка запевал по-итальянски, звонким и высоким тенором, сам удивляясь своему голосу, до этого сиповатому и слабому, и тогда Дидина мысленно исправляла слишком резкое произношение им итальянских слов.

Так проходило утро; композитор играл, Дидина слушала за дверьми, обеспокоенная и растроганная его игрой.

Наступало время обеда, и она тихо стучала в дверь:

— Синьор Глинка!

Он отзывался, довольный тем, что был один и хорошо провел это утро:

— Это вы, Дидина? Идите сюда!

И просил ее:

— Спойте мне что-нибудь из Доницетти.

— Он нравится вам? — осведомлялась девушка.

— Мне нравится молодой Верди... Его романсы. Он натуральнее и серьезнее. Остальные — фантасты. Вы не находите?

— А Россини?

Он задумывался, но тут же отвечал ей с присущей ему живостью:

— Россини серьезен и прост, Дидина. Его «Вильгельм Телль» замечателен, в нем много нового и совсем нет показного, но ведь и «Сомнамбула» Беллини хороша. Однако, Дидина, можно вам сказать правду?

— Конечно. И только правду.

— Все мелодрамы, все фантазии, а натуральная

жизнь где? Спойте мне, что народ поет, Дидина. И в России, и в Италии, и, может быть, везде — в опере так мало натурального!

— И в России? — переспросила она. — А вы скучаете по России?

— Да, скучаю, — признался он. — Да разве можно не скучать по ней, милая Дидина? И мыслю я в музыке по-русски, и чувствую так же. Вы поймите меня. Мне трудно было бы подделываться под итальянское *Sentimento Brillante*, как называют у вас счастливое и ясное состояние духа. Жители Севера иначе чувствуют мир и его скорби и радости. Любовь — великое, животворящее чувство, это у нас обычно соединяется с грустью. Я думаю, что наша русская, заунывная и широкая по чувству песня — тоже дитя Севера, и мне она ближе, ближе, Дидина, чем та, которая волнует южан. Мне кажется, что вы, Дидина, по решительности и силе вашего характера должны любить русскую песню!

И повторил:

— Вы споете, что поют в Италии люди, такие сердечные и милые, Дидина, как вы?

Девушка недовольно перебила его, тряхнув черными своими косами:

— Потом, потом, синьор Глинка... Мне так надо думать над тем, что вы сказали. Как я буду сейчас петь? Я совсем о другом думаю.

И тут же спросила:

— Вам близок наш поэт Джакомо Леопарди? У него ведь тоже много скорби. Даже в его песнях о любви.

— О, это совсем другое! — рассмеялся Глинка. — Леопарди просто мрачный человек... Я читал его «Теорию об иллюзиях» и его стихи. Сумрачность — его религия, его излюбленный и единственный цвет. Я помню его стихотворение, которое кончается строкой:

Утопать мне сладко в этом море!

Жизнь томительна и бесцельна, думает он. Разве это так? Это даже не меланхолия, Дидина, и разве можно с такими мыслями любить людей и что-нибудь делать для них?

— Но его стихи очень красивы, — произнесла девушка в раздумье, — а когда его читаешь, то словно мо-

лишься богу и освобождаешься от грехов. Впрочем, я совсем не так его люблю, чтобы спорить с вами. Я лишь хотела найти у нас то, что может быть близко душе русского человека.

— Нет, совсем не то! — снова повторил Глинка. — А что вы знаете, Дидина, о России? Что читали о ней?

Она перечислила ему книги, известные ей по школе, и среди них упомянула «Татарскую поэму» Конти.

— Автор был в России и даже был принят Екатериной Великой, — сказала она.

— И посмеялся над ней в этой поэме и над Россией, — весело заметил Глинка. — В вашей школе принимали все сказанное в «Татарской поэме» за правду?

Она кивнула головой и пояснила:

— Тогда я думала, что все в книгах правда, как во всем прав папа.

— А теперь?

— Теперь, а вернее с тех пор, как началось восстание, мне многое стало ново, как будто я и не училась,

И спросила:

— У вас есть любимый поэт в России? Кто он?

— Пушкин, — с волнением ответил Глинка. — Вы не слышали о нем? Я обязательно попробую вам перевести по-итальянски его стихи, как сумею.

Она повторила, чтобы запомнить:

— Пушкин!

И, спохватившись, что заговорила с жильцом и давно уже пора принести ему обед, торопливо вышла из комнаты, захватив с собою со стола громадный в серебряной оправе поднос.

Шаги ее гулко раздались по пустынному коридору их большого, опустевшего после последних событий дома, и Глинка услышал, как еще раз, с упорством школьницы, она сказала сама себе громко:

— Пушкин.

3

Глинка все больше привязывался к этой девушке. Ее суровая правдивость во всем и ничем не стесненное жадное любопытство к каждому его слову, лишенное покоя и в то же время светлое и доверчивое, трогали

его и восполняли отсутствие здесь, в Милане, близких и преданных ему людей. Глинка не раз гулял с Дидиной по городу и в свою очередь расспрашивал ее о нем. Кавалеру Николини донесли о частых их прогулках и музыкальных занятиях русского композитора.

Учителем композиции Глинка выбрал для себя Базили — директора миланской консерватории, но вскоре с ним расстался. Учитель заставлял его заниматься головоломными упражнениями, работая над гаммой в четыре голоса: один голос должен был вести гамму целыми нотами, второй — полтактными, третий — четвертями, четвертый — восьмыми. Базили считал, что этим можно «уточнить» музыкальные способности к композиции.

Учитель приходил к Глинке на дом и оставлял его в раздражении.

— Я не пойму, чему он вас учит, — сказала как-то Дидина.

— И я также, — ответил Глинка и сообщил учителю, что по болезни прерывает занятия.

После этого у Глинки оказалось еще больше свободного времени и шире круг новых знакомых. Базили явно стеснял.

Глинка любил ходить по миланским улицам в те часы, когда в городе было весело и многолюдно. Дидина шла рядом и обращала его внимание на то, как одеваются миланские женщины, как зачесывают волосы «улиткой» и закрывают голову не платком, а перевернутой стороной юбки, что получалось вполне прилично, так как юбок они носили не менее пяти, а то и шести.

— Такая мода в Милане! — говорила Дидина. — В Риме все иначе!

Она рассказывала ему о городах Италии так просто и подробно, как будто о своем доме. Ей приходилось бывать на севере и на юге своей страны и подолгу жить в Неаполе. Глинка же собирался объехать Италию и интересовался почти всем. Его тянуло на море. Ему рисовался Неаполитанский залив, бирюзовое море, олеандры, безветренная тишина скалистой бухты и солнечный, разлитый всюду покой! Девушка приглашала его проехать на озеро Комо, расположенное вблизи Милана, и жалела о том, что миланские окрестности мало чем

приметны по сравнению с итальянским югом. И вообще Ломбардия строга и бедна.

Они не раз ходили к миланскому собору, сооруженному из белого мрамора с острыми, похожими на стрелы, башнями. Однажды в страстную пятницу им довелось видеть здесь крестный ход. Шествие заполнило всю площадь. Какие-то люди в черных масках несли крест и что-то пели вполголоса, шли в два ряда мальчики, одетые ангелами, со свечами в руках, за ними медленно следовал весь в белом и босой, высокий и худой человек, — Дидина называла его «усердным христианином», — на ногах его звенели цепи, а плечи подгибались под тяжестью большого деревянного креста... Всем своим видом он должен был походить на Христа. Глинка, привстав на ступеньку храма, видел огонь факелов и при свете их — голову Иоанна Крестителя, сделанную из воска.

Все было театрально и мрачно в этом молебствии. Странно было видеть, как бодро, походным маршем, шел за толпой молящихся кирасирский полк с духовым оркестром и за ним, неся плащаницу, двигалось согбенное молитвами миланское духовенство. И опять шествие замыкало войско.

Дидина сокрушенно сказала:

— В Риме еще строже, еще больше войск, а вот в деревне... Там гораздо проще, и там праздники выглядят добрее!

— «Добрые праздники!» — повторил Глинка. — Действительно, в этом празднике все пугает, и миланцы сегодня кажутся самыми большими грешниками на свете! Ведь самый большой грех, Дидина, — это упиваться своей греховностью и омрачать себе жизнь подобными шествиями.

Они вернулись домой продрогшие. Была ночь. Маленький калорифер в комнате Глинки грел плохо. Дидина принесла жаровню с углями и ловко обогрела ею постели.

Иванов сидел за столом и сочинял письмо какой-то пригланувшейся ему в Милане актрисе. Дидина ушла, пожелав обоим спокойной ночи. Иванов попросил Глинку:

— Михаил Иванович, помогите мне овладеть

женским сердцем, не таким, как у Дидины, простеньким, а сердцем одной высокопоставленной дамы.

И он начал читать:

— «Куда прийти к вам? Я буду у ваших ног, ваш раб, певец и служитель. Я буду петь о вас и прославлять вас по всему свету, как вы того хотите. Вы — только луч для Милана, но для меня — солнце».

— Ты определенно глуп, — сказал Глинка, лежа в постели. — Порви письмо, погаси свет и ни слова больше о простеньком сердце Дидины! Если бы она, а не твоя дама получила от тебя такое письмо, ты был бы выпорот и выгнан на улицу!

4

В театре, в ложе русского посланника, Штерич и Глинка не раз слушали пенье Пасты. Опера «Анна Болена» почти не сходила с репертуара. Но Глинка не был уже для Милана неким таинственным и знатным незнакомцем, и его и Штерича в антрактах осаждали зрители и актеры.

— Синьор Глинка, мы знаем ваши вариации на темы «Анны Болены», — говорили ему друзья Пасты.

Он действительно написал их, но нигде не исполнял публично и удивленно спрашивал:

— Мои ли? Где вы слышали, когда?

Штерич, зябко кутаясь в шерстяной плед и похожий в нем на старушку, конфузливо признался:

— Это я, Мишель, дал ваши ноты миланскому издателю. Вы ведь посвятили эти вариации мне.

Штерича и Глинку окружали смеющиеся и приветливые лица миланцев. Граф Воронцов-Дашков, русский посланник, и мать Штерича, Серафима Ивановна, в этой же ложе благосклонно вслушивались в разговор. Было шумно, ярко горели люстры, и некуда было скрыться от чужих глаз.

Укоризненно поглядев на Штерича, Глинка поклонился:

— Написал. Не скрою. Паста пела так хорошо!

Глинке аплодировали. Со сцены, закрытой ковровым занавесом, выглянул дирижер, удивленный аплодисментами в антракте. Ему крикнули:

— Здесь синьор Глинка. Скажите Пасте!

И Паста, презрев театральную строгость, в шелковом свободном халате, поверх сценического своего одеяния, подошла к ложе. Паста была скромна, и в скромности ее миланцы видели качество, неизменно присущее любимым их актерам. Иной быть в их глазах она не могла. Певица спросила, поклонившись:

— Не правда ли, вам хорошо в Италии?

Впечатление, вызванное ее пением, она старалась отнести к достоинствам ее страны. И как ни приятно было ей слышать признательное слово о своем пенье, еще радостнее знать, что русскому композитору хорошо в ее стране.

Это было понято всеми, и еще обдуманнее и значительнее представлялась всем не лишенная теплоты неприкосновенная ее приветливость.

И теперь аплодировали ей.

Но в Италии давно наступили черные дни. Казни карбонариев и народное недовольство папскими чиновниками не могли быть секретом от приезжих русских людей. И собравшиеся вокруг ложи ждали, что скажет Глинка.

Граф Воронцов-Дашков с некоторой тревогой поглядывал на приятеля Штерича, Серафима Ивановна насупленно взирала на Пасту, призвав на помощь дворянскую свою честь и привычное в кругах Штеричей презрение к актерам.

Но Глинка, не задумываясь, мягко ответил певице:

— В Италии мне хорошо благодаря вам!

Он не дал повода упрекнуть его в том, что осуждает что-либо, и в то же время дал понять, как было бы ему одиноко в этой стране без таких, как Паста.

Певица поняла, и лицо ее дрогнуло. Она благодарно сказала, еще раз поклонившись:

— Я очень рада!

И весь разговор этот показался матери Штерича столь же обычным, светским, сколь и ничего не значащим.

Серебристый звук колокольчика внес в зал тишину. Действие начиналось. Русский посланник нагнулся к Глинке и спросил:

— Как понимать ваши слова? Не кажется ли вам, что иные из публики хотят вменить музыкантов в политику. И среди них Пасту. Но заметьте, — граф насмешливо показал на книжку, лежащую у него на коленях, — музыке обычно придают в Италии совсем другое значение, умиротворяющее, а не поднимающее страсти. Прочтите-ка, что здесь написано.

И пока свет в зале не погас, Глинка успел прочесть указанную графом страницу из модного романа И. Кунау «Музыкальный шарлатан»:

«Музыка отвращает от серьезных занятий. И поэтому ей не без причины покровительствуют политики, они поступают так из государственных соображений: музыка отвлекает мысли народа и мешает ему заглядывать в карты правителей. Примером тому Италия: ее князья и министры всю страну заразили музыкой, дабы их не тревожили в делах».

— Вот и пойми! — вырвалось у Глинки. — Но правда ли это, граф? — обратился он смущенно к Воронцову-Дашкову.

Посланник пожал плечами и добродушно ответил:

— Пожалуй, все-таки правда! Вот она какова, милый мой, «страна кантилены».

— Нет, музыка не дает себя так обмануть — я имею в виду народную музыку, — горячо зашептал Глинка, взволнованный прочитанным больше, чем разговором с Пастой. — Граф, вы не посеете во мне зерна сомнения, нет...

Занавес поднялся. Граф Воронцов-Дашков ласково коснулся рукой плеча композитора.

— Я хотел лишь вам кое-что приоткрыть, друг мой, — так же шепотом сказал он.

Но Глинка уже лишился покоя. А вдруг неизвестный ему автор сказал правду? Впрочем, речь идет, наверное, о той «цветочной» и шарлатанской музыке, которая столь распространена в Италии.

В этот день Штерич пожаловался Глинке:

— Я чувствую себя все хуже, Мишель. С тобой нельзя говорить о болезнях, ты расхвораешься сам тут же, но если бы ты знал, как я завидую тебе... Для тебя Италия не лечебница, а мастерская... Я же не доживу до тех дней, когда услышу тебя в театре.

— Но что говорят доктора?

На иссиня-бледном и худом лице Штерича мелькнула горькая и вялая улыбка.

— С чахоткой не выживают, Мишель. С чахоткой лишь чаще наслаждаются музыкой и влюбляются в красавиц. Все богатое состояние мое не поможет мне. Хотя бы сделать перед смертью что-нибудь удивительное. Может, привезти сюда свой хор из поместья? Может быть, выдать дарственную моим крестьянам? Мне хочется рассердить мать!

Он долго говорил ему о себе, вспоминал Петербург, Соболевского, уехавшего теперь в Рим, пансион и, проотившись с Глинкой, оставил его в полном смятении. Неужели Штерич чувствует, что скоро умрет?

Открывая дверь Глинке, Дидина встревоженно спросила:

— Что с вами? У вас такой расстроенный вид... А из музыкального общества и театра вам прислали так много цветов.

— Мой друг может умереть от чахотки. Что делать, Дидина?

Она выслушала его, широко раскрыв глаза, и облегченно взмахнула руками:

— Дева Мария! Надо немедленно ехать в деревню. К старухе Флоренсите, нашей знакомой. Она знает травы... Хотите — я пошлю к ней. Еще никто в Италии не умирал от чахотки!

И он поверил ей. Иначе он не мог бы теперь продолжать музыкальные занятия. В этом она действительно помогла ему, только ему, а не Штеричу... Серафима Ивановна вскоре сообщила, что сын ее слег. Глинка один теперь и изредка с Ивановым посещал театр. Впрочем, он верил Дидине и в травы ее знакомой старухи. Да и благодетельное прямодушие и участие Дидины во всем, касающемся его, Глинки, отвлекало его от забот. Он так нуждался в этом отвлечении, он писал музыку для будущей своей оперы и часами просиживал за роялем.

Летом он собрался в Рим. Дидина, грустная, проводила его до станции, откуда отходил дилижанс до Турина. В Турине находился больной Штерич. Он обещал проводить Глинку до Генуи. Оттуда на пароходе, оста-

новившись в Ливорно, можно было попасть в Рим. Глинке сопутствовал Иванов.

— Я могла бы поехать с вами, но я ведь только соседка ваша в доме, — сказала Дидина. — Рим — не Милан... Но с вами ничего не случится без меня?

Она строго поглядела на Иванова.

Пока дилижанс не тронулся и фореитор не затрубил в рожок, она стояла возле станции и махала Глинке платком, незаметно вытирая слезы. А придя домой, в комнату Глинки, обняла руками рояль, на котором только он — жилец их — мог так чудесно играть, и заплакала. Потом пошла к себе, села за старый свой, подаренный некогда ей отцом клавесин и пробовала сыграть по нотам, оставленным Глинкой. Это успокоило ее. Спустя некоторое время она заметила через окно посыльного кавалера Николини возле мелочной лавки, того, что должен был наблюдать за композитором, спустилась к нему и по-свойски серьезно ему сказала:

— Он в Риме. Не сторожи его — не увидишь!

Ее что-то объединяло сейчас с этим безобидным слугой Николини, несмотря на всю разницу в их отношениях к жильцу этого дома.

5

Терраса виллы «Palazi Poli», занимаемой княгиней Волконской, представляла собою полуразрушенную башню римского водопровода времен Нерона. По колоннам и развалинам полз виноград, застилая зеленую древний иссушенный солнцем камень. Террасу окружал сад с разбитым внутри цветником, со старым мраморным водоемом и гипсовыми статуями римских богов. Сад походил на пышное кладбище. Здесь и на самом деле было много могил знатных римлян, не тронутых хозяевами виллы, а под сенью кипариса стояла мраморная урна в память петербургского друга княгини поэта Дмитрия Веневитинова. Сюда же, по слухам, должны были привезти заказанный княгиней бюст Александра Первого.

Соболевского не было в городе, и Глинку привел сюда Шевырев, рассказав по пути о жизни, которую ведет княгиня.

— Ей все больше нравится католицизм. Ее без конца навещают католические монахи и прелаты. Право, для нашей «Северной каррины», как ее зовут, итальянский воздух губителен. Она же думает противное: о том, что Север губит романтизм и гасит страсти... А помните ее вечера на Тверской? Да, вы ведь не знаете Москвы. О ее доме хорошо говорил Вяземский, он называл его «волшебным замком музыкальной феи»: ногою ступишь на порог — раздаются созвучия. Там стены пели, там мысли, чувства, движения — все было пением. Да, что говорить, — Пушкин и Мицкевич боготворили раньше нашу стареющую отшельницу.

Глинка вспомнил слышанные им в Петербурге стихи Пушкина, посвященные Волконской:

При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона,
Царица муз и красоты...

Шевырев сказал о себе:

— Я же начинаю скучать. Мои занятия в Московском университете прерваны, я стал педагогом для одного лишь ее сына. Но Соболевский знает, я не могу от нее уехать. К тому же князь Никита Григорьевич и княгиня считают меня своим... хотя, — он еле заметно усмехнулся, — хотят нанимать в секретари аббата Жерве, здешнего знаменитого иезуита.

Княгиня вышла к гостю на террасу и певуче сказала, глядя не в лицо ему, а куда-то в сторону:

— Здравствуйте, Михаил Иванович, вы давно в Италии? О вас так много мне говорил Соболевский.

Княгиня вела себя с ним как со старым знакомым, хотя видела его впервые, — привычка усталой, но общительной женщины, привыкшей быть на людях.

Вскоре они сидели в саду, среди чьих-то памятников и могил, отмеченных тяжелыми белыми плитами, с непонятными Глинке надписями, и Зинаида Александровна сказала, приготовившись слушать гостя:

— Ну, рассказывайте! Что в России?

Взгляд ее голубых, но потускневших глаз был рассеян. Красивое доброе лицо ее под высокой взбитой

прической было обеспокоенно-учтиво, внимательно, но не открыто.

И, помогая гостю, подсказала:

— Вы ведь из Петербурга? Где сейчас Пушкин? Скажите, при вас никого не простили из тех, кто бунтовал в декабре...

— Если бы только бунтовал... — вежливо заметил Шевырев. — Посягательство на жизнь царя — это не бунт!

— Ну кто этого не знает, Степан Петрович, — тоном упрека ответила она Шевыреву и ждала, что ответит Глинка.

— Царь не намерен прощать своих врагов, — коротко сказал композитор. — Он вызвал к себе заново на допрос некоторых из них и лишь увеличил их наказание. Кюхельбекер сослан, Рылеев...

Она мягко перебила его:

— Обо всем этом я знаю от невестки. Она пишет мне оттуда, из Сибири. Но я все жду от государя милости, этим он так многое изменил бы в настроении умов...

Шевырев извинительно поглядел на Глинку. «Женщина, — что вы хотите от нее, — говорил его взгляд, — она хочет примирить непримиримое...»

Глинка слушал Волконскую, замечая, как трудно было ей говорить о невестке, и почти фантастическим казалось ему все происшедшее, столь необычайным оно казалось сейчас, здесь, на развалинах старого Рима. В воображении не укладывалось сразу, что одна из Волконских ютится сейчас в бараках в сибирской тайге, а другая сидит перед ним в Риме... Жизнь здесь медленно, но верно погружала порой в какое-то забытие, и уже Петербург, Новоспасское, как и все неисчислимые Глинки, оставались где-то за рубежом памяти. Но всякий из них, кого вспоминал он, жил и действовал по-своему; и это возвращало к действительности, к живому представлению всего происходящего в мире. И тогда казалось странным другое: как можно так спокойно обо всем говорить — о Пушкине, о Марии Волконской...

— Я послала ей отсюда лимоны. Как вы думаете, они дойдут в Сибирь? — спросила княгиня.

— Оказией или почтой?

Глинка пытался подсчитать в уме, сколько времени надо ехать из Италии в Сибирь, и получалось... не меньше года.

— Со своим человеком, — пояснила Зинаида Александровна. — И, конечно, не одни лимоны, и не ей одной. В Москве помогут моему посыльному. Вы слышали, у некоторых из них начинается цинга!

Она имела в виду сосланных.

— Вам не кажется, что, будучи в Москве, вы бы больше могли помочь им? — спросил не без умысла Глинка. Его коробило от ее «ужаса» перед тем, что ожидало в Сибири. Конечно, там может случиться цинга, и не только цинга... Или сестра не пишет ей обо всем?

— Нет, я лишь изольюсь в Москве слезами и совсем перестану писать стихи, — вырвалось у нее с беспомощностью и искренностью, тронувшей его. И он понял при этом, что, очень редко печатаясь, она тем не менее большое значение придает своим поэтическим опытам.

И тут же она сказала, благодарно поглядев на Шевырева:

— В Москве, по моему совету, устраивают при посредстве Степана Петровича эстетический музей. Адъютант Погодин взял на себя его организацию при моей помощи деньгами. В музее будет много итальянского, возвышающего дух... особенно в наши страшные годы.

Глинка понял, что этим устройством музея она мнит себя связанной с общественной жизнью Москвы, что для нее, видимо, необходимо и здесь одиночество. Шевырев неожиданно сказал, разом нарушив ровный и самоутешительный ход ее мыслей:

— А все-таки надо сознаться, что мы ничем сейчас не можем помочь России. Искусства наши молчат, мысль наша безгласна после известных нам событий... И мы, русские, изменяем здесь своему долгу. Брюллов клянет Россию! Кстати, вы можете его увидеть в Неаполе, — обратился он к Глинке. — Мы же с княгиней закупаем... эстетический музей.

— Можем помочь! — твердо сказал Глинка.

— Чем же это? — с любопытством уставился на него Шевырев.

— Направлением самостоятельности в наших искусствах, незамедлительно повлиявших бы и на настрое-

ния умов, о чем намекнула графиня, — ответил Глинка не спеша, чувствуя прилив уверенности в себе и силы: обо всем этом он немало думал, находясь в Италии. — Можно ли думать, что Пушкин не отделит нашу мысль от корыстолюбцев, молчаливиков и подражателей?

— Но чем же все-таки? .. — глухо перебил его Шевырев. — Вот вы, Михаил Иванович, чем собираетесь возместить все это на отечественном поприще?

Голос Шевырева звучал менторски, так, словно он обращался с вопросом к одному из своих учеников в университете.

— Музыкой! — с достоинством сказал Глинка.

Шевырев и княгиня молчали.

Не много ли он взял на себя? — читал он в их молчании.

— В пятнадцатом году я выступала в Париже при Россини, — сказала вдруг княгиня, — и Россини нашел у меня сценический талант. Другие же пожалели, что талант этот «достался на долю дамы большого света». Так писали в Париже, не надеясь на то, что я буду продолжать играть. А отцу моему в Париже, писавшему стихи, еще Вольтер сулил большое будущее...

Волконская замолчала.

— Княгиня хочет сказать, — как бы перевел ее слова Шевырев, — что любительством и талантом еще не достигнешь желаемого... Впрочем, — поправился он, боясь обидеть гостя, — Соболевский и Штерич столь высокого мнения, Михаил Иванович, о ваших музыкальных занятиях, что мы хотим верить в вас!

— Пишите музыку о юге, — ласково и ободряюще сказала Волконская. — Мне говорили, что в Милане издатель Рикорди печатает ваши вариации и они очень хороши!

Глинка почтительно наклонил голову.

— Почему, однако, не о севере? — тихо спросил он ее.

— Ну что вы? — с огорчением подняла она на него голубые затуманенные, грустные глаза. — Можно ли о севере, Михаил Иванович? Зима — это страдание земли, — я так и пишу в своей книге, в той, где будет печататься моя поэма «Ольга»; зима стирает и превращает в бедность все краски, иссушает весь источник жизни и

даже жаркие слезы превращает в ледяшки. А север — это зимы, унылые, мертвящие природу.

— Как вы неправы! — сказал Глинка, почти ожесточаясь на нее и, казалось, забыв приличие.

И он начал горячо рассказывать ей о характере северян, и чем богаче они жителей юга, чем замечательны зимы в пору, когда деревья в инее, осененные морозным светом, стоят в тишине леса, лишь плывучий бег саней да толкающийся в чаще ветер нарушают эту бодрую тишину...

Волконская слушала, не перебивая его, любясь не столько описываемыми им картинами севера, сколько самим рассказчиком, его оживлением и убежденностью.

Слуга-негр, выкупленный князем у кого-то из здешних богачей, весь в белом, пришел приглашать к столу.

Было очень поздно, когда Глинка покидал виллу Волконской. Княжеская лакированная коляска с белыми лошадьми, на холках которых красовались чучела таких же белых голубей, в знак сердечного мира и доброты к людям, отвезла его в гостиницу.

До города было далеко. Оголенные осенние поля и увядающие оливковые рощи расстилались в сумраке по обеим сторонам дороги. Кое-где крестьяне обрабатывали землю. Большие белые быки, словно сошедшие с саркофагов старого Рима, тащили чуть заметные в темноте деревянные плуги. Очертания города чернели впереди гигантскими сводами капителей, освещенные мирными огоньками небольших, расположенных у подножий гор селений.

Глинка ехал и невесело думал о том, что взглядами и интересами, высказанными им в разговоре у Волконской, противопоставил он себя своим здешним соотечественникам, бесплодному любительству княгини и увлечению ее Италией, приняв на себя всю тяжесть поставленной им в музыке задачи...

Соотечественников в Риме оказалось немало. Среди них обнаружили и давние петербургские знакомые. Феофил Толстой, музыкальный критик и меценат,

близко знавший Пушкина, совсем недавно прибыл из России и охотно рассказывал Глинке последние новости. По его словам, Пушкин занят историей Пугачева и готовит какую-то народную драму, не о нем ли? Передавали, будто на балу у Бобринского царь сказал Пушкину: «Жаль, что я не знал, что ты пишешь о Пугачеве, а то бы познакомил тебя с его сестрицей, которая три недели тому назад умерла в крепости Эрлингофской».

Феофил Толстой спросил:

— А вы, Михаил Иванович, чем заняты? Кажется, Италией увлеклись? Известно мне, что посланнику графу Воронцову-Дашкову вариации на тему из «Коа-Кинга» посвятили. И миланская печать о вас пишет...

— Да нет, — поморщился Глинка и, боясь, как бы не принял Толстой всерьез мнимое его итальянство, поневоле разоткровенничался: — И я народную драму задумал. Только выйдет ли?

Разговор происходил в гостинице, где жил Глинка. Феофил Толстой не пользовался его доверием, да и слыл в Петербурге изрядным хвастуном и пустым борзописцем. Тем меньше хотелось Глинке признаваться в сокровенном.

Но было уже поздно. Толстой навязчиво расспрашивал:

— Что за народная драма, Михаил Иванович? В наше-то время, после восстания в декабре? Нынче всякие народные драмы вольнодумством дышат, дух мятежный по нашим следам идет. Разве ж что-нибудь о Минине, Пожарском да опять о Сусанине?

— Почему «опять»? — быстро спросил Глинка.

— Да потому, Михаил Иванович, что тема в защиту царя и отечества для нашего времени самая нужная... Сусанин ведь за царя жизнь отдал, верный сын простого народа, а дворяне наши на царя покушались.

И, сдерживая раздражение, Глинка повторил барину Толстому все то, что некогда объяснял крепостному кучеру своему Игнату Саблину.

— Сусанин за отечество стоял, за себя... Иначе и Рылеев не написал бы о нем!

И больше не пускался в спор со столичным музыковедом, так и не открывшись ему вполне в своем замысле.

Они заговорили о боях итальянской армии с отряда-

ми Гарибальди, о карбонариях, о том, что происходит во Франции. И придет ли когда «успокоение народов».

После ухода Толстого, как обычно стремительно и неожиданно, нагрянул Соболевский. Он объезжал Италию и только что вернулся в Рим.

— Мимоза! — кричал он, сжимая Глинку в объятиях, веселый и пышущий здоровьем. — Маленькая моя мимоза, хорошо ли тебе в сем парнике? Об Иванове расклеены по городу афиши, русский певец пользуется в Италии славой, ну, а ты, печальник, ты как?

— Веселюсь! — врал Глинка. — Начал волочиться за красавицами. Всю печаль побоку!

— Ой ли! А почему бледен, Глинушка?

И Глинка, смешно наклонив голову набок, отвечал пискливо, подражая одному из встреченных им на площади цирковых шутов, изображавших римских святош:

Беденькому Глинке
Только бы молиться,
Будет без заминки
Весь он день учиться...

— Как я рад тебе! Правду говоря, такая наступает тошнота от серьезности, что хоть иди в игорные дома плясать. А тут еще у богомольной Зинаиды Александровны Волконской совсем духом «возвысился».

И два дня, пока был Соболевский в Риме, они провели вместе, бродя по улицам и площадям, заглядывая в трущобы и во дворцы «святого города», танцуя на каком-то карнавале и с молитвенным видом провожая в монастырь уличную певицу, оказавшуюся монахиней. Поистине отдохновенны, хотя и греховны, были эти два дня.

Был конец октября, когда вместе с Ивановым Глинка выехал в дилижансе по намеченному пути дальше, в Неаполь. Первого ноября он сидел на берегу Неаполитанского залива и любовался отражениями далеких отсюда гор Сорренто, полупрозрачных, подобно опахам. Воздух был настолько прозрачен, что красноватые домики и мирты, посеребренные солнцем, приобретали здесь особую отдаленную четкость, словно и они были отражениями зеркальной и недвижной поверхности моря. Проходил рыбак в дырявой шляпе, которую, одна-

ко, он ни перед кем не ломал, брели девушки, с пленительной небрежностью закинув длинные свои смоляные косы. Люди здесь казались свободны и осенены спокойным достоинством. Казалось, чувство присущей этому берегу вечной, незыблемой красоты делало человека подтянутым и безотчетно счастливым. Глинка сидел на берегу, и его охватывало ощущение простора и светлой покоряющей себе тишины, какое приходит внезапно при восхождении на гору.

Только мусорная свалка в конце бухты превращала эту землю в нечто страшно обычное... Туда из города, не смея обронить мусор, дробно бежали приученные ослики с большими корзинками на спине. Осликов встречал почтенный старик в черном халате, похожий на монаха, — хранитель чистоты в городе.

Глинка, уходя с берега, видел, как ослики стояли в очереди к старику и дремали, переступая в дреме ногами с маленькими копытцами, похожими на стаканчики. Жизнь города проходила здесь на глазах у всех. На улицах обедали, стирали, спали и молились. Было очень тепло, и в домах жили мало.

Дом, где остановился Глинка, принадлежал монаху. Монах благословил Глинку и Иванова, двух своих жильцов, взял с них деньги, передал им ключи и удалился, пообещав прийти через месяц. Дом был небольшой, уютный, с палисадником, в котором на дереве покачивалась скворечня, похожая своей формой на скрипку.

Иванов завел знакомство с учителем пения Носсари и со знаменитым Рубини.

— Рубини сказал, что я беру нотою выше его, — хвастался Иванов Глинке.

И вскоре сообщил:

— Михаил Иванович, я познакомился с художником, который берет на меня представить королевскому двору. Михаил Иванович, счастье-то какое! Что же вы молчите?

— Молчу, Николай. Думаю, к добру ли это?..

— Ну вот, Михаил Иванович, вы всегда в чем-то сомневаетесь, можно подумать, что даже завидуете...

Глинка вспыхнул. Не пора ли отчитать Иванова и запретить ему говорить с ним таким тоном. Успех кружит ему голову. Но голос Иванова нравится и Глинке, и

хочется быть снисходительным к певцу... К тому же разве не лестно Иванову, что говорят о нем итальянцы?

Он промолчал.

Вечерами они вдвоем бывали у актрисы госпожи Фодор-Мейнвиель, дочери скрипача-виртуоза Иосифа Фодор, переселившегося из Франции в Россию. Его знал Петербург. Госпожа Мейнвиель отлично говорила по-русски, манерой вести себя походила больше на русскую уездную барыньку, чем на итальянскую актрису. Она недавно оставила сцену и поселилась с мужем в Неаполе. Мейнвиель, женившийся на ней в Петербурге, рассказывал русским гостям анекдоты о России, о том, что случилось с ним якобы при Павле Первом, — с намерением удивить и рассмешить... Но смешного, собственно, было мало. Господин Мейнвиель не знал Россию, хотя и жил некоторое время в ней. Глинка скучал и ждал, когда он замолчит и в разговор вступит его жена. Тогда можно будет попросить ее что-нибудь спеть.

Госпожа Мейнвиель пела непринужденно и так ловко «выделявала трудные пассажи, как в Берлине немки вяжут чулки во время разных представлений, не прооронив ни одной петли» — так говорил он позже о ее пении.

Впрочем, пела она мило, умело, но и только!

Иванова она учила не без пользы, придерживаясь метода, принятого Носсари, требуя мягкого и отчетливого исполнения, и останавливала, когда Иванов, любясь своим голосом, пел слишком громко и высоко.

Любимым театром Глинки в Неаполе был маленький и бойкий театр, зданием своим похожий на цирковой балаган. В нем играли на свой лад, подчас импровизируя тексты на неаполитанском наречии с помощью пульчинелло¹, и сама необычность и самобытность толкования уже известных пьес привлекала сюда Глинку.

Бывая в этом театре, Глинка утешительно думал о том, как неправ автор романа «Музыкальный шарлатан», доказывая, что народное сознание итальянцев усыплено музыкой...

В декабре вместе с Ивановым предпринял Глинка восхождение на Везувий. В Неаполе моросил дождь, а

¹ Одна из любимых масок в итальянской комедии.

на вершине вулкана неистовствовала лютая пурга. Небольшая гостиница для туристов оказалась заселена, ночлег предстоял под открытым небом. Пришлось возвращаться в город. На беду в коляске, на которой добирались они до Неаполя, сломалось колесо, и нужно было некоторое время идти пешком. К частым недугам — к бессоннице, а в последнее время нервной сыпи на коже — прибавилась простуда. Все это принуждало к бездействию, а бездействие усугубляло страдания.

Позже, вспоминая о днях, проведенных в Неаполе, Глинка писал:

«Страдал я много, но много было отрадных и истинно поэтических минут. Частое обращение с второклассными, первоклассными певцами и певицами, любителями и любительницами пения практически познакомило меня с капризным и трудным искусством управлять голосом и ловко писать для него. Носсари и Фодор в Неаполе были для меня представителями искусства, доведенного до совершенства (*plus ultra*); они умели сочетать невероятную (для тех, кто не слышал их) отчетливость с непринужденною естественностью (*grâce naturelle*), которые после них едва ли мне удастся когда-либо встретить... Даже в пении Пасты были не без некоторого рода претензии на эффект!»

Он не раз вспоминал Дидину. Если в Неаполе его привлекала простота, более целомудренная и строгая, чем где-либо, то олицетворением этих качеств в человеке была для него Дидина. Впрочем, ему меньше всего хотелось ее сравнить с кем-нибудь!

Без нее он был одинок в Милане, а вскоре расстался и со своим спутником.

— Михаил Иванович, выслушайте мою покаянную, — начал однажды Иванов с дрожью в голосе, и полное холеное лицо его вдруг покраснело. Глинка заметил, что Иванов никак не решится что-то ему сообщить.

— Что-нибудь натворил, Николай? — ободряюще спросил композитор. — Не иначе, как трем красавицам сразу письма писал.

— Решение я принял, Михаил Иванович, — медленно промолвил Иванов, набираясь смелости, но опустив глаза.

— Какое же решение, Николай? Жениться небось?

Глинка решил, что несвойственная его товарищу серьезность вызвана именно этим решением.

— Жениться, Михаил Иванович, я не опоздаю, — с неприятной откровенностью ответил Иванов, принимая подтрунивание над ним за подлинное участие в его немало надоевших Глинке любовных интригах. — Я, Михаил Иванович, такое решение принял, что теперь свободным человеком стану и могу от самого царя-батюшки не зависеть.

— Что же ты решил, Николай? — уже с тревогой спросил композитор. — Говори скорее!

— Порешил я, бесценнейший Михаил Иванович, здесь остаться, в Италии, и с Россией всякие счета кончить. И фамилию мне вторую актеры здешние подберут. Вы меня, будет нужно, уже перед посланником защитите: поддался, мол, на уговоры и своей выгоды не прозевал. Что же касается батюшки вашего, Ивана Николаевича, отрядившего меня с вами на свои деньги, я ему, как и вам, ничем не обязан, так что вы, Михаил Иванович, не взыщите, — вот такое мое решение.

Все это он выпалил одним духом, как бы боясь, что Глинка остановит его, и слово «решение» произносил с необычайной важностью, давая понять этим словом, что нет для него иных путей, кроме принятого.

— В своем уме и в здравой памяти ты? — весь наливаясь гневом и холодея, осведомился Глинка.

— Может быть, и не в большом уме, но в своем, — попытался созорничать Иванов, усмехаясь, — да с большим умом, с таким, как ваш, жить трудно, а память у меня богатая, Михаил Иванович, все помню.

— Стало быть, отвечаешь за себя.

Голос Глинки был странно спокоен, и это спокойствие не предвещало Иванову ничего доброго.

— Вы пугать, что ли, намерены, Михаил Иванович? — наглей, спросил он, действительно начиная все больше бояться Глинки.

Вверенный его попечению молодой новопасский барин, прозванный за хилость свою «мимозой», над чем не раз потешался в душе рослый и осанистый Иванов, предстал перед ним презрительный и властный, в своем гневе страшнее посланника.

— Пошел вон! — кричал Глинка. — Чтобы ни духу твоего, ни памяти о тебе не было! Ты не свободен отныне, ты просто не нужен.

И в гневе он бросил в лицо Иванову впервые произнесенные им слова:

— Смерд! Холоп!

Иванов, не поднимая глаз на композитора, рывком сгреб в свой чемодан ноты, рубашки, туалетные вещи, щеголевато разложенные на полочке, и тут же покинул дом.

Месяцами двумя позже композитор стучался в маленький особняк с закрытыми ставнями на людной миланской улице.

— Синьор Глинка! — теряя от волнения голос, прошептала Дидина, открывая дверь.

— Да, Дидина, здравствуйте! Вы поджидали меня?

— Уже который месяц жду! — сказала она тихо и без упрека. — А где ваш товарищ? Он придет позже?

— Я потерял его, Дидина. Потерял в дороге. Он никогда не приедет ко мне. Мы расстались. Вы поняли?

Она спокойно ответила, закрывая за ним дверь:

— Если он вам помогал в чем-либо, то, может быть, я вместо него помогу. Вы ведь никогда без него не скушали. Я так рада, что вы снова в Милане!

7

Сергей Соболевский, отдавая должное итальянским красотам, не забывал о том, что могло украсить библиофильские его находки, не забывал и об изучении промыслов и торговли.

Он опять был в Милане, здесь познакомился с Манцони и, к радости своей, узнал об осведомленности знаменитого итальянского писателя в литературе русской.

Манцони говорил ему о Пушкине и о Козлове.

О встречах своих в Милане, как и о том, что делает здесь «полюбившийся итальянцам Глинка», писал Соболевский отсюда Пушкину и петербургским друзьям, а узнав от них, что Пушкин затевает издание «Литературной газеты», тут же написал Шевыреву:

«Тысяча приветствий Пушкину. Надеюсь на его газету. Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик и большой практик, даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства: газета его будет и русска и бонтонна и будет завлекать к чтению. Желаю знать, кто у него будет главным редактором, ибо сия машина есть главная у таковых мануфактуристов, каков Пушкин».

Соболевский, веселый и всегда энергичный, называл «мануфактуристами» людей дела и живой мысли, не отягощенной бесплодными страданиями.

Снова довелось Глинке встретиться в Милане с Толстым. Они сидели вечером на балкончике низенькой миланской таверны. Шелковые ткани миланок мелькали внизу. Звезды теплились в небе, и светлый силуэт миланского собора закрывал собой горизонт. Глинка произнес, как бы спрашивая сам себя:

— Можно ли все это: и улицу, и шуршанье платьев, и черные волосы женщин, и шарканье ног — дать в музыке?

— Конечно, — ответил Толстой. — И черные волосы, и ночное небо — всё это целиком можно изобразить звуками.

— Дело не в том, — помедлив, возразил Глинка. — Черные волосы сами по себе... Но душевное настроение, производимое подобным зрелищем, — вот это можно ли выразить в музыке? Правду сказать, именно этим я занят последнее время, досыта упившись внешним музыкальным изобразительством.

Толстой молчал.

Глинка быстро перевел разговор на другое. Он говорил о своих сборах в Берлин и в Вену, о намерении поучиться в Берлине у Зигфрида Дена, о том, что может ждать его на земле Альбрехтсбергера, Фогеля и Вебера. Чем после Италии удивят Германия и Австрия?

Он знал о том, что Моцарт, Гайдн и Бетховен уже не владеют по-прежнему умами венцев, забавляющихся ныне Штраусом и Ланнером. Он думал о великом и ускользающем в том, что оставили они в музыке. И коротко сказал:

— Не побуду там — каяться начну, будто упустил что-то, не нашел вовремя!

— Жадны вы и хозяйственны в этом! — заметил Толстой.

— Вот это верно! Хозяйствен, жаден, еще скажу — упрям до назойливости, — не без гордости охотно согласился Глинка. — Это не то, что Соболевский нынче мне о мануфактуристах и бонтоне говорил, — чепуха! Да и ведь я прогляжу в музыке то, что движение ей может придать, и другие, пожалуй, проглядят. Ведь судят-то все больше по написанному, по известному, а не по тому, что сие надо написать и изведать для русской музыки. А музыка наша, как и литература русская, на новых, притом своих путях, не так ли?

Толстой смущенно согласился. Не к нему ли, петербургскому музыковеду, относился упрек Глинки? Что-то в этом роде приходилось ему слышать и в петербургских литературных группах и в московском кружке Огарева и Станкевича. Откуда это в Глинке — жителе Италии?

Ненароком Глинка сообщил:

— Потому спешу из Италии, что сестра моя Наталия с мужем из Новоспасска в Берлин выехала, и там встретить ее должен. Три года родных не видел. Из Новоспасского родители пишут, что соскучились, а я-то и того больше!

Расстались они ночью. Дворники в черных халатах швабрами мыли улицу. Где-то пиликала скрипка, и, заглушая слабый ее звук, мерно били на городской ратуше часы.

Сборы были недолги. Дидине сказал, что вернется, хотя бы через года два, и будет писать из Петербурга, а может быть, и еще из Вены.

— Я знаю! — ответила девушка мужественно. — Вы, синьор Глинка, не можете жить у нас вечно, но Петербург теперь гораздо ближе к Милану... Раньше же о как далеко от нас был Петербург. — О себе молчала.

Она подвела к Глинке слугу кавалера Николини и извозчика, наблюдавшего за их домом, и композитор, смеясь, сунул каждому из них несколько флоринов.

Он попросил слугу передать привет кавалеру Николини, которого так и не удалось ему, Глинке, увидеть.

— Что делать, — вздохнул слуга сокрушенно, принимая деньги и кланяясь. — Кавалер не знает о вас и, наверное, пожелал бы вам доброго пути, но знатные люди

не могут обойтись в этих делах без синдика. Такое время!..

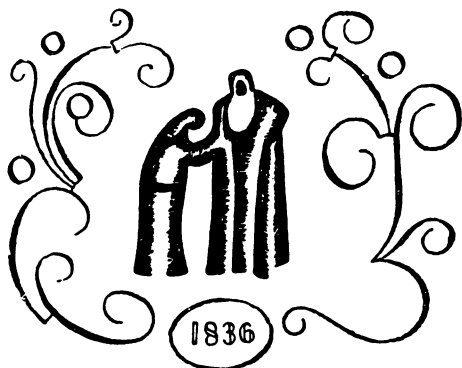
Уже уехав из Италии, писал Глинка одному из петербургских своих друзей о музыкальном замысле, который овладевал им на всем пути его странствий в последние годы и теперь уже сопутствовал ему везде и, казалось, где бы ни жил композитор, стучался в дверь его дома:

«...Без сомнения ты удивишься, когда откроешь во мне больше того, о чем мог бы подумать во время моего петербургского житья. Сказать ли тебе все? Я полагаю, что я тоже мог бы дать нашему театру произведение больших масштабов. Сам первый готов допустить, что это не будет шедевр, но, конечно же, это будет и не так уж плохо!

Самое важное — это, конечно, выбрать сюжет, во всяком случае, он безусловно будет национален. И не только сюжет, но музыка. Я хочу, чтобы мои дорогие соотечественники почувствовали бы себя тут как дома и чтобы за границей не принимали меня за самонадеянную личность, на манер сойки, что рядится в чужие перья.

Примечаю, что мог бы и наскучить тебе, удлиняя сверх меры описание того, что покрыто пока еще мраком будущего. И кто знает, найду ли я в себе самом силу и талант, необходимые для выполнения обещаний, которые я сам себе дал».

ИВАН СУСАНИН



Народ хочется делать... Народ
как великую личность.

Мусоргский

1

Если бы можно было провести годы в Италии и в то же время не оказаться оторванным от родного своего дома! Когда уезжал из Новоспасского за границу, то представлял это и возможным и обязательным. Разве исконное чувство к родителям может быть чем-либо угашено? Наконец есть курьерская почта!

Но, оказывается, жизнь требует за дарованное человеку знание искупительной жертвы. Новоспасское давно маячит позади радужными огоньками детства и погружается в прошлое, как в темень, хотя и протестует против этого старший сын — надежда новоспасских Глинок. Тем неожиданнее и страшнее весть, полученная в Берлине от матери: умер отец.

Месяцем позже его смерти Михаил Иванович вернулся в Новоспасское и, справив все нужные бумаги, оставил матери доверенность на управление поместьями.

В доме та полная растерянности и неведения тиши-

на, которая бывает после кончины человека, с уходом которого все как бы оказывается и на месте и ненужным. . .

Немногодумно, но знающе и словно заранее определив, чему быть теперь в Новоспасском, смотрит на молодого наследника притихшая дворня. И Михаилу Ивановичу кажется даже, что дворня, как один человек, наблюдает за ним. И дети, уже переросшие сверх ожидания положенную им братом черту, за которой начинается юность, глядят на него с любопытством и тревогой. Словно опять повторяется случай, подобный тому приключившемуся в детстве, когда однажды, скатившись вниз по лестнице из бабушкиного «заповедника», обнаружил он в доме таких же, как сам, детей.

Лучшей помощницей матери была Людмила. Она умела утешить ее и могла распорядиться по дому. У нее было внимательное доброе лицо и мягкие, неслышные движения. Для нее уже прошло то время, которое лишь начиналось для младших: заучивать «аз, буки, ве́ди» и нарочно выдуманные бессмысленные слова «бруйтчих» или «вайдком» для развития памяти, носить привязанную на грудь огромную тетрадь в наказание за невыученный урок. Она была очень здоровой, и, может быть, потому, что ела в детские годы все приносимое кормилицами — кислые щи, похлебку, черный хлеб — и спускалась к родительскому столу уже сытая.

— Знаешь, я хочу в память об отце отпустить на волю всех наших нянь, — сказала она Михаилу Ивановичу в первый день его приезда.

И озабоченно прибавила:

— Только куда они пойдут?

И когда он молчал, испытующе глядя на сестру, и думал, почему, собственно, она, а не мать говорит об этом, Людмила пояснила:

— Так, как было, ведь не может продолжаться. Что-то должно перемениться в нашем доме, Миша. Надо порадовать людей и надо обставить жизнь проще. Зачем нам конный завод и зачем столько расходов? . .

Ей было восемнадцать лет — возраст, когда очень приятна самостоятельность. Михаил Иванович видел, однако, в ее попытках самостоятельности больше

девичьего стремления к благородству, чем пользы делу, и упорно отталчивался.

Тогда она спросила обиженно:

— Ты же старший, мы так ждали тебя, с чем же ты приехал к нам, если все молчишь?

И ему пришлось войти во все заботы об имениях, хотя он и передал доверенность на управление матери. К тому же Людмила была права: «Что-то должно перемениться в доме...»

Он ходил с Людмилой по селу и присматривался к тому, как живут люди, «его люди», как сказала ему мать.

Какое наказание! Он послушался бы Людмилы и отпустил не только нянь, а всех дворовых. С наемными как-то честнее. Но сейчас он совершал то, на что не решалась Евгения Андреевна при муже, — отделял им землю и уменьшал этим свое поместье до размеров, в каких оно оставалось при бабушке Фекле Александровне.

Брат и сестра шли с налоговыми книгами и подушными списками в руках, похожие на юных студентов из либеральных кружков, которые навевались в ту пору в деревни.

Была весна, и ноздреватая, освобожденная от снега земля податливо уплотнялась под ногами. Неясное русло реки, еще заваленное снегами, чернело за лесом, и «Амуров лужок» с козлоногими сатирами и статуями Аполлона вырисовывался справа от дороги. Весенний ветер шаркал в лесу, и старый лесник, одурев от долголетия и от криков грачей в сторожке, брел навстречу барышне и барину неверным хмельным шагом.

— Матвеич, — сказала ему Людмила, — не нужно ли тебе чего?

Старик не понял вопроса, но догадался о том, что привело господ сюда.

— Без батюшки Ивана Николаевича в деревню свою вышли? — ответил он, низко кланяясь. — Низкая ваша земля, Михаил Иванович, влажная, не обидел бог, снега в себе долго держит. Не то что у соседей: у тех бугры, голые и засушливые!

Михаилу Ивановичу и Людмиле совсем, казалось, неинтересно было слушать о их низкой земле. Глинка болезненно морщился, а сестра возразила виновато:

— Как же это так, Матвейч, что у соседей земля хуже?

— Да вот хуже! Хуже, говорю! — обрадованно твердил он. И обернулся к Глинке: — Вы, толкуют, барин, ко святым местам ходили? В Иерусалим?

— Нет, Матвейч, в Риме я был. В Италии.

— Это где же?

И, по-прежнему думая, что молодой Глинка был там, куда ходят на поклонение, старик побрел дальше.

— Ты заведи школу! — говорил Глинка сестре. — Выпиши учителя и скажи попу, чтобы не ревновал, не мешал бы ему. Из Смоленска выпиши, там учителя попроще.

Она кивнула головой.

— И оркестр бы иметь свой. Я бы сам дирижировал.

А через неделю уже показалось ему, что нечего делать в родительском доме. И он, отпросившись у матери, вскоре выехал к Мельгунову, в Москву.

Сен-Пьер входил в известность, знал многое, о чем было невдомек в Новоспасском, к тому же писал о музыке.

— Тебе бы жениться, — сказала мать, прощаясь. Она ходила в черном, траурном платье, придававшем ей стройность и спокойствие. Увядшее морщинистое лицо ее и действительно казалось спокойным. Она стойко пережила свое горе.

И тут же добавила:

— В твои годы уже женятся. А женившись, станешь ближе к дому, может быть, даже ко всем нам, и более расчетлив... А то, чего доброго, от всего откажешься — от деревни, от своих людей. На что жить будешь?

Она светло улыбнулась, чуть подсмеиваясь над ним, и спросила:

— Неужто музыкой одной займешься?

«В России без чинов и должностей нельзя, — знаю», — хотел было сказать он, но ответил мягко:

— Через год обо всем скажу, подождите, мама.

Ему не хотелось говорить ни о музыке, ни о том, что, будучи в Берлине, увлекся девушкой из простой семьи, на которой и хотел бы жениться.

— Через год — подожду, — так же спокойно согласилась она и стала говорить ему о том, сколько потре-

буется на год денег, если жить в Петербурге, сколько следует иметь пар белья, сорочек, холста и бархата на занавеси и мебель и кого следует взять с собой из дворовых.

2

Не те времена теперь, когда говорили: «Москва — прихожая, Петербург — гостиная, деревня же — наш кабинет». Москва, какой увидел ее Глинка, теперь во многом диктовала вкусы Петербургу. Впрочем, так могло казаться после долгой отлучки, когда так трудно бывает разобраться сразу в происшедших переменах. И говорил же входивший в славу молодой Белинский, что «для русского, который родился и жил безвыездно в Петербурге, Москва точно так же изумительна, как и для иностранца. По дороге в Москву наш петербуржец увидел бы, разумеется, Новгород и Тверь, которые совсем не приготовили бы его к зрелищу Москвы. Улицы в Новгороде не кривы и не узки, многие дома своею архитектурой и даже цветом напоминают Петербург. Тверь тоже не дает идеи о Москве: ее улицы прямые и широкие, а для губернского города она довольно красива. Следовательно, въезжая первый раз в Москву, наш петербуржец въезжает в новый для него мир».

Петербургец Глинка, каким по праву считал он себя, ибо Смоленск и Ельня не могли же соперничать с северной столицей, второй раз приезжал в Москву и по той же единственной сюда дороге. Он проехал Новгород, Крестцы, Яжелбицы, Валдай, посетив, кстати, завод, поставлявший всей России колокольчики, Зимогорье, Тверь и наконец добрался до Новинского бульвара в Москве, где квартировали Мельгуновы.

На этот раз он пристально знакомился с Москвой. Здесь не было Волконской и «не принимали» многие салоны, делавшие раньше честь городу. Но сейчас Москва — средняя, мелкопоместная, если судить по-деревенски, — больше притягивала к себе Глинку. «Не зная ее, не напишешь о народе, — думал он. — Пусть Петербург — «пробный камень» человека — так заявил Белинский. И пусть неотъемлемо его отрезвляющее свойство,

Москва в таком случае — прибежище для людей увлекающихся и простых сердцем».

И как ни много слышал Глинка разного об этих двух городах, оказавшись у Мельгунова, его примирил с обеими столицами бойкий портрет их, написанный в одной безымянной тогда, предложенной ему хозяином дома литературской статье:

«Петербург весь шевелится, от погребов до чердака: с полночи начинает печь французские хлебы, которые на завтра все съест разноплеменный народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, чтоб во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если обороты фрака велики, то у ней — как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, на все глядит с расчетом, и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже не хватает больше того, сколько находится в кармане; она не любит середины. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частью на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или в «должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымается с постели раньше второго часа; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день как ни в чем не бывало в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и покупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая: она наваливает тюки да выюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь

расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупателей. Москва говорит: «Коли нужно покупщику — сыщется»; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с «ренским погребом» и ставит извозчицью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Москва — большой гостинный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке, в Петербурге нет фраков без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее неловкостью и безвкусицей; Москва кольнет Петербург тем, что он не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в витринах, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии».

— Глинушка, ты допрашиваешь меня о Москве так, словно перед тобой вторая, неведомая тебе Италия, и ты о Москве сам писать хочешь! — восклицал Мельгунов.

— Что ж, может быть, и потому...

— Постой, в чем связь твоего музыкального замысла с... Москвой?

— А почему бы не написать оперу по «Марьиной Роще» Жуковского? Ты знаешь это предание?

— Вот что! И хотя то Москва древняя, — ты не можешь миновать Москвы сегодняшней...

— Не смейся. Те люди, с которыми ты видишься — Герцен, Станкевич, — интересуют меня... Но, впрочем, моя музыкальная пьеса не будет относиться к древности, она лишь возьмет тот сюжет.

— «Марьиной Рощи»?

— Ты смеешься? Я ехал к тебе и перечитывал Жуковского. Что есть в «Марьиной Роще»? Только ли то, что Услад любит Марию, поет ей песни, гуляя с ней по берегу Москвы-реки, и неожиданно обманут ею, ее женской слабостью к подаркам, которые обещает витязь Рагдай. И в том ли суть, что Рагдай убивает ее после

женитьбы, узнав о ее все еще живом чувстве к Усладу, и сам гибнет в Яузе, а Усад посвящает свою жизнь молитве и сам умирает на могиле Марии. Надо, чтобы в опере Усад был сильнее Рагдая!

— Да, но это ведь не так...

— И надо, чтобы смерть Марии была не столь банальной. И вообще Мария должна быть другой!

— Тебе надо тогда передать по-своему все произведение, — смеялся Мельгунов. — И оно, как Тришкин кафтан, полезет по швам, лишь ты захочешь его заново кроить. Сентиментальное не может стать новым!

— Но ведь музыка живет текста... Впрочем, Николай, ты прав: она очень сладка, эта «Марьяна Роцца», и характера подвигов в ней не создашь! И народа нет в этом произведении. Как жаль!

Больше они к этому разговору не возвращались. Глинка жил в Москве до августа и каждую субботу проводил в кругу московских литераторов и композиторов — приятелей Мельгунова. Иосиф Геништа исполнял здесь свой романс на слова Пушкина «Черная шаль». Хозяин дома замечал, что Глинка был оживлен и радостен, когда гости были приятны ему, и сразу же замыкался, чуть кто-нибудь из них становился в чем-нибудь груб. И обнаружилось, что играть на рояле и петь Глинка мог, только лишь если чувствовал, что в кругу гостей нет людей, не верящих в его силы. Иначе голос его срывался и лицо темнело в раздражении.

— Ты во всем «мимоза», — говорил ему Мельгунов. — Не только здоровьем, но и нравом. Не подумай, что хочу сказать — бесхарактерен. Отнюдь нет, и в себе ты уверен, я знаю, но можно ли мнить, что все вокруг должны быть добры и понятливы.

Гости Мельгунова, впрочем, сходились в мнении о высоком мастерстве композиции и игры приехавшего из Италии «новичка».

Пытаясь возражать на замечания Мельгунова, Глинка лишь нехотя тянул:

— Ну да! Но ведь на непонятливых одна управа: не играть им и не спорить с ними!

Навестил он и дядюшку Сергея Николаевича в доме его на Неопалимых Купинах. Вежливость требует того, да ведь и у Сергея Николаевича свои книжные и руко-

писные богатства народных сказаний и былей. Почем знать, может, расскажет что-нибудь полезное для сюжета оперы. Он ведь, Сергей Николаевич, в обширной своей «Русской истории в пользу воспитания» повторил предание об Иване Сусанине...

Дядюшка принял тепло, радушно, но показался тем «архивным» к старости радетелем за народное благо, которых без видимой пользы много стало в ту пору на Руси, а «народность» его слишком официальной...

3

К этому времени он выглядел истым чинным петербуржцем, не без щегольства в костюме и с прочными, уже сложившимися и строгими привычками. Лишь изредка, когда оживлялся в споре, в игре или находился среди друзей, юношеская живость и порывистость движений делали его необычайно простым и открытым. В эти часы он радовался каждому дружескому слову и до самозабвения был весел и заражал других отроческой своей веселостью.

Черные бакенбарды тонкой полоской обрамляли мягкий овал его лица, волосы на голове топорщились хохолком, а светлые, ушедшие в себя глаза немного косили.

Вернувшись из Москвы, он жил в Петербурге на Конногвардейском бульваре у родственника своего Алексея Степановича Стунеева — начальника юнкерской школы. Жизнь шла размеренно, овевая печалью утрат и строгостью композиционных раздумий.

Умер Штерич, предчувствовавший в Италии близкую свою кончину. Изредка писала Дидина — сдержанно о себе, пространно о Милане. Читая ее письма, Глинка проникался всей глубиной этой ее молчаливой сдержанности, ее страдающей и одинокой нежности к нему.

Петербург казался строг, и в самой строгости его было что-то неразменное, цельное, настраивающее к работе. Правду говоря, Глинке наскучила Москва своей пестротой за два проведенных там месяца. Да и впервые, пожалуй, сталкивался он теперь один на один с жизнью, входя в нее заново в Петербурге, зная, что не

может больше рассчитывать на помощь отца и не подопечен родителям.

И вместе с чувством возросшей своей зрелости росла и в самом Глинке потребность кого-то опекать, при случае приголубить и тихо выслушать, приняв сокровенное слово, как подарок. Может быть, это была потребность в своем доме, осознанная все более ясно по мере того, как он входил в деловую цельность своей петербургской жизни. При этом он не побоялся бы признать случайное знакомство с девушкой, взволновавшей его своей красотой, достаточным для того, чтобы связать себя с ней, отчасти потому, что верил своему влечению и выбору, отчасти из убеждения в том, что подлинно красивое не может быть бессердечным и глупым. В этом, собственно, он полагался на судьбу и хотел следовать материнскому совету...

Он бы не мог и «ходить в женихах», выискивая благонамеренную невесту, занятие столь же потешное, сколь и убивающее в зародыше всякое любовное влечение к лелеемому втайне им женскому образу. А был ли у него такой образ? Скорее был культ простоты и сердечности, очень далекий от того, что он встретил бы в петербургских гостиных. Одним словом, все сводилось к случаю. И случай такой пришел.

Девушку, которую познакомил с Глинкой случай, зовут Марией Петровной Ивановой. Она свояченица Стунеева, гостит у него, предпочитая его богатый дом своей скромной квартирке где-то на Песках. Она живет с матерью, очень скромна, и есть в ней та безотчетно нравящаяся девичья ласковость и вместе с тем зазорность, которая свидетельствует, как кажется Глинке, о сердечности и живости характера.

У Марии русые косы почти до пят, милое лицо, с чуть вздернутым носом. Она очень стройна и ростом невеличка, в него!..

Знакомство их произошло в пору, когда другая приглянувшаяся в Берлине девушка ждала его писем и даже приезда. Сестра Наталья привезла с собой на время горничную Луизу и упрашивала его, если соберется туда, отвезти с собой девушку. И он собирался туда, даже купил дорожную карету, правда заботами матери, к тому же выехать на месяц в Берлин — значит опять

посетить Дена, любимейшего из своих учителей, но вот... Луиза отправлена одна, а карета на дворе покрывается снегом... Наступает зима, и карету придется прилаживать на сани, переделывая ее в возок.

Да и Мария Петровна намерена куда-то выехать за город. Сестра Софья Петровна говорит, что надо вывести ее в свет. Жизнь во всем идет своим чередом, и действительно поразмыслить здраво, почему Маше не уехать и не выйти замуж.

Глинка втайне любит Машей, но заговаривает с ней лишь о пустяках. И ему все больше нравится ее бойкость и, как ему кажется, милая простота.

— И я бы поехала в Берлин, Михаил Иванович, — сказала она. — Мы из немецкой семьи, Ивановы, — хотели русской фамилии. Должна бы я хоть повидать немецкую столицу. Жаль, что не возьмете меня с собой.

— А я, может быть, и не поеду... Да вас и не пустит со мной ваша маменька! — отвечал он.

— Маменька-то пустит, а вы вот...

Она чуть смущенно улыбается, чего-то не договаривая.

— Но ведь и вы готовитесь куда-то ехать? — спросил Глинка.

— Это все маменька. А мне бы... остаться с вами.

— Тогда отложите отъезд!

— А вы продайте карету.

— Ну что ж, — растроган он ее предложением. — Стало быть, и мой отъезд и ваш отменяются.

— И карета ваша продается! — настаивает она.

Проходит несколько дней, и Глинка посылает матери в Новоспасское письмо с просьбой разрешить ему вступить в брак с дочерью умершего чиновника, Марией Петровной Ивановой.

Вдова Иванова, полная, дебелая немка, вся в кружевах и в фальшивых ожерельях, коверкая русский язык, говорит:

— Вы есть мой зять, и это мне очень лестно, потому что вы, мне говорят, маленький, — она смеется, оглядывая чинную и вежливо склоненную к ней фигурку, — совсем маленький... Моцарт! Но что ж, пусть маленький. И у маленького ведь бывают большие деньги и большое счастье!

Справили свадьбу, и молодые «свили себе гнездышко», как выразилась вдова Иванова, на Конной площади, вблизи Александро-Невской лавры. Домовитость тещи должна помогать музыкальным занятиям Глинки. Правда, мать и дочь смущены, наблюдая, как подолгу сидит Глинка за роялем или письменным столом, запершись в кабинете, и тем, как часто уходит он из дома один. Но смущены и молчаливостью его и тем, сколько изводит он нотной бумаги, которая стоит в магазинах дороже полотна, но прощают ему это все, зная, с какими людьми дружен Мишель. Он посещает Жуковского, воспитателя наследника, на квартире его в Зимнем дворце, бывает у графа Виельгорского, он связан запросто с государственными людьми.

Глинка, занятый работой, старался не замечать этих особых взглядов на вещи и упований своей тещи. Его занимали споры о музыке, разговоры о самой возможности национальной оперы.

— Может ли быть русская опера или, вообще говоря, русская школа в музыке? — спрашивал Глинку товарищ его по пансиону Струговщиков. — Объяснимся. Что составляет музыкальную школу? Национальность напева? В таком случае «Немая из Портичи» Обера есть итальянская опера, а «Вильгельм Телль» Россини — швейцарская? В таком случае могут быть «школы»: испанская, шведская, шотландская, малороссийская и прочие, — как скоро композитору вздумается внести в свою оперу национальные мотивы какого-нибудь народа? И, следовательно, большая часть опер Поэзбелло или даже «Севильский цирюльник» Россини принадлежат к русской школе, потому что Поэзбелло и Россини ввели в них несколько русских напевов. Всякий должен почувствовать нелепость такого заключения, а между тем до сих пор почти в этом смысле принимали значение русской оперы. Нет, характер музыкальной школы заключается не в одной национальности мелодии, так как и школы в живописи отличаются не одною национальностью физиономий. В музыке основные элементы — мелодия и гармония, как в живописи — рисунок и колорит. По этим элементам определяются и школы; конечно,

национальность напева, как и физиономий, входит в характеристику школы, но она не составляет главного. Живопись не в одной портретности лиц, а музыка не в одной конкретности мотивов. Иначе опера не больше как драматическое попури, водевиль в трех или в пяти актах, а круг мотивов — взяты ли они прямо из уст простолудина или подделаны на его образец — будет так же ограничен, как круг физиономий какого-нибудь народа. К тому же до сих пор признавали две школы — итальянскую и немецкую, хотя не малым обязаны и русской музыке...

«Ох, и напутал же Струговщиков, хотя и коснулся слегка правды! — думал Глинка, вспоминая пылкую речь товарища, обращенную к нему. — Разве дело в подражании народным напевам или в одной национальности мотива? Народный характер неотделим от оригинальности русской музыки, а о ее школе речь будет идти потом. А относительно цели оперы? Доколе будет опера действительно «драматургическим попури» на нашей сцене? Во все музыкальные школы может войти душа нашей музыки, ее новизна и сила. И слабеют соперники ее. Французской ли музыке, с ее изящной и нежащей легкостью, соперничать с драматизмом подлинно суровых и полных воли характеров? Немецкой ли, с ее речитативом выпренных и холодных, одних и тех же по существу мелодий?»

Все это, однако, не решить сразу, а тем более рассуждениями.

Он часто ходил теперь на концерты, проверяя свои впечатления от уже не раз слышанного. Как жаль, что надо уходить для этого из дома... Воссоздавая в памяти звуки оркестра или играя сам, не повторишь подчас нужное, не повторишь исполнение.

Однажды он вернулся домой очень довольный исполнением Седьмой сонаты Бетховена. Глаза его блеснули. Он мысленно повторял мелодию, был крайне рассеян.

— Мишель, что-нибудь случилось? — встревоженно спросила Мария Петровна, открыв ему дверь.

— Да, Бетховен!.. — пробормотал Глинка, входя в переднюю.

— Что Бетховен? Он вас обидел?..

Глинка досадливо улыбнулся и не ответил.

Не всегда наивность бывает мила, а невежественность подчас и оскорбительна.

Он хотел забыть происшедшее, но не мог, тем более после того, как жена простодушно сказала матери:

— Я подумала, что Мишеля обидел какой-то Бетховен, а оказывается, это был композитор, и уже умерший.

И вдова умилилась:

— Маша, ах, Маша, ты совсем еще дитя. Как с тобой должно быть хорошо уставшему от работы человеку!..

5

По тихим коридорам Зимнего дворца дежурный штаб-офицер проводил Глинку к Жуковскому. Сумрачный отсвет фонарей падал с площади в пустые анфилады комнат, занятых воспитателем цесаревича и великих княжон. Пушистый ковер на полу делает неслышными шаги. Только портреты на стенах. Жизнь приближенных ко двору и давно сошедших в небытие представлена в них. Лукавец Суворов, весь в движении, с головой словно в птичьем пуху, готов выпрыгнуть из рамы. Офицер удаляется, и Глинка один ищет в этих комнатах хозяина квартиры. Низенький сонный лакей с лицом иезуита встречает Глинку в гостиной и ведет к кабинету.

— Входи! — говорит Жуковский. Он почти всем, кто моложе его, говорит «ты». В черном шелковом халате, полный, медлительный, со сложенными на груди руками, он издали похож на капуцина. Только у него близорукий пристальный взгляд, большая лысеющая голова и осанка сановника. Впрочем, достаточно побыть с ним некоторое время, чтобы убедиться, что все это «для двора» принятое на себя, во многом уже вошедшее в привычку, а на самом деле в нем бьет через край милая, добрая веселость и непринужденность во всем. И что-то от хитрого деревенского бурмистра есть в этом сановнике.

Из темного угла встал навстречу Глинке чопорно строгий, подобранный Одоевский и церемонно поздоровался.

Глинка знал уже, что дома у себя Одоевский более прост и любезен, чем во дворце, и что этикет требует, находясь здесь, у Жуковского, держаться строго и «вышленно».

Но Жуковский сам устраняет эту, казалось бы, неизбежную тяготу, подводит Глинку к фортепиано и говорит:

— Давно скучаю по тебе. Привыкаю к твоей музыке. Представь себе: привыкаю! Пушкину говорил о тебе, он согласен. Романсы твои превосходны, через них и слава идет, но ведь оперу ты задумал. Это правда?

Глинка коротко повторил то, что уже не раз говорил о своих планах, при этом покосился на Одоевского: не осудит ли, будто выпрашивает что-то.

— Сюжет нужен, либретто нужно, Василий Андреевич, — говорил Глинка. — Но где же взять либретто и либреттиста?

— Так вот же, непутевый какой, — с добродушным упреком начал Жуковский. — Сам сюжет к тебе просится, и говорили ведь тебе о нем, а ты мешкаешь! Вот и Загоскину я писал. Тоже чего-то медлит. Об «Иване Сусанине» говорю.

— Сколько уже «Сусаниных» было, — с грустью сказал Глинка, — а главное, Василий Андреевич, самого Сусанина, народа в его образе, так и не рисовал никто.

— Тем более, милый мой, вот и рисуй. А подвиг Сусанина бессмертен и в наше время особо примечателен. Давно ли на царя руку поднимали дворяне?

— Я, Василий Андреевич, подвиг Сусанина иначе мыслю!.. — тихо, но внятно промолвил Глинка. Он вспомнил, но не решился сказать о «Думе» Рылеева. — И ежели имеете в виду то, что Загоскину предлагали, то не сумею я с должным смирением тому замыслу потворствовать. Я бы душу простолюдина возвеличил, а в нем и народ наш...

— Ну вот и сочиняй!

И Одоевский счел возможным вмешаться в разговор, могущий вызвать отчужденность в отношениях Жуковского и Глинки:

— Музыке суфлер не нужен. Вы, Михаил Иванович, подлинно народный и притом героический сюжет

имеете. И человек вы во всем оригинальный. Вам ли бояться банальности?

Живые, быстрые глаза Глинки прояснились. Румянец выступил на щеках. Преодолевая неловкую свою радость и боясь еще полностью поверить в то, что ему говорили, он взволнованно спросил Жуковского:

— И вы, Василий Андреевич, так думаете?

— Только так, милый мой, только так! — не давая себе труда разбираться в том, что беспокоит композитора, подтвердил Жуковский.

И засмеялся:

— Пушкина Карамзиным не прельстишь. А Шишковым и подавно! И со мною не заставишь его согласиться. Право же сильно диктует и свободу его! Так думаю. Берешься, что ли?

Глинка тихо кивнул головой. И спросил:

— А либреттист кто?

— И об этом я подумал, — ответил Жуковский. — Нужно будет — Розена пригласим. Но сам я обещаю тебе написать хотя бы часть, — поправился он. — Сам помогу.

— Может ли Розен? Не больно он русский язык знает, да и по духу своему ему бы бутафории делать! — начал было возражать Глинка.

Но Жуковский огорченно перебил:

— Опять ты, кажется, не согласен с нами!

И Глинка смирился.

На следующее утро Жуковский послал Пушкину записку: «У меня будут нынче к вечеру, часов в десять, Глинка, Одоевский и Розен для некоторого совещания. Ты тут необходим. Приходи, прошу тебя. Приходи непременно».

Пушкин не мог быть вечером. Он вбежал днем к Жуковскому, опережая идущего следом за ним офицера, и, кинув на диван плащ, быстро спросил:

— С Глинкою, что ли, это «некоторое совещание»? Об опере?

Василий Андреевич сказал, радуясь его неурочному приходу:

— Садись, душа моя, садись.

И захлопотал около него, став сразу как бы и меньше ростом и проще в движениях.

— Не прикажешь ли вина, фруктов? Нет? Откуда ты спешишь? Лошадей отпустил? Ну ладно, моих возьми. Я знаю, ты так часто спешишь, и я благодарен тебе, что ты откликнулся. Да, без тебя нельзя, Розена и Одоевского мало. Что я затеял? А помнишь, ты писал Гнедичу о том, что ждешь от него эпической поэмы. Тень Святослава, говорил ты, скитается невоспетая. А Донской? А Ермак? А Пожарский? История народа принадлежит поэту! Помнишь?

Пушкин кивнул головой. Он был бледен и выглядел усталым. В курчавых волосах его завязли какие-то чуть заметные кружочки конфетти, должно быть с какого-нибудь бала. Жуковский тут же с необычайной нежностью извлек их из его шевелюры толстыми своими пальцами.

— Так вот, — продолжал Василий Андреевич, — Глинка пишет оперу на сюжет «Ивана Сусанина», — послушался меня! Вот она — «невоспетая тема».

— Глинка напишет! — сказал Пушкин, о чем-то думая. — Ты скажи ему — я приду к Виельгорскому его слушать. И скажи, что опера очень нужна. Нужна всем... И мне, конечно! — Он улыбнулся застенчивой своей и вместе с тем ребяческой улыбкой. — До сих пор, ты знаешь, я не шибко верил в музыку. Глинка как-то сказал мне об одной мелодии: «Звучно, но не благозвучно». Он весь в этом! Кто-то назвал его мне «певцом грации». Но он же и певцом народной драмы, народной трагедии должен быть! Соболевский писал мне, что Глинка будет нашей гордостью, что итальянцы ходили за ним...

И тут же, взглянув в окно, спохватился:

— Еду, Василь Андреевич, еду! Думал, что за совещание? Страсть любопытен до того, чего не знаю. Пока не узнаю. Тем более, тебя не мог обмануть. Утром альманахи и газеты читал. Много их, и не оторваться. А меня запах свежего почтового штемпеля и типографской краски пьянит. Ну вот и задержался. А сейчас к цензору нужно, оттуда в сенат, а вечером во дворце быть...

Простившись, он так же стремительно вышел, как и появился здесь.

Глинка в этот день, сидя дома и ожидая приглашения Жуковского, записывал план оперы и некоторые свои мысли. В записях его были слышанные им от Пушкина мысли, отвечавшие и его вкусам и представлениям.

«Истинный вкус, — говорил Пушкин, — состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Он добавил:

— Как в музыке.

И дальше: Пушкин о Баратынском: «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах».

Последние три слова Глинка подчеркнул и приписал: «Потому и старался писать романс на его слова».

И закончил замечаниями об опере, которую начинал писать: «Народность оперной музыки — душа самого народа!...»

От Жуковского записки не было.

Подождав два дня, Глинка сам направился к нему.

Жуковский был дома, принял так же радушно, и вдвоем они стали сочинять... плач Вани.

Жуковский суфлировал, а Глинка, напевая, наигрывал на фортепиано:

Ах, не мне бедному,
Ветру буйному...

— Василий Андреевич заняты! — говорил дежурный офицер посетителям. — Благоволите подождать.

6

Князь Владимир Одоевский некогда вместе с Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина». В те годы он считался москвичом, жил в подмосковном поместье, наездами бывал в столице. Теперь он был камергер двора, петербургский меценат и «фантаст». Салон Одоевского назывался «фантастическим», притом, называя так, посетители отнюдь не высмеивали князя за какие-либо причуды его, и «фантастический» салон был более натуральным по заведенным в нем порядкам, чем другие знатные салоны в Петербурге.

Гостям разрешалось в нем уходить не прощаясь, чтобы не тревожить оставшихся, и не представляться им, входя в дом... И кто не бывал у Одоевских! Молодой стремительный в движениях Лермонтов в гусарской форме сидел здесь вместе с неуклюжим археологом Сахаровым, облаченным в широкий горохового цвета сюртук, и оба они слушали «россказни» профессора химии Гесса о будущих чудесах человечества.

Глинка заставлял здесь Гоголя, всегда казавшегося одиноким, и ясноглазого шумного Пушкина с женой, милые черты лица которой так напоминали многим сидящим здесь Евтерпу из Луврского музея.

Композитор встречал в доме Одоевских и кавалергардского офицера Дантеса, которого никогда бы не пустил к себе на порог князь Одоевский, зная он, что принимает будущего убийцу Пушкина, и отца Иакинфа, бывшего с духовной миссией в Китае, и каких-то студентов.

Глинка, трудно сходявшийся с людьми, не сразу понял, чего хочет хозяин дома, собирая у себя столь разных людей. Легче было привыкнуть к необычности самой обстановки в доме: к этажеркам в виде эллипсисов с множеством каких-то ящичков, к черепам на шкафах рядом с чучелами птиц и к самому Одоевскому, в черном костюме и в колпаке похожем на алхимика.

Над книгами в пергаментных переплетах, с писаными ярлычками на задках и над черепами, висел большой портрет Бетховена, седого, лохматого, в красном галстуке.

Однажды Глинка вежливо спросил князя:

— Вы никого больше не ждете?

И когда Одоевский ответил, что гости как будто бы в сборе, Глинка сказал, как бы в свое извинение:

— У вас ведь никогда не знаешь, кого застанешь и кто здесь самый желанный!..

— Вы отлично поняли меня, Михаил Иванович, — ответил князь. — Кто хочет скуки и сетований по старине, — пусть идет к Карамзиной. У меня же люди не быстро сближаются и не играют в сантименты, но зато имеют большой выбор для своих симпатий и не брезгуют никем...

— Но все же?.. — возразил Глинка. — Что приводит

к вам?.. Ну, позвольте спросить князя Шаховского, не плохая ли его пьеса «Иван Сусанин»?

— Именно, Михаил Иванович, именно! Вы опять меня поняли: Гоголь и малороссийский писатель Гребенка, мой гость, изведут скоро Шаховского своими насмешками над деланностью его пьес, и ему придется писать иначе или некоторое время не сочинять.

Впрочем, в семье Одоевских было всегда весело. Съезд гостей начинался после одиннадцати вечера по субботам, после посещения театра. Маленький дом Одоевских в эти часы как бы делился на две половины. В одной принимала княгиня Ольга Степановна, поила чаем и завлекала в беседу о путешествиях и сборе средств на открытие каких-то неведомых земель; она поминала поездку Сенковского и любила Восток. В другой — князь Владимир Федорович в кругу литераторов.

В пору работы над оперой Глинка приходил сюда с Розеном, секретарем цесаревича и, милостью Жуковского, сочинителем либретто для оперы.

Однажды Глинка подвел своего преисполненного важности компаньона к столу, за которым шумно беседовали Пушкин и Кукольник, и, сделав жалобную мину, плаксиво сказал:

— Александр Сергеевич, рассудите нас... Барон Розен не хочет внять моему совету — сохранять исконный строй нашей речи — и пишет о русском не по-русски...

Барон, высокий, стройный, тонкий в талии, придерживая рукой золоченый лорнет и чем-то похожий на классную даму, сухо поклонился.

— Неужели барон пишет не по-русски? Не знал, — в тон Глинке, сожалительно и недоуменно произнес Пушкин, вскидывая на Розена лукавый смеющийся взгляд.

И Нестор Кукольник, печальный с виду, длиннолицый, с волосами в скобку, с потешной серьезностью спросил:

— Барон, может ли это быть?

— Вот посудите, господа, посудите сами, — заторопился барон, ловко проведенный ими и поверивший в искренность их слов, — господин Глинка считает, что стихи мои не поэтичны... Я читаю, господа, стихи из квартета:

...И создана
Так ты для земного житья,
Грядущая женка моя.

Господин Глинка против возвышенных понятий и слов, он против «грядущей женки» и «земного житья», он хочет, чтобы я сочинял по-мужицки...

— Как по-твоему? — спросил Пушкин Кукольника, и в потемневшем лице Пушкина Глинка заметил быстро овладевшее им и уже запальчивое раздражение. — Как по-твоему? — повторил Пушкин. — Не позволил ли себе ошибиться на этот раз наш господин барон...

— ...дарованный самим богом компаньон Глинки, — мрачно кося глазами, подхватил Кукольник.

Барон поклонился, пожалев, что никто из гостей не слышал этих признательных, как ему показалось, слов Кукольника. Князя не было дома. В полусумраке комнаты вился кольцами табачный дым. Гости курили из кальянов, так было здесь заведено.

У Глинки искрились в смехе глаза.

— Барон, конечно, видел «земное житье» наших крестьян, — продолжал потешаться Пушкин, и барон в таком же неведении истинного отношения поэта к нему кивнул ему головой, — поэтому и возвышает их житье до небесного: «грядущей жenkой» крестьянин ведь назовет свою жену только на небесах, ну, а господин Глинка с его пристрастием к школе натуральной охотнее бы низвел их на землю.

— И знаете, барон, может быть, обойтись лучше без возвышенных понятий, мужик — он мужик, — вставил Кукольник, поняв, к чему ведет Пушкин и как можно помочь Глинке «не мытьем, так катаньем» переубедить «ученого» Розена.

— Я подумаю! — ответил Розен и, заметив в половине жены Одоевского, Ольги Степановны, кого-то из своих знакомых, откланялся и ушел туда.

Проводив его взглядом, все трое расхохотались. Глинка смеялся безудержно, закидывая назад голову. Пушкин, глядя на него, развеселился еще больше. Он сказал сквозь смех:

— Брюллов как-то сказал мне, будто, когда Глинка смеется, у него желудок виден. Пожалуй, и верно. Ах же и барон! Почему не баран?

Кукольник сказал Глинке сочувственно:

— А ведь трудно вам с этим... бараном?

— Музыку я написал раньше, чем он свой текст, музыку писал не по тексту, — ответил Глинка. — Этим спасся... Теперь осиливаю Розена. Но все-таки, не испортил он оперу? — спросил он с тревогой. — Государь знает о Розене, о том, что он пишет. Жуковский сказал государю.

— А мы еще раз так же встретимся и мирно поговорим, — усмехнулся Пушкин. — Вот и поможем вам с текстом. Да при Жуковском хорошо бы! Вашу оперу ждут все любящие Россию. И что тут Розен? Он вам не помеха. Не Розена вам бояться бы!..

— А чего же? — торопил Глинка.

Пушкин недоговаривал. Мягко коснувшись своей рукой руки Глинки, он спросил:

— Неужто все по «Ивану Сусанину» будет? По тому, что мы знаем... .

Глинка понял.

— Рылеева «Думу» помните? — спросил он.

Пушкин кивнул головой.

— В мыслях Рылеева о нашем крестьянине, как и в том, как изобразил крестьянина в лесу, так много понимания, что истинно народное и характерно русское! А мне довелось с ним беседовать, с Кондратием Федоровичем, невзначай правда, но с тех лет еще, когда мы с вами в пансионе виделись, и до сего дня сохранил я и развил свою музыкальную думу о народе. Надоели лукавые мельники на сцене, бедные люди, сметливые лакеи и просто «Иванушки-дурачки». Трагедия крестьянина-свободолюбца, трагедия силы!.. Вот что надобно! И тогда, пожалуй, легче увидеть будет, сколь несносно и нынешнее крепостное состояние таких крестьян и кто прав из мыслящих о народе.

Пушкин внимательно слушал, подперев голову рукой, и, казалось, уже не замечал вспыхнувшего в зале оживления. Из прихожей вышел князь и быстрой походкой направился к жене.

Кукольник перебил разговор:

— Князь Владимир Федорович дома.

Пушкин медленно обвел взглядом зал, будто

пробуждаясь от задумчивости, и, считая, что с этим покончено, сказал Глинке:

— А я от Кюхельбекера письмо получил из Баргузина, стихи и пьесу мне прислал. Живя в Сибири, о Петербурге пишет, о нас, о музыке... — Взгляд Пушкина потеплел, а на губах появилась скорбная, чуть заметная улыбка. — То-то рад будет вашей опере, Михаил Иванович.

— Идемте! — торопил Кукольник.

В зале сдвигали кресла к середине. Гости устраивались вокруг князя, собиравшегося читать начало своего нового фантастического романа «4338-й год».

В романе князь пророчествовал о временах, когда комета Биэла будет проходить через перигелий, а астрономы будут расстреливать комету снарядами... о союзе России с Китаем, государством, превозмогшим отсталость свою, богатым и передовым...

Глинка много думал о том, как написать оперу, но не о том, как ее поставить. Было ли это свойством ума, слишком увлеченного большим своим делом, чтобы думать о малом, или все та же юношеская неспособность быть практиком — «мануфактурщиком», которую отмечал в нем Соболевский, но пришло время репетировать пьесу, и тут же обнаружилось, что у пьесы нет будущего, а помощь Жуковского, Пушкина и Одоевского еще не открывает перед ней сцены. И тайное недоброжелательство, которое упорно не хотел замечать вокруг себя композитор, становилось все более открытым. И оказывалось, что он, Глинка, не только безгранично стеснен правилами прежних оперных партитур и официальными суждениями об оперном искусстве, но еще и заведенными театральными порядками. А беззаботность его может быть пагубна. Следует остерегаться Фаддея Булгарина, он замыслил что-то против пьесы, передают Глинке, да и придворного капельмейстера Кавоса, который достаточно властен, чтобы помешать постановке оперы, низвергающей его, Кавоса, многолетний и признанный опыт.

Но можно ли все же обо всем этом помнить, репетируя оперу? В доме графа Виельгорского уже сходятся

музыканты из театрального оркестра и придворные певчие; партию Сусанина должен петь Осип Петров, «лучший на Руси бас», Антонида — примадонна оперы Степанова. Правда, приглашен и крепостной оркестр Иоганниса и немало любителей, желающих выступить в пьесе.

Михаилу Глинке дома тревожно говорит теща:

— Мы хотим ехать с Машей в Петергоф и жить там, пока пройдут эти репетиции, но нам нужно много денег, и мы знаем, что большой ваш талант даст их нам, но, Мишель, говорят, что за репетиции не платят, а опера Кавоса обходится без репетиций... Ее репетировали перед государем, во дворце.

Глинка молчит.

Денег действительно нет. Евгения Андреевна посылает на жизнь в Петербурге, но не на репетиции. Спасибо Виельгорскому, Одоевскому. И как прав свояк Стунеев, говоривший ему, Глинке: «Не бери тещу в дом — выживет из дома».

Глинка снаряжает жену и тещу в отъезд в Петергоф, а сам обедает у Кукольника, у Одоевских, все реже бывая дома.

Но теща неожиданно находит себе опору в самом Розене.

Барон, уподобляясь мадам Ивановой, говорит с ним почти тем же тоном и коверкая слова:

— Вы сняли мое название: «героическо-трагическая опера», вы называли ее просто «опера». Какой театр поставит вашу оперу, если не помогу я? Но вы должны делать карьеру оперой и получать за свои ноты деньги. И также я.

Розен не отказывает в «помощи», но тоже боится Кавоса.

Но репетиции идут, и бог с ними — с Розеном, Кавосом, тещей... Глинка сам дирижирует оркестром, и в доме Виельгорских говорят, что репетиции проходят блистательно!

Среди присутствующих самый молчаливый и наблюдательный гость — директор императорского театра Гедеонов. Одоевский называет его «фатумом», Виельгорский — «черным гостем», Глинка просто — «неприятным человеком». Гедеонов сумрачен и тих, он слушает хоры

снисходительно, словно детей, выпрашивающих подарок, а музыку — как бы краем уха, заранее зная, на что способен композитор. Он держит себя как признанный меценат, которому по долгу его следует не отрешиваться от музыкальной молодежи. Он сказал Одоевскому, первый раз увидя Глинку:

— Жуковский любит находить таланты. Но по внешности этого музыканта можно судить лишь о его неяркости...

Присутствие Гедеонова на репетиции известно всем и, конечно, Глинке, но композитор не решается запросто поговорить с ним о судьбе пьесы и посылает ему в театр готовую партитуру оперы со своим письмом:

«Ваше превосходительство, милостивый государь!

Имею честь представить при сем оперу, мною сочиненную, всепокорнейше прошу оную, буде окажется достойною, принять на здешний театр. Кондиции отдаю совершенно на благоусмотрение вашего превосходительства, считая однако же необходимым довести до сведения вашего, что опера сия в настоящем ее виде может быть дана токмо на С.-Петербургском театре, ибо, писав оную, я соображался с голосами певцов здешней труппы и потому вынужденным нахожусь обратиться к вашему превосходительству с всепокорнейшей просьбой об исходатайствовании у вашего начальства, чтобы представляемая мною опера принадлежала токмо репертуару С.-Петербургских театров. Дирекция же Московских театров не могла распоряжаться оною без моего руководства, ибо без весьма значительных переделок для приспособления ролей к голосам тамошних певцов сию оперу невозможно дать на Московском театре.

С искренним почтением и совершенной преданностью имею честь быть вашего превосходительства, милостивый государь, всепокорнейший слуга Михаил Глинка. 8 апреля 1836 года».

Гедеонов не отвечает, но скоро становится известно, что опера передана им на рассмотрение капельмейстеру Кавосу.

— Не иначе, для того, чтобы Кавос ее забраковал! — говорит Кукольник. — Однако, Михаил Иванович, можно ли браковать создание, не имеющее себе подобного? Можно лишь отвергать по причине, которую найти —

значит быть очень умным. А Кавос — нет, он не так умен и не так тщеславен, как думают о людях, вошедших в славу, как в свой дом. Нет, Кавосу даже приличествует быть деликатным...

— Мне все равно, — отвечает Глинка. — Опера, кажется, получилась!...

— Ты весь необычаен, ты талантлив во всем, ты — чудо! — восклицает Нестор Кукольник, переходя на «ты», как только Глинка заговаривает с ним о себе.

Разговор происходит за обедом, и никого нет вокруг, кроме лакея, привыкшего к странной пылости характера своего барина.

Глинка тревожно отстраняется от Кукольника, бормочет:

— Какое чудо? Что вы, Нестор Васильевич? Вот пождем, что Кавос скажет, а главное — публика!

И Кавос не замедлил явиться. Он приехал к Глинке вечером с секретарем «синьором Калинычем», совсем одряхлевшим и полуглухим, в черной длинной коляске, запряженной белыми конями и похожей на погребальную. Переступив порог квартиры, он сказал:

— Это Кавос! Не бедный, нет, это счастливый Кавос!

Вскоре он сидел на диване, седой, с годами одрябший, но такой же стремительный в своих движениях, и, актерски потрясая нотами партитуры, говорил:

— Опера лучше оперы Кавоса... Я знаком с вами давно и верил в вас, помните, я бывал в пансионе, но завидовать нельзя в мои годы, а радоваться можно, ибо старик больше ценит совершенное, чем молодой! Вы русский композитор, сударь мой, вы подлинно национальный композитор того народа, которому Кавос всегда честно служил!

«Синьор Калиныч» тянулся к Михаилу Глинке, шептал, показывая на Кавоса:

— Он так волновался дома! Кто-то решил, что он должен осудить вашу музыку. Он сказал мне: «Поедем к Глинке». И вот мы приехали.

Гедеонов, которому стало известно о визите Кавоса, согласился принять оперу к постановке, уведомив, однако, что композитор должен будет отказаться от вознаграждения.

Недавняя постановка балета «Семирамида» стоила всех денег, которыми располагал театр.

Михаил Глинка выдал Гедеонову подписку в том, что не считает себя вправе требовать от театра какого-либо гонорара за свой труд.

«И что слова в музыке оперной, кто их слушает, кому до них какое дело?» — записал в эти дни Кукольник в своем дневнике, а в разговоре с Одоевским посетовал:

— Внушили бы вы, князь, Глинке безразличие к тексту... Ходит он убитый горем от розенского текста. И недоволен тем, что пришлось переименовать оперу, назвать ее «Жизнь за царя», чтобы отличить от предыдущих, да и польстить государю... Я, князь, всей душою привязался к Глинке и его горе переживаю, как свое.

— И его успех, как свой? — не без лукавства спросил Одоевский, считавший, что новые приятели Глинки, пользуясь домашнею его неустроенностью, «заарканили» композитора и приписывают себе какое-то спасительное на него влияние... Между тем шумный и эксцентричный круг людей, близких к Кукольнику, «резонеры, остряки и прочие неглупые балбесы», как говорил о них Одоевский, могут ли быть близки Глинке?

— Вы, кажется, не верите мне, князь? — с показной обидой спросил Нестор Кукольник. — Слышал я, будто кругом Глинки ревнивцы сходятся на кулачках драться, не то от обожания к нему, не то с корысти... Впрочем, так почти всегда случается вокруг нового имени. Глинка сам отдаст всем должное. К тому же человек он гордый и неуживчивый, надо сказать!

Князь не стал продолжать разговора об этом, но Кукольник не забыл прямодушных его слов и к «фантастическому» салону Одоевского стал относиться с этого времени менее приязненно.

Спектакль оперы был дан в Большом театре двадцать седьмого ноября 1836 года. В здании театра только что окончился ремонт. Афиши широко извещали о спектакле, и все билеты в театр были проданы за два дня. В Петербурге стояла в тот год сухая холодная осень, и на улицах почти не было снега. Глинка провел весь этот день в театре за кулисами, и Мария Петровна сама приехала на спектакль к его началу. Композитор встретил

ее и провел в ложу второго этажа, предоставленную семье Глинки Гедеоновым.

— Государь приедет тебя слушать? — спросила Мария Петровна.

— Он будет слушать Петрова и других, — поправил ее Глинка.

— Я так хочу, чтобы ему понравилась опера и чтобы он пригласил тебя к себе в ложу! — тихо сказала Мария Петровна.

— А я хочу, чтобы ты меньше заботилась об этом!

— Оставь, Мишель, оставь этот тон, — не обижаясь говорила она. — Ты ведь сам волнуешься больше меня. Будет успех — изменится твое положение в свете, мы переменим квартиру... Нестор, — она называла уже Кукольника по имени, совсем по-свойски, — обещал продать твои ноты издателю Снегиреву, и кроме того...

Он не слышал ее и, поклонившись, ушел.

Занавес поднялся, и первые минуты Глинке не верилось, что уже происходит не репетиция, столь привычная ему, а спектакль... Он уже переболел за оперу, заранее представляя себе, как будут ее играть, как встретит публика маленькую Воробьеву в роли Вани, как выйдет Петров, одетый Сусаниным, и как будут петь хористы — «поляки». Он готовил себя к худшему, к тому, что Ваня «сорвется» в своей роли или публика не примет оперу... Порой ему казалось, что опера уже не его, а Розена и каких-то присяжных людей, имеющих право ее исказить по-своему, и тогда был близок к странному, подавленному равнодушию за ее постановку, но, слушая знакомые мелодии оркестра, доносившиеся до него как бы издалека, хотя оркестр был совсем рядом, он чувствовал подъем духа, взгляд его загорался, и он готов был сам дирижировать.

Глинка сидел на чурбане за кулисами, возле декораций, сложенных к стене, вблизи сцены. Чурбан должен стать пеньком, на который присядет Сусанин в лесу, а декорации работы художника Соллера изобразят лес.

Сейчас на сцене показывали бал в королевском дворце. Глинка видел отсюда, как шляхтичи в пышных костюмах с какой-то лисьей грацией отплясывали мазурку.

Но вот за кулисы прошел мальчик в длинной крестьянской рубашке и берестовых лапотках. Мальчик понимающе глянул на Глинку, улыбнулся ему и вдруг — Глинке казалось, что это произошло тотчас, — запел на сцене детски простодушно и печально:

Как мать убили
У малого птенца,
Остался птенчик —
Круглый сирота!

Глинка слушал и думал тепло и благодарно о Воробьевой: хорошо поет мальчик, немного бы суровее надо, но хорошо!

— Фора!¹ — крикнули в зале.

Воробьева вернулась за кулисы взволнованная, трудно дыша, она наклонилась к Глинке и спросила:

— Не повредила ли я Ване?

Он вместо ответа поцеловал ей руку.

За действием третьего и четвертого актов он решил следить из зала и сел в ложе рядом с женой. Проходя в ложу, он видел Пушкина и Жуковского. В боковой ложе находились царь и члены царской семьи. Был антракт. На фоне голубой шелковой обивки кресел и стен зала люстры излучали матовый неяркий свет. Композитора узнали, и много подзорных труб и лорнетов уставилось на него.

Какой-то старичок с шелковистыми седыми бакенами пересказывал чиновнику, сидевшему с ним, содержание оперы: «Русский мужичок из лесной глухомани обманул поляков, завел их в лес, спас царя Михаила... Вот и все! Ни страстей, как видите, ни любовных сцен, ни разочарований». Глинка услышал и улыбнулся. «Все же не пойму, — гневался чиновник, — что же здесь нового, в чем сюжет?»

Действие началось, и вниманием присутствующих всецело завладел Петров. Строго и твердо, «не тая горя» и не прикидываясь бесстрашным, шел Сусанин на смерть... «Мне страшно умирать под пыткой, но долг мой чист и свят», — говорил он.

Наблюдая за зрителями, Глинка думал: «Вот оно,

¹ В то время значило — бис.

горе и мужество простолюдина. Хотите ли его принять?»

Мария Петровна шепнула:

— Как хорошо, Мишель! И он весь так прост!..

Она имела в виду Сусанина и удивлялась ему, словно впервые знакомясь с русским крестьянином здесь, в театре.

Глинка не ответил. Память с особою отчетливостью и не без торжества возрождала перед ним годы детства и жизнь костромчанина, рассказывавшего в селе о подвиге своего земляка. Но совсем не о временах царя Михаила думал Глинка, поддаваясь теплу этих немеркнущих воспоминаний и смутно тревожась: увидят ли зрители в представленном на сцене сегодняшний день Сусанина?

— Фора! — опять кричали из зала.

В последнем действии — кому не знакомы ратные стены Кремля, буйный перезвон колоколов и ликующее «Славься» — утверждение вечной жизни народа!

Никто не кричал «фора» и не смел бы выразить свое одобрение, но Глинка чувствовал, не всматриваясь в лица людей, что зал покорен властью этой последней сцены.

Занавес опущен, и гул рукоплесканий приводит в смущение зардевшуюся от радости Марию Петровну. Ее смущение приятно Глинке. Она кажется ему растроганной, милой, опять лучше, чем есть...

Директор театра Гедеонов с судейским равнодушием говорит Глинке, подходя к нему:

— Успех явный. Его величество приглашает вас к себе в ложу.

Мария Петровна бледнеет и, встав было с кресла, снова погружается в него. Глинка, оставив ее, не спеша идет с Гедеоновым к царю.

Он не видел его раньше так близко от себя и теперь поражен воловьей фигурой царя с головой, закинутой надменно и властолюбиво. У царя военная выправка, придающая ему стройность, а властолюбие во всем, даже в зычном и, как кажется Глинке, деревянном его голосе.

— Благодарю тебя, — говорит царь, и какое-то желание расположить к себе, приблизить слышит Глинка

в интонации этих как бы заведенных ритуалом, благо-склонных его слов. — Патриотическая опера твоя силь-на чувством. Талант твой нужен России. . .

И, видя, что царь поворачивается к выходу, Глинка догадывается, что и ему надо незамедлительно уходить. Он быстро отвечает на некоторые замечания царя о по-становке и уходит, сопровождаемый тем же мрачно де-ловитым Гедеоновым.

— Вам будет подарок, — говорит Гедеонов. — И, мо-жет быть, приглашение во дворец! — добавляет он.

И, расставаясь с ним в партере, где ждут Глинку друзья, изрекает:

— Жуковский был прав. Жуковский ошибается ред-ко, разве что. . . с господином Пушкиным.

О том, сколь часто ходатайствует Жуковский перед царем о Пушкине, известно и царедворцу Гедеонову.

Зрители расходятся медленно. В ложах сдвигают кресла, беседуют. Театр начинает жить слухами, пере-судами и той новой, рожденной спектаклем жизнью, отклики которой будут завтра в салонах Карамзиной, Одоевского — в каждом по-своему.

Кукольник подводит Глинку к угловой ложе, и из глубины ее встает знакомая ему по Италии итальянская артистка Джулия Роси, подруга Пасты.

— Вы в Петербурге? — только и успевает сказать композитор, целуя протянутую ему руку.

— Паста приедет сюда. Вы не забыли Пасту? — спрашивает она, не отвечая. — Синьор Глинка, просто-народность в вашей опере аристократична. . . Я так и на-пишу ей!

— Кому, Пасте? — так же коротко и, как бы еще не придя в себя, в волнении спрашивает Глинка.

— Ну, кому же еще? — смеется артистка. — Впро-чем, — она достает из-под бархатного кушака на платье какой-то маленький конверт. — Есть в Милане почита-тельница Пасты, которая не меньше, чем ее, а, пожа-луй, больше почитает вас.

В конверте листок розовой бумаги, и на нем каран-дашом выведена одна строчка:

«Хорошо ли вам — сообщите. Ваша Дидина».

Несколько дней спустя царь присылает Глинке че-

рез Гедеонова перстень с большим топазом, окруженным брильянтами. Перстень оценивают в четыре тысячи рублей.

— Я рад подарить тебе этот перстень! — говорит Глинка жене, передавая подарок. — Но если будешь его носить — сколько, я боюсь, вызовешь зависти! Может быть, лучше продать?

— А еще что-нибудь будет за оперу? — волнуется Мария Петровна.

— Не знаю, — пожимает плечами Глинка.

— А ты слышал, что говорят про оперу? Называют музыку ее «кучерской музыкой», «оперой для мужиков». Как они смеют, если самому государю понравилась опера?

— «Кучерской»? — повторяет Глинка, смеясь. — Что ж, это и не так плохо. Кучера, по-моему, дельнее господ.

— А почему тебя сравнивают с... фарфором, почему позволяют себе потешаться над твоим именем? Тебе нужно положение, должность...

— Опять должность? — скучно говорит Глинка. — Ну да, может быть. А фарфор? Это же Пушкин на вчере как-то написал.

Но Мария Петровна не унималась.

— Читай, — говорила она, развертывая газету. И сама, несколько в нос, словно по-французски, прочитала:

Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка,
Веселися, Русь: наш Глинка
Уж не глина, уж не глина, а фарфор!

Глинка не слушал ее, проглядывая другие газеты и письма. В «Северной пчеле» Фаддей Булгарин уподобил музыку оперы увеселительной и бальной. А Одоевский прислал копию своей статьи, которая должна печататься в ответ Булгарину.

«Опера Глинки явилась у нас просто, как будто неожиданно. О ней не предупреждали нас журнальные похвалы. Носился слух, что в ней будет русская музыка; многие из любителей ожидали услышать в опере несколько обработанных, но известных народных песен — и только.

Но как выразить удивление истинных любителей музыки, когда они с первого акта уверились, что этою оперою решался вопрос, важный для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской жизни... С оперой Глинки является то, что давно ищут и не находят в Европе, — новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период: период русской музыки. Такой подвиг, скажем, положи руку на сердце, есть дело не только таланта, но гения!»

— Поживем — почитаем, что напишут о нас, — весело говорит Глинка Марии Петровне. — Раз «новинка» — так и всегда так... не знаешь, чего ожидать! Всем ведь я в новинку!

Ему кажется, что жизнь в самом заветном своем только начинается для него теперь.

— Я не кончил с «Сусаниным», — сказал Глинка Пушкину. — И не потому, что еще не убедил народ в праве на свою народную оперу, которую, видите ли, называют кучерской. Я знаю, что убедить в этом — дело многих лет моей жизни, но я сам заново буду писать свою музыку к ней. Я не доволен музыкой, нет-нет, я не достиг предела выразительности.

И они заговорили о том, что должна иметь в себе народная опера, эпическая по размаху, глубоко лирическая по чувству, и о новой опере «Руслан и Людмила», которую когда-нибудь они напишут вдвоем.

Это был последний их разговор.

Через месяц, придя к Одоевскому, Глинка, не раздеваясь, сел в прихожей на стул, на месте, где дежурил лакей, словно не имея сил раздеться, и на вопрос хозяина дома, что с ним, промолвил дрожащими губами:

— Пушкин?.. Это правда?

— Умирает, — сказал Одоевский.

Была суббота, но никто почти не заглядывал в этот день в «фантастический» салон. Глинка сидел у Одоевского, спрятавшись за какую-то китайскую ширму, разделявшую кабинет, и плакал. Он не был замечен там, в кресле, и, не зная о присутствии гостя, Ольга Степановна поминутно спрашивала мужа: «А Жуковский что говорит?», «А есть ли какая надежда?»

Ночью Глинка ушел от Одоевских так же стремительно, как и явился сюда. Он нанял извозчика, подъехал к дому, где жил Пушкин, освещенному огнями, но не посмел войти. У дома стояли линейки, экипажи, дежурили офицеры.

— К Пушкину, что ли? — спросил извозчик Глинку. — Не надо, барин, не выходите... Сколько я уж таких, как вы, привозил сегодня сюда. Приедут, посмотрят на дом — и обратно.

Прошло два дня, и Глинка у себя дома в волнении читал переданный ему текст стихотворения гусарского офицера Лермонтова «На смерть Пушкину». Весь поглощенный все шире раскрывающимся перед ним содержанием гневных и чеканно мужественных строк, Глинка повторял:

...Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Ему казалось, что в гнев и правду этого стихотворения нашли себе выход и у него, Глинки, мучительные раздумья, и вместе с глубиной тоски пришла и еще большая ясность стремлений — утешительная ясность своей жизненной цели.

Дома было также тягостно. Мария Петровна как-то сказала:

— Кажется, не один Пушкин, а все поэты стреляются из-за своих жен... Я слышала...

Глинка перебил ее:

— Молчи! Не смей говорить так!

Опера шла в театре с тем же успехом. В статьях о ней было по-прежнему много неожиданных тревог и разногласий. Журнальный мир шумел. Опера заставляла думать о новых путях и средствах искусства. В литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» появилась статья Струйского, выражающая растерянность критики и ее надежды.

«По нашему мнению, — писал критик, — чтобы оценить оперу г-на Глинки без всякого предубеждения, про

et contra должно сначала рассмотреть, из каких элементов составляется народность в изящных искусствах. Песня простолюдина может быть родником целой оперы?.. и хотя в русских песнях и есть особенность в сравнении с песнями других народов, но из этого еще нельзя заключить, что русская песня может быть растянута на целую драму, которая требует всех средств и орудий искусства... Зачем же придавать такую важность народной песне?.. На произведение его, Глинки, должны смотреть с двух сторон: 1) в отношении к русской музыке и 2) к европейской. В первом случае он талант первой величины и заслуживает полного внимания его соотечественников. Во многих нумерах его оперы есть мелодия и чувство. В ней любители русских песен находят еще двойное наслаждение по сходству всех мотивов с русскими песнями... Но какое место может занять эта опера в европейском репертуаре — пусть решит время... народность понята материально, талант автора был стеснен, и нам остается только заметить, что, несмотря на добровольное пожертвование свободою фантазии, он умел написать оперу, доставляющую истинное наслаждение той части публики, которая скорее поймет родной напев национальных песен, чем «Реквием» Моцарта или симфонию Бетховена».

— Стало быть, пусть решит время, — повторял Глинка. — Ну что ж. Время — судья мудрый!

Николай Полевой сообщал Верстовскому в январе 1838 года:

«Глинка и другие собрались было издавать при «Пчеле» особые музыкальные прибавления, но время уже было упущено».

Об издательских планах Глинки толковали разное, чаще всего связывали их с именами Одоевского и Вяземского. Впрочем, где же, если не в журнале, можно было узнать о воззрениях Глинки на музыку? В издаваемой Кукольниковом «Художественной газете» Глинка не выступал, а на предложение «Пчелы» написать статью о русской музыке ответил: «Придет время — напишу».

Говорили в музыкальных кругах столицы, что Глинка замыслил писать ораторию совместно с поэтом Соколовским, передавали о его влечении к эпическому жанру, о необходимости после постановки «Ивана Су-

санина» «найти свое место» операм Верстовского и Бортнянского...

Верстовский считал себя ушедшим ныне в «гарнизонный отряд», «в запас». Приятель Мельгунова, Януар Неверов, обидел его в своей статье об «Иване Сусанине». По мнению критика, лучшие произведения Верстовского «Вадим» и «Аскольдова могила» «суть не что иное, как собрание большею частью прелестных русских мотивов, соединенных немецкими хорами, квартетами, итальянскими речитативами».

Многие прочитали в столице повесть «Любовь музыкального учителя» Карло Карлини и искали теперь ответа на все беспорядочно и горячо сказанное в ней о музыке и о композиторах в России. Автор пожелал быть неизвестным, и повесть эту приписывали сочинительству Сенковского, Арнольда, Одоевского, не смея, однако, ничего утверждать...

Герой повести «на великолепной площади перед каким-то дворцом видит два портрета, которые несут люди, один из них — портрет артиста, именитого, но без души, другой назван «Кашиным», возносителем русских национальных песен».

— Ты не можешь долго молчать, ты должен сказать свое слово о том, что считаешь главным в искусстве, — уговаривал Кукольник Глинку в разговоре об этой повести.

— Но что мне до этих споров, они ведь во многом праздные! — возражал Глинка.

— Но ты напишешь о себе!..

— Еще одну оперу! — ответил Глинка смеясь.

И тут же согласился с Кукольником:

— Конечно, сказать обо всем этом нужно, но постой, «придет время — напишу».

Так отвечал он и другим, но знал, что время придет и круг друзей поможет сказать ему о музыке!..

Средств не хватало, и Глинка воспользовался приглашением Львова занять место капельмейстера в императорской капелле. Приглашение это, собственно, было объявлено ему от имени царя, и не принять его было бы обидой двору.

Когда-то Рылеев писал Пушкину: «Сила душевная

слабеет при дворах и гений чахнет». Глинка слышал об этих словах, вспомнил их, усмехнулся...

Теперь он должен был заниматься царскими певчими, отвечать за их провинности, за их безразличие в пении, замеченные государем, ведать набором новых «голосов» и даже ездить в южные губернии набирать певчих. Поездки эти, впрочем, отнюдь не будут ему в тягость и во многом скрасят его «полупридворное» положение.

В ОБИТЕЛИ СЕРДЦА



Украина — обетованная земля моего сердца.

Глинка

1

Май 1838 года был на Украине необычайно для этой поры сухим и жарким. Коляска, в которой ехал Глинка по тракту, ломалась столь часто на ухабах и колдобинах, а зной палил до того, что возница не раз оборачивался к измученному качкой седоку и участливо спрашивал:

— Не подождать ли, барин, дождей? Дожди дорогу смягчат, и нам будет легче.

— Да ведь где они, дожди-то? .. — оглядывал Глинка безоблачное жаркое небо. — Отчего, спрашиваю, дождей ждешь?

— Как отчего? Май, барин. Май без дождей — что народ без бога.

— Ишь ты! — изумлялся Глинка поговорке его. — Стало быть, нельзя без бога-то!

— Шутишь, барин, да не пристало шутить тебе: говоришь еще, что к архиерею едешь, по церковному делу.

Глинка сидел в коляске, маленький, потный, а во-

круг него, на сиденье и под ногами, торчали запасные колеса и ломаные, которые возчику было жаль бросать. Дождей не было, и коляска их, с верными и вслепую, казалось, бредущими конями, двигалась уже не по тракту, а по степи, сокращая себе путь. И не одни они выбрали себе новую колею в необъятном этом степном бездорожье. С пыльного и разбитого цляха сворачивали сюда почтовые тройки и помещицьи брички. Встречались им громадные дормезы, запряженные в десять — двенадцать лошадей, похожие на хаты, поставленные на колеса. Над ними крутился дымок, тянуло от них самоварным духом, смешанным с запахом трав. Волы везли телеги с пушечными ядрами, и рядом вышагивали стрелки, разомлев от жары, глядя с ненавистью на капрала своего, сидящего, раскинув ноги, на ядрах.

Попадались на дороге у верстовых столбов белые столики с образами под соломенным навесом, на столиках — крашеные пасхальные яйца в коробах — угощение путникам от неведомых, но добрых поселян. Стаи птиц — благодетельницы, как звали их в народе, летели на саранчу, заполняя край неба, и возчик Глинка истово крестился, следя за ними. На холмах кое-где тяжело поворачивались крылья мельниц, и тут же на погостах раздувались на ветру белые рушники, привязанные к черным, полусгнившим крестам. Но чаще всего перед взорами путников расстилалась одна пустынная степь, заполонившая пространство и как бы разделенная курганами. Наезжали, бывало, кони на старые, поломанные фальконеты и мечи — следы Запорожской Сечи, на голые, оббитые ветром черепа, не замеченные возчиком.

— Ох, грех какой! Что-то будет с нами? — говорил возчик, услышав сухой хруст костей под колесами и быстро крестясь. — Трава низкая, иначе бы не проехать, но и то, вишь, человека в ней не видеть!

Наконец на двенадцатый день пути пересекли они степи и приблизились к селениям. Что-то успокаивающее родное было теперь в тополевых рощах, в чистых мазанках, окруженных качающимися на ветру молодыми садами, и, казалось, как-то особенно по-хохлацки стоит здесь на одной ноге аист в гнезде своем, на колесе, надетом на высокий столб. От всего здесь веяло благодатной простотой, соединенной с грустью, и Глинка на-

страивался на тот мирный, дремотно-песенный лад, который сулил успокоение и раздумье.

Но в Острогожске это настроение его было прервано встречей с городничим — братом дядюшки Федора Николаевича.

— Духовным ли песням хотите учить детей или крамоле? — спрашивал городничий, похожий на одного из тех самонадеянных и невежественных бурсаков, о которых приходилось слышать Глинке от Гоголя на вечерах у Виельгорского. Был городничий могуч телом и недалек разумением. Не верилось, что некогда, принимая в этих местах Рылеева, показался он ему достойным человеком.

— Знаю о знаменитом родиче моем Михаиле Глинке, — юродствовал городничий, — но наказан преступлением брата моего Федора Николаевича и был бы отрешен от должности, если бы не честная моя служба государю... Не приму срама на себя выдать вам невинных певцов и о том отпишу архиерею. Нет, Михаил Иванович, как хотите... Казачков и лакеев помещики продадут вам, коли пожелаете, а хоры церковные господу богу принадлежат.

— Но помилуйте, Григорий Николаевич, — растерянно убеждал его композитор, — ведь в императорскую капеллу набираю певцов, таланты не иссякнут оттого, а славы прибавится...

— Не уговорите, Михаил Иванович, не уговорите, не нужны нашим поселянам столичные школы, а государь император истинных хористов для своей церкви прикажет найти и отправить во дворец.

— Вот и приказал...

— Не верю, Михаил Иванович, чтобы именно в Острогожске было приказано их искать. Мало ли в Малороссии «голосов»? Поют повсеместно и кобзарей выше чинов чтут.

— Чего вы все же боитесь? Не пойму, — спрашивал Глинка.

— Вас боюсь, Михаил Иванович, вас, — не таясь отвечал городничий, — человека одной фамилии и столичного обхождения. Брат Федор Николаевич куда попал? В ссылку! А ведь близок был ко двору и писал так, что сердце слезою исходило.

И городничий взмолился:

— Право, Михаил Иванович, уезжайте, пока о посещении вашем не осведомлены завистники мои, и не сочтите мои слова за грубость...

И когда композитор, откланявшись, уходил, городничий возгласил:

— Да поможет вам бог, Михаил Иванович, в делах, музыка ваша истинно замечательная... А будете писать брату — скажите ему, что мне, слуге государеву, не пристало с ним знаться!

Глинка расстался с городничим и с этого дня в поисках «голосов» решил по возможности обходиться без участия местных властей.

Рассуждая о происшедшем с ним в Острогожске, он приходил к выводу, что городничий, собственно, по-своему прав: не может он, Михаил Глинка, строго держаться лишь одной цели своего путешествия — набора двадцати мальчиков для царской капеллы. «Чудесный песенный мир являет собой Украина, — как не откликнуться, — а там, где песни, где воображение воспалено музыкой, там плохо живет городничим...» И, кроме того, будет ли он учить хористов только одному царскому пенью? Глинка, сидя в карете и направляясь дальше из Острогожска, усмехнулся своим мыслям. Конечно нет, он заставит их так петь украинские песни, чтобы народ сбежался слушать эту новоявленную украинскую «капеллу», чтобы слепцы плакали на дорогах, не зная, что произошло на свете!..

2

Он побывал в Чернигове, в Яготине, в Пирятине, в Михновке, в городах и селах, названия которых были просты, звучны и неожиданны. В Переяславе был принят местным городничим за ревизора — случай не столь редкостный в этих местах, где начальство боится приезжих.

В доме у помещика Корсунского выдал себя за чиновника Киевской таможенной конторы и слушал, как крепостной актер сипло пел арию Сусанина. В помещицьем доме было нудно: еврей-музыкант играл на цимбалах под громадной картиной, изображавшей его

соотечественника повешенным на суку. На стенах пу-
чили нарисованные богомазами святые, среди них —
Сковорода с книгой в руках, в шляпе с гусиным пером.
Во дворе — ручная драхва, воз терновника для порки
крестьян, рядом с бочками меда и кулями муки — зверь-
коватый парубок — слуга.

«До чего же нелепый дом!» — думал Глинка и вече-
ром ушел в шинок. Там, в черном своем сюртучке, ма-
ленький, чинный, весь подобранный, сидел он с наслаж-
дением среди шумных, подвыпивших чумаков и хуторян
и смотрел, как плясала дочь местного звонаря. Была она
в корсетке синего черкачина, смела лицом, стройна, с
затаенной силой в движениях, пела насмешливо:

У местечку Богуславку
Каневского пана,
Там гуляла бондаривна,
Як пышная пава.

Подруги ее стояли полукругом.

Звонарь сидел здесь же, в пыльной и старой свитке,
с осанкой хорунжего, прямой и стройный.

Глинка спросил его:

— Где бы остановиться мне, пожить неделю?

— А откуда пан? — недоверчиво спросил звонарь.

— Из Киева.

— Разве с паном помещиком пан в ссоре?

— Да, поссорились, — слукавил Глинка. — Пустой
человек ваш помещик.

— Ярина! — крикнул звонарь дочери. — Отведи пана
к нам домой, пусть мать примет и накормит его.

И от этих суровых простых слов, сказанных звона-
рем, на душе у Глинки потеплело.

Девушка неохотно вышла из шинка и кивнула ему
головой:

— Идемте, что ли? ..

Спускались сумерки. Глинка радостно брел за ней
по селу, не зная, как расположить к себе девушку и воз-
наградить за то, что оторвал ее от пляски с подругами.

Она деловито привела его в хату, передала попече-
нию матери и ушла. Он не смел ее остановить и терпе-
ливо ждал ее возвращения, расположившись в углу
застланной чистыми половиками комнаты.

Как хорошо было здесь в сравнении с нелепым домом Корсунского! На выбеленных стенах — пучки степных трав. Глиняные макитры возвышаются на печной приступке, образа тихо светятся из-под рушников в углу и шашка в старых ножнах, видимо принадлежащая звонарю, висит возле двери.

Он засыпал в эту ночь под говор звонаря и его дочери, утомленный и радостный. Звонарь рассказал ему предание о Гонте, о Железняке, помянул «ученого крипака» Шевченко из Керелевки.

Глинка провел здесь три дня. Он вставал на рассвете, когда проходили мимо окон девушки к кринице, звеня ведрами, постовой колокол сзывал в поле и с особым щемящим скрипом проплывала арба. Дочь звонаря поласковела к постояльцу, к нему бегали все местные школяры в длинных свитках и драных сапогах, приходили девушки с венками на голове, внимательные и, как ему казалось, таящие какие-то невысказанные свои думы. Он читал им старые книги «со шипками» на страницах, пахнувших медом и ельником, оказавшиеся в доме звонаря, а сам в свою очередь заставлял девушек песни петь, тут же записывая мелодии.

Разбирая какие-то старые, переданные сюда попом газеты, он нашел статью о кобзарях, кобзарных гуртах и выписал из стихотворного обращения учительского общества, опекающего кобзарей:

Ой, пора тебе на волю, песня русская.
Благовестная, победная, раздольная,
Погородная, посельная, попольная!

Он жил здесь, забывшись от тревог, и казалось, что уже где-то совсем далеко, в другом конце света, обитает жена его Мария Петровна со своей матерью, и чопорный Гедеонов, и... забытая им, Глинкой, императорская капелла, коей он капельмейстер.

Подшучивая над собой, он величал теперь себя «кросмейстером», человеком, обязанность которого — поселить людей, записывать неизвестные в городах песни...

На четвертый день его жизни здесь звонарь сказал ему:

— Нет, пан, вы не чиновник из Киева.

— Почему же, — забеспокоился Глинка, — а кто же я?

— Вас ищут, — не отвечая и опустив глаза, сообщил звонарь. — По всему селу ищут. Кучер ваш говорит, что вы — большой барин из Петербурга и едете к архиерею за песнями.

— За песнями? — развеселился Глинка. — Пожалуй! За «голосами». Он хотел, наверное, сказать: за теми, кто хорошо поет...

— Кто его знает, пан. Спасибо вам за честь, за то, что пожили у нас...

— Спасибо и вам, — начал было Глинка и остановился, поглядев в окно. У хаты уже стояла его карета, готовая в дорогу. Отдохнувшие лошади не стояли на месте, а кучер, сдерживая их, нетерпеливо глядел на низенькую, всю в подпорках, хату, в которой «запропастился» его барин.

3

Ехать к архиерею Глинка решил напоследок, теперь же решил навестить в Прилуках пансионного товарища Маркевича, теперь известного собирателя песен.

Семь «голосов» уже были выбраны Глинкой и теперь жили на выданные им деньги в одной из деревень в ожидании, пока столичный капельмейстер повезет их в Петербург. Но в Киеве Глинка задержался.

Здесь находился еще один «голос», уже определенный композитором в капеллу и следовавший в столицу незамедлительно и самостоятельно, — Семен Гулак-Артемовский.

В свидетельстве Киевской духовной консистории, выданном Гулаку-Артемовскому, было сказано, что «ученик среднего отделения Киевской духовной семинарии, певчий хора преосвященного викария митрополии Киевской... по выбору капельмейстера придворной певческой капеллы отправляется ныне ко двору его императорского величества».

Гулак-Артемовский, особо выделенный Глинкой на певческой сходке хора Киевской митрополии, нашел в себе смелость заявить «царскому капельмейстеру»:

— Не поеду, господин Глинка. Обращусь с жалобой к архиерею...

Он был очень высок ростом, широк в плечах, говорил громко, подавляя голосом своим и фигурой.

— Почему же? — удивился капельмейстер, добродушно оглядывая хориста, «кафедральному» голосу которого мог позавидовать соборный дьякон.

— Не тянусь к церковному пению и в помыслах далек от церковной службы, — признался хорист.

— А куда же направлены ваши помыслы?

— К музыке светской, притом народной.

Вечером в этот же день, вызвав к себе Гулака-Артемовского в номер гостиницы, Глинка сказал ему наедине:

— Слушайте, это ведь очень хорошо — то, что вы сказали, и вам еще обязательнее ехать в Петербург.

— Что вы говорите, господин капельмейстер? Разве вы набираете певчих для... театра?

— Да! Стараюсь во всяком случае... Для русской музыки.

Гулак-Артемовский наклонил голову и, смутившись, сказал:

— Я теперь понимаю, почему именно вы создали «Ивана Сусанина». Я слышал отдельные ее арии, но я видел в вас только императорского капельмейстера. Стало быть, вы не в капеллу приглашаете меня, не ко двору.

— Нет. Я хочу, чтобы, пожив в Петербурге, вы уехали в Италию, хочу, чтобы вы писали сами. Для Украины, — прибавил Глинка.

Гулак-Артемовский согласился ехать и, доверившись, рассказал капельмейстеру о замыслах своей оперы «Запорожец за Дунаем».

— Жаль, нет рояля, — сказал Глинка. — У меня давно сложились в голове украинские мелодии. Но негде играть. Может быть, они созвучны и вашей будущей опере...

Киев разрастался, на его холмах, среди садов возводили дома. В Софийском соборе служили молебны. В Лавру стекались богомольцы. Каждый год приезжала сюда знатная богомолка, графиня Орлова-Чесменская, в черной карете, запряженной черными рысаками, с фо-

рейтором и лакеями, — «благочестивая жена», о которой некогда насмешливо писал Пушкин.

В Киеве жил поэт Боровиковский — собиратель сказок и пословиц. Глинка читал его признание о себе: «Нынешняя деятельность земляков моих на поприще украинской литературы, лестная для родинолюбия, заставляет и меня издать... собственные труды, в коих, надеюсь, публика заметит и ту новость, которая, кажется, доселе была неприступна для малороссийских поэтов, — это серьезность, противная несправедливому мнению, что на малороссийском языке, кроме шуточного и смешного, писать нечего».

«А как же Шевченко?..» — спрашивал себя Глинка.

Украинские предания и сказки Глинка сравнивал с известными ему ранее в Смоленске и в Петербурге. Они раскрывали перед ним истоки музыки, уводили в прошлое Украины, живое и памятное...

Он побывал в Яготине, в парке Репниных с гротами и глубокими прудами, вырытыми руками крепостных. Он видел княжну Варвару Репнину, дружившую с Шевченко. Дом Репниных принадлежал некогда графу Разумовскому, деду княжны, и стоял когда-то отнюдь не здесь, а под Киевом, над Днестром. Но однажды графа известили о том, что у него в доме будут расквартированы войска, проходящие в Киев. И случилось фантастическое: граф, не желая пускать на постой солдат, распорядился перенести свой дом в Яготин. И в одну ночь крепостные разобрали и на двух тысячах подводках перевезли дом на новое место.

Чего не бывало на Украине!

В Мосевке Глинка посетил помещицу старушку Волховскую, «вольтерьянку» по убеждениям. Старушка ослепла несколько лет назад. Она часами рассказывала ему о прошлом здешних мест, о любви к удовольствиям и о том духе толерантности, который как бы парил еще в ее доме.

К ней, в день ее именин, съезжались при Глинке гости из трех губерний. На бал было приглашено шестьсот человек. Кареты стояли по всей деревне и правильными рядами выстраивались в поле. Пастухи стерегли пришлые разномастные косяки коней.

Слепая помещица, доживающая девятый десяток,

считала, что веселье — искупление грехов, из которых главный — понурость духа и меланхолия.

Глинка видел шествие крокосмейстеров в ее парке. В числе тех, кто шел впереди весельчаков, украшенный широкими лентами — знаками своего крокосмейстерского чина, был и встреченный им потом в Качановке Виктор Забелла.

В Качановку к давнему своему знакомому Терновскому Глинка заехал в июле.

Виктор Забелла рисовал, пел, сочинял и хорошо играл на бандуре. Был он бедным помещиком, и говорили о нем, что он черпает в искусствах «услугу своей бедности». Были ему присущи странности, говорящие, собственно, больше всего о заведомой провинциальности в устремлениях этого помещика-бандуриста. Для того чтобы не потерять «самобытности», он не читал ничего, кроме басен Фердра, переведенных в то время Барковым, и иногда заглядывал в «Царь, или Спасенный Новгород» Хераскова. Все иное, по его словам, могло лишить его свежести в собственном сочинительстве. О пребывании Глинки Забелла писал: «...Там Глынка той, що добре грає».

Позже Виктора Забеллу Шевченко вывел в повести «Капитанша» под именем Виктора Александровича.

Находясь в Качановке, Глинка сочинил музыку на его песни «Гуде витер» и «Не щебечи, соловейко».

Вместе с ними здесь жил художник Штейнберг, учившийся с Шевченко в Академии художеств. Он много рассказывал о Шевченко, в разговор о нем тут же вступал Забелла, гости и слуги поминали его, и Глинке казалось, что вся Украина полна вестей и рассказов о поэте...

Жилось весело и непринужденно. Глинка работал над новой оперой и, казалось, забыл капельмейстерские свои дела.

Вскоре сюда приехал и Маркевич. С его приездом стало еще веселее. Карета была забыта, возчик отпущен, лошади переданы пастухам. «Я не капельмейстер, а крокосмейстер», — любил повторять Глинка о себе в эти дни. «Только здесь, у вас, познал я подлинное отдохновение от дел и забот, неминуемо ждущих меня в Петербурге», — говорил Глинка позднее.

Маркевич отсюда писал Соболевскому:

«Мне опять удалось повидаться с однокашником, услышать о тебе. ...Хочу в декабре приехать, повидаться со всеми: пойду к вам, а крокосмейстерство я уже передал кандидату моему Забелле, ты не знаешь, что за важный чин у нас, в Малороссии, чин крокосмейстера; если не можешь осведомиться о том на местах в Полтавской и Черниговской губерниях, то расспроси Глинку. Он все постиг, он знает все и даже он сочинил марш крокосмейстерский, который вы все услышите во время представления оперы «Руслан и Людмила». ...»

4

Кобзарь Остап Вересай, старший в музыкантском цехе, услышал, будто приезжий музыкант выкупает у помещиков певчих и везет их к самому царю, в столицу. Остап этому не поверил, решив, что, должно быть, какой-нибудь досужий помещик хлопочет о своем театре. Однако слух о приезде дошел до кобзарного гурта, где жил Вересай, перекинулся по деревням, и к Вересаю потянулись со всех сторон слепцы-лирники.

В кобзарный гурт вела со шляха ровная дорожка, обсаженная по краям акацией, чтобы слепцы не сбивались с пути. Старые извозчицы оглобли, врытые одним своим концом в землю, поддерживали готовую развалиться хату Вересая, и даже рамы окон подпирались колыями. На крыльце у входа висела икона, украшенная полотенцем, возле — ящик с копилками, сумками — дорожным достоянием слепцов и поводырей. В самой бедности этой хаты было что-то строгое, издавна привычное глазу и как бы положенное кобзарям. Потому и не чинили ее, словно испытывая, сколько еще не поддается она времени. Зато внутри хаты было уютно и весело, — вся в ситцевых занавесках, до ряби в глазах светилась горница зеркальцами на стенах и белыми макитрами на мытых лавках. Встречала гостей жена Вересая, черноокая, статная и всегда с потупленным взглядом, будто стыдящаяся своей красоты. Кораллы охватывали крепкую шею, а в глазах вспыхивал

добрый, идущий из глубины сердца, привораживающий свет.

— Входите же! — говорила она певуче, и слепцы молча совали ей свои палки и сумки, зная, что она каждого примет, накормит и не спеша подведет к Вересаю. Так повелось с давних пор и так бывало весной, когда растапливались снега, девки пускали по воде венки, а слепцы стояли возле хаты, у громадной, навозом пахнущей лужи и ждали, пока Уля переведет их на другую сторону.

— И ты, Гриц! Здравствуй! — успела она шепнуть пастуху, пришедшему с кобзарями. Он пел в церковном хоре и жил сейчас одной мыслью — не возьмет ли его приезжий музыкант в Петербург.

Из комнаты доносился голос Вересая. Старик чуть слышно перебирал пальцами струны кобзы и пел, взывая к богородице: «Ты бо еси первородна, бо ты перво зачата, перед ангела уж до неба ты от пана взята, аллилуйя, аллилуйя, слава тоби боже, не забудь нас, кобзарей, Мария госпоже».

Пел он с вызовом кому-то и драчливо подергивал длинный свисающий ус. Обычно спокойное лицо его с остановившимся взглядом бесцветных незрячих глаз было сейчас чуть перекошено, словно от боли.

Кобзарь не переставал раздумывать о приезде. Каждая неожиданная весть настраивала его обычно на воинственный, насмешливый лад. Только потом, уже все передумав, обретал Остап приличествующую ему серьезность.

— Это ты, Федько! — окликнул он одного из гостей прежде, чем Уля подвела его к нему, и отложил кобзу. По неровному, порывистому шагу он догадался, кто из старых его товарищей пришел в дом. — И тебе нынче покоя нет. Может, и ты собираешься к тому музыканту?

Вскоре гости чинно сидели за столом, сложив на груди руки, — все белолицые, строгие, с волосами в скобку, в мягких, стареньких свитках, будто школяры, собравшиеся возле учителя. А те, кто действительно ходил в школярах, и среди них пастух Гриц, — зрячие и молодые, — держались в отдалении, стеснительно поглядывая на Улю.

— Цеху музыкантскому дорог нет, — глуховато го-

ворил Остап Вересай. — Пали давно кушинтские, гарбарские и пахатские цехи. Ныне для помещика все равны, а права наши паном судьей позабыты. Управляющий недавно человека своего ко мне присылал: князь-де сердится — какой-то музыкантский цех, кроме его княжеской труппы, объявился в селе? Не лучше ли слепцам, чем на дорогах петь, выучить какие-нибудь роли и в скомороховских, — так он называл пьесы сумароковские — пьесах играть?

Остап дернул себя за ус и с минуту молчал, тяжело поводя незрячими глазами.

— Князю до того дела нет, — продолжал он, — что ныне кобзарь один в селе воин. Все войны побиты, немало деревенских за бунт сослано! Для князя — убогие мы да нищие. . . Оно и лучше. С нищего что спросишь? — едко усмехнулся он. — Но кому старину блюсти и кому о старине петь, коли кобзарь вместе с панскими холопами играть станет! Кому в новинку панский театр? — возвысил он голос. И проворчал: — А вы поддались на панскую змеиную ласку, к столичному музыканту потянуло, в царских хорах петь!

В голосе Вересая было столько горькой издевки, что слепцы долго не смели возразить.

— Музыкант из Петербурга любит наши кобзарные песни! — осторожно сказали ему.

Он задумался, и на лице его мелькнуло выражение растерянности.

— Может ли быть, чтобы человек служил и царю и народу? — промолвил он, ни к кому не обращаясь. — Железняк-то, помните песню о нем, смеялся над таким. . .

Кобзари молчали. Им самим было непонятно поведение царского капельмейстера, но хотелось верить в необычное, в то, что приезжий с чистой душой обращается к ним, а что касается царя и Железняка, не может ли Вересай хоть на время забыть о распри с господами, о царе. . .

Но сказать ему это не смели.

И Вересай, почувствовав их смятение, как бы вызывая на спор, с той же небрежной и немного надменной насмешкой в голосе, с которой до прихода гостей обращался к богородице, продолжал спрашивать:

— Богат музыкант-то? Собою видный, слуг много с ним? Известно, от царя бедный не явится.

— Небогат, говорят, собою мал, ростом в нашего Физульку, а поет — заслушаешься!

Кобзари рассмеялись. Кирилл Физулька — он отсутствовал — был самый невидный из них, щедушный старичок, пользующийся в цехе всякими поблажками по слабому своему здоровью.

— А что до песни, — с удивившей Улю осведомленностью продолжал Федько, — так передают, будто сам он сочинил музыкальную драму, которую ставят в императорском театре. Поют в ней о русском мужике, спасшем царя и обманувшем ляхов! И поют, как никогда о мужике не пели!

— Скажете вы! — протянул Остап недоверчиво. — Послушать вас, так не царь, а Гонта да Железняк того музыканта должны были слушать. И чего только не придумают в народе!

— Правда же, Остап, не врут люди! — обронили старики.

Федько, боясь разгневать Вересая, сказал:

— Ты старший, нам тебя слушать. Вчера опять слышал, будто сзывает он к себе кобзарей, и из самой Киевщины они к нему идут.

А пастух так и не отважился спросить о чем-нибудь Вересая. Он перекинулся взглядом с Улей и шепнул ей:

— Все же сходить бы к музыканту. Может быть, возьмет? Сам архиерейский регент голос мой хвалил.

Уля молчала. Спор занимал ее, но здесь, при людях, она во всем держала сторону мужа. Посторонний мог бы подумать, что присутствие слепцов не должно ни в чем ее сдерживать, они ведь не могут наблюдать за ней. А для Ули все они были «зрячие», ведь они могли догадаться о тайных ее мыслях. Долгая жизнь со слепыми сделала ее чуткой к самым сокровенным помыслам их. Для нее, как и для Остапа, они были воины, ратники невиданного в мире ополчения песенников. Она гордилась мужем и как-то сказала ему: «Ты же... войсковой хорунжий, со всей губернии слепых казаков в твоём полку до трехсот наберется». Он усмехнулся, но промолчал.

В народе уже вошло в привычку сравнивать кобзарей

с воинами, не ему и не Уле принадлежало первым это сравнение. И жили кобзари одним коштом. Обычай музыкантского цеха соблюдался всеми. Не одна ли Уля принимала от слепцов медные пятаки, отдаваемые ими на нужды цеха? Не ее ли называл Остап при людях слепоцким поскарбием, то есть казначеем?

Она заметила, как нехотя, горестно согласились все с Вересаем, не пытаясь больше заговаривать о музыканте. Но именно эта их уступчивость настраивала Остапа по-иному, рождала в нем сомнение в собственной правоте. Не из запальчивости ли поносит он этого приезжего музыканта? И что все же за человек появился в губернии и созывает кобзарей?

— Уля! — неожиданно крикнул он. — Подавай сапоги да чистую свитку.

И сказал гостям пристыженно:

— Пойду-ка я сам того музыканта проведу!

— И то правда! — скрывая радость, поддакнул Федько. — Долго ли ходить будешь? Ждать ли тебя?

— Как бог даст. Хату берегите! — строго сказал Вересай, подхваченный за руки Улей. Она увела его за ситцевую занавеску к высокой кровати, застеленной солдатским одеялом, туда, где на стене висела, словно выставленная напоказ рядом с дедовской саблей, вышитая ею праздничная, ярко-белая рубаха.

...Часом позже он брел уже по шляху тем неторопливым, словно бы усталым шагом, которым сохраняют силы привычные к странствованиям кобзари. Рядом неслышно ступала Уля, подняв увенчанную косами голову и сторожко прислушиваясь к скрипу чумацких телег и «таканью» аистов. Она, его поводырь, жена и «дорожная лукавица», как прозвали ее в усадьбах, должна знать обо всем, а от нее никто лишнего не услышит. Ведь вела она Остапа Вересая, кобзарного хорунжего, которого слушали в Киеве, в ученых домах и на полковых сборах.

Пел Остап о Хортице, о Сечи, а кто поет о ней с тех пор, как посадили в Хортице картофель в поруганье над Сечью? Не те кобзари-«сумники», что у церквей трутся, похорон да поминок ждут, а лишь его, Вересая, ученики. Вела Уля Остапа к петербургскому музыканту и втайне размышляла о том, что это за человек, который

в тысячу раз славнее ее мужа и, по словам кобзарей, самый большой песенник.

К этим размышлениям ее толкали не ревность или боязнь, а то светлое и чистое любопытство к миру, которое всегда охватывало Улю, стоило лишь ей выбраться на шлях из ветхого своего дома. А в мире она давно приняла необходимость страдания, меньше всего надеясь на какие-нибудь нечаянные радости, но сейчас хотела бы заранее знать: что принесет Остапу свидание с музыкантом, к чему подготавливать мужа? Помимо этого, ее попросту интересовало: споет ли приезжий музыкант лучше ее Остапа? Русских песен она почти не слышала в деревнях, песни же, исполняемые в помещичьих хорах, чаще всего отпугивали неуловимостью мелодий и непонятностью слов.

Они отделились от шляха и вошли в небольшую деревню с покосившейся церквушкой, на почерневшем кресте которой с неправдоподобной цепкостью лепилось воронье гнездо. Вересай намеревался зайти к знакомому дьячку. В сумке он хранил рукописный лист, оставленный ему прохожим школяром, и теперь хотел, чтобы дьячок прочитал ему написанное. Уже доносились запахи жилья — хмеля, кизячной золы и шкварок. Хаты, покрытые по-польски, снопиками, забелели в темных, огороженных плетнями садах. Среди них — небольшая, выходящая окнами на улицу, хата дьячка Середы. Возле окон стояли два слепца и тянули «Лазаря». Потом, кланяясь, спрашивали в один голос высунувшегося к ним из окна дьячка:

— Здоровы ли будете?

— Здоровы, — басисто отвечал дьячок.

— Здоровы ли в ноги?

— Здоровы.

— Здоровы ли в руки?

— Здоровы.

— Не было ли тяжелых снов у вас?

— Не было.

— Не приходил ли во сне беглый монах за подаянием?

— Не приходил! — терпеливо отвечал дьячок, зная, какое скверное предзнаменование в таком сне, и не видя возможности спастись от назойливости слепцов.

Но, увидя кобзаря, обрадовался:

— Остап, уйми их! Надоели так, что беглому монаху рад станешь!

Вересай приблизился и, узнав слепцов по голосу, отрывисто крикнул:

— Игнат, Федор... брысь, бисовы дети!

Уля смеялась, глядя, как, взявшись за руки, они заковыляли по дороге. «Никак Остап?» — донеслось до нее. Она знала, что не пройдет и месяца, как слепцы появятся в ее доме и, беззлобно вспомнив этот час своего посрамления, сядут за горшок с кашей.

— Остап, заходи! — пробасил дьячок.

Он был без подрясника, стар и глядел по-ребячьи изумленно на пышущую здоровьем Улю. Поражая ее своей худобой и подвижностью, он ругал за чаем отцов иезуитов и ляхов. Понаехав сюда после неудачного польского восстания, они, по его словам, бесчинствовали в отместку за свои неудачи.

Надев узенькие очки в жестяной оправе, он прочитал поданный ему Остапом листок.

Перебендя, старий, сліпий,
Хто його не знає.
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.

— То ж про меня! — умиленно прошептал Остап, открыв глаза так широко, что дьячок воскликнул:

— Да ты прозрел никак?

— То ж парубок с Керелевки писал, — пояснил, не обратив внимания на его восклицание, Остап. — Теперь в Петербурге он, а жил у нашего Совгира¹, у маляра в Стеблеве, у художника в Тарасовке, у кого не жил хлопчик!.. Со мной по селам ходил, мои песни слушал.

Лицо его посветлело, рука беспокойно потянулась к мешку, в котором лежала кобза, в мыслях встало прошлое. Несколько минут он раздумывал, каким стал теперь керелевский школяр, сочинявший стихи, потом резко поднялся и спросил дьячка:

¹ Прозвище дьячка Губского, у которого учился Т. Шевченко.

— О музыканте ничего не слышал? О том, который за певчими приехал?

Вспомнив знакомого школяра, уехавшего в Петербург, он уже готов был поверить, что приезжий может быть отнюдь не плохим человеком и не зря толкуют о нем кобзари как о своем защитнике.

— О пане Глинке, что ли, говоришь? Здесь он! — подтвердил дьячок. — В Качановке. Почтовым чиновником сначала себя назвал. Регент царя. Понимаешь ли ты, Остап, какой он человек?

Последние его слова вновь смутили кобзаря. Но, ни о чем больше не спрашивая, он сказал Уле нетерпеливо:

— Идем к музыканту!

Дьячок вывел их на дорогу, ведущую в Качановку. Дорога шла через леса, в стороне от степных курганов и знакомых кобзарю деревень, и пугала Улю безлюдностью своей и тем, что первые ее версты оказались выложены булыжником. Привычнее и легче казалось ей идти по степной тропке.

— Богатый барин живет! — сказал дьячок, угадав ее тревогу. — Какой парк у него! А в парке каких только зверей нет! Дом, думаю, из мрамора. Дворец, а не дом. Во дворце картины собраны со всего света. Как не знать помещика Тарновского — свой театр содержит. Барин не очень добрый, но вы не пугайтесь. Идти к нему в дом не надо, а пусть сядет Остап у ворот и заиграет. Смотришь, музыкант сам к нему и выйдет.

Лес кончился, и Уле казалось, будто идут они по чужой, неведомой земле, до того странно было видеть черные гроты в тех местах, где мирно текли ручейки, пробиваясь из невысоких гор, до того пугали ее мертворожденные светлые пруды, окаймленные подрезанной, как на газоне, травой. Что только не сделали с землей ее отцов иноземные садовники, привезенные сюда из Италии! Уля смутно помнила рассказы деревенских о том, как потребовал от них пан Тарновский «уподобить эту землю итальянской». Говорили, что показал якобы им владелец Качановки какую-то картину, изображающую итальянскую виллу, и сказал: «Сделайте по этому образцу». Тогда-то и появились здесь черные гроты и искусственные озера, а на месте вишневых садов — хи-

лые апельсиновые рощицы, одинокие пальмы-недоростки, с редкими листьями, похожими на опахала. Впрочем, еще и до Тарновского немало поглумились здесь над казацкой землей. Румянцев-Задунайский, получив Качановку от Екатерины, велел скрыть с лица земли древние курганы, вносящие сюда смуту одним своим видом.

Остап в раздумье брел с Улей по дороге и был чем-то встревожен.

— Хорошо ли тут? — изредка спрашивал он ее, вслушиваясь в тишину.

Птицы не пели, и с пустынных озер, скрытых в полях, тянуло холодком.

— По-барски... Как барину захотелось, — отвечала Уля, не умея передать своего отношения ко всему, что раскинулось перед ее взором. — Барская земля — не наша. Вот тополя порублены у дороги, а с краю растет невесть что — не елка, не тополь...

То были кипарисовые деревья, недавно привезенные сюда из Крыма.

Кобзарь подошел к дереву и начал в беспокойстве ощупывать его ветви.

— Да нет, — сказал он чуть слышно, внюхиваясь в запах. — Это дерево, Уля, не вянет, стало быть, приняла его земля, а земля, она, Уля, не панская.

Уля не спорила. Был вечер, когда кобзарь и жена его остановились на отдых в одной из деревень пана Тарновского. Желая выведать, что за люди живут здесь, кобзарь запевал самые богопротивные и мятежные песни, из тех, Впрочем, которые не касались ни царя, ни помещиков.

Від Києва до Кракова
Біда однакова.
А хто біди не знає,
Хай мене спитає.

Ночевали на стогу, под звездным, раскрывшимся во всю свою ширь, небом. А утром, чуть рассвет коснулся краешка соломенных крыш и дорога забелела, тронулись дальше. К полудню пришли в Качановку. Но тут Остапа и Улю ждало непредвиденное. Не одни они спешили к приезжему музыканту: у помещичьих ворот и вдоль дороги уже расположились кобзари и лирники, прибывшие сюда с женами и детьми из дальних мест,

иные давние знакомые Остапа Вересая, но в большинстве своем — здешние, приглашенные сюда самим паном Тарновским и глядевшие на пришлых неодобрительно.

Поодаль от помещичьего дома, в хате садовника нашел себе приют Гулак-Артемовский. Рядом, вместе со слугами, жили под присмотром отставного солдата набранные композитором певчие-малолетки. В рубашках до пят, подпоясанных бечевкой, робкие и словно все на одно лицо, они тянулись к дюжему Гулаку, но не смели ему досаждать. Их отделяли от хаты Гулака густая клумба мальв, кусты бузины, сирени и акаций. Они проводили весь день в этих кустах, следя за тем, как лениво бродит Гулак по огороженному садику, и ожидая, не кликнут ли их на барскую половину. Были видны отсюда старинные казачьи пушки возле парадного входа, похожие издали на сторожевых псов, и пустынная площадка в тополях возле барского дома.

О хлопчиках вспоминали только к вечеру, когда спал зной, и солдат выпускал их, словно гусей из загона. Путаясь в рубашках, они опрометью бежали по песчаным дорожкам и представляли перед господами. Из оранже-рей выходил Глинка, — он жил в ней и работал, поставив маленькое фортепиано к миртам и фикусам в горшках. Появлялся хозяин — сухонький, стройный, в короткой курточке, в бархатных шароварах и в голубой жокейской фуражке, лихо заломленной набок, следом за ними заспанный Маркевич в халате, чинный, всегда принаряженный художник Штернберг и барские домо-чадцы.

Двум хлопчикам тут же закрывали глаза платком, каждого из них порознь привязывали веревочкой к колышку, вбитому в землю, словно коз к жерди. Одному давали дудочку или трещотку в руку, другому длинный хлыст. Один должен был насвистывать или трещать, другой, по звуку, настигать его кнутом. Забава эта вошла в обыкновение, но порой не обходилось без слез. Впрочем, не смея плакать и устав от беготни с завязанными глазами, хлопчики чаще всего молили:

— Барин Михаил Иванович, — так звали они Глинку, — прикажите что-нибудь спеть!

И Глинка тут же обращался к Тарновскому:

— Григорий Степанович, послушаем их?

Хозяин молча кивал, снисходя к гостю, и начиналось «ночное бдение». Исполнители и слушатели усаживались друг против друга, хлопчики обретали неожиданную вольность в движениях, приходили крепостные актеры — и музицировали до рассвета. Если первые номера удавались, а чаще всего это были народные песни и арии из итальянских опер, Григорий Степанович приказывал «собраться всем и сыграть его пьесу». Тогда откуда-то из каменных построек сбегались музыканты со скрипками и флейтами, укутанными в белое, словно няньки с младенцами на руках, пристраивали скамьи, и через несколько минут оркестр уже играл безымянную пьесу, сочиненную Тарновским.

Автор, слушая, тут же пояснял:

— Это поход Хмельницкого... Трубы зовут в битву! Это Хмельницкий под Зборовом. Сейчас заплачут флейты.

Глинка закрывал лицо руками и сидел удрученный, тихий, похожий на одного из хлопчиков. Музыкальная сходка становилась в тягость. Пьеса Тарновского вызвала судорогу. Казалось, нет ничего мучительнее, чем слушать старательно исполняемую какофонию. Камер-юнкер Тарновский, слывший высокородным меценатом, оказывался тем же городничим в музыке... А между тем как-то совсем не плохо сыграл его оркестр Бетховена.

Уже первый месяц жизни в Качановке томил. Дом строил Растрелли, а переделывали местные плотники. Картинная галерея с творениями Гверчино и Каррачи не помешала хозяину изобразить на стенах стараниями какого-то маляра уродливые пейзажи и качающихся в лодке панночек. За обедом тот же оркестр исполнял Моцарта на свой... качановский лад.

Но играли и Глинку. Впервые разучивали здесь только что написанные им отрывки из «Руслана» — «Персидский хор», «Марш Черномора». Разучивали увлеченно и хорошо. Может быть, потому, что мелодия подчиняла себе. Глинка, благодарный и растроганный, готов был простить... Тарновскому панночек на стенах и его пьесу. Колокольчики в «Марше Черномора» заменялись рюмками, и, однако, это отнюдь не оскорбляло

слух. Но позже наступали угрызения совести... Не ему ли, Тарновскому, сложили здесь, при участии Глинки, восторженную кантату?

Прекрасен, о хозяин милый,
Очарователен твой дом,
Какой живительною силой
Для нас исполнен твой прием!
Тебе с гармонией от чувства
Дает поэзия привет,
Благодарит тебя искусство
И яркий живописи свет!

Стихи эти читали на званых обедах, в присутствии губернатора, и он, Глинка, именитый гость, ерзал в узеньком черном фраке на венском стульчике и чувствовал себя более всех виноватым и несчастным от собственной доброты. Однажды отец Григория Степановича, вынув свои вставные челюсти и передав их лакею для чистки, прошамкал, обращаясь к Глинке: «А нам врали, будто вы очень взыскательны и нелюбезны!»

Сейчас, прослушав еще раз пьесу, Михаил Иванович отнял руки от лица и, как бы в отместку, сказал Тарновскому:

— Увольте на сей раз, да и, кажется, светает...

И вышел в сад. Грузный ленивец Маркевич поднялся вслед за ним. Ленивцем, впрочем, он прослыл и хотел им казаться, но отнюдь не был. Нечесаный, в расстегнутом халате, с озорным выражением круглого лица, с заплывшими глазами, он все подмечал и сохранял в незлобивой, но истинно труженической своей памяти. Таким его помнил Михаил Иванович и в пансионе — «рассеянным скопидомом знаний».

— Мишель! — окликнул Маркевич товарища. — Мне и самому от этих пьес муторно. Надо бы освежить себя настоящим пеньем. Оно как родниковая вода!..

Лунный свет заливал сад и усыплял лебедей в пруду, спрятавших клюв под крыло. В отдалении, за ровной шеренгой тополей, вдоль садовой ограды двигались люди, слышались голоса, робкий, отрывистый звон лиры.

— Где оно, настоящее-то пенье? — в раздумье повторил Глинка. И прислушался. — Кобзари? Неспкойно им по ночам или наш оркестр их будит?

— Всему селу спать не даем! — пробурчал Маркевич. — Люди у Григория Степановича по утрам блаженные от музыкальной одури. С кучером о лошадях заговоришь, а он тебе о цимбальном звоне!

Песня возникала где-то за оградой все смелее, за ней вторая, третья... Здесь, в этом песенном море, песня походила на волну, катящуюся одна за другой. И нельзя было оставаться равнодушным к ним, как и удержаться на волне.

— Может быть, пойдем к кобзарям? — предложил Михаил Иванович, не глядя в сторону ограды. — Пойдем, послушаем. У них настоящее!

И, не дожидаясь ответа, прочитал нараспев:

И песен чистое дыханье,
И целомудрие тоски...

Откуда это? Кажется, Ознобишина? Что сделал за день, Николай? Сколько перьев нагрыз? А я с «Русланом» не двигаюсь. Ширков — харьковский помещик, недавний знакомец мой, — либретто пишет. Будто хорошо, не чета Розену, а как бы могло при Пушкине быть!

Он был утомлен, говорил рассеянно, неохотно и очень тихо, как бы остерегаясь вызвать Маркевича на спор.

И Маркевич, понимая это его судорожное состояние, готовое вот-вот прорваться укорами к самому себе, так же сдержанно ответил:

— Что я сделал? О Хмельницком новую песню написал. На седьмую тысячу легенд да песен переваляло, записанных мною. Жаль, Шевченко нет. К себе хочу. По своему «кладу» скупаю.

Он называл «кладом» действительно редкостную свою коллекцию рукописных и печатных книг по истории Малороссии.

— Что ты в них ищешь, в книгах-то? — вдруг спросил Глинка, бросив на него блеснувший усмешкой взгляд. — Книги, рукописи, а что далее-то?

— Далее? — удивился Маркевич. И повторил: — А на самом деле, что далее?

Он беспомощно развел руками и сказал, не смея надеяться, что Глинка уже подавил в себе только что

владевшую им раздражительность и теперь может обо всем говорить спокойно:

— Ты хочешь знать, что я берусь доказать? Хорошо ли жилось в Запорожской Сечи, хорошо ли сейчас, и надо ли пану Тарновскому заниматься музыкой? Не властен, Мишель, разрешить эти вопросы, но не подумай, не книжник я, не фарисей, не по душе мне здешние порядки и управители. О них напишу вскорости, о крепостном праве, о том, чего хочу от общества. Доволен ли будешь тогда?

Глинка молчал.

— А вот ты чего хочешь?

— Мой «Руслан» на все ответит! — промолвил Глинка. — Это будет сказка правдивая, возвеличивающая человека. Сказка-быль! И сказка ученая! Непонятно? Спросишь, зачем же писать сказку без относительности к действительной жизни? А характеры в ней будут такие, что все мелочное и глупое желчью изойдет и отодвинется.

Он прервал себя и вдруг скучно поглядел себе под ноги.

— Разве расскажешь?

— Какой же должна быть музыка? — допытывался Маркевич.

— Искриться должна, гореть, рыдать, смеяться. Все должно быть в этой музыке! Ничего чужого и ничего невозможного. В «Сусанине» не был я во всем волен, да и театр мне мешал.

— Но ведь все-таки это «Руслан и Людмила», — пробовал вызвать его к еще большей откровенности Маркевич. — Ты связан темой. И при чем же тут Украина? Это ведь не «Вечера на хуторе близ Диканьки». Или в этой опере и Украина должна быть?

— Да, да! — с горячностью утверждал Глинка. — Конечно! Можно ли жить без Гоголя?

— Но зачем же тебе тогда сюжет «Руслана»? — недоумевал Маркевич.

Но Глинка не слушал. Углубившись в свои мысли, он брел медленно, чуть согнувшись, с лицом счастливым и еще более усталым. Только теперь, казалось, он отошел душой от всего, что томило, выбивало из

колеи, — музыка пана Тарновского и все то радужное, но плоское, что сопровождало ей в Качановке.

Маркевич держал себя попечительно, осторожно, считая Глинку все таким же необычайно ранимым и хрупким, каким знал его в Петербурге, и втайне думал, что человеку со столь блестящим талантом должны быть обязательно присущи свои странности.

— Я слушал вчера кобзарей, — сказал Глинка, — но передали мне, будто известнейший из них, родом из этих мест, пожелал меня видеть, и еще будто недоволен он моими действиями, тем, что певчих набираю... и тем, что в хоре велю петь.

— Остап Вересай! — догадался Маркевич. — Идем-ка!

Они вышли за ворота. Белый, мелкий, вязкий, словно ил, песок был утоптан возле ограды сотнями ног. Оркестр удалился, и людей не стало. В мертвенном, уходящем свете луны четко вырисовывались на дороге лоскутья мешков, сношенные лапти, обрывки девичьих лент.

Кто-то храпел у дороги, обняв рукою кобзу. Возле сидел монах и читал при луне требник в темном кожаном переплете. За домом пана Тарновского, в отчуждении и забытии, текла своя жизнь, полная неведомых пану радостей и дорожных тревог. Маркевич уверенно вел Глинку куда-то в сторону деревни. В небольшой, ярко выбеленной хате еще горел огонек. Тополя с бледными, словно завядшими при лунном свете, ветвями плотно окружали хату. Маркевич шагнул за порог и позвал Глинку.

— Прости, что поздно пришли, Остап, — сказал он сидевшему у стола кобзарю. — И ты прости, — обратился он к Уле. — Ненадолго мы. Ночь такая, что спать жалко. Хотел ты, Остап, видеть господина Глинку — он перед тобой, говори с ним!

У Вересая дрогнули губы, странно заколебались, поползли вверх глубокие морщины на лице, а губы сжались, и весь он напрягся, поднял голову, окаменел, повернув лицо к Уле. Она мягко погладила ему руку и внятно, певуче сказала, как бы обращаясь не к нему одному, но и к пришедшим:

— То пан Маркевич говорит с тобой. Ты знаешь

его, Остап, а с ним поменьше панок, может быть, и на самом деле Глинка.

И вдруг радостно вскрикнула, словно только теперь убедившись, что Маркевич не шутит, не обманывает их:

— Он, Остап, он, я его в саду видела, в панском дворе, и слугу его, Якова, теперь признала.

Маркевич смущенно пробормотал:

— Признала? Ну вот и хорошо! Что же мы ряженные, что ли, сюда явились?

— Красивая! — заметил Глинка, любуясь гордым и открытым ее лицом.

«Могу ли быть некрасива, Остапа жена!» — хотела она сказать, но промолчала.

— Спрашивай, Остап! — тихо сказал Глинка, садясь вместе с Маркевичем на скамью. — Я о тебе слышан. Что ты хочешь обо мне знать?

— Зачем, барин, приехал? Зачем людей от песен народных отвращаешь, от старины, чужой вере учишь? Разве мало в столице своих слуг? — заговорил он хмуро и неуверенно.

Только так мог он, Вересай, по глубочайшему своему убеждению, начать разговор.

— Что ты, Остап, бог с тобой, — искренне удивился Глинка. — Я ли народным песням враг? — Он вспомнил петербургские толки и смеясь добавил: — Про меня говорят, что кучерскую музыку завел, что в опере моей главный герой — мужик сиволапый!..

— А ты спой, барин, кучерскую-то, — недоверчиво протянул Остап.

— Изволь! — чуть растерянно согласился Глинка. — Мою ли тебе спеть или народную? Вот бы кому «Сусанина» послушать, не правда ли? — бросил он оживившемуся Маркевичу. — Только ты уж не взъищи, Остап, я ведь музыку сочиняю, а петь другие лучше меня умеют.

— Спой про «Сусанина», — так же просто и почти требовательно сказал Остап. — Спой, и не нужно мне тебя спрашивать, какой ты есть!

— Вы уж простите его! — шепнула Уля. — У него обычай такой. Все музыканты ему ровня. Не признает он в них панов, а коли паны, так он их не слушает.

Глинка улыбнулся и запел. Необычайность этой встречи с кобзарем веселила и радовала. «Право, перед Остапом петь ответственнее, чем перед царем, — подумалось ему весело. — Царь схитрит и для вида простит, если не по нему будет, а этот попросту не примет, не поверит!»

Михаил Иванович пел, став спиной к углу и ласково глядя на Улю. А она, наблюдая за ним, терзалась в догадках: «И не божий человек, и не пан!»

Глинка пел «Ты... заря», и мелодия захватывала ее. Никогда Уля не была так взволнована. И чем-то Сусанин, уводивший ляхов в лес, в ее глазах походил на... Остапа, словно оба они приносили себя в жертву, совершали в этой жизни один и тот же подвиг. И ведь хорошо поет пан Глинка! Мягко и как-то отрочески хорошо! Она долго не смела мысленно произнести напросившееся это сравнение. Композитор казался ей необычайно юным и простым. Минутами ей не верилось, что он и есть Глинка. Какой же он противник ее мужу?

— Мимоза! Мал золотник! — растроганно покачал головой Маркевич.

Остап молчал, брови на его лице дергались, выдавая разноречивые чувства, владевшие им.

— Так Сусанин поет в опере, — пояснил, нагнувшись к слепцу, Маркевич.

Кобзарь не откликнулся. Он думал о том, что петь так хорошо и просто, как и сложить такую песню, не может плохой человек.

— Барин, а зачем ты Гулака взял к себе без нашего спроса? — вдруг сказал Остап уже другим, потеплевшим голосом, когда Глинка кончил.

— Да ведь архиерейский он человек, из консистории! — не понял Михаил Иванович. — Нешто из кобзарей он?

— Нашего повету человек, — строго разъяснил Остап. — Консистория-то — бес с ней, в нашем музыкантском цехе человек зачислен. И песни поет наши. Должен ты свечу в церкви поставить и плату за Гулака в цех внести!

— Внесу! — согласился Глинка и даже обрадовал-

ся. — Ну как же, Остап... Может быть, теперь ты споешь?

— Пожелаешь — спою.

И, взяв из рук Ули кобзу, зажмурился, повел бровями и, резко ударив по струнам, запел «Казацкую исповедальную».

Много ли добра сделал ты, казаче,
Много ли беглянок по тебе заплачет?

Голос его то вдруг становился дрожащим, расслабленным, то обретал твердость и вырывался наружу, за бледное оконце хаты, то снижался до шепота, и Глинка ждал: вот-вот заплачет кобзарь, таким печальным казалось его лицо, так безжизненно повисала его рука. «Еще и артист», — думал Глинка, не отрывая взгляда от его пальцев. Они цепко и быстро перебирали струны и как бы заменяли кобзарю глаза. «А поет, не насиливая себя, не надрываясь. Голос его не поставлен, но легко берет всевозможные интервалы, самые, кажется, несообразные с законами гармонии... а ведь поет гармонично!»

— Остап, едем со мной в Петербург! Большим певцом станешь, — сказал он, послушав. — В капеллу тебя возьму.

— Куда мне, слепому, что ты, барин? Кто меня примет? — возразил старик, втайне довольный приглашением.

— Ко мне, Остап, поедешь! — воскликнул Глинка и тут же в замешательстве представил себе, как примут Мария Петровна и ее мать слепого гостя.

— Нет, барин, меня казаки не пустят, а за слова твои спасибо! Кланяйся, Уля, барину и объяви кобзарям — в дружбе им быть с ним, в послушании держаться... Виноват я перед тобой, барин, не верил этакому чуду, не внял тому, что молва о тебе разнесла...

И, как бы осмелев, спросил:

— Барин, а как с бунтарями-офицерами? Что слышно о них?...

— В Сибири они, Остап, ну, а про казненных знаешь.

Глинка мгновенно представил себе Кюхельбекера,

бредущего по таежному тракту в толпе каторжан, и спросил:

— Почему ты вспомнил о них, Остап?

И удивился его ответу:

— Как же не вспоминать, барин, слушая о Сусанине, наших гайдамаков и... тех офицеров!

Рассвет застал Глинку в заставленной цветами оранжерее; густой аромат роз и левкоев отгонял прохладу и сухую свежесть утра. Он спал, забыв о Тарновском, успокоенный и всем довольный. Полузаполненные нотные листы с ариями из «Руслана» желтели на солнце. Во сне он продолжал писать музыку. Проснулся с ощущением легкости во всем теле, хотя спал мало, и с сознанием, что должен что-то незамедлительно сделать. Он тут же вспомнил: следовало поселить Остапа с Улей около себя. Поднявшись, он велел Якову найти дворецкого и сговориться с ним. Теперь он уверился, что именно Остапа не хватало ему здесь, в его работе над «Русланом». Он вспомнил ночной разговор с Маркевичем о сюжете «Руслана», об ограниченности темы и был доволен, что не сказал Маркевичу больше, чем следовало: «Руслан» начинался здесь, на Украине, «Марш Черномора» идет от крокосмейстерских шестивий!

Днем Вересая с женой дворовые привели из деревни. Хату отвели ему рядом с жильем Гулака-Артемовского и певчих-малолеток. Хлопчики на радостях вбежали к Вересаю в дом и этим прогневили солдата. Пан Тарновский не выходил, писал новую пьесу. Очередная сходка ночью прошла мирно. Пел Вересай, подпевал сосед Тарновского Скоропадский, людей собралось мало, но Глинка знал: за воротами слушают кобзаря, не смея прийти сюда, тихие крестьянские толпы. Это ощущение немого и строгого слушателя, невидного вблизи, и томило и радовало. Ненароком Глинка сказал Тарновскому:

— Пустили бы сюда крестьян.

— Что вы, Михаил Иванович, помнут клумбы и сами заберутся подальше, чтобы нас с вами не видеть! Народ у нас скрытный!

Глинка горестно усмехнулся.

А днем позже, выпросив у пана Тарновского лоша-

дей, ехал он с Вересаем и Улей в кобзарный гурт. Кто-то из помещиков справлял разгульную и пышную свадьбу, заполонив дорогу каретами и возами. Белые кони попарно, цугом, с ездовыми в белых, шитых золотом кунтушах, волокли громадный дормез. Впереди на дороге зажигали смоляные бочки, палили из пушек. В ответ тоненько голосили колокола. Уле казалось, что почести эти отдаются Глинке и ее Остапу, тем более что о приезде их были оповещены кобзари. И сам Остап смеялся, заслышав пушечную пальбу: «Богато будешь жить, барин Михаил Иванович!» У кобзарной хаты встретили их заждавшиеся Остапа слепцы. Остап, выйдя к ним и поклонившись, сказал:

— Снимите шапки, бо пан Глинка здесь, с нами.

И вновь они сидели за столом в ожидании, что скажет Остап, и ловя каждое оброненное Глинкой слово. Они жались в углу, где сидел царский капельмейстер, сидели, вытянув, словно по команде, головы и затаив дыхание. Уле казалось, что уши их движутся, ловя звук, и слепецкой жадности их нет конца. . .

Они ждали его слов, но услышали, что приезжий расплачивается за Гулака, жертвует на музыкантский цех, на свечу. И это было к добру! Они поняли, что в церковь Глинка и Остап пойдут теперь же, и почему-то Вересай торопится освятить в церкви их встречу с приезжим. Видно, и на самом деле наступил большой праздник! Большинство слепцов осталось ждать, а некоторые побрели к церкви. Они не знали, как удивился Глинка, увидев там свечу толщиной в березовый ствол. Она стояла на полу, словно росла снизу, и пламя, казалось, лизало черные лики святых. Свеча трещала, дымила, в воск попала какая-то дранка и обрывок сыромятной кожи, — видно, лепили свечу второпях, а то и в потемках. Но Остап был доволен за музыкантский цех, которому оказал внимание приезжий, и вполголоса возгласил:

— Ныне отпускаем казака Гулака-Артемовского в Петербург, помолимся же за него, братья.

Седенький священник пугливо совершал потребу.

— Вот и проводили мы тебя в столицу! — шепнул Остап Михаилу Ивановичу, когда вышли из церкви. — Теперь бери наших певчих! Хочешь ли говорить с людь-

ми? Может быть, я поведаю им о тебе, а ты на отдых пойдешь, приляжешь!

Глинка отдыхал в доме попа, в горнице, припахивающей ладаном. В углу теплилась лампадка, бросая отблеск на две литографии в рамах, на портрет императора в порфире и императрицы в русском наряде. Громадное евангелие с металлическими застежками, с финифтяною живописью на переплете лежало на столе.

Глинка не то спал, не то бодрствовал. Впечатления последних дней заволакивали память, как бы вытесняя чувство пространства и времени. Он смутно помнил, что, уезжая из Качановки, отдал распоряжение приодеть певчих и строить крытые телеги в обратный путь, — пора ехать в столицу! Ох же и мука предстоит, не приведи бог, трястись на лошадях; хорошо, хоть в Орле можно будет отдохнуть у генерала Красовского. С мыслями об Орле возникло воспоминание: купеческий дом, похожий на каравай. И сразу стало не по себе. Положительно дорога губит все лучшее, что ожидаешь встретить на месте!

Сетуя на себя за неровность характера, он пытался уснуть, но не мог. Казалось, теперь он все завершил, набрав певчих, познакомившись с кобзарями, столкнувшись один на один с Украиной, вместившей в себе этаткое обилие людских образов. Но что ждет в Петербурге? Он вновь представил себе встречу с женой и зажмурился, словно пытаясь отогнать видение. Один Нестор Кукольник вырос в его представлении утешителем, хотя немало досадил, напечатав в «Пчеле» совсем не для этого посланные ему о себе письма.

Но сон уже не шел, чувство своей неустроенности перевесило все! Право, хоть оставайся здесь.

И тогда возникло ощущение какой-то творческой недосказанности, острой неудовлетворенности работой над «Русланом». Будто встреча с Остапом и вечера, проведенные в Качановке, открывают подступы к самой теме об Украине — теме, лежащей в глубине народного прошлого и теперь вытолкнутой наружу всем ходом последних, взволновавших всю страну событий... Он живо представил себе, с какой напряженной радостью слушает Остап предсмертную песню Сусанина,

В смутных поисках общего в его подвиге с подвигами гайдамаков. Вспомнил осторожный вопрос кобзаря: «Барин, а как с бунтарями-офицерами, что слышно о них?» — и Глинке передалось то ожидание перемен, которое втайне владело здесь крестьянами. Глинка вскочил с постели, и, как бы в помощь ему, озаряя новым светом все виденное здесь в панских усадьбах, мгновенно родились в памяти стихи Рылеева, — он слышал их когда-то в доме дядюшки Федора Николаевича:

Мне ад — Украину зреть в неволе,
Ее свободной видеть — рай.

И беседы в пансионском «Малороссийском обществе»...

Он приоткрыл дверь, толкнув кошку у порога, и тихо вышел в сени. Густой торжествующий храп доносился из всех углов дома. Глинка перешел двор и оказался за калиткой, на широкой, исчерченной тенями улице. Подсолнухи, достигая своими головками его плеча, закрывали перед ним соседние дома. Глинка оглядывался в тщетной надежде отыскать хату Вересая или хотя бы дорогу, ведущую в кобзарный гурт, — как называлось здесь это пристанище слепцов-кобзарей. Ему было необходимо видеть сейчас Остапа, но еще неотложнее — найти в каком-нибудь панском доме фортепиано... Звуки владели им, и воображение рисовало шествие крокосмейстеров, однажды виденное им в Мосевке у «вольтерьянки» Волховской. Девушки впереди несли на плечах пустую бочку с намалеванным на днище свиноподобным лицом какого-то усатого пана. Бочку несли топить в реке, несли легко и небрежно, точно с поля пшеничный сноп, перебросив на грудь косы и чуть откинувшись назад, а сам пан, признав себя в этом изображении, бежал сзади...

Девушки были красивы, и в красоте их не было ни понурой мягкости движений, ни пытливой робости, с которой глядят крестьянки в Новоспасском. Они шли, дочери запорожцев, впоенные волей, — нет, мечтою о воле, — поправлял себя Глинка, но какая же властная, зовущая к действию эта мечта! Не такой ли должна быть музыка? И столько презрения к панству тайла в себе невинная их потеха, столько яркого, орлиного,

как думалось Глинке, веселья было в этом шествии, в хмурых улыбках крокосмейстеров, одетых запорожцами, с кобзами в руках. Песню девушек хотелось уже спеть ему самому. И Глинка, усевшись в подсолнухах, мысленно пел ее вместе с ними, а потом, вернувшись во двор попа, в раздражении бродил возле пристроек, готовый, как бывало в детстве, излить свою тоску по звукам, хотя бы на медном поварском котле, может быть, для того, чтобы сейчас же бросить его и уйти... К счастью, ему оказался готовым служить старенький клавесин, похожий на обычный небольшой и плоский столик. Глинка нашел его среди старой мебели, в пыли, тут же на подоконнике обнаружил при свете луны несколько гусиных перьев и ржавый нож, заточил им перо, достал из кармана бумагу и, забыв обо всем, приступил к делу.

Он сочинял песню девушек, не думая, куда ее вставить, сочинял «впрок» и видел перед собой стремительное в разлете бровей, яркое девичье лицо, а на днище бочки лицо пана, вдруг напомнившее... Тарновского. Сходство было неожиданным и доставляло какое-то мстительное удовольствие, будто уничтожало написанную им и посвященную Тарновскому кантату.

— Ой, пан музыкант, и чего это вы ночью?.. — услышал Глинка голос и увидел подле себя статную служанку из поповского дома, в одной рубаше, с алыми крупными бусами на груди, должно быть из ягод шиповника.

А может быть, перед ним была она, отделившаяся от шествия крокосмейстеров, вызванная сюда его воображением?

Он захлопнул крышку клавесина, чуть прищемив палец, оглянулся — девушки не было. На деревьях выпукло темнела листва, влажная от росы, и откуда-то тянуло холодком.

Глинка вернулся в дом и заснул успокоенный.

Утром он быстро поднялся и, простившись с Остапом, велел везти себя в Ромны, на ярмарку. Он был энергичен, но недавнее чувство покоя уже не возвращалось к нему. В этом состоянии внезапного упадка сил он пустился с хлопчиками в долгий обратный путь, едва попрощавшись с Тарновским и чувствуя себя ви-

новатым в том, что вдруг потерял к нему расположение. Это состояние не покидало его всю дорогу до того дня, когда прибыли они в Петербург и в знаменном зале, возле кабинета царя, построил он своих малюток, сам став посредине в мундире со шпагой, держа в одной руке камертон, в другой — треугольную шляпу.

Хлопчики переболели в пути глазами, моргали, — пространства и пройденные города, казалось, состарили их, и, маленькие робкие старички, они стояли, следя за камертоном и за тем, как распахнутся двери и войдет царь, весь в золоте, в порфире. Они ждали, что произойдет что-то грозное и их тут же пошлют обратно.

Но царь вышел в старом сюртуке, без эполет, ничем не приметный, — это еще более пугало, — и, забавляясь, воскликнул, обращаясь к Глинке:

— Где ты их подобрал, под рост себе?

Хлопчики, не поняв, над ними или над Глинкой смеется царь, оступело пучили глаза, тянулись и несказанно обрадовались, когда он, экзаменуя их, первый затянул «Спаси, господи, люди твоя».

Они бодро подхватили, как бы вынося куда-то наверх вместе с молитвой свои чаяния и надежды, сбрасывая груз неотвратимых, перешедших к ним с детских лет бедствий.

А в это время на пути в Качановку рослый путник, в бакенах, одетый как семинарист, с узелком под мышкой, остановил Остапа Вересая:

— Дядя Остап, здоровы ли? То я — Тарас. Или не помните?

— Тарас? — проглотив слезу, а с ней и дорожную пыль, зашептал старик, быстро схватив его руку. — Да неужто из Петербурга?

— Оттуда, дядя Остап. А верно ли, что Глинка у нас был в Качановке?

— Был, Тарасе, то верно, что был... Пролетел, как птаха, и скрылся, но голос его помню. Друг он наш, брат, одно с ним дело творим, не так ли, хлопче?

И, остановившись, долго махал рукой, показывая, где он ходил с Глинкой, словно ловил ветер, поднявшийся откуда-то из беспредельности.

СВЕРШЕНИЯ И НЕУДАЧИ



О, если бы могли светочи мира обойтись без домашнего очага, сколько великих произведений не потонуло бы в домашнем омуте! Но увы, и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходимы.

Шевченко

1

Мария Петровна сказала, явно напрашиваясь на подарки, извинения и, главным образом, послабления в ее скованной приличиями жизни... не то жены, не то вдовицы:

— Хоть бы одно ласковое письмо от вас. Что могут подумать соседи? Да и зачем волновать меня? Если вам так хорошо в Малороссии, бог с вами, но вы совсем забыли, что женаты, что у вас семья!..

Теща не преминула выразить свою досаду, спросив:

— На малороссийских ярмарках вам не приходилось бывать?

— Бывал.

— Ну вот, и хотя бы цветной полушалок догадались мне привезти.

— А правда ведь! — сказал, покаянно вздохнув, Глинка.

Но дочь тут же вмешалась в разговор:

— Мама, разве вы не знаете Мишеля? Что ему до нас? Из меня он хочет сделать монахиню, из вас — добрую прислужницу в доме.

Он готов был повиниться в своей забывчивости. Конечно, полушалока следовало привезти, тем более: «дорог не подарок, дорога забота». Глинка сидел за столом в столовой в домашнем халате на беличьем меху, мелкими глотками, церемонно пил чай и спрашивал себя: действительно ли он находится дома и эти две женщины, сидящие с ним, пожизненно дарованы ему судьбой для того, чтобы взыскивать с него и наставлять уму? Мария Петровна отвертывалась, чтобы скрыть слезу, дрожавшую на ее напудренной щеке, а он не верил ни ей, ни слезам. Но тем не менее не мог не признать ее правоту. Он оглядывал комнату и, казалось, не узнавал недавно купленную обстановку: легкий красного дерева буфет, выступающий из угла на фоне розовых штофных обоев, турецкую тахту, заваленную пуховичками, — не разностильно ли? Впрочем, в ее вкусе. Цветы на подоконниках закрывали от глаз неприятный, булыжником вымощенный двор, по которому бездомно слонялось утреннее солнце, тонкий запах гелиотропа был разлит в комнате. Искоса поглядывая, Глинка находил, что жена красива, даже мила в своей обиде, но в пухлости ее капризного, с чуть вздернутой губой, лица, в покатоности оголенных плеч таится что-то злое и безвольное. Хотя стоит ее оскорбить, и она обретает волю. А оскорбить можно не только невниманием, нет, она принимает как оскорбление отсутствие своего выезда... Четверка лошадей и новая карета давно уже предоставлены ей, но случилась беда: одна из пристяжных пала. Михаил Иванович, узнав об этом по приезде, сказал:

— Обойдемся...

Мария Петровна вспыхнула:

— Разве я купчиха, чтобы ездить на паре?

Но больше всего ее оскорбляет, что в доме нет денег. А между тем почти все друзья Михаила Ивановича богаты!

— Это неприлично! Кроме того, вы можете этим отшатнуть их от себя. Дворянин, предпочевший музыку приличной должности и нуждающийся в деньгах дольше двух месяцев, уже обрекает себя на сострадание. Но вы же не хотите, я полагаю, чтобы жалели не только вас, но и меня, — я ведь ничем не виновата, поверив вашей любви ко мне!

— Поверив любви? — переспросил он.

— Конечно! Разве может быть, чтобы любящий человек не поберег любимую женщину? Раньше вы думали не только о музыке!..

Он промолчал. Конечно, женившись, он сам породил в ней эту тягу к достатку. Тем более, она никогда не жила богато и, разумеется, не собиралась с ним жить в бедности! «Нет, отказать во всем, не только в лошадях, в... квартире, уйти самому!» — вспыхнуло и тут же погасло мстительное желание.

Оберегая себя от спора с ней и от объяснений с ее матерью, он сказал:

— Мария Петровна, деньги будут, уверяю вас.

Разговор о деньгах и лошадях был вчера, сегодня его щадят, к этому не возвращаются. Но, конечно, помнят!

Мария Петровна, переглянувшись с матерью, сообщила:

— Мне известно, что в обществе не сочли грехом, если бы вы захотели издать сборник своих романсов. За него неплохо заплатили бы!

«В каком это обществе? — хотелось ему спросить. — И кто эти благодетели, думающие за него?» Ну что ж, мысль о сборнике приходила и ему, хотя продавать свои ноты издателю не хотелось бы... Пересилив раздражение, он ответил:

— Матушка присылает нам не так мало денег. Хватит ли, однако, если я издам этот сборник?

— На первый случай хватит. Поправить положение! А там, может быть, поможет государь! — вступилась в разговор теща. — Что делать, если вы все-таки не Моцарт, милый мой, и к тому же сколько времени проводите праздно!

И она туда же! Конечно, он мог бы поправить положение, написав что-нибудь для хора... И говорил же

Пушкин: «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Только не из кажущегося ли бездействия его родится сам вымысел «Руслана»? Не путешествия ли и случайные встречи с людьми толкают к работе, вызывают потребность в одиночестве? Трудно, однако, сообразовать «вольность» своего поведения с требованиями Марии Петровны и ее матери.

— Хорошо, — сухо согласился он. — Я займусь изданием романсов.

— А до того, как сборник будет издан, нужно уже сейчас кое-что сделать! — обрадовалась Мария Петровна. — Показать, что в доме у нас весело и благополучно. Да, Мишель, милый, обязательно!

Она подошла к нему, держа чашку в руке, вся в белом, с белой розой на груди, и, заглядывая ему в глаза, просила:

— Раут. Воскресный раут. Сорок гостей. Я уже решила, кого надо пригласить. А деньги? Деньги пока даст один человек, не маклер, нет, и под небольшие проценты.

— Вполне приличный человек! — подтвердила теща, оживившись.

— Где же такой? — рассеянно поинтересовался Глинка.

— Он здесь. В людской! — торопливо и виновато ответила жена. — Я пригласила его. Позвать?

— Зовите! — съежился Михаил Иванович, зябко кутаясь в халат и глядя в сторону.

Он поднял глаза, когда перед ним предстал рослый детина в плисовых штанах и розовой косоворотке, расстегнутой у ворота. Лицо у детины было шальное, доброе и столь беспричинно веселое, что Михаил Иванович невольно улыбнулся. Одалживатель этот скорее походил на ярыжку, чем на маклера, вымогателя процентов.

— Порфирий Яблочкин, театрал, — представился незнакомец.

— Театрал? — поднял брови Глинка.

— Так точно. Ссужаю артистов, певцов, сам пою... Да вы не того, не стесняйтесь меня. Мне Мария Петровна говорила. Готов ссудить...

— Подо что же?

— Под... царя. Чего вам беспокоиться...
— Как это, под царя? — изумился Глинка.
— Да разве царь допустит, чтобы его капельмейстер у нас под сапогом, прости господи, был. Вы не отдадите — он отдаст.

— Вот что! А если бы без царя?
— Можно и под песни, Михаил Иванович...
— Это лучше. А если песня не удастся?
— Не в том вы чине. Смеяться изволите.
— А откуда такой богатый? Что сам делаешь? — заинтересовался Глинка.

— Купецкий сын я, — сокрушенно сказал детина. — Дело мое, надо считать, в будущем. А пока батюшка в деньгах на доброе дело не отказывает. Запишет себе в тетрадь, спросит: «Артист, не пьет?» Перекрестится и выдаст деньги. Расписку я пишу. Я и остаюсь в ответе.

— Так, ну что ж. Буду должен, стало быть, вашему отцу пятьсот ассигнациями под... песни. На год, что ли? Согласен?

На том и сошлись. Посетитель удалился, испросив разрешение спеть что-нибудь Михаилу Ивановичу на досуге. Мария Петровна, получив деньги, ушла к себе. Глинка оделся и направился в капеллу. Идя по улице с большой папкой нот под мышкой, в глубокой задумчивости, увидел он, как четверка лихо везла Марию Петровну куда-то к Лазаревской церкви, на Невский. «Заняла четвертого конька!» — безразлично мелькнуло в голове. Мария Петровна заметно важничала и странно походила на ту самую купчиху, которой больше всего боялась казаться. Она не узнала его, и Глинка, чуть согнувшись, убыстрил шаг.

...В здании капеллы прохладный сумрак, напоенный запахами сирени. Новый директор капеллы Алексей Федорович Львов, занявший здесь после смерти отца его должность, считает, что сирень «больше других растений отвечает благолепию церковного пения». Сирень давно отцвела, но здесь в кадках один за другим зацветают поздние ее сорта. В музыкальных классах, недавно открытых по настоянию Глинки для певчих, недобрая тишина, изредка прерываемая чьими-то рыданиями. Глинка в длинном «учительском» сюртуке,

направляясь с мелком к большой классной доске, остановился:

— Мальчики, кто из вас плачет?

Певчие в черных, похожих на балахоны пелеринах ниже склонились под партами. Новички, знакомцы капельмейстера по Качановке, с ним прибывшие сюда, первые отзываются:

— Голуха ревет, Михаил Иванович, не сдержит себя...

— Встань, Голуха. Что случилось с тобой?

— Списан я, Михаил Иванович, уволен из капеллы за «спадение голоса».

Белобрысый, похожий в черном одеянии своем на монашка, он не смеет поднять глаз.

«Мутация голоса, — догадывается Глинка. — Алексей Федорович не церемонится в таких случаях. Но ведь мутация проходит с возрастом».

— Куда мне теперь, Михаил Иванович? Звонарем бы пошел, да разве возьмут в столице!

— Почему же именно звонарем? — сдерживая невольную улыбку, спрашивает капельмейстер.

— Все-таки, Михаил Иванович, при колоколах легче... Та же музыка, только владеть ею надо! Куда же иначе? В лакеи, к барину? Безродный я, нет у меня никого.

Глинке вспоминается колокольный звон в Новоспаском, усыпленная колоколами деревня в лесистом Смоленском крае.

— Иди сюда! Ты ведь вершинник, пой по верхней строке!

Глинка тут же быстро рисует на доске ноты, желая испытать Голуху. Певчие, исполняющие верхнюю строку хоровой партитуры, именуются «вершинниками», среднюю строку — «путниками» и далее — «нижниками».

Голуха пробует петь, но голос его ломается, дребезжит.

— Это пройдет, господин капельмейстер! — смело заявляет его товарищ по парте. — Такое и со мной было... года два назад. В хоре не заметили, а от других скрыл, запоют, а я безмолвствую.

— Скрыл? — в раздумье переспрашивает Глинка. —

Вот что, Голуха, будешь пока у меня жить, со слугами. Вечером домой ко мне придешь. А там посмотрим. С господином директором капеллы сам о тебе переговорю.

После урока он дважды заговаривал со Львовым о певчем, но Алексей Федорович лишь досадливо отмахивался:

— Дался вам этот Голуха! Более важные вещи хочу вам сообщить, милостивый мой государь.

Медлительный, чинный, с гвардейской выправкой, он подводит Михаила Ивановича к креслу, садится напротив и назидательно говорит:

— Отец мой благоволил к вам, и я склоняюсь перед вашим дарованием. Но тем паче не могу скрыть тревоги: не смею винить в ветрености, но в службу свою привносите иноязычный и светский образ поведения. Капелла блюдет церковный обычай во всем. С давних пор, со времени Ивана Васильевича и по наши дни, цели ее в общем неизменны, хотя и разрешалось нашим хористам участвовать в театральных труппах и выступать на сцене. Знаю, что по смелости вкуса «Полную школу пения» Бортнянского называете вы устаревшей и самого музыкального педагога нашего и композитора — «Сахаром Медовичем Патокиным», все знаю и силюсь простить, ибо суждения ваши основаны на своем, не менее успешном музыкальном опыте, но одно дело — композиторское ваше направление, другое — учительская деятельность.

И, наклонив ниже большую лысеющую голову, замедляет речь:

— Государь император был недоволен пением, исполненным при утреннем служении в Аничковом дворце. Государь выразил свое неудовольствие мне, пощадив вас. Он сказал, что голоса звучны и хорошо поставлены, но нет того, что вы, Михаил Иванович, зря изволите называть «аффектацией», нет страсти к молитве, и поют опять-таки на свой лад!

Он переживает, наблюдая, как лицо Глинки становится все более скучающе безразличным, и лицемерно ласково гладит его руку:

— Вы скажете, что требуется реформация пения. Я сам реформатор, Михаил Иванович, считаю, как вы

знаете, что церковный напев требует не симметричного ритма, сам играю, и у графа Виельгорского мы не раз встречались с вами в квартете, но не готовите ли вы, сударь мой, не церковных певчих, а оперных исполнителей? И как мирволите им! Ох, Михаил Иванович!.. Сейчас эта ваша забота о певчем, потерявшем голос! Что он, особенно даровит, он актер? Ныне ведь выкупают из крепостной неволи все более живописцев... Но живописец — одиночка, а хорист один, сам по себе, не столь ценен! Не так ли? Он только в хоре становится, как бы вам сказать, человеком на людях, и заменить его всегда легко! Если уж не подлинный талант.

— Пожалуй, создашь этак оркестр? — с горечью оборвал его Глинка. — Что же будет за хор, если каждого не брать в одиночку?

— Ну, может быть, я преувеличил, отступил от истины, но вы поняли меня, Михаил Иванович, одиночка — один в поле воин, актер, «особая судьба»... Но певчий — тот же солдат в строю!

Он подробно излагает свой взгляд на певчих. Глинка помнит, что Алексей Федорович был инженером в военных поселениях Аракчеева и, должно быть, оттуда принес эти воззрения. Несколько лет назад случилось Михаилу Ивановичу поспорить с ним по поводу сочиненного им гимна «Боже, царя храни». Михаил Иванович указывал на «отсутствие подлинно-русского элемента в нем», имея в виду дворцовый характер, пруссаческую выпренность мелодии и хоральный стиль ее. Но Львов, музыкант, бывший адъютантом Бенкендорфа, усмотрел в этом отнюдь не только расхождение в музыкальных оценках... К тому же не обошлось без толков о том, что «Слався» в опере Глинки — подлинный гимн народу, а сочиненный Львовым — приношение монарху, не больше, и он, Глинка, одной своей оперой уже «глубоко наказал» Львова. Но надо ли было спорить с царедворцем? Впрочем, не только музыкантом был Алексей Федорович Львов. В Фалле, в поместье графа Бенкендорфа, был им сооружен чугунный мост, о котором император сказал: «Чудесно! Это Львов перекинул свой смычок!» И с тех пор инженерская слава едва не заслонила его музыкантскую славу.

Глинке становится тягостно, и сразу же весь раз-

говор с молодым Львовым кажется деланным, вызванным давней и скрытой неприязнью.

— Благодарю вас! — с отчужденной вежливостью и как-то очень торопливо бормочет Глинка. — Благодарю вас за откровенность... Скажите, могу я хориста Голуху числить пока в хоре, а держать у себя на дому, на излечении?

Ничего иного он не мог придумать в этот момент в защиту Голухи.

— Ну бог с вами! Что нам толковать об этом крепостном? — с готовностью соглашается Львов, вздохнув, и смотрит на Глинку с оттенком сострадательного снисхождения. — Бог с вами! — повторяет он и, еще раз вздохнув, выходит вместе с Глинкой из комнаты строгим и тихим шагом.

Прощаясь на лестнице, говорит светски-радушно и церемонно, словно провожает гостя в собственном доме:

— Моя карета довезет вас.

Карета похожа на черный большой склеп, в ней пахнет сиренью и ладаном. Оконца ее завешены шторками. Глинка садится, кладет в ноги папку с нотами, лошади трогают, и так, в темноте, не решаясь почему-то отдернуть шторы, он подъезжает к дому.

Солнце спит, и улица кажется необычайно светлой после каретного мрака. Кое-где между камней пробивается ромашка и, не замеченная Глинкой раньше, теперь бросается в глаза, вызывая в памяти спокойные сельские тропы. В этой стороне города еще веет чем-то деревенским. Глинка, жмурясь от света, входит в квартиру. Дверь открыта, и в доме тот хлопотливый час, когда до хозяина никому нет дела: вожат полы, моют окна и меняют занавеси — белые на желтые, — в этом свой, неведомый Михаилу Ивановичу смысл — должно быть, приближается раут, столь усадительный для Марии Петровны. Никем не остановленный, Глинка успел пройти к себе в кабинет и отсюда, точно все еще из темноты на свет, несколько секунд глядел на полную домовитого счастья и будто вновь незнакомую фигуру жены. Теперь она вся была увешана какими-то полотенцами, носилась по комнатам с распушенными воло-

сами, с чубуком во рту, и Михаил Иванович в тоске слушал зычный и грубый ее голос:

— А ты бы отказала ему. Мало ли что барин прикажет! Хорошо один, а если несколько этих балбесов поселятся на кухне?

«О Голухе с кухаркой говорит», — догадался он и притворил дверь. Потом по привычке положил на место папку с нотами и оглядел кабинет в поисках укромного уголка, куда можно было бы скрыться от домашних. Он помнил, что скоро прибудет из Украины Гулак-Артемовский, выехавший позже, и тоже остановится здесь, но мысленно отодвигал от себя предстоящие ему хлопоты по его устройству. Усталость сковывала мысль. Он сел на диван. Только бы не видеть Марии Петровны. Пробыть бы на Украине по крайней мере до зимы. Зимой дома всегда как-то спокойнее. Сейчас его еще более отчуждала от дома эта затеянная Марией Петровной уборка.

Закатное солнце прорывалось сквозь ненавистные Глинке желтые шторы, повешенные Марией Петровной, и достигало дивана. Глинка глубже отодвинулся в угол, как бы прячась от солнечного луча, и зарылся лицом в подушку.

2

О Валериане Федоровиче Ширкове земляки толковали разное: будто по талантам своим этот человек может далеко пойти, но пригвожден к месту тяжелым роком, преступлением отца, сосланного в Тобольск за убийство своей любовницы, дочери соседа по поместью. Но будто невинен отец Валериана Федоровича, зря засудили его присяжные, и не без помощи писателя Федора Глинки, составившего обличительное заявление по просьбе матери убитой. И теперь делом своей жизни считает младший Ширков оправдать отца в общественном мнении.

Только трудно это: не было в Курске, где проживали Ширковы, помещика более своевольного и вольнодумного, чем отец Валериана Федоровича. Был памятен случай, когда прокатил он на козлах губернатора, осмеяв его на всю губернию. Пригласил подсесть к ку-

черу, испытать легкость новой коляски, и велел тому гнать лошадей. Не чтил никого в губернии, кроме нескольких учителей, и держал в своем приходе школу, в которой сам читал вслух ученикам отрывки из Радищева, и неизменно возглашал: «На роду вашем быть вам людьми свободными, ибо крепостное право падет, а поистине свободным человеком может быть только грамотный».

По отзыву предводителя дворянства, был он «образованнейший оригинал», богатый, живший в свое удовольствие, большой насмешник, крестьян держал в руках, но за нищету их взыскивал с управителя так же, как и за лихоимство. Передавали, будто писал он «Ответ Сен-Симону», не соглашаясь с его ученьем, но вместе с тем глубоко заинтересованный им, а попав в ссылку, отнюдь не упал духом и в Тобольске продолжал жить независимо и широко. Жена снабжала его всем необходимым, и каждый год из курского поместья отправлялись в Тобольск обозы, даже дворовые перекачывали на время в Сибирь по месту ссылки их барина.

Впрочем, обо всем этом, о жизни Ширковых, написал Валериан Федорович стихотворную быль, назвав ее «Загробным поэтическим голосом за невинно-осужденного отца». Именно этим задумал оградить память его от клеветы. Сила поэтического слова должна быть более убедительна, по его мнению, чем печатанье новых документов и скучное повествование о кознях судей, и о совершившемся достойнее написать в стихах, чем в официальных жалобах.

К концу тридцатых годов Валериан Федорович был подполковником генерального штаба и владел поместьем в Волчанском уезде Харьковской губернии. В Курске он бывал редко, тамошнее поместье Ширковых захирело и было продано, но события давних лет были памятны старожилам. И за Валерианом Федоровичем следили... Он жил обособленно, занимался живописью, историей, писал стихи, хорошо играл, — не столь уж частые отличия военного человека.

Его познакомили с Глинкой в Петербурге, накануне отъезда Михаила Ивановича в Малороссию. Нестор Кукольник, слышавший о Ширкове от других, поинтересовался:

— Как он тебе показался? Говорят, этот «просвещенный дилетант» владеет недурным вкусом?

— Говорят другое, — откликнулся Глинка, — сейчас очень заинтересовавшее меня: будто он может написать либретто для «Руслана» гораздо лучше твоего Бахтурина...

«Твоего» он сказал потому, что на вечере у Кукольника, при его участии, поэт Константин Бахтурин вдруг приступил от разговоров к делу и, к удивлению Глинки, довольно живо написал план оперы.

— Но все же ты связался с Ширковым? — допытывался Кукольник.

— Он написал по моей просьбе каватину Гориславы, — ответил Глинка, — и написал, по-моему, отлично. Этим обязал, сказать правду, удивил своим проникновением в замысел. Я оставил то, над чем работал раньше, принялся за каватины Людмилы и Гориславы и не знаю, как быть с господином Бахтуриным!

— Для композитора — либретто всегда лишь подспорье, хотя и необходимое, ты ведь так, кажется, думал? — усмехнулся Кукольник. — А теперь у тебя так много стало... либреттистов!

— Вместо одного Пушкина! — с грустью сказал Глинка. — Притом и Бахтурин вместо Пушкина! Совсем неожиданно! Но знаешь, — тут же предупредил он, — неизвестный Ширков — поэт, и больше, чем Бахтурин, для которого, если помнишь, при постановке его «Молдаванской цыганки» писал я арию с хором.

Сказав так, он задумался: «Ох и много же у «Руслана» опекунов и помощников! Нельзя и Маркевича снять со счета. А сколь многим обязан «Руслан» художнику Айвазовскому, сообщившему как-то на рауте у Кукольника три татарских напева. И даже чухонцу-ямщику, возившему их с Дельвигом и друзьями к водопаду, на Иматру и мурлыкавшему себе под нос всю дорогу какой-то финский народный мотив. Не пестро ли? Нет, кажется, едино!»

— Человек странный этот Ширков! — лениво заметил Кукольник, считавший и себя больше остальных причастным к созданию либретто. — Но если он тебе так по душе — молчу!

— Чем же странный?

— Провинциал! — поморщился Кукольник. — Во вкусах, в повадках и в этом стремлении... обелить отца, в самом неистовстве духа! Впрочем, живет себе в Харькове, в столицу не стремится! Здесь бы другие заботы увлекли. Что значительно в Харькове, мелко в Петербурге!

«А ты? Не из провинции ли сюда явился с первой пробой пера?» — хотел было остановить его Глинка. Он знал о всех подробностях устройства Кукольника в Петербурге и усердствовании его перед двором. Не прошлое столь быстро забывается удачниками. К тому же, каким бы ни был Кукольник, Михаил Иванович никогда не мог его упрекнуть в неискренности.

Глинка оборвал этот случайный разговор о Ширкове и как бы в отместку Кукольнику с еще большей горячностью признался в письме к Валериану Федоровичу в самом сердечном к нему расположении:

«... Друг мой бесценный, Валериан Федорович, трудно мне без тебя наедине со своими мыслями. Бедный «Руслан» наш все более ввергает в сомнения, а больше всего мешает работе рассеянность и, правду сказать, тоска сердца. Так долго не намеревался писать эту оперу. Зато будет в ней самое лучшее, чем живем с тобой, чем красим наши помыслы, чем оживляем минувшее... Я все больше убеждаюсь, как понят тобой замысел, как удаются тебе, печальнику дальнему, сцены «Руслана». Когда я писал «Ивана Сусанина», мне мешал театр. Не знаю, многое ли помешает теперь, но, думая о тебе и ожидая с нетерпением твоих присылок, уже томлюсь надеждами».

Он не досказал, что только в содружестве с Ширковым не родится в нем сопротивление слову и, приняв с самого начала первородство музыки, ее власть над текстом, он тем не менее находит в стихах Ширкова отвечающее его композиторской интонации единство поэтической и музыкальной гармонии. Как не походило это на вынужденное «мучительство» с Розеном!

Валериан Федорович не часто приезжал в столицу и далек был от литературных и музыкальных кругов. Но у себя, в харьковском поместье, хорошо виделись ему, словно соседствовали с ним, образы «Руслана», и мир старины предстал в незатемненной книжностью

воображении. Жена его, Александра Григорьевна, отлично разыгрывала на фортепиано присылаемые Глинкой партитуры, едва лишь ящики привезут их с почтой в больших матерчатых конвертах. И в тихом доме их не было, пожалуй, большей радости, чем та, которую приносили с собой эти дни почтовых наездов, когда отправив в столицу очередную кипу листов, ждал Валериан Федорович, не сегодня ли придет Глинка «продолжение». И, заслышав на дороге звон колокольчиков, говорил:

— Кажется, «Руслана» везут!

3

Иван Андреевич ни в чем не изменяет своим навыкам и привычкам. И, что самое странное, ведет себя так, будто ничто не меняется в самой жизни, и он — ваштатный житель столицы, невидный и неслышный, часто уезжающий на Смоленщину, — всегда в курсе всех событий и в центре всеобщего внимания. И кажется, Петербург на самом деле не может обойтись без Ивана Андреевича, без канареек в его доме, трех девиц по сей день на выданье и успокоительной болтовни обо всем, что слезалось в его памяти и время от времени просится наружу.

— Ты, кажется, уходишь от натуральности, Мишель? — говорит Иван Андреевич, проснувшись в своем кресле и увидя возле себя племянника. Глинка не был в его доме около года, но дядюшка беседует с ним так, словно продолжает какой-то недавно оборванный разговор. — О твоём «Руслане» толкуют на разные лады, но все сходятся на том, что не пристало тебе заниматься сказками. Не натуральнее ли сочинить светскую оперу из жизни хорошего общества и, знаешь, без страданий, без убийств. Публика устала, и неужто нельзя прививать добрые чувства этак, не будоража страстей? Чувство времени должно сочетаться с чувством изящного. Ведь надо же попросту умно жить, Мишель!

Михаил Иванович не прерывает его, уважая дядюшкину потребность выговориться, отвести душу. Было бы опрометчиво сразу же вступить в спор.

— Умно жить — значит жить без излишней требовательности и этой надоевшей возни с неразрешимыми вопросами! — продолжает Иван Андреевич. — Ты пойми, до чего доходит дело: заниматься одним своим хозяйством, хранить покой своей семьи стало чем-то предосудительным благодаря господину Гоголю. А почитаешь Лермонтова, так — хочешь не хочешь — иди в вольтерьянцы. Возвышать «жалкий род людской», по нынешним временам, очень плохой тон, а вот ругать его — признак образованности! А если я хочу жить, как птаха, как вот тот самый снегирь, — он показывает мизинцем на клетку, — тогда что делать прикажешь?

— Ну и живите! — улыбается Михаил Иванович. — Право, и я стремлюсь подчас к тому же.

— Ты «к тому же»? — укоризненно качает головой дядюшка. — Ты, Мишель, хоть и «птичка-невеличка», и собой с наперсток, страстям отдан пожизненно, но главная в тебе струна — это все-таки мажор, наступление! Романсы твои усладительны. Это правда, но и они... вызывают, взыскуют совершенства жизни. Все Пушкин, все он. С него пошло, раньше иными мотивами жили, особо в прошлом веке.

Дядюшку слушать становится интересно. Этакое безгрешное и наивное откровение! Глинка, сидя на крохотной, обитой бархатом скамеечке, на которую Иван Андреевич обычно кладет ноги, смотрит на него с восторгом, отнюдь при этом не со всем соглашаясь. К тому же дядюшке многое виднее со стороны; в его отрывистых, лихорадочных суждениях отражается действительное состояние умов, как порою в рассказах слуги правда о барине. Вот и о Пушкине... хорошо, если дядюшка прав. Он, Глинка, побаивается обратного, слыша иногда от Кукольника, будто:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел.
И стих его не звучен,
И гений охладел...

Последние годы после расправы над «секретными», так душно в столичном обществе, так тревожно и пусто на душе у многих! Дядюшка Федор Николаевич шлет из Петрозаводска примиренные с жизнью, покаянные

письма... Но Федор Николаевич, собственно, не так уж и виновен перед государем, он ратовал за... престол для Елизаветы, а не за свержение монархии, другие же, к примеру Кюхля, и в Сибири продолжают поносить государственный строй.

— А каковы ныне хоры? — спрашивает Иван Андреевич, излив свою досаду на время. — Говорят, на Басманной, в церкви Никиты Мученика, отлично поют колокольниковские певчие? Неужели там не был?

— А еще где хорошо поют? — любопытствует Глинка.

— В Москве, у Сандунова, — с важностью сообщает дядюшка. — Обязательно туда поезжай. Народное пенье чудесно не только в Малороссии, и не капелле, думаю, состязаться с ним. Истинное пенье не в дворцовых палатах, а на травушке. Когда приезжаю к себе в Лучесы, всегда иду в поле, сажусь возле косцов поодаль и слушаю. И вот ведь, объясни мне, царский капельмейстер, отчего в таких немудрящих песнях такая мудрость человеческого чувства и вместе с тем детски чистая душа слышна? А мы вот мудрим, умствуем!..

Он опять переводил разговор на другое, на тщету вечных вопросов, на уход от натуральности... Михаил Иванович уже скучающе поглядывал на него и ждал — дядюшка заговорит о сельских идилиях, о Руссо. Но Иван Андреевич вдруг озабоченно повернулся к нему всем сморщенным, в быстрых перебегающих морщинах лицом и спросил:

— Слышал я, дома у тебя плохо? Правда ли? Не дают тебе без идей жить?

— С идеями не дают, вернее! — удивился Глинка неожиданному ходу его мыслей, не поняв, хочет ли дядюшка сказать: «что пользы от идей?», или понимает под идеями необходимость сочинять, издавать романы, зарабатывать деньги?

— Знаешь что? — предложил дядюшка. — Едем сейчас к тебе. Засветло! У тебя отужинаем, без приглашения, так-то лучше, по-родственному. Пора, голубчик, знать мне, что за птица Мария Петровна и почему горюет о тебе матушка твоя, Евгения Андреевна.

— А матушка горюет? — печально переспросил Михаил Иванович.

Но дядюшка, не пожелав ответить, уже поднялся с кресла и дробным, мелким шажком поспешил в спальню — переодеваться.

Вскоре наемная коляска везет их по булыжным ухабистым улицам. Дядюшка то и дело раскланивается со встречными в тех случаях, когда из окна кареты высывается чья-нибудь знакомая ему кудлатая в шляпе, или без шляпы, или лысая голова. Михаила Ивановича потешает это множество неожиданных встреч. Почему-то, когда он сам куда-нибудь едет, никто из знакомых не встречается ему на пути.

— Кто это? — спрашивает он Ивана Андреевича, заметив одутловатого старика в цилиндре, недвижно сидящего в глубине коляски с полуоткрытым верхом. Старик кивнул дядюшке и закрыл глаза.

— Барон Ференц. Он тяжело болен, и гадалки пророчили ему скорую смерть, у себя дома, на постели. Впрочем, где же еще, казалось бы, умирать человеку? Но барон теперь почти не бывает дома и даже спит в коляске. Его возят по городу ночью и днем... На Охте и в Гавани можно встретить барона. Вот что значит, голубчик, боязнь смерти!

Коляска Ференца повернула за угол и стала. Кто-то преградил путь. На Татарский остров, где были боины, татары вели на поводу сивых голодных коней. В крытом возке, с прибитой к кожуху иконкой, куда-то ехала бледнолицая статная монахиня. Возок, татары с лошадами и карета Ивана Андреевича оказались прижатыми в угол. Их обгонял Дубельт в громадной зеленой коляске, запряженной четверкой крупных артиллерийских коней. Монашка перекрестилась, и татары, словно получив от нее напутствие, деловито зашагали дальше. Сбитенщик в ослепительно белом фартуке вдруг подбежал откуда-то с деревянной кадушкой и начал угодливо кланяться седокам. Кучер с высоты козел легко задел его кнутом, и сбитенщик исчез.

За поворотом виднелся дом, где жил Глинка. Немного позже хозяин с гостем одинаково церемонно сидели в маленькой столовой. Мария Петровна разливала чай, потчевала крендельками и сухариками, томно говорила Ивану Андреевичу:

— Не спит, не ест, одна музыка в голове. Ребенок!

Она догадывалась, зачем появился дядюшка в доме, и хотела первая начать разговор о муже.

Но дядюшка помрачнел от этих ее снисходительно сказанных слов и, теряя привычный благодушно-иронический тон, сказал со смешной и сердитой важностью:

— Но он — Глинка. Ельнинский Глинка. Первый русский композитор. Конечно, у него... музыка в голове!

Он отлично помнил в этот момент, что существуют Глинки-Земельки, Глинки — духовщинские и новоспасские, и все они чем-то да знамениты. А самым знаменитым будет его племянник из Ельни, той самой, которая гербом своим имеет три ели на белом фоне, которая героически сопротивлялась французам. Но что Марии Петровне до всего этого? И что за «вольность» разговора о муже? Какой скверный тон! Он добавил:

— Чем же, если не музыкой, жить Мишелю?

— Но ведь не одним делом живет человек? А семья, вечера во дворце, фейерверк на Неве, Гостиный двор...

Смущение делало ее откровенной и обиженной.

— Не одним делом, говорите? — поднял палец Иван Андреевич. — Одно у Мишеля дело — музыка, а когда он этим делом занят, за столом ли сидя, или когда в Гостином дворе перчатки ищет, — никому не ведомо. Он художник, и «среди людей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» — так сказал Пушкин. Скучен и рассеян, но «чуть божественный глагол до слуха чуткого коснется — душа поэта встрепетается...».

— Полноте, дядюшка! — взмолился Михаил Иванович.

Одинаково тягостно было слушать и жену и Ивана Андреевича, как бы забывших о его присутствии. К тому же как ни сердился дядюшка на Марию Петровну, а не мог себе отказать в удовольствии покрасоваться, лишний раз показать свою приверженность искусству.

— Бог с вами! — сказала Мария Петровна, обращаясь к гостю и мужу, кротко сложив на груди пухлые руки. — Какие только земные радости надолго соединят нас с Михаилом Ивановичем, — одно горе у нас, что таить? А соединит ли оно?

— Земные радости? Слышишь, Мишель? — повторил Иван Андреевич и подумал про себя: «Не так глупа, но слишком земна и даже не без пошлости!» — Но, Мария Петровна, иное горе благороднее радости, и не поймешь, бывает...

— Вот и я что-то не пойму вас! — перебила она. — По-моему, если мила я Михаилу Ивановичу и не хочет он меня сделать несчастной, — голос ее дрогнул, — пусть живет в своем доме, как все, и по людям не бегает... Вы ведь не знаете, Иван Андреевич, я вам, как родному: не соображу порой, на ком женат Михаил Иванович, на мне или на музыке?

Дядюшка молчал, весь сжавшись и поглядывая на Марию Петровну почти испуганно. Он не допил чай, отстранил недоеденный кренделек и норовил скорее уйти.

— Проводи меня, голубчик, пора мне, — шепнул он Михаилу Ивановичу.

Но еще час провели они в ничего не значащих разговорах о хозяйстве, столичных базарах и осенних ценах на битую птицу. «Индюшки ныне в цене, потому что с Украины не везут их более», — посетовала с завидной осведомленностью хозяйка дома. Наконец Иван Андреевич откланялся. В той же карете, сидя напротив племянника, он, передохнув, сказал с грустью:

— Теперь вижу, без идей тебе нельзя, во всяком случае в твоём доме. Иначе на самом деле ты, мал золотник, музицировать перестанешь. Но как же так? — тут же спохватился он. — Почему не взял себе с достатком и по уму?

И когда Михаил Иванович что-то невнятно возразил, продолжал:

— Жаль, я не знал. И как это матушка позволила тебе жениться? Ох, конечно, до Смоленска далеко. Почитай, другая страна. А ведь я мог бы Нину Аркадьевну Звягинцеву сосватать! Какая женщина! Да что, Поликсену Графову надо было с тобой познакомить. Певица и скромница!

Дядюшка был безутешен. Он перебирал в памяти всех девушек из хороших домов и все более озлоблялся на Марию Петровну.

— Ты ведь бываешь при дворе. Там фрейлина Персыпкина...

— Ну и что же?

— У нее дочь... Крестница покойного Афанасия Андреевича.

Глинка выжидательно молчал.

— Все больше убеждаюсь, что жениться надо на родственниках, — изрек наконец дядюшка. — Так повелось у Глинок. А ты прости, душа моя, жертвой своей неразборчивости стал и весь род унизил. Держал бы ее при себе, девицу Марию Петровну, если уж так понравилась, ну, откупил бы ей мезонин на Стрельне, а теперь она тебя держит. Ох, Мишель, легкость твоя равна твоей грусти, а в грусти и прелесть... Но что же делать будем, скажи? Конечно, — продолжал он, — женщина с расчетом всегда маркитантка в миру и всегда холодна да самоуверенна не в меру. Муж для нее что купчая крепость, и ум ее, обычный, светский, холодный ум — ни себя, ни людей не греет. Но ведь и бестолковых, рассеянных страданий и сантиментов, не приведи бог, сколько. Хвала русской женщине: умеет она любить безотчетно и жертвенно. Но российские умницы осмеют тебя, Мишель... Нет тебе дороги к женщине, они тебе нужны все, и каждая по-своему, ты же один и нужен им только, пока пишешь романсы. И как романс недопетый, так и любовь недовершенная только отзвук в воздухе, только тяжесть на сердце. Тебя любопытство да жадность к людям добрее к ним делают. А жадность эту иные превратно поймут, как беспутство, чего доброго, истолкуют! Ох, трудно с такими, как ты! Сестра Волконской из Неаполя в Нерчинск, говорят, прибыла, год в пути, каково? Вот сердце женщины! Такую бы женщину тебе, Мишель!..

Глинка не слушал.

Мимо них опять проехала, покачнувшись на ухабах, коляска барона Ференца. Кучер ошалело и тупо глядел с высоты козел и подстегивал дрожащих от усталости длинномордых и нескладных коней. Барон не показывался у окна.

— Агасфер, воочию Агасфер, — сказал дядюшка и почему-то перекрестился. — Плутает себе по городу, смерти бежит, на других смерть кличет.

На улицах в холодеющем сумраке робко зажигались редкие газовые фонари. В окнах домов то и дело вспыхивал неяркий свет свечей, и мягкие отблески его делали мостовую, натертую экипажными шинами, похожей на паркет. Дворничьи бляхи поблескивали в подворотнях, возле черных тумб, похожих на прикорнувших псов. Чуть слышный запах пережженных семечек и подсолнечного масла провожал карету. Михаил Иванович, высунувшись из кареты, смотрел на засыпающий город.

— Погоняй, братец, — сказал он кучеру. — Заверни быстрее к Неве.

Ему хотелось выбраться из тесноты переулков на простор площадей, на дышащий ночной свежестью невиский берег. Нева текла, бурно гонимая сюда морем. И впрямь: там было чудесно: на пустынном в этот час берегу ветер вздувал чепцы, ленты, кринолины модниц, прохаживающихся с кавалерами, а с реки, запруженной у берега десятками сенных барж, словно с полей, неся по набережной запах свежескошенных луговых трав.

Глинка попросил кучера обождать и, оставив в карете Ивана Андреевича, вышел.

— Вот тебе и державный град, — сказал он себе. — Камень кругом, а нет гнета. А все — Нева! Поклониться бы ей по-старинному.

Едва Михаил Иванович вернулся, проводив дядюшку, к нему приехали два старика, в которых он не без труда различил в темноте прихожей Кавоса и «синьора Калиныча».

— Перед вами «счастливый Кавос»! Принимаете ли, Михаил Иванович? — театрально сказал Катерино Альбертович, передавая своему слуге трость и шляпу.

Кавос был во всем белом — белое жабо, белая пижамная куртка, схваченная одной пуговицей под пышным, выпущенным на грудь, таким же белым бантом.

«Не слишком ли рискованная расфранченность для старика?» — невольно подумал Глинка, оглядывая не менее оригинальную рядом с ним, аккуратную фигурку слуги в сюртучке.

— Рад, очень рад! — вырвалось у Глинки. — Мне говорили, что вы собираетесь в Италию...

Он провел гостей в кабинет и, обрадованный их посещением, в замешательстве не находил, с чего начать разговор.

— Михаил Иванович, «Жизнь [за царя]» почти не идет ныне в театре. Почему так?

Кавос глядел ласково и испытующе.

— Да, редко идет! — подтвердил Глинка с удивившим Кавоса усталым безразличием. — Но новый сезон не начался, может быть, поставят.

— Вы, придворный капельмейстер, удостоенный ласки и внимания императора, так плохо знаете о своих собственных делах? — не то с досадой, не то с сочувствием спросил Кавос, забывая, что сам не в меньшей чести при дворе, особенно во мнении императрицы. И повернулся к «синьору Калинычу»: — Как ты считаешь, может быть, у господина Глинки нет хорошего импресарио? Бортнянский всегда был в славе, господин Львов всем доволен, а господин Глинка, который гораздо славнее десятерых, подобных им, ведет себя, как третьеразрядный музыкант!

Старик слуга, знавший все театральные новости, какие певцы приглашены на этот сезон в столицу и даже что думает всемогущий Гедеонов, помедлив, ответил:

— Барин не тот!...

И вдруг, поняв, что сказал что-то необдуманное, покраснел, заторопился:

— Сами изволите знать, Катерино Альбертович, лучшему певцу трудно подпевать в хоре, всегда он один петь норовит. Один петь, один жить, и все потому, что лучший, на других непохожий. А непохожему — тяжелее!

Но Глинка уже не слушал его объяснений.

— «Не тот барин», — повторял он весело и глядел на Кавоса, чем-то очень довольный.

— Так как же, Михаил Иванович? — пытался раззадорить его Кавос. — Ведь в самом деле странно, вы капельмейстер, знаменитость...

— Оставьте! — вдруг нервно выкрикнул Глинка, меняясь в лице и схватив Кавоса за руку. — Не надо, — перешел он на шепот, — помилуйте!...

Кавос в тревоге слушал, еще не понимая этих быстрых перемен в его настроении и не отнимая руки.

— Надоело! — выдохнул Глинка. — Не могу и не буду о себе хлопотать, музыку писать буду... И обид не имею. Поймите, не имею. Пусть себе как хотят... Себя выше ставлю. И уйду я оттуда, уйду из капеллы. — Голос его прерывался. — Что это, право, за жизнь, — обиды дома, обиды в обществе... Еще и вы будете на меня в обиде!..

Он сказал это почти беспомощно и как-то виновато улыбнулся.

— «Не тот барин», — докончил он. — Скажите лучше, Катерино Альбертович, когда в Италию едете?

— Не собираюсь, — резко ответил Кавос, встав и размеренно шагая по кабинету. — У меня три сына — два архитектора, русскую столицу строят, — зачем им Италия? Третий, как сами знаете, здешней итальянской оперы режиссер, а я?.. Я, вами наученный, сил ныне не наберусь, на новые успехи не отважусь. Подражатель я, Михаил Иванович, меломан, мои «Князь-невидимка» да «Илья-Богатырь» истинно русскую музыку мне заслонили. А теперь вы пришли! Хотите знать: в вашем лице за себя болею, за «Сусанина». Я русский итальянец — понимаете ли вы меня? А не итальянец в России. И хочу быть русским в музыке... Никто не скажет, что старый Кавос не честен. Поэтому, может быть, и в Италию не поеду, но и здесь, в России, не пишу больше. Кстати, не одного меня, вас в Италию зовут, — должности, деньги, слава, — все было бы! Но молчу, Михаил Иванович, молчу, не подумайте, что приехал туда звать. Приехал вас повидать и послушать. Не сыграете ли, Михаил Иванович, что-нибудь из нового?

Мария Петровна хотела пригласить их к ужину, недовольная в душе новым появлением гостей, должно быть таких же чужих ей, каким оказался Иван Андреевич, приоткрыла дверь и отпрянула... Глинка и Кавос сидели обнявшись, что-то шептали друг другу, а старик слуга растроганно кивал обоим им головой, все понимая, но не смея вымолвить слова. Перед ними трое лежали в записях новые романсы из подготавливаемого Глинкой сборника «Прощание с Петербургом».

Она не была красива, худенькая, с заостренными чертами бледного понурого лица, с внимательным скорбным взглядом больших светлых глаз, с двумя пышными косами, которые почти закрывали хилые ее плечи. Но стоило ей улыбнуться, заговорить, и сразу обнаруживалась затаенная живость ее властного, при всей своей мягкости, характера и неизбывная, почти материнская сердечность к людям, столь необычная в этом возрасте. Впрочем, не было ли это кажущимся? Ей едва исполнилось двадцать лет, и она не выглядела старше, — «умный ребенок с лицом схимницы», как говорили о ней родные. Сколько неизменной радости доставляли ей простые, не надоевшие еще удовольствия: катание на Неве, маскарады и деревенские игры, как любила она жизнь и как умела по книгам, сидя у себя дома, живо представлять себе происходящее далеко от нее и не чувствовать себя отгороженной от мира ни пространством, ни условностями светской жизни. Она весело смеялась, читая «журнал пешеходцев», совершивших путь из Москвы до Ростова и обратно, и дополняла их рассказы о виденном собственными измышлениями о том, что они должны были бы встретить на пути. Радищев ей был знаком раньше, но по неисповедимым путям мысли «Путешествие из Петербурга в Москву» она готова была сравнить с... «Путевыми записями» А. Дюма.

Ее было интересно слушать. Она удивляла Глинку способностью вникать в самое, казалось бы, постороннее для себя и обескураживающей простотой отношения к жизни, «схимница» оказалась «игрунней», так по-своему окрестил он ее, человеком явно не установившихся еще убеждений, но необычайной, подчас даже пугающей душевной широты. «Столько кажущихся противоречий и никакой однотонности. Однотонности нет — это хорошо, а есть ли определенность?» — делился Глинка своими сомнениями о Екатерине Ермолаевне Керн с сестрой. Хороша ли она? Кажется, больше! Она прекрасна! Но о ней мы вправе сказать:

Не называй ее небесной!

Он пришел к сестре Марье Ивановне в Смольный в один из дней, когда особенно тягостно было дома. Муж Марьи Ивановны заведует экономической частью Смольного и очень дорожит своим положением. Видаться со «схимницей» не так-то просто в институте благородных девиц, закрытом наглухо для посторонних глаз и даже со стороны Невы огражденном высокой каменной стеной. И самой Екатерине Ермолаевне, в недавнем воспитаннице института, а теперь классной даме, нелегко нарушить заведенный этикет — принимать у себя гостя. Дома же у нее разговору помешает мать — милейшая Анна Петровна, давняя знакомая Глинки. К тому же кто не знает, как тяжело в этом, разбитом семейными раздорами генеральском доме? Передают, будто Анна Петровна обращалась к императору с просьбой заставить ушедшего из семьи генерала не оставлять ее без средств и хотя бы официального внимания, она — гордая «пушкинская Керн», как зовут Анну Петровну люди, помнящие о ее бывшей близости к поэту.

Мария Ивановна, раздумывая, как бы не навлечь на «схимницу» беду, говорит брату:

— Ты хочешь ее видеть? Но достаточно кому-нибудь из служащих — пепиньерке или гардеробной даме — заподозрить ее в нескромности, и твое посещение послужит поводом к большому скандалу. Как же быть? Екатерина Ермолаевна завтра поведет своих воспитанниц в Таврический сад. Институтки идут попарно, улицы пусты, идти долго, ты бы мог без стеснения подойти к ней. Но опять же, зачем бы тебе оказаться в эту пору в этом месте? Не странно ли? Полицейские, надзиратели — они обычно сопровождают издали — будут немало удивлены!

Отвлечшись, она с издевкой рассказывает о заведенных в институте порядках. Михаил Иванович узнает о том, как тиранят старшекурсницы своих младших подруг, о «кусочницах», так зовут попрошайек, о «подлизушках», о том, как заманчиво сушить в дортуарной печке сухари из черного хлеба, читать по ночам книги и жечь сахар, о последней запретной моде — ходить с «залысенными», гладко подобранными со лба волосами

в распушенном корсете и в... не очень белых перчатках. Он узнает о подаренном институту шведским королем Густавом физическом кабинете. В благодарность институт ежегодно принимает шесть девочек из шведских дворянских семей, но не только Швеция шлет своих представительниц. В редком классе нет десяти — пятнадцати иностранок.

И совсем уж странно слышать об институтских обычаях. Оказывается, добрые отношения устанавливаются не по влечению сердца, о нет... Институтки тянут жребий, кого из их среды следует «обожать», и бывает, самой строптивой и глупой из своих подруг клянутся в любви! Впрочем, здесь обо всех понятиях говорят только в превосходных степенях: если девочки шепчутся — это значит «кричат», если высунутся в калитку — «бегают в город», не мудрено, если и товарищеская приязнь именуется обожанием.

— Что же делать? — повторяет Марья Ивановна.

И вдруг смеется счастливой, как представляется ей, выдумке:

— Мишель, как раньше не пришло в голову?.. Ну конечно же ты приходишь к принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому и предлагаешь ему свои услуги... руководить хором. Он, естественно, очень доволен, и тебе с этого часа открыт доступ к нам. Не мило ли? А чтобы это не выглядело так, словно знаменитый Глинка ищет работы, мы сделаем, что принц сам будет просить тебя через Керн заниматься с оркестром.

Глинка обрадован. В самой этой затее есть что-то детски трогательное и бездумное, наподобие святочных забав. Ему хочется думать, что там, в глубине темных институтских дортуаров, скрываются чудесные голоса, и, разбуженные им, они мгновенно преобразят своим пеньем всю сирую, чопорную институтскую жизнь, о которой столь горестно повествует сестра.

Ничто не мешает осуществлению замысла. Принц, главный начальник над четырьмя отделениями в институте, охотно «вручает» капельмейстеру капеллы заботу об институтских певуньях. Директриса приглашает к себе и вводит его в дела... На радостях он обещает написать для оркестра вальс и переложить для оркестра вальс Лабицкого и, став распорядителем... нескольких

плохих скрипок, контрабаса, флейты, кларнета, валторны, тромбона и барабана, взволнован так, как бывало в Шмакове, когда мальчиком руководил дядюшкиными музыкантами.

Теперь, окончив занятия в капелле, он спешит в Смольный, от мальчиков-простолюдинов в «круг геральдических девиц». Так зовет их Кукольник, потешающийся над новым занятием Глинки. И впрямь занятно: только что отмучив хористов и преподав им очередное назидание, учить тому же хористок, выбирая и среди них «высотниц» и «нижниц». Но мальчики держат себя строго, а девицы теряют подчас почтительность. Тереза Гуритская, из грузинской княжеской фамилии, шепчет о том, что чухонское масло за обедом пахнет скипидаром, а щи — мужицким потом, и просит Глинку принести ей крендель с изюмом. Нина Шпенгецкая, полька, празднует именины матери, выдавшиеся сегодня, и уморительно-серьезно сует композитору леденцы из жженого сахара.

Наконец, иных приблизив к себе, иных отдалив и уже не столь уверенный в своих силах, Глинка идет к Екатерине Ермолаевне.

— Вы для меня сделали это?.. — напрямик спрашивает она, окатывая его мягким светом лучистых больших глаз и теплом ласкового своего голоса.

Он стоит перед ней, охваченный именно этим ощущением ее доброты к нему и ласки, отнюдь не институтской, и необыкновенно прозорливой, неизбывной, бьющей через край. А может быть, такой только кажется она ему — «игрунья», проведшая в этих стенах свое девичество? Дельвиг предостерегал от покорства женщине, способной изменяться... в угоду его же воображению.

— Полноте! Мне это ничего не стоит! — смущенно отвечает Михаил Иванович. — Я очень доволен...

— И я, — роняет она.

— Екатерина Ермолаевна, почему вы согласились служить здесь?

— Почему? Дома у нас нехорошо, Михаил Иванович. Вы ведь слышаны? В деревенском заточении, должно быть, легче, чем в столичном, но что делать,

если все мы какое-то время должны пробыть взаперти? В нашем институте и по сей день поют из «Аскольдовой могилы»:

Ах, подруженьки, как грустно
Круглый год жить взаперти!

Но, право, я не чувствую себя в темнице. Человек должен жить своими мыслями!

— «Питаться чувствами немymi», — подсказывает Глинка.

— Пожалуй, Михаил Иванович, — обрывает она. — Как вам работается над «Русланом»?

Ему кажется сейчас, что нет человека на свете, более посвященного в его замыслы, хотя и не так уж много говорил он с Екатериной Ермолаевной о своей новой опере. Помедлив, он признается:

— «Руслан» не движется. В Петербурге еще начал... И у меня ведь дома... нехорошо. — И повторяет только что произнесенные ею слова: — Вы ведь слышаны?

Она кивает головой, как бы останавливая его. Не нужно вдаваться в подробности. Подробности унижают. Привычка рассказывать обо всем присуща только людям, не видящим себя со стороны. Но пусть не подумает, что она его жалеет. Сохрани бог, она принимает его семейное бедствие как неизбежность. В чем-то такой человек, как он, должен быть обязательно несчастлив. Но ведь счастье — вообще удел людей ограниченных.

— Что же делать? — спрашивает она в задумчивости и таким тоном, словно от нее что-то зависит. — Вам нельзя так жить, Михаил Иванович, нельзя... Ваше время уходит, а с ним и силы. И отсюда эта извечная неудовлетворенность собой. Я знаю, что во всем вы способны на большее!..

— Во всем? — повторяет Глинка. — Как понимать ваши слова, Екатерина Ермолаевна? В чем, кроме музыки, я вообще могу чего-то достичь?

— Ох, как вы неправы! — с мягким упреком решительно протестует она. — Пожалуй, из этого вашего суждения происходят и многие несчастья. Вы воображали себя обреченным на страдания из-за вашего заня-

тия музыкой и не беретесь ничего изменить. И только ли в музыке вы талантливы? Конечно же нет!

— Ну в чем же еще? — торопит ее Глинка.

— Ох, боже мой, какой педантизм в вопросах, какое непонятное стремление себя унижить! Да ведь музыка — это жизнь не только ваша — вся и всех. Вы же талантливы в жизни, в чувствах, в постижении ее. В вашей воле быть собой, думать и делать по-своему, понимаете ли вы меня? И сказала ли я вам хоть что-нибудь новое? Кажется, нет. Ваши друзья говорят, что лишь последние два года, женившись, вы вдруг уверились в себе. Но правда ли это? Поведение человека столь часто бывает обманчиво. И все от сложности условий, в которых не поможет подчас прямота.

Он смотрит на нее с переменным выражением то восхищения ею, то грусти.

— Вы — умница, и вы, стало быть, уверены, что я должен изменить свою жизнь? Хотите ли вы этим сказать, что я имею право уйти от жены?

— Да, конечно! — восклицает она, отнюдь не думая при этом, насколько облегчатся их собственные, ее и Михаила Ивановича, отношения. Ведь между ними втайне все время стоит она — Мария Петровна, и не только смолянский этикет, но и начавшиеся толки в родне препятствуют этим их отношениям.

— Но закон, обычай света?.. — пробует возразить он, скорее себе, чем ей. И тут же спохватывается: не слишком ли много он раскрывает из своих тайных сомнений, не отдалит ли ими от себя Екатерину Ермолаевну? Ведь он любит ее, хотя не решается еще сказать ей об этом. И ему следует заботиться о ней, а не кружиться мыслями в том запутанном круге, в котором он оказался. Если все так трудно, то можно ли ему вселять в нее какие-то надежды, открываться в своей любви?

Однако Екатерина Ермолаевна, к его удивлению, соглашается:

— Закон? Да, его преодолеть трудно. Не знаю, что вам посоветовать...

Глинка опечален ее ответом. Он ждал, Екатерина Ермолаевна скажет: «Не вы один обходите закон. Вот

и мой отец... Можно ли из-за закона уродовать свою жизнь?» И какая-то официальность мнится ему в ее ответе: то ли сдерживает себя, то ли впрямь привержена закону. Она не из тех безотчетно преданных существ, которые готовы бежать с любимым на край света, лишь бы жить вместе. Впрочем, ведь в отношениях их еще ничего не определилось. И может быть, она твердо знает, что они никогда не перейдут грань этой светлой, доверительной дружбы?

Она, не догадываясь о его мыслях, — можно ли так быстро загораться в чувствах! — вновь возвращается к разговору о «Руслане».

— Бывая в опере, я часто разделяла впечатления, выраженные кем-то в «Пантеоне»:

Не вижу в операх я толку,
По мне они — галиматья,
Поют себе все без умолку,
Солдаты, бабы и князья.

А не так давно начала понимать оперу. Но почему-то мне кажется, что оперу именно вашу. Как в пушкинской речи по-новому и всегда свежо звучит слово, так в вашей музыке всегда отличительна и всегда свежа ее мелодия. Я ничего так не хочу, как слушать вашего «Руслана».

Он мысленно отметил, что этого ее желания ему мало. Но не перебивал.

— Я перечитала «Пантеон» за последние годы. Я читала пьесы и мысленно играла в них. Да, да, Михаил Иванович, я ставила их на сцене... Прочитала «Финна», музыкальную трилогию с прологом и интермедией князя Шаховского, сочиненную им по «Руслану и Людмиле», и думала о вас. Как я была рада, что этот «Финн» не стоит того, чтобы сравнивать с вашим... Конечно, я могу судить только о том, что слышала от вас. Но, Михаил Иванович, что далее? За «Русланом»? И как жить будете? Здешняя ваша жизнь недостойна такого, как вы, музыканта. Не сердитесь, но не скрою от вас: вами восхищаются, но вас не берегут и не наставляют... Да, да, ваш талант светит и вызывает почитание, но светит одиноко, а должен бы светить в ряду других,

быть в созвездии. Или так нельзя? Или никто, кроме вас, не светит? Или учиться вам нечему? И нет, кроме Кукольника и Виельгорского, советчиков? А как же тогда «Руслану»? Совсем плохо будет? Чего-то я в этом не пойму, Михаил Иванович, в этой вашей композиторской судьбе...

И закончила тише:

— Да и в вашей жизни. Опять какое-то неблагополучие таланта. А сколько уже у нас этого неблагополучия!

Она говорила, не досказывая и ничего не утверждая, словно постигала сердцем, внезапным предположением то, что следовало постичь мыслью и знанием. Но как оказывалась права! Глинка не сводил с нее глаз, думая не о сказанном ею, а о том, как могли ей, в институтском захолустье, запасть в душу эти тревоги о нем, столь ином во всех своих помыслах человеке? Глинка невольно вспомнил рассуждения Ивана Андреевича о женском сердце. «Неожиданно, как откровение. И не догадаешься порой, откуда в ней мудрость».

Может быть от охватившего его смущения, он поспешил домой. Екатерина Ермолаевна провожала Глинку к выходу. Сквозь открытые двери в дортуары он видел длинные столы под висячими большими лампами, аккуратно прибранные постели возле тумбочек, светящиеся медью краны умывальников — постылый казенный уют!

Девушки в белых пелеринах приседали в поклонах. С колокольни Вдовьей церкви при Смольном звонили к вечерне. В больших окнах, выходящих в сад, холодно светилась, бугрилась волнами Нева. Ветер отметал к забору последние осенние листья.

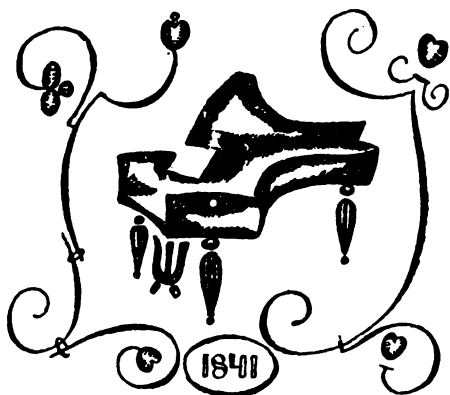
Глинка казался Екатерине Ермолаевне притихшим и успокоенным.

Она не может знать о том, как в этот вечер, сидя дома и не замечая жены, слоняющейся по комнатам, с внезапно нахлынувшим ясным чувством своего освобождения от Марии Петровны, а с нею от всех преследовавших его тягот, Глинка разыгрывал на клавишине:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Ему представилось: Екатерина Ермолаевна находится в комнате. Он видел ее склоненной над книгой. Когда-то Пушкин посвятил эти стихи ее матери, Анне Петровне, и хотел, чтобы он, Глинка, переложил их на музыку. Теперь это произошло само собой, только посвящались они Екатерине Ермолаевне. А ведь говорят, будто своим посланием к Анне Петровне Пушкин обесмертил ее, как Петрарка Лауру, а Данте Беатриче. Но легче ли от этого ей, Анне Петровне, и от этих толков в сегодняшнем ее положении? ..



В «БОГЕМИИ»

Будь мне наставником
в насмешливой науке.

Пушкин

Я готов плакать от досады, когда
думаю, что бы нам дал Глинка, ро-
дись он не в барской среде доэман-
сипационного времени.

Чайковский

1

Нескладный, вечно лохматый, с лошадиным оскалом больших крепких зубов, в очках на длинном прыщавом носу, с озорным взглядом близоруких белесых глаз, умел Нестор Кукольник с монахами вести себя по-монашески, с царедворцами по-вельможному, для именитых людей быстро стать «своим», а для простого люда этаким Ванькой-пугалом, лакеем, знающим обо всем больше своего барина. «Боек до невозможности», — свидетельствовал Фаддей Булгарин, сам человек дошлый, двуликий и корысти ради готовый как унижить, так и возвеличить человека. И все же в петербургских литературных кругах нет фигуры более сенсационной, чем Кукольник. Да и нет, пожа-

луй, дома более шумного, многолюдного и пестрого в своем многолюдстве, чем дом Кукольника в Фонарном переулке. Два подслеповатых фонаря сторожат вечерами его невысокий подъезд с кривыми, сбитыми ступеньками. Блажного вида швейцар раскрывает перед всеми скрипящие, на несмазанных петлях двери. И кто только не идет сюда: акцизные чиновники и актеры, студенты и разорившиеся помещики — все, кто знаком с Нестором и верят в его «хватку». А Нестор может надомнить любого, осмеять счастливицу и вернуть счастье потерявшему его, особенно если для этого не нужно особых ухищрений, а требуются лишь трезвые и насмешливые слова: «А придумал ли ты что-нибудь, кому писал, кого заинтересовал собой — ты, лежебока-страдалец, ты тюфяк-страстотерпец». Эти нескладные прозвища следуют по адресу неудачников одно за другим. И действуют. Взбодренные Кукольником люди обретают находчивость, толкаются в канцеляриях, смеются в свою очередь над остальными и... добиваются своего. Для многих из них сам Кукольник — пример того, чего можно достичь в обществе силой самоуверенного и находчивого ума. Падение Полевого, вздумавшего осмеять монархическое угодничество Кукольника, не позабыто. Эпиграмма еще ходит по городу:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого погубила.

Не странно ли, что в кругу самых близких Кукольнику лиц всегда называют Брюллова и Глинку? Столь строгий в дружбе и требовательный к людям Брюлов — что вело его сюда?

Он входил веселый и грубоватый, с тем постоянным избытком сил, которое невольно должно прорваться в добром слове или в насмешке над кем-нибудь, одинаково подчас неожиданных, как и любое проявление сильного, не скованного жизнью, его характера. И всегда в размашистых его движениях и порой в грубости чудилась Глинке какая-то намеренность, слишком уж внутренне собран и ревнив к красоте был этот человек. Он доставил ему немало радости в беседах об искус-

стве, умел понимать широту его музыкальных замыслов, нетерпимость к подражательному и посредственному во вкусах, умел переноситься мыслью от живописи и портрета к музыке, но обнаруживал удивлявшую Глинку отвлеченность суждений обо всем, что касалось самой жизни.

— А бог с ними, не огорчайтесь! — говорил Брюллов, когда Михаил Иванович сетовал на критику, на укореняющееся в ней дилетантство. — Художник не должен изводить себя этим, иначе он перестанет чувствовать мир так, как ему дано, — свежо и независимо...

Он недоговаривал.

— Независимо от болтунов и глупцов, — подсказывал Глинка. — Но ведь на них, как и на всех, должно распространиться ваше влияние!

Брюллов соглашался, наклонив «античную», под пышной копной голову. Иной раз грустно говорят про Михаила Ивановича: «Он в «богемии». А там китайщина, чертовщина, комнаты с раскрашенными драконами и голыми женщинами на стенах, холостяцкие порядки — каждый живет, как хочет, свой чубук, своя тахта. Сходятся вместе, чтобы читать стихи да пить вино, — «братия», одним словом. О всех заботится одна Амелия Ивановна, супруга Нестора, но каждого при этом держит на своем месте и чуть кто заленится — гонит из дому. Ну, а Михаил Иванович — он сам из своего дома бежит и сюда работать надолго переезжает.

Передают, будто Глинка и Кукольник выпустят скоро свой журнал и что Сенковский, первый друг Кукольника, — вот еще петербургский оригинал! — без ума от Глинки. А от Сенковского всего можно ожидать. «Барон Брамбеус», он же Тютюнь-джю-оглы, Белкин, Снегин, Морозов, востоковед, издатель «Библиотеки для чтения», он же и музыкант и музыкальный мастер, выдумывающий новые инструменты... Романист, ученый, критик, путешественник, редактор, переводчик, — истый труженик, совсем не зазнайка, хотя и острослов.

Упомянув о Сенковском, вспомнят его необычайную судьбу и воззвание, напечатанное лет двадцать назад польским ученым Казимиром Контрыном:

«Некий юноша, изучивший филологию, древние, а

также и новейшие языки и несколько ознакомившийся с арабским, персидским и турецким, обладает необходимыми способностями для того, чтобы в короткое время достигнуть значительных успехов в этой науке; совершенно преданный желанию посвятить себя ей, юноша этот отличных правил и уже испытан в труде и усидчивости. Его имя Осип Сенковский, он уроженец Виленского уезда, постоянно живет в Вильне... Юноше требуются средства для путешествия на Восток, и в надежде, что найдутся люди, которые, признавая это предприятие полезным, пожелают пожертвовать что-либо на его выполнение, — открывается подписка на 30 акций по 30 рублей каждая».

Люди нашлись, и девятнадцатилетний путешественник оказался вскоре в Сирии и Египте. Похожий в чалме на бедуина, научившийся арабскому языку, немногим богаче дервиша, начал он свои скитания. Его видели в Маронитском монастыре переписывающим древние книги, в караван-сараях среди паломников, стремящихся в Мекку, и в Константинополе у русского посла при Османской Порте. Посол предложил ему должность и деньги. Юноша оставался безучастным к восстанию греков, свидетелем которого стал, и в отношении своем к Востоку занял, по собственному признанию, позицию стороннего наблюдателя, исповедующего равнодушие и стоицизм. Это не помешало ему вернуться в Петербург с драгоценным дендерским зодиаком — астрономическим изваянием, увезенным из старинного храма, со слугой-арабом и ценнейшими рукописями, купленными им за бесценок. Обласканный вниманием государственного канцлера графа Румянцева, он получил награду за «успешное приготовление себя к службе» и был зачислен переводчиком коллегии иностранных дел, а несколько позже... ординарным профессором Петербургского университета.

Стал ли он дилетантом-ориенталистом, «чайльд-гарольдом в науке» или действительным знатоком Востока, причастным к его теперешним судьбам? Прошло пятнадцать лет со дня его возвращения, и в бурной жизни его Восток все более играл роль некоего «философского камня», отражателя событий. Сенковский прибегал к его темам, когда писал о злободневном на

Западе, — странное, казалось бы, отстранение от действительности и отнюдь не из приверженности к аллегориям. «Барон Брамбеус» к этому времени был самым интереснейшим автором и многими почитался энциклопедистом, хотя знал, по существу, очень немного. Впрочем, о чем бы он не мог написать, не поведя за прихотливой своей фантазией, не наврав, но и умея быть интересным? О фонетике и политической экономии, магнетизме и астрологии, музыке и ловле жемчуга, о Рублеве и Леонардо да Винчи — с неизменной страстью, пафосом и юмором пишет этот «страшный в своем всемогуществе человек». Так заявляют сбитые им с толку библиографы. И с радостью, словно найдя, наконец, самое слабое в нем, говорят читателю: «Сенковский объяснит вам все, что угодно, но где тот предмет, который бы заставил он полюбить, где та цель, ради которой весь этот блеск? По прочтении нет у вас ни слез негодования, ни любовного волнения сердца. Скажите, симпатическая ли его фантазия, симпатический ли он автор?»

Но Сенковский, как бы в ответ на эти рассуждения о нем в литературных кругах, спешит оправдать себя. Еще в юношеские годы он сочинил фантастическую басню о стремлении людей обязательно уподобляться обезьянам, ограничивать нравственную свою свободу, принимать из многих заповедей прежде всего одну — заповедь подражания. Действие происходит в Индии, речь идет об одном из факиров, которых в Индии «такое же множество, как у нас титулярных советников». Разве не ясно, что жизнь, по известному изречению, «представляется трагедией тому, кто смотрит на нее с точки зрения чувства, и комедией тому, кто стремится только понять ее». Конечно, он, Сенковский, «человек Востока», должен понимать жизнь скорее трагически. Этого ли хотят от него в описании высоких порывов, в разоблачении зла? Трагизм, по его мнению, — подавление себя, своей воли, напыщенная слепота, не более! Ему ближе шутка, смех, водевиль. Ведь мудрость всегда изображается в лице змеи и чаще всего приписывается трагикам. Но он — Сенковский — не «змей», не насмешник, не сатирик, хотя и шутник! Ну разрешите же ему ходить в литераторах вне этих определений. Иные из

поляков называют его ренегатом за измену... шляхетству, за отступничество от национальных интересов, иные «русским Вольтером».

Что не судачат о Брамбеусе, о его статьях и «фантастических повестях»? Поэт ли он? Зачем говорит о себе: «Музы меня не слышат» — он, столь богатый воображением? Разве он не ценитель красоты, не художник? Позже, внимая разброду в общественном мнении вокруг имени Сенковского, напишет Александр Одоевский:

Не знает он поэзии святой,
Поэзии страдательной и сладкой.

Он не росу небес, но яд земли —
Злословье льет, как демон от бессилья,
Не в небесах следит орла он крылья,
Но только тень их ловит он в пыли.

Такой он, друг Кукольника и «покровитель» Глинки, один из первых в «богемии». Он появлялся на собраниях «братии» в пышных турецких шальварах, небрежно опоясанных зеленою кашемировою шалью, в какой-то короткой албанской куртке и в феске на голове, «Барон Брамбеус» — рябой толстогубый увалень с черными гнилыми зубами, приплюснутым носом и глубоко сидящими, вечно заспанными глазами. Желтое неподвижное лицо его редко оживлялось открытой простодушной усмешкой, обычно он был замкнут и спокоен. Спокойно, чуть надменно шутил, не повышая голоса, спорил, и всегда было трудно судить о его состоянии по внешнему виду. В юности он казался красивым, обрюзглость, лишив его живости движений, придала ему какую-то ипохондрическую важность.

Он встретил Глинку у Кукольника в день, когда Михаил Иванович надолго перебрался сюда, заявив Марии Петровне, что не может жить дома.

— Приехали бы ко мне, — сказал он сумрачно. — Вам тяжело, да и мне, кажется, не легче...

— Что-нибудь с «Библиотекой»? — спросил Глинка, слышавший о его издательских затруднениях.

— Бед всегда много, особенно если на все обращать внимание. Я хорошо не кончу, к этой мысли прыг, — в том же тоне пояснил Сенковский. — Нет, Ми-

хаил Иванович, беда моя по вашей части, да только не знаю, поможете ли?

— Готов служить, Осип Иванович.

— Тогда едемте.

Он привез его в свой дом, ни о чем не предупреждая, и сразу же удивил необычайной своей просьбой.

— То, что вы увидите, не должно вас возмущать. Вы ведь во всем любите ординарность, Михаил Иванович. О том, что я вам покажу, судите не на глаз, а на слух. Хорошо?

И ворчливо прибавил:

— Будь я посмелее, просто завязал бы вам глаза.

В двухэтажном доме его оказался проломленным потолок первого этажа. Громадный, похожий на орган, оркестрион не мог вместиться в зале. Инструмент, сделанный по замыслу Осипа Ивановича стараниями фортепианных и органных мастеров, вдавался верхушкой своей в перекрытия потолка. Увенчанный золоченым шпилем, он походил на макет замка. Скрипичные, духовые и клавишные инструменты должны были заменять в этом монументе... оркестр и приводиться в движение одним музыкантом. Впрочем, владеть им умела только жена Сенковского, Адель Александровна.

— Это оркестрион будущего! — сказал Осип Иванович Глинке. — Виельгорский уже поздравил меня с удачей, но звук? Хорош ли звук, Михаил Иванович? Вам известно ли, что к четырем струнам скрипки я прибавил пятую струну, и оттого новые мои скрипки в оркестрионе звучат сильнее и тоньше!

— Ох! — вырвалось у Глинки. — Помилуй бог, можно ли? — Михаилу Ивановичу вспомнилась Качановка и помещик Тарновский с его музыкальной пьесой. «Вот ведь сколь беспокойны оригиналы на Руси, — подумал он, уже опасаясь и Сенковского, и оркестриона. — Не лучше ли хорошо знать ординарное, чем выдумывать этакое?»

Звук устрасал своей несообразностью: разлаженный квартет из пьяных музыкантов не мог бы произвести столь уродливую какофонию.

— Фантазмагория! — печально произнес Глинка. Позже он узнал, будто по жалобе соседей на шум,

исторгаящийся из дома, к Сенковскому приходил квартальный и грозил доложить о его оркестрионе обер-полицмейстеру Кокошкину.

— Плохо ли? — не понял его восклицания Сенковский.

— Теперь я понял, Осип Иванович, музы действительно вас не слышат, — ответил Глинка. — А ведь пишете, рассуждаете, поучаете... Ох, Осип Иванович, лучше б было мне не приходиться к вам!

— Ну, тогда считайте, что у меня не были! — понял его Сенковский. — И не говорите ничего Нестору. Вам бы только все ординарное, Михаил Иванович!..

— Да, — охотно согласился Глинка. — Ординарное!

Но об этом посещении им Сенковского он никому в «братии» не говорил.

2

«Музыкальные ходоки» в эту зиму упорно досаждали петербургским композиторам. Кто только не появлялся в столице из доселе никому не известных провинциальных меломанов! Иван Добровольский — издатель астраханского журнала — выехал сюда вместе с нижегородским собирателем русских песен Подьячевым. В пути к ним присоединился почитатель Кашина, певец Никита Богословский. Все трое были состоятельны и в чинах, но не гнушались певческим заработком и в поволжских городах часто выступали на музыкальных сходках. Они рассказывали о столичных музыкантах понаслышке, присочиняли о Глинке, пели из «Ивана Сусанина», везли с собой рукописные нотные альбомы «Поющая Россия» с песнями Алябьева, Верстовского, Феофила Толстого. Выехали осенью. Неуклюжий пароход с громадными колесами, похожий на пероскаф Берда, один из первенцев на Волге, медленно шел вверх по реке и тащил за собой баржу, облепленную беглым, вольным и чиновным людом — охотниками спеть и послушать.

В день, когда четверка кудлатых запаренных лошадей вынесла путников на дорогу к Москве, было уже морозно, снег застилал землю. Тележку переменили на

сани и с тем же полюбившимся ямщиком, готовым за песнями ехать на край света, двинулись дальше. На постоянных дворах, отвечая на вопрос, куда едут, неизменно отвечали: «В Москву за песнями», не подозревая, что позже эти сказанные ими, чтобы уйти от расспросов, слова войдут в поговорку. Из Москвы выехали спешно, прихватив с собой купленный на Сретенке «дорожный органчик», похожий на кофейную мельницу. Безымянный и редкостный инструмент этот был подобием шарманки. В Петербурге остановились у Демута, и в январе все трое нагрянули на квартиру к Верстовскому, приехавшему ненадолго из Москвы, с приношением — письмом от хора преосвященного Анастасия Братановского, записями волжских народных песен и... медным, купленным в Туле, самоваром.

В письме благодарные композитору певцы спрашивали: «Что есть музыка; когда будет какое-нибудь единение музыкантов в форме певческого собора, иначе говоря, русского музыкального общества; когда кончит Верстовский оперу свою о последних днях Помпеи и как бы повидать Глинку».

Композитор, польщенный этим обращением к нему, изъяснялся о музыке долго и о Глинке сказал:

— Худо ему. Человек случайных успехов, избалованный и бездеятельный.

— Почему же так? — встревожился Добровольский, отлично помнивший свое посещение Бортнянского и уверения его, что лишь новая композиция способна решить споры о музыке, но нет на Руси композитора, могущего выразить своим творением народные думы. — Или изменил себе Глинка?

— Не знаю! — уклонился от ответа Верстовский. — Композитор обязан, полагаю, писать ежедневно и ежедневно, пробуя себя во всех музыкальных школах, темах, рожденных историей. — Сказав так, он намекал на широту собственных замыслов. — Глинка же однодум! — продолжал он. — Этот «певец граций» — раб собственного воображения и дитя... Романсы его народу не петь, они для людей излишне чувствительных. А песен народных нет у этого музыкального барда. Мелкий, сладчайший ювелир пения, но очень горд.

— А как же в «Сусанине» достиг он такой силы? —

подал голос Никита Богословский. — Теперь, после «Сусанина», уже не выставишь глупенького мужичка на сцене и не удовлетворишься «Мельником-колдуном», сочиненным Аблесимовым по Руссо. Истину говорите — «певец грации», но не светский певец...

— О Глинке толковать не хочу! — оборвал его хозяин дома. — Ныне Неверов да Каменский, знающие и ученые люди, подтверждали мне, что Глинка замолкнет надолго. Пишет «Руслана и Людмилу», как небось слышали, но ежели бы Соколовский, знакомец мой, написал ему либретто, а то Ширков — харьковский помещик, по одной приязни им выбранный. Смешно мне слушать о Глинке. Дитя он, баловень, а толкует, будто государственный муж! Говорят, из капеллы уходит, одних девиц в Смольном будет развлекать!

— Злы вы на него! Простите нас, не верим злоязычию! — поднялся Добровольский. — Не повадно оркестру главного своего генерал-баса хулить. Нет без Глинки ныне российского оркестра.

— Нет и не будет с ним такого оркестра, господа! А хотите найти его обожателя, идите к Одоевскому, меня увольте... — подавляя смущение, надменно заявил Верстовский, провожая гостей.

Они холодно откланялись и, выйдя на улицу, присели на скамейку возле дома, слегка запорошенную снегом.

— Худо ему! — думая о Глинке, повторил старик Добровольский слова Верстовского. — На самом деле ведь худо! Вот она, господа, столица-то!

— Пойдемте к Кавосу! — предложил Подьячев. — Неужто в Петербурге и поговорить не с кем?

Он кинул взгляд на большую стопу нотных записей, которую таскал с собой, и пробормотал:

— Толкуют о народности искусства, а живут, прости господа, каждый в свое удовольствие. Нет большей падчерицы у государства, чем музыка. Видно, самим надо и споры наши решать и песни инструментовать.

— А я иного и не ждал! — сказал Добровольский, поглядывая на остановившегося возле них в изумлении дворника. — Песне в народе — воля, а здесь тесно! Что скажет нам Кавос? Сядет ли с нами за инструментку? Или тоже будет ругать Глинку?

Но к Кавосу все же пошли. Дворник проследил, как трое приезжих вразвалку побрели дальше, остановили ехавшего извозчика и взгромоздились в длиннополых своих шубах в коляску.

Кавос тяжело болел, и в большом доме его окна были прикрыты ставнями. «Синьор Калиныч» встретил посетителей в прихожей и, качнув седой головой, с трудом вымолвил:

— Не время, господа, не время, не принимает.

— Но как же? Столько людей здесь! — грубо заметил Добровольский, кивнув на чьи-то шубы, кинутые наспех в угол.

— Доктора и родные, — объяснил слуга. — Этим не откажешь.

— Сколько же докторов-то? — не сдавался Добровольский.

— От каждого сына по три, всего — девять. Консилиум, а родственников и того больше, — терпеливо втолковывал «синьор Калиныч». — Худо ему, господину Кавосу! Недолго, говорят, жить!

— Худо! — в один голос произнесли гости. Слово это становилось привычным.

— Что ж, не везет нам, господа! Не поехать ли к самому Глинке? — предложил Подьячев.

— Михаил Иванович здесь, — строго сказал слуга.

— Здесь? — замялись гости.

И переглянулись.

— Идемте к нему! — шепнул Добровольский и попросил слугу, вынимая серебряный целковый: — Пропусти нас к нему, старинушка. Или вызови, брат, камердинера, мы объясним ему. . .

— Целковый извольте спрятать, — ответил старик, — а вместо камердинера я тут. Нет для Катерино Альбертовича ближе меня слуги.

— Видишь ли, — начал Подьячев, но «синьор Калиныч», догадавшись, перебил его:

— С песнями, что ли? Вижу, ноты несете? Издалека вы? Неужто купцы?

В опечаленном тихом взгляде его заискрился смешок.

— Отгадал, старинушка! — подтвердил Подьячев. — Мелодии у нас. Так не расскажешь.

— Ну, мне расскажете! — спокойно и уверенно протянул слуга. — Раздевайтесь, господа, и пожалуйста в мои покои.

Удивленные, они сбросили шубы туда же, в угол, и последовали за стариком.

Покои его оказались в три смежные комнаты, заполненные широкими полками с нотами и портретами композиторов и певцов. Молодой Моцарт, с раскрытой грудью и гусиным пером за ухом, сидел, словно клерк, за пюпитром. Старик Кашин, сутулясь, в армяке и нахлобученной на лоб шапчонке, таращился из рамы. Новое фортепиано стояло посредине, недалеко от стола с остывшим самоваром на подносе, большим утюгом и грудой салфеток.

Запах уютного пара, каких-то лекарств и скипидара не выветривался, несмотря на открытую фортку.

— Садитесь, — повелительно предложил старик и сам присел за рояль. — Показывайте.

Он быстро проглядел несколько нот, тронул клавиши сухонькими старческими пальцами, взяв несколько бемольных аккордов, что-то выверяя на слух, отложил в сторону с десяток записей песен.

— Вот это инструментовать, пожалуй, согласится Михаил Иванович. Это будет ново ему. Сколько об осени поют, а так, кажется, не слышал... И «Разлука» хороша, и хороводная. Чтобы повторений не было между мотивами и этих чужих им подражаний, — он сыграл на рояле, — надо бы свое придумать... Это он может.

— Ты не слышал! — придрался к слову Подьячев в то время, как остальные сосредоточенно слушали. — А Глинка, может быть, слышал?

— Да уж будьте спокойны, памятью пока не ослаб, — не обижаясь, возразил старик. — Песни все помню в любой аранжировке. Что судьбы музыкантские, что песни, что затеи театральные — все храню в памяти. Повторений и заимствований не потерплю, сразу барину выдам. Да он без меня и сочинять музыку не станет.

— О ком говоришь, старинушка, о Кавосе или Глинке?

— Обоих помянул. Кавос Михаила Ивановича выше себя ставит, у него бы учился, да стар. Он стар, да и

я... Оба мы уже не работники. Вот Михаил Иванович — тот в силе!

— А говорят о нем, будто... — начал было Богословский, но Подьячев, остановив его взглядом, шепнул:

— Полноте!

Они беседовали около часа.

Рассказывая о Глинке, «синьор Калиныч» посоветовал:

— Не ходите к нему сейчас, подождите. Ушел он из дому, живет у Кукольника. Дома Гулак-Артемовский, ученик его, мается, чего только о Михаиле Ивановиче не выслушивает. У Кукольника же и поговорить вам не дадут спокойно, напоят и спать!.. Таков обычай. Если проберетесь к Михаилу Ивановичу, когда будет один, тогда, может быть, посчастливится. Комната его — направо, смежная с комнатою брата Нестора Васильевича, Платона. Софа в ней вдоль всей размазанной стены и фортепиано посредине... Да нет, подождите. Придет в себя Михаил Иванович, наймет себе отдельный дом, тогда и вас примет.

— Долго ждать, старинушка!

— Недолго, нет, — возразил слуга.

И заговорил тише:

— По секрету скажу: погряз в горестях, разводится он с женой, уже на судоговорение подал! А как только примут дело его к разводу, так на другой женится, на хорошей. А не женится, так сойдется... Дом свой заведет. Нельзя ему без своего дома!

Гости слушали и все более входили в нужды и горести самого желанного их сердцу российского композитора.

3

Между тем Глинка отнюдь не погряз в горестях и со стороны казался более несчастливим, чем это было на самом деле. Разрыв с Марией Петровной произошел легче, чем он сам в глубине души ожидал. И даже не без некоторой хитрости с его стороны. Однажды он задремал и услышал то, о чем мог только подозревать. Посыльная от незнакомого барина, старая чухонка, сговаривалась с тещей о месте его свидания с Марией Пет-

ровной. Ранее покинутая им жена обмолзилась с матерью о свидании, назначенном ею князю Васильчикову, человеку, добивавшемуся ее руки. Михаилу Ивановичу не раз «открывали глаза» на ее увлечение. Теперь убедиться в измене жены помогла ему способность просыпаться при малейшем шепоте и спать при шуме. Мария Петровна не раз шепотом доверяла матери при спящем свои тайны. Он не винил ее. Случившееся помогало ему со спокойной совестью навсегда разойтись с ней. Он написал жене:

«Милостивая государыня, Мария Петровна, подозрение, закравшееся в мое сердце, и причины, в которых отчетом никому не обязан, запрещают мне далее жить с вами. Взаимная доверенность, основание супружеского счастья, уже давно между нами не существует. Мы должны расстаться, как следует благородным людям, без ссор, шума и взаимных упреков».

Он подал в Синод прошение о разводе и приготовился к «судоговорению». Суд должен развести его с Марией Петровной. В этом поможет и так кстати обнаружившаяся связь ее с Васильчиковым. Впрочем, необходимо попросту забыть, иначе действительно всех этих бедствий станет невпроворот!

Право, в его жизни произошли за этот год благодетельные перемены, и соболезнователи зря толкуют о власти над ним «богемии», о безделье его и апатии.

Сборник романсов напечатан, и хотя денег уже нет — ушли на долги, в том числе и Порфирию Яблочкину, купецкому сыну, — отрадно сознавать, что «Прощание с Петербургом» стало рубежом между отжитым и новым, освобождением от тех самых тягот, которые молва приписывает ему, как Юпитеру одиннадцать спутников, — этакое странное желание обязательно представлять его обделенным судьбой. Даже Екатерина Керн склонна возвеличить, а то и облагородить его мнимые и действительные неудачи.

А сколько написано за эти последние якобы «разгульные» его годы! Прав Маркевич, говоривший ему: «Мимоза, ты отлично умеешь пользоваться своим нездоровьем и, когда тебе нужно, отходить от людей под предлогом болезни, а когда хочешь побороть лень язвительностью — идешь к Кукольникову». Но ведь одновременно

немало доказательств обратного, мнительных наваждений, исцелений от... несуществующих болезней. Доктор, лечивший его порошками от болей в груди и желудке, признался как-то, что в порошках содержалась... сода.

Он неделями живет у карикатуриста Степанова и, глядя на его рисунки, исцеляется теперь от бед, навешанных на себя общественным мнением. У Кукольника бывает шумно и тесно, а у Степанова просторно и тихо. Незлобивый юмор Степанова странно успокаивает Глинку, утверждает его в собственных мыслях о людях и о себе. Если бы еще уйти из капеллы! Разногласия с Львовым грозят перейти в ссору. Надо ли ссориться с этим царедворцем, не надеясь ни на чью поддержку? И можно ли дальше позволять шельмовать себя? Матери он открылся в своих намерениях в письме в Новоспасское: «Через две недели мне следует чин коллежского асессора за выслугу лет. Вскоре по получении его я непременно подам в отставку и уверен, что получу ее, потому что Львов желает от меня отделаться».

Он писал ей об этом в ноябре. Еще раньше, в сентябре, сам побывал в Новоспасском, взяв на службе отпуск из-за тяжелой болезни младшего брата, Андрея. И как бывало с ним каждый раз, поездка туда принесла с собой новые раздумья и бодрящую неутоленную потребность в действии, в завершении начатых трудов. Может, потому и все недавно пережитое отодвигалось в далекое прошлое, как бы повинуюсь неизменному ходу событий: «за счастьем вслед идут печали...».

Хорошо было ехать по новому каменному тракту, стиснутому лесами. Лес наступал со всех сторон, и казалось, карета вот-вот упрется в глухую лесную стену. Но неожиданно появлялись впереди свежевырубленные просеки, и в их сумрачную душистую тень бойко вбегали кони. По тракту брели коробейники, закрывая холстиной свои ларцы с товарами, куда-то плелись крестьянские возы и мирно вышагивали солдаты с поклажей на спине, роняя, как вздохи, слова песни. Небо голубело, леса стояли березовые, чистые. Лес таил обманчивую свежесть красок и обвеивал путников своим накопленным за лето теплом. Опавшие листья устилали

землю плотным, прибитым дождями покровом, словно хоронили это тепло. Рябина пылала огнем среди белых берез, а в низинах светились маленькие озерца, заполненные невесть откуда взявшейся мелкой рыбешкой. Рвущиеся к небу золотистые сосны одиноко высились на пригорках, как маяки, и словно призывали на себя грозу. Кое-где верхушки их были отсечены бурей.

Как странно было видеть, подъезжая к деревням, желтые заборы военных поселений, солдат в форме и «военных мужиков», вместе работающих в поле. Украинцы оказались здесь вместе с сибирячками и жителями этих мест, молодые со старыми. Солдаты из женатых, повинувшись аракчеевскому велению, выписывали к себе по месту службы своих жен, а холостые наспех выбирали невест из здешних. Времени на брачное их устройство было дано немного, полки расселялись по деревням, и Глинка долго ехал в полосе сплошных свадеб, надрывных, тянувшихся за каретой песен. Столица с ее заботами, с Кукольников, Сенковским и дядюшкой Иваном Андреевичем, казалось, находилась теперь за тридевять земель: отовсюду выступали, заполонив дорогу, пестрые толпы переселенцев.

Брат Андрей умер. Глинка бродил по Новоспасскому. В голосе колоколов, только что отзвонивших панихиду, отпевших Андрея, ловил издавна знакомое, примиряющее с его смертью. Словно в самой строгости этого пейзажа, давно ставшего родным — церквушки на холме и деревеньки, укрытой лесом, — было что-то низводящее смерть до обычности и поглощающее скорбь. Сейчас он остро сожалел, что так мало в сущности бывал с Андреем, и не допускал мысли, что грозит брату... Последнее время редко приходилось бывать здесь. Но что за рок продолжает преследовать род Глинок? Сколько уже было смертей! Оставшиеся в живых кажутся себе все более одинокими. Сегодня, когда в гостиной их старого дома они собрались возле матери, Михаилу Ивановичу подумалось, что семьи их, собственно, уже нет и младший, Андрей, как-то соединял всех. С его смертью одна Людмила — Куконушка, как прозвал он ее, — способна жить не только своей, но их общей жизнью, не обособляясь от брата и сестер. Евгения Андреевна, разделяя это же его чувство, пробовала

внушить, что иначе быть не может и он — Михаил — не должен из-за этого мучиться. И чтобы не возникали в нем бесплодные угрызения вдруг растревоженной совести, сказала, оставшись с сыном наедине:

— Ради тебя сейчас живу, тебе надеюсь пригодиться. Тебе принадлежит Новоспасское, не только село — все мы!

И когда он в волнении пытался поправить ее: «Что вы говорите, маменька?», Евгения Андреевна строго остановила:

— Только так! Не будь тебя — не было бы у меня сил жить здесь... Хоть в Петербурге, сам знаешь, мне неуютно. Нужно будет — поезжай за границу, деньги найдем. Об одном прошу: с Марией Петровной закончи дело прилично и больше не втягивай себя в хлопоты!

Под «хлопотами» она понимала опять какие-нибудь неудачи в семейной его жизни. Михаил Иванович, потупившись, ответил, благодарный в душе за эту ее мягкость к нему:

— Я научен, маменька, Марией Петровной...

Он чувствовал, что ответ этот звучит несколько по-детски. И очень уж виновато! Всегда в отношении к матери он невольно принимал этот безмерно почтительный тон. Но в этом все же никогда не было жеста.

— После развода небось руку Екатерины Керн будешь просить? — напрямик спросила мать.

— Очень ее люблю, маменька. Не могу без нее жить. Утешаюсь, думая о ней.

— А она утешается, думая о тебе? — с грустной насмешливостью произнесла Евгения Андреевна, не очень веря в их брак. «Если бы жить не могли друг без друга — не утешались бы, а вместе приехали бы сюда, бог с ним, с законом! Осудят люди, но потом простят», — подумала она.

Бывают минуты, когда Глинка не узнает мать. В голосе и в морщинистых вялых чертах ее лица нет прежней мягкости и доброты. Занятый эти годы собой, он почему-то решил, что доброта ее всегдашняя и мать не может меняться, а доброта между тем стала деловитая, намеренная. Странно, но так!

Они сидели в отцовском кабинете. Чугунные фигуры рысаков красовались на шкафу в память об отцов-

ских увлечениях коневодством и скачками. Большой письменный стол, запыленный с края, стоял в углу. Мать изредка присаживалась за него, дети же избегали здесь бывать.

— Вам не нравится Екатерина Ермолаевна? — опечалился Глинка.

— Что ты, родной мой? Могу ли? ..

— Скажите, что думаете, маменька.

— Не очень ли она любит себя? Не так, как Мария Петровна, я не о том, — свое девичество, свое одиночество, свой характер? Я побаиваюсь, скажу тебе, девиц, которые очень рассудительны и горды. А кто она перед тобой. . .

— Маменька, она совсем не горда, не холодна, хотя и рассудительна. Она очень умна и сердечна, но стоит ли об этом говорить. . .

— Ты прав, не стоит.

Семейное горе еще не успело смягчиться временем. О себе говорить не хотелось. Было тяжело приступать к делам, к будничным подсчетам хозяйственных расходов и прибылей, участвовать в разговорах матери с управляющим. Да и трудно советовать: надо ли везти пеньку на продажу в Ляды Могилевской губернии, где скупают ее знакомые фабриканты, или отдать смоленским купцам, надо ли в селе Красном заказывать новый экипаж — это село славится выделкой экипажей — или своими силами починить старый? Трудно подсказать, почему десяти пудов сальных свечей оказалось в прошлом году мало. Известно хотя, что сальная свеча сгорает быстрее стеариновой. Продают их «венгерцы», пешие разносчики, вместе с помадой фабрики Мусатова и нитками. Но еще труднее высчитать, правильно ли получен оброк с крестьян и достаточно ли доходен сбыт льняного волокна, если с каждой десятины льна получено двадцать пудов его.

Евгения Андреевна сказала, что при жизни Ивана Николаевича одни яблоки давали гораздо больше дохода, теперь за тридцать три осьмины яблок выручено лишь пятьдесят два рубля, и Глинка вспоминал «яблоневого мужика», удивляясь, неужто и тогда было не все равно, сколько стоят яблоки на базаре. Мельком он по-

думал, однако, что от этих прибылей, от пеньки, яблок да сукновальни и зависит ведь безбедная петербургская его жизнь, да еще и поездка за границу, а он до сих пор пользуется маменькиными деньгами, готовый по характеру своему совсем отказаться от продажи своих сочинений.

Через месяц он уже вернулся опять в Петербург. Был октябрь, а в декабре получил ожидаемую отставку по службе. Собственно, в эту пору и началось жизненное его переустройство в столице, преодоление горестей.

4

У Маркевича, на петербургской его квартире, в день именин хозяина Глинка встретил Тараса Григорьевича. Шевченко сидел поодаль за ломберным столиком, в старенькой студенческой куртке, и что-то быстро писал изгрызенным кусочком тоненького карандаша. Именно этот карандаш запомнился Глинке в его сильной, увесистой руке. Молодое лицо художника, обрамленное бакенами, еще носило следы летнего загара и привлекло Глинку застенчивой своей серьезностью. Он не робел, но явно стеснялся шумных столичных гостей, нагрянувших в этот день к Маркевичу. Возле Шевченко лежал экземпляр только что вышедшего в Петербурге «Кобзаря», и Тарас Григорьевич, исполняя чью-то просьбу, переводил из него по-русски.

— Воспитанник Академии художеств! — шепнул Глинке кто-то из гостей. — Ученик «Карла Великого».

Так, с легкой руки Жуковского, прозвали Брюллова.

Михаил Иванович стремительно подошел к Шевченко и поклонился.

— Здравствуйте. Столько слышал о вас!..

И, встретив вопросительный, но чуть отчужденный взгляд художника, сказал, представляясь:

— Глинка.

— Вы? — с открытым изумлением встал художник, отложив карандаш, и в серых глазах его мелькнуло веселое недоверие, смешанное с радостью от неожиданной этой встречи. — Простите, я ведь знаю о вас

больше от слепых, а слепые говорили, будто вы большой и высокий.

— Да вот, какой видите! — пожал плечами Глинка. — А почему же это, смею спросить, осведомлены обо мне от слепых? А, понимаю, — спохватился он. — От кобзарей, от Вересая. Небось в Качановке были? Ждали ведь вас там у Тарновского.

— Звать-то вас, кажется, Михайло Иванович?

— Михайло, — в тон ему шутливо подтвердил Глинка. — Слушайте, у меня Гулак-Артемовский живет, большим певцом станет человек, да я не о том сейчас, тоже ведь земляк он ваш и друг.

— Земляков у меня в столице много, но не все из них друзья, Михайло Иванович. Гулак — друг закадычный!

Они сидели на обитом красным бархатом диване и не торопились к остальным гостям, собиравшимся кучкой.

— Немало моих земляков, Михайло Иванович, в Петербурге украинскую кухню держат, в шароварах ходят, лакеями парубков ставят в расшитых рубахах, а от того истыми украинцами они не стали. Мода у нас, Михайло Иванович, на все украинское. И у вас в оперном искусстве повелась. А я как услышу «Казака-стихотворца» Шаховского, так готов этого стихотворца за чуб таскать. А Булгарин? Все эти повести о Малороссии? Того же стоят! Знаете, кто о вас рассказывал мне, кроме Маркевича? Штернберг. Он полюбил вас, Михайло Иванович.

— Вы дружите с ним? — спросил Глинка, думая о другом. Ему вдруг захотелось увидеть работы Шевченко, только тогда мог бы уяснить, насколько прав он в этой своей критике Шаховского, Булгарина и всех на свете. . .

— Почти в одно время «автопортреты» писали! — прямо не отвечая на вопрос, сказал Шевченко.

— Лица разумею разные, а прием?

— «Контрапосты», от них не уйдешь, — недовольно ответил Шевченко. — Обязательность экспрессии, отсюда натяжка. Я так думаю, но Брюллова не отвергну, все его указания приму.

— Все ли? — переспросил Глинка, подумав о том,

что он бы сам принял и отверг в последних работах «Карла Великого» и в его нашумевшей картине «Последний день Помпеи».

— Вот «Катерину» пишу, — ответил Шевченко, — это, может быть, будет и не по душе Карлу Павловичу. Брошенная своим москаликом, паном офицером, будь ему неладно, бредет Катерина в село. На дороге сидит дед и выстругивает ложки... Да вы ведь, Михайло Иванович, не читали «Кобзаря». И поэму эту мою «Катерину» не можете знать. А картина моя с этой поэмой — одно!

Опять что-то недоверчивое и отчужденное мелькнуло в его лице. Вглядываясь в Глинку большими серыми глазами, он сказал:

— А может, не интересен вам мой «Кобзарь»? Говорят, для извозчиков и дворников пишу.

— То же самое и о моем «Сусанине» говорили! — усмехнулся Глинка.

— Карл Павлович не должен бы ругать «Катерину», — с живостью продолжал Шевченко. — Он учит меня: «Не копируй, во все вкладывай себя, свое отношение... Изменяй по-своему». Только так и можно жить в искусстве, не правда ли, Михаил Иванович? Ну, а модель не всегда благородна, и жизнь облагораживать — значит себе и обществу врать.

И вдруг, весело улыбнувшись, спросил:

— А что же Артемовский? Почему не заходит ко мне? Хорошо ли ему?

Его, видимо, забавляла мысль о том, что он с Гулаком-Артемовским оказались в столице в одном положении: оба в школярах у знаменитых учителей. От этого и его собственное отношение к Глинке было сейчас заведомо сдержанным. В то же время давнее любопытство к музыке и стремление постичь общее между всеми искусствами делало его жадным, побуждало узнать от композитора как можно больше о вкусах его и тайнах профессии. Он — Глинка — во всем стоял для него особняком, ни на кого не похожий, знаменитый и вместе с тем лишенный какого-либо менторства, жеста — того, чем грешил «Карл Великий».

И когда Глинка ответил, что Артемовского надо бы послать за границу, да средств нет, он живо отклик-

нулся, помня, как сам был выкуплен благодаря Жуковскому у помещика Энгельгардта:

— А нельзя ли лотерею учредить, вечер в его честь, с пожертвованиями?

Ему казалось, что, если Глинка возьмется за устройство такого вечера, ничего филантропического и унизительного для Гулака-Артемовского не будет. И в этом сейчас яснее всего проявлялось у него к Глинке чувство и ученического и глубокого общественного доверия. В самом деле, почему так не сделать? Эх, если бы Семену побывать в Италии да «косилить» тамошних певцов! Шевченко представил себе Гулака-Артемовского на улицах Рима и рассмеялся.

— Чему это вы? — забеспокоился Глинка, оглядываясь, словно ища, что же могло рассмешить художника. Гости все так же чинно сидели, и Маркевич потешал их рассказом, как полтавский городничий писал стихи и присвоил себе немало строк из «Полтавы» Пушкина, за что и был низведен с должности.

— Что там городничий! Городничий всегда вор, а вот братья литераторы, пишущие об Украине, все друг у друга воруют, может быть, потому, что сами там не были. . . — заметил Шевченко.

Вопрос этот — что написано об Украине — крайне занимал его. И он опять пожаловался Глинке на Шаховского, а с ним вместе и на Булгарина, Сомова и Нарезного. По его словам, Сомов в повести своей «Гайдамак» извратил народное предание о Гаркуше; Булгарин, не зная истины, написал о Хмельницком, а «Запорожец» Нарезного — вообще пустое произведение.

— И надоели же эти лубочные восторги и героическая бутафория на один лад! Вот, Михайло Иванович, попадет мне скоро! Мои «Гайдамаки» в свет выйдут!

Он умолк, поняв, что сказал слишком много для первого их знакомства и в раздражении мог пренебречь правилами приличия. К тому же Маркевич заметил отсутствие за столом Глинки и крикнул:

— Мишель, не полонила ли тебя «Тарасова доля»?

Маркевич решил, что Шевченко рассказывает ему что-то занятное о себе.

Был он лохмат, неуклюж и бестолково радушен, как и у себя в поместье. Таким привык его видеть Глинка,

внешне рассеянным и сонливым. Такая манера себя держать сберегала ему покой, ограждала от слухов, наветов и клеветы — «мало ли что сболтнешь шутя». Труженик и хитрец, он кончал тем временем пятый том истории Малороссии и, увлекаясь казацкой романтикой, скупал судебные материалы о Железняке, еще не решив, правда, как их использует.

Глинка и Шевченко встали.

— Мой адрес знаете? — спросил Михаил Иванович. — У Кукольника ищите, на Фонарном.

— У Кукольника? — удивленно протянул Шевченко. Он еще не умел скрывать ни радостей, ни обид, ни удивления. — Ну, а мой: Пятая линия, в доме Ариста. Может быть, на казенную квартиру перейду, в академию, но пока там...

Сказав так, они поклонились друг другу, отошли и смешались с гостями.

5

Было известно, что во Франции в крещение устраивали при дворе «бобовый маскарад». Это празднество родилось от обычая запекать в пироге боб и в избытке простодушного терпения ждать, кому же попадет заветный кусок с бобом. Но о том, что по французскому образцу затеяли в Царском Селе крещенское увеселение, узнали совсем недавно. Михаил Иванович, приглашенный туда графом Виельгорским, уже во дворце получил маску: какую-то обезьянью морду с вывороченным языком. Щелки для глаз были в маске прорезаны чересчур широко одна от другой, Михаил Иванович плохо видел и проклинал в душе весь этот нелепый церемониал.

Королем Бобом был, однако, сам граф Михаил Юрьевич, королевой Бобиной — приближенная ко двору Александра Смирнова, среди детей короля — фрейлина Бартенева и князь Белосельский. В знатности бобовому королю не откажешь! И в выдумке нельзя отказать устроителям маскарада. Почтенный Алексей Федорович Львов именуется министром публичного мрака и разногласицы, — должно ли это означать развенчание его или, напротив, возвеличение? Министр неправосудия,

сиречь беззакония, — герцог Ольденбургский. Директор театров Гедеонов — в роли посла от царя Гороха. Впрочем, никого из них нельзя счесть обиженными, если сам граф Шувалов всего лишь министр над кухнями. И даже не оставлен без внимания светлейший князь Меншиков, представляющий в одежде морского царя от российского флота. Император Николай Павлович, по слухам, одет монахом, но некоторые утверждают — странствующим рыцарем. Во всяком случае, отыскать в толпе императора труднее, чем найти в пироге запеченный боб.

Глинка в обезьяньей маске вяло движется по скользкому паркету громадного зала, uznанный большинством из-за маленького своего роста. Карлик короля Боба первым подходит к нему и шепчет:

- Есть продажная скрипка!
- Куплю! — отвечает Михаил Иванович. — Чья?
- Страдивариуса!
- Кто продает?
- Паганини.

Смеется ли над ним карлик? За такую скрипку не пожалел бы денег Виельгорский.

- А его величество король Боб не хочет ее купить?
- У него нет денег.
- Сколько же она стоит?
- Одной готовой арии из «Руслана».
- У меня нет с собой нот.
- Пошлите скорохода за нотами.

Карлик кому-то машет рукой, и перед Глинкой вырастает пугало в перьях, в громадных, похожих на лыжи, туфлях.

- У меня закрыта квартира.
- Аист пролезет через трубу.

И тут же, по мановению руки карлика, возле Глинки оказывается в белых тончайших ботфортах готовый служить ему аист. Он стучит клювом о паркет и ждет его приказания. Это начинает потешать Михаила Ивановича. Как может королевский карлик столь быстро доставлять нужных людей?

— В моем камине еще не прогорели угли, и посланец ваш может обжечься! — говорит он, намереваясь проскользнуть мимо карлика.

И тотчас к нему стремительно подбегает королевский пожарный, в красном халате, с длинной черной кишкой.

Нет, от них никуда не денешься! Окруженный скороходом, аистом, карликом и пожарным, Глинка отходит к оконной портьере, за которой в заснеженном окне мерно качают ветвями исполинские сосны, и соглашается:

— Хорошо, пусть едут на Фонарный...

Но в какое-то мгновение все столпившиеся вокруг него слуги куда-то с хохотом исчезают, и Глинка остается один на ярком свете, в смущении оглядывая обративших на него внимание высокородных дам в фижмах, с возведенными к потолку прическами.

— Михаил Иванович, что это вы, право?.. Пойдемте в костюмерную! — слышит он голос Керн. Она чуть нагибается к нему, знатная фламандская красотка из свиты короля, и шепчет: — Зачем вам эта нелепая маска? Идите за мной.

И вскоре он выходит из костюмерной, одетый датским принцем Гамлетом. Он с наслаждением вдыхает прохладный воздух зала, чуть отдающий березовым угаром; в костюмерной нестерпимо пахло духами, пудрой и до тошноты слежавшимися одеждами екатерининского и елизаветинского веков. Его караулит у выхода Екатерина Ермолаевна и радостно говорит:

— Ну вот, мой принц, какое чудесное превращенье!

Он и сам рад, что отделался от маски. К тому же теперь его гораздо труднее узнать — в светлом парике, в легкой одежде датского принца.

— Вы чудесная! — восклицает Глинка. — Екатерина Ермолаевна, вы красите собой дворец! Вы возвращаете ему потерянный разум!

Керн смеется и останавливает его:

— Не забудьте только, мой принц, что вы в ведении графа Уварова. Он будет вводить послов на прием к королю.

Теперь уже Глинке все равно. Ему хочется ей сказать: «Хотите — низвергну короля, хотите — попрошу Михаила Юрьевича об одном одолжении — не мешать нам». Но, сдерживая себя, он отвечает словами из Шекспира:

— «Я Гамлет, принц датский!»

Они обходят танцующих и вновь останавливаются у окна.

Глинка представляет себе вдали темный пруд с памятником в середине, поставленным в честь победы на Средиземном море, лицейский флигель дворца, сад, отрезвляюще обыденное лицо часового в будке.

— Там жил и учился Пушкин! — говорит он. — Рядом жила и я, очень недолго. Отсюда вышли Кюхельбекер, Дельвиг, Пущин — те, что могли сказать о себе: «С младенчества дух песен в нас горел». Царское Село им было отечеством — я верю. Вы знаете, Катя, после Пушкина что-то иссякло в обществе, нет того легкого, дружественного и пронизательного таланта, нет среды... Нет простора. А ведь он мог бы жить, Катенька!..

Он не замечает, что изменил себе и не величает ее больше по имени и отчеству.

— Мама много говорила о нем. И, кажется, никого так безответно не любила! — замечает Керн.

— Безответно! — повторяет Глинка в раздумье. — А чем бы он мог ей ответить? Не думали? Но что говорить! С Пушкиным ушла молодость его века, все лучшее той поры. Я вижу это так же ясно, как ваше лицо. И вот вы еще от его круга, его времени! Я чувствую...

— Вы это чувствуете и между тем дружите с Кукольниковым? — едко вставляет она.

— Не преувеличивайте.

Карлик короля в удивлении уставился в него взглядом, куда-то отбежал и тут же вновь появился.

— Вас просит граф Уваров, — сказал он, поклонившись.

Глинка раздраженно, не оборачиваясь, кивнул ему.

— Экая жалость! — шепнул он. — Боюсь, что как принц датский не буду на своем месте. И разве уже началось представление послов?

— Идите! — тихо ответила она. — Когда вы спокойны — вам все удастся! Подумаешь, трудность — однажды сойти за Гамлета! Жду вас у себя в воскресенье.

Но Глинке представлять посла не пришлось. Крупным размашистым шагом, раскланиваясь на ходу, к нему спешил, в черном домашнем сюртуке, не удосужив-

шийся переодеться, Нестор Кукольник. В вольности его поведения, в костюме, в небрежности, с которой он отвечал на поклоны, было нечто придававшее ему в глазах общества независимость. А еще толкуют, будто он угодлив! Входящий в славу писатель-царедворец, он не под стать Жуковскому, всегда сдержанно важному и по-домашнему простому в этой своей важности. Этот любит ошарашить внезапным своим появлением, метким словом, покрасоваться. И сейчас, рискуя вызвать недовольство графа Шувалова, главного устроителя маскарада, он явился за Глинкой.

— Мишель, тебя ждут гости. Время позднее, едем домой.

— Кто ждет? Бог с тобой, Нестор!

В мыслях невольно мелькнули сказочные фигуры — скорохода, королевского пожарного, карлика. И Глинка весело рассмеялся.

— Нестор, ты кудесник! Ступай в костюмерную, оденься волхвом.

— Едем. Я извинюсь за тебя перед графом. Тебя ждут.

— Кто?

— Увидишь, ты будешь рад.

Он почти тащил Глинку к выходу. А когда недвижные фигуры часовых скрылись за дверьми и выходящих обдало морозным воздухом, Глинка, нащупывая на себе второпях надетую шубу поверх рыцарского наряда, вздохнул с облегчением:

— А, пожалуй, ты вовремя пришел, дикий Нестор. Ты вызволил меня. Скучно было бы пребывать принцем Гамлетом. За костюмом моим послал?

— Привезут, — беспечно бросил Кукольник. — Переоденешься — вернешь этот. Как ты попал на маскарад? Сказал, что едешь в Царское Село, и пропал...

— Виельгорский попутал. Да еще обезьяной вырядил. Так кто же ждет меня, Нестор?

Тройка неслась стремглав. В снежной пыли, как виденье, мелькали и двоились фонари, шлагбаумы, будки, редкие, окутанные мраком дома. Ясно было только в небе, с неба падал, рассеивая снежную пыль, лучистый свет звезд. И потому еще более удивительно было,

оказавшись в своем переулке, увидеть у дома другие две тройки лошадей, мирно жующих овес, и пахучее, разбросанное на снегу сено. Действительно, кто-то приехал издалека! Глинка шагнул к себе, не снимая шубы, и приоткрыл дверь. На тахте, спиной к размаляванной стене, сидел навятяжку Остап Вересай, белоусый, подстриженный по-солдатски. Рядом с ним — Шевченко, поодаль Маркевич, Сенковский и брат Нестора Кукольника — Платон.

И хотя появление кобзаря было более чем неожиданно, Глинка, мгновенно вспомнив Качановку и кобзарный гурт, прежде чем дознаваться, зачем приехал Вересай, крикнул, подбегая к нему:

— Остап, ты один? А где же Уля? — столь неотделимым казался его облик от Ули.

Старик не отвечал, тянулся обнять Глинку и побаивался, не забыл ли его барин. Губы его слегка дрожали, он что-то шептал.

— Здесь она, Уля, в самоварной, — ответили за него Михаилу Ивановичу.

— Да вот приехал! Губерния послала к тебе... — произнес наконец Остап.

Глинка догадался: наверное, учительское общество и сами кобзари отрядили Остапа в столицу. Говорил же как-то Гедеонов, что слепых певцов для оперы будут поставлять в натуре. Только не к Гедеонову надо вести Остапа! Он тут же заметил брошенные в угол тулупы, кобзу в знакомом ковровом мешке, пышные кругляши белого хлеба, обернутые в полотенце и смерзшиеся в пути.

— Так где же Уля? — повторил он радостно.

И, обернувшись, увидел ее, встревоженную необычным его нарядом и сборищем людей, не то радующихся ей, не то недоумевающих, все такую же красивую и властную в своей красоте.

— Здравствуйте, барин Михаил Иванович, — сказала она ласково, стараясь не глядеть на диковинный костюм его — одеяние датского принца.

За ними наблюдал ревнивый, беспокойный Шевченко и добродушно насупленный, ничему не удивляющийся Сенковский.

Гулак-Артемовский изнывал в тоске по дому, все острее ощущая неустроенность свою в столице. Он давно уже ушел из-под опеки Марии Петровны, предпочтя ночевку у новых своих знакомых жизни на ее кухне. Впрочем, стоило бы ему поддаться на уловки Марии Петровны — поддакнуть ей в разговорах о Михаиле Ивановиче, согласиться с тем, какой легкомысленный человек ее муж, — и ничто бы не мешало ему, уголовному жителю, перебраться в оставленный Глинкой кабинет. Однако раздражала не только Мария Петровна, не менее тяжело было бывать у Кукольника и видеть там Глинку то веселящимся, то отчужденным. В глубине души Гулак-Артемовский сурово осуждал его и мучился тем, что не может высказать ему этого своего осуждения. Уход Михаила Ивановича из капеллы, предстоящий бракоразводный процесс, дружба с «братией», измена «Руслану», работа над которым требовала сосредоточенности, — все это практически настроенному Гулаку казалось цепью закономерных неудач, происходящих от его — Глинки — непонятной беспечности... Жить бы да преуспевать человеку — нет, надо же создать самому себе столько неудобств!

Зимой Гулак посетил Тараса Григорьевича на академической его квартире и пожаловался:

— Знал бы — не приехал! Люблю жить просто, с простыми людьми, а здесь не знаешь, как и держать себя. И если бы человек он был плохой, — речь шла о Глинке, — а то ведь цены ему нет, золотая душа у него, а пропадет...

— Что-то не пойму тебя! — недовольно возразил ему Шевченко. — Нам с тобой выходить на дорогу надо, а Глинка уже вышел. Как так «пропадет»? Сколько музыкой своей добра сделал человечеству!

Гулак не стал его ни в чем разуверять и в раздражении выдергивал колоски из висевших на стене сухих пшеничных венков. Шевченко украсил ими выбеленные казенные стены своей полупустой квартиры. Здесь были громадные антресоли, пугавшие Гулака своей высотой, и широкие окна, выходившие на Неву.

— Смотри, Семен, — говорил Шевченко, — будь

строг к людям, да не стань ханжой, не бойся столицы. Сошенко мой, — он вспомнил о своем недавнем сожителе на прежней квартире, — бранил меня за то, что свитку я променял на фрак и на вечера отважился ходить. Да еще и стихи писать начал. Светским шалопаем меня корил, Карлом Павловичем, не стыдно ли, мол, мне — бывшему замарашке — благодетелей своих подводить. Сошенко ближе меня всякие «казакофилы» стали, из тех, кто на русский язык запрет кладут, велят лишь по-своему разговаривать да подальше держаться от москалей. А сами... Ну, да что толковать! Сошенко ныне в чахотку себя вогнал, жаль мне его, а я, признаться тебе, не только не боюсь света, но и французский язык учу на досуге. Надо нам, Семен, среди всякой этой паршивой знати самим не быть баранами!

— Я брату написал, что не хочу здесь жить! Тошно мне! — упорствовал Гулак. — Что «казакофилы», что светские фаты — одно с ними душевное разорение. Скука, и все тут! В духовный хор уйду, коли светской правды нет. Меня к мужикам тянет, от панов подальше!..

— А я ему напишу, чтобы не слушал да препоручил тебя мне! — рассердился Шевченко. — Экий пасхальный ангелочек: «от панов подальше»! — с сердцем повторил он. — Ты свою силу копи, а не разменивай. Паны панами, а мы сами по себе. Пугаться же панов нам не след. Да и среди панов пан Глинка твой — человек поистине славный. Кто это тебя, Семен, ханжеству научил, не попы ли да школяры? Отец твой поп, да ведь, кажется, не из тех богословов, что сатаной и адским возмездием пугают да к отцам-иезуитам льнут?

— Оставь, Тарас, разве я учиться не хочу или в силы свои не верю? Плохо мне потому, что Михаилу Ивановичу скверно. Сам знаешь, как за учителя страдаешь душой. Учитель должен быть не добр, но благополучен. Как бы тебе сказать...

— Неужто так скверно Михаилу Ивановичу? — переспросил Шевченко.

И Гулак подробно передал все, что знал о его жизни.

— Вот и Остап приехал к нему на время, и я тут... И кто бы пригрел Михаила Ивановича да покой бы ему

вернул? Слышал я, дочка генерала Керн его любит, да ведь ей небось невдомек, что время не ждет, и пока это Михаил Иванович с деньгами да с силами соберется... И будто больна она, Керн, самой надо лечиться!

Он сидел, по-бычьи низко наклонив голову, косматый, большой и сильный, рубаха потрескивала при его движениях и черный галстук, повязанный бабочкой, лез наверх, щекотал шею. И так сильна была в нем печаль, так тяготило его сейчас все происходившее с Глинкой, что меньше всего хотел он говорить о самом себе. Полное лицо его с крупными и добрыми чертами выражало ленивую и угрюмую досаду. Стоит ли толковать о себе, когда Михаилу Ивановичу плохо? По склонности все решать быстро и определенно, он хотел бы и отношения Керн с Глинкой разрешить, не сходя с места. Как трудно живут в столице! Но он понимал всю нелепость своего вмешательства в их дела и от этого только больше мрачнел: вот еще провидец явился, неожиданный пособник!

— Выйдем на Неву, — предложил Шевченко. — Нынче на верфь меня звали. Корабельные мастера просили деревянную статую Меркурия им изготовить да в кают-компанию на стене кронштадтский вид изобразить. Может, съездим?

Слуга Брюллова, Лукьян, живший здесь, быстро принес шапку, серый нагольный тулупчик и теплые сапоги с мехом.

— Надо бы и гостю тулуп, — сказал Шевченко, окинув взглядом легкую черную шинель Гулака, висевшую на гвозде.

Лукьян молча достал из чуланчика свой и, поклонившись, подал.

— Знаешь ли ты столицу? — спросил, выходя, Шевченко. — Город этот местами разноязычный, как Вавилон, кто не живет в нем: шведы, финны, татары, русские, а иные из приезжих, кроме Невского, ничего не видят. Потому и судят о столице лишь по Гостиному двору, Александровскому саду да Эрмитажу, который и в самом деле чудо из чудес!

Легкие беговые санки доставили их на Охту. В черной, «попынной», как здесь говорили, воде, пахнувшей

ворванью и канифолью, стояли у берега корабли. Темные контуры эллингов высились сзади, закрывая собой низенькие мастерские и жилые домики мастеровых. Тройки, звеня колокольцами, проносились стороной. Корабельный мастер в длинном сюртуке, похожий на купца, провел их во двор верфи мимо дремавшего стражника, оттуда в парильню, где гнут обшивочные доски для шпангоутов. Показывая моренное в окисях толстое дубовое бревно, идущее в киль корабля, мастер сказал:

— Самое дерево для Меркурия.

Шевченко погладил бревно рукой, усмехнулся. Ему нравилось быть здесь, по душе пришелся неторопливый, осанистый мастер, потянуло к работе. Они быстро сошлись в цене. Мастер принес толстую книгу по мифологии, похожую на псалтырь, и показал изображение Меркурия — бога торговли.

— В половину бы нам такого, по грудь, на нос корабля.

Пробыли на верфи долго, обходили все ее дворы и закоулки, послушали мастеровых. Казалось, верфь расположена далеко от города, но, по их словам, весной она сразу приблизится к городу, когда чуть рассеются туманы, прояснится даль и покажутся в небе первые треугольники журавлей, держащих путь на Ладугу. А только тронется лед, деревья на берегу обвяжут вышитыми полотенцами, они забьются на ветру, словно выпела, все в одну сторону, и, словно по их указке, пойдут отсюда в море корабли. В старой часовенке, излучающей ночью тихий, дремотный свет гниющего дерева, местный псаломщик будет читать триодь постную и триодь цветную, молясь о кораблях, унесших с новыми легкими парусами и все зимние тяготы.

— Тебе хочется в море? — спрашивал Шевченко. — Я часто выхожу на взморье и думаю: какой великолепный город основал Петр! Отсюда недалеко до Швеции, до Норвегии. До Торвальдсена, — прибавил он тихо. — Хотел бы туда. Побудешь у моря — и захватывает тебя широта мира, величие его! А ты, брат, о малом скорбишь, о пустяках санкт-петербургских.

Гулак-Артемовский не спорил. Вернулись в столицу поздно, съездили поглядеть недавно открытую царско-

сельскую железную дорогу, вспомнили примелькавшиеся стишки из модной пьесы, изображавшей провинциального подьячего, попавшего в Петербург:

До Павловска катался я
Железной мостовой,
Парами восхищался я,
Не только быстротой.

И, усталые, разошлись на Невском. Было десять вечера, когда Гулак-Артемовский постучался к Глинке, опасливо пройдя смежные комнаты, занятые «братией». У Глинки сидели «музыкальные ходоки», наконец-то добравшиеся до композитора, и степенно излагали ему свои нужды.

— А вот и он, знакомьтесь: Семен Гулак-Артемовский, певец, который должен стать выше Иванова, — оживленно сказал Глинка, и по голосу его понял Гулак, что композитор доволен встречей с этими людьми и чем-то еще случившимся сегодня. — Скоро поедешь, Семен, в Италию. Да, братец, уже сговорился с Волконским и Даргомыжским, устроим весной концерт в твою пользу, и кати немедля!

— Михаил Иванович, помилуйте, как вас оставляю? И могу ли я?

— Можешь, братец, — не дал ему досказать Глинка. И, обращаясь к гостям, весело повторил: — Не о том ли и вы печетесь, о народной музыке, об аранжировке ее, об искусстве русского пенья. Слепец Остап Вересай в Петербург за тем же пришел! За песнями куда же еще явишься?

Гулак не узнавал Глинку: веселое буйство и радостная решительность звучали в его голосе, придавали всем его обычно замедленным движениям какую-то отеканенную быстроту.

— В Италию поедешь! — почти крикнул он. — Собирайся!

— Что там, Михаил Иванович! — бормотал Гулак. — Я с великой охотой, но не вы ли говорили мне, что учиться у них особенно нечему.

— То ученому нечему! — так же весело поправил Глинка. — А тебе — есть чему. Может, не переборют

они тебя в пенье? Дай бог! Останешься собой. Зато итальянцев узнаешь!

И, помолчав, во всеуслышанье, нарочито громко сказал:

— Я тобой свой долг погашаю, Семен. Долг перед отечеством. Как вспомню об Иванове, оставшемся там, душа холодеет. Должен ты, Семен, лучше его петь! Так петь должен, чтобы все люди, не только итальянцы, диву дались. Ничего для тебя не пожалею, только учись...

Добровольский ласково глядел на юношу, и Гулаку казалось, словно все они, сообща, не один Глинка, напутствуют его сейчас и уже провожают в далекий и будто много раз хоженный ими путь.

«А я-то о бездействии его грустил, на него жаловался Тарасу», — подумалось Гулаку.

Весной он уехал. Удивительно быстро прошел для него этот год, осуществив самые заветные желания. Глинки не было в день его отъезда — Михаил Иванович неожиданно отбыл в Новоспасское. Жил Гулак в то время в Царском Селе и уезжал оттуда. Провожал Гулака Тарас Григорьевич, расцеловал его на вокзале и долго махал рукой, пока копотный паровичок после трех длинных звонков умчал маленький, в три вагона, железнодорожный состав. Перрон опустел, один полицейский остался, как черная галка, на площади.

7

«Гофмаршал музыки» умирал. Было нескончаемо тихо в большом его доме, обманчивая пустынная тишина стояла на улице, застеленной в этой стороне соломой, чтобы стук повозок не тревожил умирающего, и подслеповатый белый фонарь маячил перед тяжелыми, железом окованными дверьми, как свеча подле божницы. Но Кавос слышал гул начавшегося на Неве ледохода, истошный крик галочьих стай в весенней голубизне влажного неба и яснее всего — негромкое слаженное пенье драгун, выходящих в эту пору из расположенных вблизи зимних казарм. Кавос совсем недавно кончил кантату «Весна в Петербурге».

О том, что звуки, скрытые для других, явственно доходили до Кавоса, сидевшие возле него могли судить по тому, как руки композитора, покоившиеся на одеяле, вдруг приходили в движение и пальцы пробовали передать возникшую в его воображении мелодию. Умирая, он жил этим не ведомым никому и властно тянувшим в свою усыпительную глубину миром звуков. Он, передавший в музыке марш екатерининских полков, битв трех русских богатырей и подвиг своего, доглинковского Сусанина, сейчас хотел слышать не им сочиненное. «Синьор Калиныч», исполняя его просьбу, играл на фортепиано «Разуверение» и «Жаворонка». Один из сыновей, наклонясь к отцу, ловил редкий его шепот: «Хорошо...»

Слуга не спал уже несколько дней, но не смел пригласить к фортепиано никого из музыкантов, хотя многие исполнители сидели вместе с врачами в соседней комнате. Кавос все чаще просил сыграть, и один «синьор Калиныч» догадывался, чем можно укрепить умирающего. Фортепиано стояло не так далеко от кровати, покрытое черной бархатной портьерой. Только столик с лекарствами и кресла, подвинутые к ложу умирающего, отделяли его от кровати, но всем казалось, что звуки музыки долетают откуда-то издалека, и самому Кавосу было легче слушать и постигать их доходящими к нему издали. И от этого порой он забывал, воочию ли людей слышит, мелодии или только представляет себе, и легче было уходить из жизни, как бы сливая небытие с действительностью и все более отдаляясь от фортепиано в темную глубину спальни.

Но как-то ночью, осененный догадкой об этом благодетельном обмане и о скорой своей кончине, он широко раскрыл глаза и подозвал слугу. Сын, поняв его желание, тут же оторвал «синьора Калиныча» от игры. Трепетали огоньки свечей, бросая неверный отсвет на мягкие, пышные ковры и рассеивая подступающий к кровати густой ночной мрак.

- Глинка не приезжал?
- Нет.
- Пошли за ним.
- Посылал. В пути он... из Смоленска.
- Пошли опять. Нет, постой, поезжай сам.

— А играть вам... — не договаривал слуга.

— Попроси Даргомыжского.

— Его нет, — неохотно признался слуга, скрывая, сколько людей уже безвыходно продежурило в этом доме в надежде, не позовет ли их Кавос и не станет ли ему лучше. Только вечером ушел отсюда Даргомыжский.

— Нет... — повторил Кавос. — Ну, ничего, все-таки поезжай.

За фортепиано сел один из врачей, Константин Берг. Он играл из Баха, играл плохо, хуже «синьора Калиныча», и Кавос спустя полчаса шепнул сыну:

— Давно ли играет?

Он боялся, что теряет сознание, а с ним и ощущение времени. Чуткий к малейшей фальши в игре, тем не менее не хотел обидеть пианиста каким-либо замечанием.

— Только что начал играть, — ответил сын.

— Пусть кончит. Не надо музыки.

В спальне стало непривычно глухо и еще более беспокойно. Словно только теперь смерть выглянула на всех из угла комнаты, завешенного портьерой. Слуга, игравший здесь часами, успокаивал не только умирающего, но и остальных. И сколь неотъемлемым был «синьор Калиныч» от этого дома, неразлучен со старым Кавосом! Без слуги даже сыновья Кавоса, присутствующие здесь, терялись. Женщин не впускали, а из слуг композитор держал возле себя одного «синьора Калиныча». Пока слуга ездил убедиться, что Михаила Ивановича нет, Кавос лежал недвижно. Вокруг глаз его, казалось, все явственнее обозначались синеватые круги — проступающие признаки близкой кончины. Когда слуга, вернувшись, доложил: «Еще не приехал», — Кавос почти безразлично кивнул головой. «Синьору Калинычу» показалось, что старик отходит ко сну: глаза его были закрыты, губы сжаты, и только большие оттопыренные уши как бы невольно ловили малейший звук. Может быть, он позабыл о Глинке или устал от ожидания, но «синьор Калиныч» приписал это другому: без музыки Кавос все более теряет силы!

И «синьор Калиныч» вновь заиграл. В потрепанном сюртуке, сухонький, с блестящим взглядом скорбных,

запавших от бессонницы глаз, с очками, смешно вскинутыми на лоб, он исполнял теперь Кавоса, самое лучшее из сочиненного им. Из множества сложенных композитором песен, арий и кантат он выбирал доставившие ему славу, любимые двором, похваленные некогда императрицей и как бы утверждавшие теперь богатство и широту прожитой им, Кавосом, жизни. Но врач, в тревоге следивший за тем, как меняется лицо старика, уловил его шепот:

— Не надо, Глинку!

И, не смея подумать, что Кавос, умирая, отрекается от всего созданного им, «синьор Калиныч» уже с упрямством исполнял его лучшие арии, не замечая, что плачет и в волнении слишком бьет по клавишам. Только доиграв «Провожальную» — кантату в честь уходящих в поход русских полков, — слуга покорился и мягкими движениями пальцев взял первые аккорды глинковского «Разуверения», звучавшего сейчас как реквием.

И в эту минуту в дверях появился Михаил Иванович, порозовевший от утренних заморозков, от быстрой скачки на тройке, стремительный и испуганный.

— Здравствуйте, господа, — тихо сказал он, поклонившись и спрашивая взглядом о Кавосе. . .

Доктор Берг, словно оглушенный музыкой и нескончаемой этой бессонной ночью, вяло нагнулся над Кавосом и тронул его руку, привычно нащупывая пульс. Рука была холодна, а края плотно смеженных век как-то быстро, судорожно дрожали.

— Отходит! — с профессиональным спокойствием прошептал доктор.

И, подпуская ближе сыновей, а с ними и слугу, сказал Глинке со свидетельской и холодной важностью:

— Он мысленно был с вами. . . Да, господин Глинка, он посылал за вами и, слушая музыку, только что думал о вас! Я утверждаю!

Духовник держал поникшую руку композитора и с укором глядел на Берга, не успевшего предупредить о последних минутах композитора.

Отпевали Кавоса в католической церкви св. Екатерины. Столичные хоры исполняли реквием Керубини, и среди них пел хор императорской капеллы, уже в присутствии нового капельмейстера. Хоронили на Волко-

вом кладбище. Был конец апреля. Глинка, шагая за гробом позади слуги, в пестрой толпе актеров и почитателей Кавоса, видел себя в чем-то виноватым перед Кавосом и вместе с тем благодарным ему еще с юношеских лет.

8

В «Художественной газете», издаваемой Струговичковым, Кукольник пишет о сборнике «Прощание с Петербургом»: «Дружба и любовь к искусству соединяли несколько раз в течение нынешнего лета небольшой кружок любителей музыки: каждый раз, в течение каких-нибудь шести недель, собеседники имели наслаждение услышать новое произведение Глинки, услышать из уст его самого, со всей энергией и выразительностью высшей декламации... Первым произведением был романс Давида Риццио из многостиховой моей поэмы, которую я так крепко люблю, что не могу окончить. Два романса, или две песни, как угодно, из трагедии моей «Холмский» последовали за романсом Риццио».

В сборнике двенадцать романсов на текст Кукольника, и Нестор Васильевич считает себя вправе не столько говорить в своей статье о Глинке, сколько о себе. «Я подложил слова еще под три романса, каватину, «Давно ли роскошно ты розой цвела», колыбельную и попутную песню. Я убежден, что вы не рассердитесь на меня за эту антипоэтическую снисходительность; вы не в накладе, потому что приобрели три прелестные музыкальные пьесы, которые вместе с другими девятью романсами долговечнее многих опер. Несколько вкуса, несколько опытности — и нет возможности сомневаться. Большая фантазия, сделанная из мавритического моего романа, напечатанного в «Библиотеке для чтения», занимательна по соединению трех родов пения: драматического, лирического и эпического и обогащена превосходно придуманными гармониями... Романс из неоконченного моего романа «Бюргер» («Не требуй песен от певца») — такая светлая музыкальная мысль, такая сильная экспрессия двух противоположностей в певце, когда принуждают его к песням и когда они сами льются из вдохновенных уст, что нельзя не

удивиться, до какой степени Глинка обладает истинно драматическим талантом!»

— Нельзя не удивиться, — зло пародирует Керн, — сколь угодил Глинка Кукольнику и до какой степени бесстыден этот поэт! Право, Михаил Иванович, прочитав его статейку, я впервые поняла, что «братия» публично заявляет о своих правах на вас, и вы, собственно, подчиняетесь им, вы, родивший в свет нового Кукольника — автора романсов. Ведь таким его еще не знала, я полагаю, публика.

— Мне все равно, Екатерина Ермолаевна, поверьте, все равно, — досадливо отвечает Глинка.

— А мне нет! — вырывается у нее.

И он смотрит с тревогой и радостью: значит, любит. Может быть, готова ради него пренебречь приличиями, уйти к нему, не ожидая, пока кончится бракоразводный процесс.

Но она здесь же, как бы поправляя себя, говорит:

— Впрочем, я так мало значу для вас! Не в пример Кукольнику.

— Зачем вы так? — останавливает ее Глинка, не понимая: ревнует или действительно не верит в его чувства?

— Странный вы, Михаил Иванович, иногда вы дитя минуты, иногда... певец вечности, Впрочем, я опять начинаю рассуждать, а дала себе зарок не вмешиваться в ваши дела.

— Вы дали зарок? — не верит он, готовый сейчас же от нее уйти и чувствуя, как холодеют пальцы рук.

— Ох, да вы всегда слишком серьезны! Ну конечно же какой толк из моего вмешательства, если между нами стоит... время, и оно, в силу вашей подчас рассеянности и моей болезни, только отдаляет нас, а не сближает.

— Екатерина Ермолаевна, — Глинка готов встать на колени, радуясь этим ее словам, — ваша власть. Скажите, что мне делать? И откуда такая холодность и... подозрительность ума, если вы, не смею сказать, любите меня и согласны после того, как разрешит общество, стать моей женой?

Она молчит. Болезненный румянец красит впалые ее щеки, оставляя бледными тонкие сжатые губы.

Взгляд ее останавливается на нем, и Глинка не может разобрать, смотрит ли она на него ласково или осудительно-печально. «Как она умна, — думает он, — и как горда! Но можно ли так таить собственные порывы? Или не верит голосу сердца?»

— Екатерина Ермолаевна, Катя... — тихо, но решительно говорит он, — вы боитесь времени, не верите в его укрепляющую силу, не верите мне... Согласитесь ли вы пренебречь ожиданием, обычаем и уехать со мной, не дожидаясь расторжения моего несчастного брака... Женщины, поступавшие так, право, не лишались от этого чести.

— Вы очень меня любите? — спрашивает она, помедлив.

— Всею душой.

— Тогда вы не должны предлагать мне этого!

Он молча наклоняет голову, не смея ни о чем больше допытываться. Пусть так! Но что это? Власть ли света диктует ей эти слова или та же, стократ замеченная им у женщин, расчетливость? А вдруг иной она быть не может и что-то — страшно подумать! — от Марии Петровны по-своему держится в ней? Да, она не «дита минуты», думает он с тоской, но что сказать о вечности?..

— Михаил Иванович, я ведь очень больна! — неожиданно обрывает она ход его мыслей. — Мне надо на юг, но вы знаете, я слишком стеснена в средствах, чтобы куда-либо уехать. И могу ли я говорить с вами о будущем, забывая об этом?

Глинка с надеждой слушает ее. Вот в чем причина ее колебаний! Больная, она не хочет принадлежать ему. Как он не подумал раньше, не оградил ее от этого признания? До романтического ли бегства ей?

— Вы должны уехать, вы обязаны! — с горячностью заявляет он, вынуждая ее улыбнуться. — Вы не можете не уехать, Екатерина Ермолаевна. И позвольте мне расходы взять на себя. Я увижу Анну Петровну и уговорю ее немедленно везти вас к морю. А может быть, за границу?

Он тут же решает выделенные матерью семь тысяч на его собственную поездку за границу передать ей и

уходит от Керн, сердясь на себя, на свою недогадливость.

Евгения Андреевна в Петербурге. Не без труда он доказывает ей необходимость пожертвовать своей поездкой ради Керн. Согласившись, она удивляет его вопросом:

— Не взять ли нового управляющего?

— А что?

— Торгует дешево! Надо рынок менять, искать других покупателей: к Курску, к Орлу ехать, а наш к своей губернии привязан.

В мыслях ее предстают кипы волокна и бочки меда — все это, переведенное на деньги, может исцелить сейчас Екатерину Ермолаевну, ему же трудно уловить связь между тем и другим и лишь безотчетно жаль управляющего...

Старая, мать становится расчетливее и суше — так кажется Глинке. И больше всего жаль не хозяйских ее просчетов, а именно этой уходящей ее беспечности. Впрочем, как признаться в этих странных и неблагоприятных чувствах? Притом мать конечно же попытается возместить потерянные для нее деньги... А в Новоспаском и без того крестьяне живут неважно! Ему мгновенно представляется, что это крестьяне, а не он и не Евгения Андреевна будут снаряжать сейчас Екатерину Ермолаевну в путешествие. В чем бы отказать себе, не отказываясь от помощи Керн?

Он сокрушенно вздыхает, не решаясь признаться в своих мыслях, а мать думает, что ему тяжело расстаться с Керн, и радуется в душе, что наконец-то отношения его с Екатериной Ермолаевной определились и недалеко до брачного союза, иначе Михаил не имел бы права просить для нее денег, а она — Керн — их принимать!

— Дядюшка Иван Андреевич очень тревожится за тебя! — сказала мать. — Он говорит, ты в том положении, когда без денег — человек бездельник, и если не дать тебе их — значит, лишить тебя на будущее хорошего заработка! Дядюшка просил меня, если потребуется, занять у него!

— Спасибо ему.

— Так всегда было, — продолжает мать, — приедет человек в столицу и два перед ним пути: или обобрать

своих крестьян и жить, как подобает, выйдя на дорогу, или вернуться ни с чем. Отец твой выбрал среднее... Мне, однако, жаль, что отныне нашим мужикам придется содержать Марию Петровну!

Оказывается, и мать мучает это: из гордости ли, из-за того, что жаль делить с нею свои доходы! Он ведь сам обязался не лишать Марию Петровну материальной поддержки.

Михаил Иванович молчит.

— Куконушку к тебе пришлю скоро, будет с тобой жить. А может быть, подождать? Ты ведь небось соберешься и сам за границу? После свадьбы, вместе с женой?

Она всячески хочет выяснить его планы. А планов, собственно, и нет. Бсему мешает бракоразводный процесс. Еще нет ответа по инстанциям. Уехать бы теперь же, выждать время за границей... А нельзя — так скрыться в Смоленск!

— Могу ли, маменька, загадывать так далеко? Не волнуйтесь обо мне! И будет ли еще Екатерина Ермолаевна моей женой?

— А как же? — с испугом спрашивает Евгения Андреевна и тотчас утешает себя, приписывая сказанное сыном его деликатности... Не дай бог, чтобы старое повторилось: опять увлечения, неустойки, разрывы!

Но все же смутная боязнь новой своей невестки охватывает Евгению Андреевну.

— Мне бы увидаться с Анной Петровной! — говорит она.

Именно этого больше всего опасается Михаил Иванович. Стоит только матерям вмешаться в его с Екатериной Ермолаевной отношения, и все обернется иначе. За разговором о брачном устройстве потеряется и само стремление к браку. И мало ли что станут толковать за его спиной!

— Маменька, если вам будет угодно, мы после возвращения Екатерины Ермолаевны приедем в Новоспаское... И сама Анна Петровна обратится к вам.

Евгения Андреевна неохотно смиряется: жизнь учит ждать годами свершения желаний. Говорят же: девушка, считающаяся невестой меньше трех лет, не невеста! Тянутся же бракоразводные дела по десять, а то и

пятнадцать лет. Но как может Михаил с его порывистостью и нетерпением добровольно принимать на себя такую муку?

Не зная, что ответить, она печально роняет:

— Хорошо.

9

Каникулярное время началось две недели назад: одних у ворот Смольного ждет лакированное ландо с впряженными в него воронами, других — милый глазу сельский возок с добрыми лохматыми коньками, присланный каким-нибудь женихом за скромной сиротой-пансионеркой. В провинции еще блюдется обычай жениться на бедных воспитанницах Смольного. И ныне от какого-то худородного дворянина прибыл за Евдокией Рудневой, ученицей Глинки, престарелый, густо напудренный камердинер везти ее в заветную тишину полей, куда-то к Тамбову. Вдоль чугунной ограды благолепно стоят приписанные к Смольному нищенки в белых чепцах, протянув дрожащие ладошки, а над ними, над белым полотном торгашьих палаток, мерно, словно пригибая их к земле, проносится гул колоколов.

— Ехать ли мне? — спрашивает Руднева свою наставницу, стоя перед ней в туго накрахмаленном, звенящем от прикосновения переднике, с косой, столь же плотно заплетенной, почти одеревеневшей, как у елизаветинских гвардейцев.

— А что советует Михаил Иванович?

Екатерина Ермолаевна знает о расположении Глинки к этой девушке, отлично поющей «Херувимскую». Под темными сводами церкви Керн, склонившись на скользком холодном полу, не раз слышала сильный ее голос, рвущийся с хоров.

— Я не смела говорить с Михаилом Ивановичем об этом...

«Ну да! — мысленно решила Керн. — Ей, наверное, неловко признаться в своих бедах. Насколько приятнее ходить в «благополучницах», приглашать к себе в столичный дом маститого учителя, а тут... жизнь в чужом поместье, муж-вдовец, знакомый лишь по письмам и уговорам родных: «стерпится — слюбится»...»

Не одну Рудневу потеряет Михаил Иванович из-за ложной этой гордости, не разрешающей сказать о себе правду.

— Что мне делать? — с ожесточением повторяет де-вушка, и в голосе ее Екатерина Ермолаевна слышит злое, плохо скрытое отчаяние. Пусть будет, как скажет наставница!

— Уезжай, — произносит Керн, глядя в сторону, — уезжай на этом же возке до первого большого города, а там поищи место гувернантки. Тебя примут. Лучше быть гувернанткой, чем...

Она не договаривает. Руднева быстро целует ей руку и исчезает, хлопнув дверью.

Керн подходит к окну: где-то среди колясок и карет может стоять и купленная для нее Михаилом Ивановичем карета. Швейцар, дежуривший в подъезде, как-то сказал: «Самое каретное время сейчас, хорошо зарабатывают каретники...» Теперь Керн вспомнила его слова. Наверное, Глинка немало времени отдал розыскам экипажа. В эту пору в Апраксином рынке плохонькая коляска, на которой едва доберешься до места, стоит триста рублей. А коннозаводчики держат за Стрелкой рысаков и дерут за них тоже втридорога! И ведь всегда, когда ломаются чьи-нибудь судьбы, поднимаются цены на кареты, на лошадей. Будто в отъезде исцеление... И так по всей Руси. А принесет ли ей дорога исполнение желаний и освобождение от институтских тягот? Все труднее глядеть на жизнь глазами непогрешимой и строгой к себе наставницы, не противиться заведенному здесь этикету и в то же время чувствовать себя в стороне, над ним... над институтом. И только ли по отношению к Смольному ведет она себя так? До сих пор не может разобраться в своих чувствах к Михаилу Ивановичу! Странно сознаться в том, что романсы, сочиненные им, бывают ближе его самого, и теряется она во множестве вызываемых им впечатлений, из которых сильнее всего — его пагубная, на ее взгляд, неустроенность, непонятная близость с «братией», детская отрешенность от забот, переходящая в беспечность. Говорят, Михаил Иванович тщеславен. Право, это было бы в его пользу! Она видит лишь упрямство его и невнимание к общественному мнению. Только такой человек

мог предложить ей сойтись с ним и уехать, не дожидаясь развода с Марией Петровной. А эти бесконечные перемены в его настроениях!.. Впрочем, не все ли равно, если она его любит! Но любить ведь надо больше, чем себя, безотчетно, как хочет он этого. И, наверное, только такая любовь нужна ему, хотя Михаил Иванович и глубоко ценит ее критическое отношение ко всему, холодное проникновение в самое скрытое от других. Но где холодность ума, там уже не будет этой горячей безотчетности чувства! И уж эта «братия»! Сколько говорят о ее влиянии на Глинку, становящегося «гулякой праздным». . . Нет, не такой он, но все же!..

Рассуждая так сама с собой, она не может не признать, что, с другой стороны, чувствовала бы себя оскорбленной, если бы Глинка полюбил другую. Любовь его ей льстит и втайне ее возвышает. Ей хорошо с ним! Но что это, утехи ума или та самая безотчетная привязанность к любимому человеку, которая нужна Глинке, а не ей? Но разве не стыдно сознавать, что, будь он свободен, она, при всех этих сомнениях, не замедлила бы согласиться быть его женой, благо в этом случае все совершается по прописанному обществом этикету и ничего не надо скрывать... А ее немало тяготят уже их уединенные встречи в Смольном и намеки директрисы на «особое благоволение знаменитого композитора». Ведь не только в дни занятий с хористками ее посещает, оставаясь допоздна, Михаил Иванович. Вот и она оказывается пленницей у света, а между тем она ли не любит свою свободу?

Посоветовав Рудневой не ехать к неизвестному жениху, она внутренне сама призвала себя к решительности действий... Но Руднева не одна, немало окончивших институт девиц в одном с ней положении! Можно ли советовать всем... идти в гувернантки? Как бы в подтверждение ее мыслей, Екатерину Ермолаевну вызывают к директрисе. Черные шелковые шторы скрывают в нижних покоях небольшую, похожую на молельную комнату и в ней сухонькую, чопорную, строгую старушку в монашеском одеянии. Она сменила недавно ушедшую отсюда шумную, болливую и добрую женщину, жену заслуженного армейского генерала, — прежнюю начальницу. Первое, что видит Екатерина

Ермолаевна в полумгле комнаты, — это серебряный крест на груди директрисы, слишком большой для ее фигурки, и потом уже восковое, недвижимое ее лицо с тонкими, словно аккуратно выписанными на нем бровками. Черное закрытое платье делает ее стройней и еще больше выделяет серебряный крест.

— Садитесь, милая! — говорит директриса, сидя за пюпитром и показывая на стул возле себя. Августовское солнце, прорываясь через тюлевые занавеси окна, наполняет маленькую эту комнату матовым светом. Директриса встречает Керн так, словно к ней пришла не классная наставница, а одна из институток.

— Императрица неуклонно заботится о том, чтобы высокое учреждение наше в равной мере блюло интерес церкви и государства! — заученно и тихо произносит она, не глядя на Керн. — Единение помыслов о боге и чести аристократического общества столь редко, к сожалению, в последнее время у девиц. Отличнейшее воспитание сказывается не в том, чтобы, выйдя от нас, загордиться перед людьми и потерять приличествующую в этих стенах скромность, и не в противопоставлении себя обществу. Не ханжа, не фальшивая угодница, но и не своевольная вольнолюбка, — голос ее крепнет, — мыслящая о преобразовании общества отказом от наших канонов, уходит от нас в мир...

И вдруг, повернувшись к Керн, спрашивает:

— Вы имеете что-нибудь возразить?

Замешкавшись, Керн не успевает ответить. Слишком неожиданен вопрос. Да и что, собственно, хочет услышать от нее директриса? Откровенности? Суждений, идущих вразрез с официальными задачами Смольного? Директриса изъясняется книжно и витиевато, но, должно быть, так легче ей? Юная Керн впервые приглашена в эту комнату, и к ней впервые обращаются с официальным неудовольствием... Прежняя директриса была проще и только в особых случаях рассуждала о нравственности, об опасностях вольнолюбия. Но еще больше удивляется Керн, когда старушка разом теряет свою чопорность и выправку аристократической монашки, этаким придворной дамы, попавшей в монастырь, и обыденно говорит:

— Ты что это, милая, мне девок мутишь?

Керн даже не верится, не ослышалась ли она? Но старушка глядит на нее с ворчливым любопытством, и Екатерине Ермолаевне кажется, что перед ней не директриса, а совсем другая и по каким-то чертам уже знакомая ей женщина. Такие бывают в народе — злые, когда начинают изъясняться книжно, и простые, стоит им вернуться к языку своих бабок, нянь, провинциальных помещиц. Керн, невольно улыбнувшись, отвечает:

— Вы о Рудневой? Я считаю, что с ее характером ей не стоит выходить замуж за... — Керн замялась, — за незнакомца.

— Вот и вижу, что ты всех женихов разгонишь вместо того, чтобы сирот моих устроить, — подхватывает старушка. — «С ее характером...» Да смеет ли она так думать? Это ты, милая, с характером, по себе меряешь? Послушаешь тебя — так Рудневой за границу ехать, а не в Тамбов, — это там женщины себе вольности всякие разрешают, и сироты, кажется, не опекунскому совету будут подчинены, а влиянию декабрьских бунтарей! А посуди-ка сама: сирота — всегда смиренница, всегда церкви опора, всегда в государстве самая благодарная! Какой там у нее характер!.. А ты шесть сирот в грех ввела. Взбунтовались они, — директриса наспех перечисляет фамилии, — именно взбунтовались. По нашим понятиям, это бунт — отказаться от женихов! Не смейся! Так и доложат императрице! Сиротский бунт в Смольном! И скажи, пожалуйста, милая, композитор наш Михаил Глинка неужели на развод подал? Можем ли мы развратника у себя держать? Я так и принцу скажу! Духовному пенью учит, а такой человек греховный! Что только не толкуют о нем в городе! И тебе, милая, будто он очень близок!.. Но то дело твое, а сирот не порть мне!

И, не дожидаясь ответа, бросает:

— Ну, иди! Не спорить с тобой хочу, а наставлять тебя истине. Не осуди за резкость.

«Сиротский бунт!» — мысленно повторяет Керн, вернувшись к себе. — Уехать бы скорее! Уехать и не вернуться сюда! Может, и на самом деле бежать с Глинкой?.. — Этот поворот мыслей ей неприятен самой.

Как может она так думать, неужели из слабости, из боязни уподобиться сироте? — Другая Мария Петровна, — все женщины в чем-то одинаковы!»

Екатерина Ермолаевна стоит у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, и с тоской смотрит на экипажи. Скоро ли подъедет сюда Михаил Иванович в купленной для нее карете? Доктор торопит с отъездом, говорит: «Институт вогнал вас в чахотку! На воды бы вам! На юг! И скорее!» Мать не знает, как благодарить Глинку, хочет видеть Евгению Андреевну, но Глинка медлит с их встречаей!.. Милый Михаил Иванович, вот уже и развратником прослыл?.. До чего же пакостно, оказывается, на свете!

Негромкий осторожный стук в дверь нарушает ход ее мыслей. Керн вздрагивает. Руднева стоит в дверях и внятно шепчет:

— А я все-таки не выйду замуж, не выйду, Екатерина Ермолаевна!

И тут же исчезает.

10

Керн встречает Глинку спокойная, как ни в чем не бывало, только сухой блеск немного запавших глаз и еще более заметная худоба выдают пережитое волнение. Голосом, звенящим бодро и холодновато, она благодарит его за присланную к Смольному карету и, боясь открыться в своих сомнениях, все свои надежды на будущие их встречи возлагает на зиму.

— Я думаю, к зиме так много произойдет перемен у вас и у меня! Так интересно будет встретиться!

Самый удобный способ уклониться от разговора о настоящем и, ни к чему себя не обязывая, перевести речь на... всеисцеляющее влияние времени, на совершающееся в жизни человека помимо его желания. Ей помогает светскость тона: ничто не уличит во лжи под этим покровом воспитанности, и ничто не вынудит признаться в своих слабостях. Но слишком безропотная готовность Глинки ждать ее ответа до зимы — согласия стать его женой — вызывает обиду. Побледнев и поджав губы, отчего лицо ее вдруг делается злым, она говорит:

— Вот видите, как хорошо! Вы еще измените мне с другими и утешитесь без меня!

Но Глинка уж стал находить радости в тайной ее ревности и не может знать обо всем том, что передумано ею об их отношениях.

Он говорит с грустью:

— Я отпускаю вас только из-за вашей болезни. Будь вы здоровы, вы не могли бы уехать. Вы так нужны мне!

Больше из упрямства, чем на самом деле веря себе, она холодно возражает, тут же заподозрив в словах Глинки покушение на ее свободу, самое дорогое для себя:

— Оттого, что я нужна вам, еще не следует...

— ...Думать о своем праве на вас! — подсказывает он. — Нет, только так, пожалуй, не томите, не мучьте. Иначе не умею, не могу.

И опять из упрямства, противясь необходимости рассказать обо всем передуманном и еще более омрачить их разлуку, — нет у нее той безотчетной, нужной ему любви, нет, во всем она остается собой, — она отвечает:

— Не умеете — я не виновата.

Он, потупившись, молчит. Выходит, для него нет сейчас более близкого человека во всем мире, а ей, меньше его знающей жизнь, мир этот ближе, во всяком случае, бесконечно интереснее его личных желаний. Каков же этот мир в ее представлении, и не ревновать же ее к самой жизни, к этому миру, воспитавшему в ней этакую боязнь собственного ограничения и столь холодную способность обо всем рассуждать трезво! Но, право, она не должна себя вести так. А может быть, просто не любит? В конце концов вся эта их связь невыносимо тяжела и усложнена до предела! Неужели Керн не видит, что не самое важное в том, когда разрешится вопрос об их браке и его разводе с Марией Петровной. И действительно, его нельзя сейчас покидать. Память еще раз услужливо подсказала ему примеры женской преданности. Ну что ж, пусть будет так, как она хочет. Условившись о совместном выезде на двух экипажах, она с матерью к югу, он — в Смоленск, Глинка уходит расстроенный.

У Кукольников уверены, что Михаил Иванович

собирается за границу. «Братия» готовит проводы, и Нестор Васильевич, жалея, что не окончена Глинкой музыка к «Князю Холмскому», радуется тем не менее его отъезду. Освежит воображение, встряхнется, придет в себя, а там, смотришь, с новыми силами — и за «Руслана»! Главное же, уйдет от семейных тягот! И здесь надежды... на карету. А в часы, когда пусто в доме и остаются Глинка, Брюллов, Кукольник, Сенковский, — долгие беседы о Франции, об Испании. «Барон Брамбеус» сумрачно повествует о Гренаде, неожиданно увлекаясь средневековьем; «Карл Великий» — о дворце Луиджи Манино, племянника последнего дожа Венеции Казимира Гробовского, — он уверен, что Глинка опять не минует Италии. В увлечении он уже разбирает достоинства великих творений Тинторетто и Тициана, хранящихся во Дворце дожей, и всем кажется, что вот-вот, не пройдет и трех месяцев, как Михаил Иванович будет наслаждаться ими. Они живо рисуют себе, как он стоит перед этими картинами, взволнованный, хрупкий, едва успев стряхнуть дорожную пыль, а с колокольной св. Марка торжественно бьют колокола, и вся Венеция на своих ста восемнадцати островах как бы приподнимается в утренней безоблачной синеве неба горбами мостов и призрачными громадами храмов. И в этот день, выслушав всех и вместе с ними мысленно побывав там, куда вела их попечительная фантазия, Глинка заявляет, что едет лишь в Новоспасское!

— Почему же? — неистовствует Кукольник.

— Маменька нездорова, да и денег нет.

Они смиряются, пожалев в душе, что зря потратили столько чувств и слов. Впрочем, они знают, что чем-то, малым или большим, но всегда должны увлекаться, и отказаться от проводов даже в Новоспасское уже нет сил. У Кукольников, — зовут же их приятели «клюкольниками», — двое суток длится пир. Чего не сказано на нем?! Охмелев и не умея иначе выразить благодарность друзьям, в обиде на Керн, на себя, на превратности жизни, Глинка исполняет сложенную Кукольником песню:

Вам песнь прощальную пою
И струны лиры разрываю.

И на какое-то время сам верит, что не будет писать дальше... Хорошо отойти от себя и почувствовать вдруг, что можно быть совсем другим и продолжать жизнь иначе. И тогда не так уж жаль прошлого, ибо:

Нигде нет вечно светлых дней,
Везде тоска, везде истома,
И жизнь для памяти моей
Листки истертого альбома.

Но стоит проснуться утром на громадном кукольном диване, вмещающем влежку шестерых гостей, и увидеть возле себя желтого, гнилозубого «Барона Брамбеуса», успокоенного сном, и «Карла Великого», разметавшегося на простынях, — как хочется весело смеяться. И неужели кто-нибудь из них мог поверить в истину «Прощальной песни»!

Но песня спета, проводы прошли, и, может быть, в этом главное! Несколькими днями позже он покидает Петербург и съезжается в Гатчине с обеими Керн. Анна Петровна благодарит и заводит разговор о союзе их семей, о Пушкине, ставшем знамением этой дружбы, о том наслаждении, которое дает альбом романсов «Прощание с Петербургом». Екатерина Ермолаевна глядит виновато, грустно и прячется от его взгляда в глубину кареты, заваленной ротондами, одеялами и какими-то кулками. Они едут вместе до Катежны в одной карете, другая чернеет сзади, порою скрываясь с глаз. Леса обступают дорогу, и опять благодетельность дорожных перемен скрадывает возникающую в разговоре неловкость: то отвлечется внимание на коробейников, шествующих с расписными ларями на груди, то на omnibusy, везущие к границе знатных путешественников.

В Катежне дороги расходятся: Керн едут на Витебск, Глинка — в Смоленск. Руки Екатерины Ермолаевны холодны, она подносит его руку к своим глазам, и Глинка по биению ресниц чувствует охватившее ее немое волнение. Она не смеет его поцеловать при матери, боится, что разрыдается, и не может отнять руку. Наконец они расстаются строго и как-то надменно, не позволяя себе выглянуть из кареты, поглядеть друг другу вслед.

В Новоспасском по его прибытии разразилась гроза,

и пустой дом Глинок трясется от ударов грома. Молнии, словно гигантские сабли, сверкают перед окном, и сухой треск ветвей доносится вместе с гулом из леса. Из окна виднеется серебряная стремнина реки, равнодушный погост на пригорке, однажды уже сожженный грозой, и простенькие крестьянские домики за далью, занавешенной дождем. Гул леса входит в дом, как бедствие, но с ним бодрящее ощущение холода и ласковой луговой свежести дождя. Странно ощущать на своем лице холодную струю воздуха из леса и теплую — с лугов. Колкий ветер, взвихрив мокрые листья, смешивает эти струи воздуха и уносит их, опавнув ароматом трав.

Полдень, но в комнатах полно мрака, и комнаты кажутся еще больше, как бы раздвинутые грозой. Глинка сидит в отцовском кабинете и чувствует, как долгожданное нетерпение к работе охватывает его, как руки тянутся к большим листам нотной бумаги. Ясность печали и грозная бодрость входят в душу, владеют им.

Он думает о Керн и, кажется, слышит топот коней, влекущих ее карету где-то по мягким степным путям Украины, но думает без обычной надсадной тоски, без упрека. И так же тихо, сожалительно-насмешливо — о «братии», о Кукольнике, о прощальном вечере. Собственно, только сейчас он прощается с ними, сейчас, приехав сюда, освободившись от них, как от тяжелой помехи.

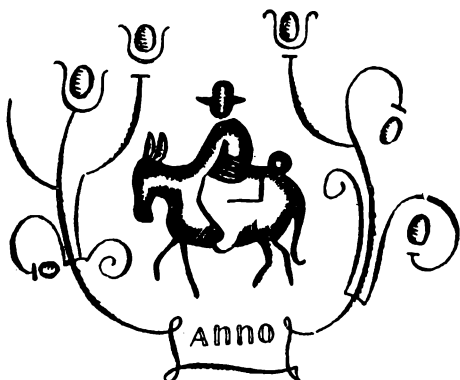
Машинально взяв в руку затупленное старое гусиное перо, желтое от времени, и, найдя взглядом чернильницу с загустевшими чернилами, он начал писать Ширкову:

«...Идеал мой разрушился — свойства, коих я столь долгое время и подозревать не мог, высказались неоднократно и столь резко, что я благодарю провидение за своевременное их открытие».

И, окончив письмо, сказал себе с чувством радости и освобождения:

— Теперь за «Руслана»...

«ЗАПОРОЖЕЦ
ЗА... ТИБРОМ»



Скорбь без гнева — безрассудство.

Леопарди

Друзья наших друзей — наши друзья.

Французская поговорка

1

Певец Николай Иванов выступал в Лондоне как соперник Рубини. Так именовали его в газетах. Он все больше входил в славу и вместе с тем терял к славе влечение. Иванов был богат, но страх за себя его не покидал. В Константинополе предложили ему ангажемент, но туда не поехал, узнав о тайном приказе властей передать его русскому консульству. Перед этим царь приглашал в Петербург, обещал прощение, но Иванов не поверил. Простили бы царь — не простили бы другие. Главное же, что тревожило его, — потеря голоса. Врачи все чаще запрещали ему петь. Оказалось, что, живя здесь, он стал более подвержен болезням, чем на родном севере. Положительно, жизнь мстила за измену своей стране. Тем не менее в римской печати ему, «величайшему из русских певцов, поднятому силой итальянской школы», продолжали льстить.

Об Иванове писали: «В манерах его благородство, в нем один порок, он несколько неловок, как будто ребенок...» «Иванов — ребенок, простодушное русское дитя!» — утверждали и театральные критики.

В пору приезда Гулака-Артемовского он был ангажирован в Болонью на десять представлений за тысячу скудий. Эта сумма составляла около пяти тысяч рублей — гонорар довольно крупный. Гулак встретил его в одном из ничем не приметных римских театров, с обычными здесь широкими ложами и скамьями вместо кресел. Ставили «Норму» Беллини. Был перерыв, и публика бродила по фойе. Смолянокудрые юноши с выхоленными эспаньолками, в узких клетчатых сюртуках — местные актеры — окружали Иванова. Они представили ему Гулака и отошли.

— Здоров ли господин Глинка? — спросил Иванов.

— Я ученик Михаила Ивановича и могу вам сообщить о нем во всех подробностях! — учтиво ответил Гулак.

— Его «Сусанин» бессмертен! — пылко сказал Иванов, не интересуясь Гулаком, его приездом и планами. Мало ли могло появиться за это время неизвестных ему учеников Глинки.

Гулак наклонил голову: бесспорно, опера эта бессмертна! Разговор не вязался. Иванов рассеянно сколупнул ногтем облупившуюся краску на скамье. Рядом с дюжим, осанистым Гулаком он выглядел еще более хворым и в самой небрежности его движений сквозила какая-то виноватость.

— Он мне ничего не просил передать? Когда-то мы были дружны, и я до сих пор признателен Михаилу Ивановичу за время, проведенное вместе с ним.

— Михаил Иванович ничего не говорил мне о вас! — соврал. Гулак и поправился: — Кроме того, что известно всем...

— Стало быть, в Петербурге не шадят моего имени? — понял его Иванов, стараясь держаться безразлично. — Неужто не находится человека, который беспристрастно оценил бы, что ждало меня там и чего достиг я здесь... во славу отечества. Итальянцы, остающиеся в России, в лучшем положении, хотя бы Кавос, ему ведь не ставят в вину...

— Сравнение не в вашу пользу! — перебил Гулак. — Впрочем, Кавос умер!..

— Вы певец? Не имел чести вас слышать, — сказал, помедлив, Иванов, — но должен ли я полагать, что и вы, приехав сюда, уже являетесь моим недругом?

— Я тоже не имею чести вас знать, но трудно простить своему соотечественнику совершенное вами. Я попросту хочу забыть, что вы русский...

— Но только как русский я и могу пользоваться здесь уважением, — терпеливо возразил Иванов. — Отвлекитесь от того, что обо мне судачат в столице. К тому же полагаю, Италия — мать для всех музыкантов. И вы ведь приехали сюда не купаться в море!.. Почему же так упорно преследуют меня за то, что предпочел здесь остаться...

— У матери! — съязвил Гулак.

— С вами, кажется, нельзя говорить. Я зря доверился своему порыву, увидев соотечественника. Бог с вами!

Он намеревался уйти в глубь зала, сухо поклонившись, но Гулак опередил его, бросив на ходу:

— Как вам угодно!

— Кто он? — спросили Иванова актеры несколько минут спустя.

— Не знаю. Ученик Глинки.

Раздосадованный, он готов был уйти из театра и с трудом сдерживал себя от резкостей по адресу своего нового непрошеного знакомого. Насколько приятнее было бы пригласить к себе, зайти с ним в русскую колонию в Риме... Уже идти с ним по улице и мирно беседовать — было бы сейчас для Иванова неподвижной честью. «Он ведь, наверно, не знает итальянского языка, — вертелось у него на уме. — И так легко отказывается от моей помощи. На что он рассчитывает? Кто его друзья здесь?»

Но друзей у Гулака еще не было. В русском консульстве его снабдили самоучителем и справочником, необходимым путешественнику. Омнибус, доставивший его сюда, привез в этот же день нескольких русских богачей и среди них видного промышленника Всеволожского — владельца первых пароходов в России, но и его чуждался Гулак. Был среди приехавших петербургский гардеробщик, или корректор, — так называли

мастеров, чинящих струнные инструменты, — старик с узким иконописным лицом и тонкими изящными руками скрипача, но он незаметно скрылся и не мог бы ничем помочь Гулаку.

Гулак приехал сюда с неосознанным внутренним чувством протеста против ставшего уже каноном воспевания Италии, против той мистической латиномании, которая так подавляла художников. И, может быть, потому не спешил заводить знакомых. Разговоры с Шевченко еще действовали отрезвляюще и помогали ему не поддаваться тому поистине чудесному, что представилось здесь, не стать италоманом. Прошло некоторое время, пока в этом мнительном единоборстве с тем, что он считал каноническим и потому ложным, естественная простота Италии сама по себе взяла верх над его сомнениями, захватила своими красками, и Гулак мог судить о ней, не боясь ослепления, как бывает, когда стоишь перед картиной и надо отойти в сторону, чтобы по-настоящему увидеть ее.

В эти дни он написал брату: «Сколько людей перебывало здесь, учась классицизму и верности тонов и теряя с классицизмом себя, не я был бы последний. Могу повторить: Италия прекрасна, и я понимаю тех, кто хотел побороть тоску у великих памятников человечества и становился не только паломником, но и духовным невольником этой страны, природа которой возвышает человека... Не унижен и поднят ею и я, поднят, — здесь неописуемо хорошо. Но Глинка прав, сказав мне однажды: «В Италии вовсе не классицизм главное, а то, о чем не говорят, — простота и суровость духа, простота, лишенная католицизма». Ею я сейчас и напоен, остальное отринул».

Он мог находить неудачное в картинах Форума, в иконах храма св. Петра и по-своему полюбить «кватро-чентистов» и джоттовскую школу, не теряя себя в этой любви. Критика известнейших мастеров Италии уже не казалась ему самому мальчишеским ниспровержением авторитетов. Он был в Риме одинок, необщительный и хмурый, очень скучал без Шевченко и мысленно не раз обращался к нему. Вечный город хранил в себе не только историю веков, но и бурные искания современности. Совсем недавно умер Станкевич, и в небольшом

полюбившемся музыкантам и художникам кафе на Испанской площади, где бывали русские, со скорбью беседовали об этом незнакомом Гулаку, замечательном человеке. Здесь часто бывал Гоголь, говоривший всегда вполголоса, и польский пианист Брыкчинский, друг Листа. Гулак сидел на правах соотечественника вместе с ними, вникал в их споры о России, о Герцене и здесь, в отдалении, узнавал многое о своей стране из того, что упустил, живя в Петербурге. Однажды они заговорили о музыке, и Гоголь вспомнил Глинку:

— Он был здесь, но не стал итальянцем...

— Это хорошо? — спросил Гулак.

— Вы кто, молодой человек? — вскинул на него взгляд Гоголь, словно только что заметил юношу.

— Я его ученик.

— Ага. В таком случае вам все же лучше учиться у итальянцев.

— Симфоничности? — пытался продолжить разговор Гулак.

— Музыкальности, милостивый государь, музыкальности. Не хочу входить в подробности!

Гулак замолчал. Чахоточный Брыкчинский кашлял и с любопытством глядел на нового посетителя кафе. Позже он сказал Гулаку:

— Глинка понял Италию, уверяю вас, он претворил ее мотивы в свои, как Сильвестр Щедрин, как Иванов в живописи, а его романсы поют даже в Риме. — И спросил: — Вы только исполнитель?

— Да.

Гулаку подумалось: не слишком ли этого мало для того, чтобы приезжать в Италию? Не обязательно ли надо писать самому?

— Украинец?

Гулак кивнул головой.

— Что ж, будущее музыки зависит не только от того, какой народ музыкальнее, но и какие идеи будут в его пьесах, проще говоря — от идей. А не думали ли вы, что пьесы-то и мешают ее развитию?

Гулак признался:

— Я еще почти не знаком с итальянским театром.

Гоголь, улыбнувшись его откровенному признанию, спросил:

— Из крепостных будете?

— Нет. Вольный.

Догадавшись, что интересуется Гоголя, кто он, Гулак, и на какие средства приехал сюда, сказал:

— Любитель. Учусь... Помогли мне!

Они заговорили об Украине, условились о встрече. Гоголь, живший здесь необщительно, дал свой адрес в Strada Felice.

Но Гулак уезжал в Милан, надеясь там поселиться. Был поздний августовский вечер, когда с письмом Глинки он оказался на тихой и как бы придавленной собором улице, в квартире Дидины.

Девушка со строгим лицом и миндалевидными черными глазами под тонкой подковкой бровей, едва прочитав письмо, склонилась перед ним в поклоне.

— Я так рада! — певуче сказала она, будто все последние годы ждала посланца от Глинки.

2

Церквушка, построенная в ломбардском вкусе, с завитушками на фасаде, высилась над морем на строгой скалистой горе. Возле лепились один за другим белые домики и стоял такой же белый колодец, похожий на мраморный саркофаг, с папским гербом и высеченной на камне надписью по-итальянски — «Скала папы».

Рыбачьи сети оплели каменистый берег, в дождь мокрые камни под ними блестели и, казалось, шевелились, как сотни пойманных рыб. Некуда было уйти от сетей, они сушились на фруктовых деревьях и пахли не рыбой, а сливами и лимоном, в штиль выброшенные в море, мелькали на воде гигантским кружевом. И, что удивляло Гулака, почти не было на берегу людей: старик с книгой в руках сидел, бывало, возле пустых лодок, и мальчик, словно на дозоре, где-нибудь между скал. В полукружии зеленых гор лежало это селение, все в дымчато-палевых красках на фоне искристого лазурного моря. И столько было здесь света и тишины, не той беспробудной, глухой, которая ведет к забвению и ложится на сердце тяжестью, а вразумляющей и весенне-легкой, открытой ветрам, что даже мрачноватому

Гулаку делалось безотчетно радостно. Гряда красноватых камней, как бы горящих на закате, и похожий на облачко одинокий парус бригантины — все, что было видно вдали. Берег оживлялся в дни, когда возвращались издалека рыбаки: тогда сюда сбегались женщины. Быки, подгоняемые детьми, вытаскивали с отмели груженные рыбой баркасы. Тогда негромко бил колокол, и в ряду белых домиков на пригорке разом распахивались двери. Из окна Гулаку было видно шествие людей с берега, мерное и тихое, словно радость прибытия тоже требовала тишины.

Сюда завезла его Дидина, далеко от Милана, к своим знакомым, исполняя просьбу — поселить в деревне, где «просто поют и просто живут». «У мастеров побудет потом, сперва пусть поживет на людях и обязательно у моря», — писал ей Глинка о Гулаке.

Семья, принявшая его к себе, состояла из старого рыбака с дочерью. Старик бывал в Далмации, немного говорил по-русски, путая подчас с сербским, когда-то служил лоцманом. Услыхав, что нужно пришельцу, понял по-своему:

— Море человеку нужно.

Он произнес это таким тоном, словно хотел сказать: «Пришел для человека час молитвы».

И предупредил:

— Песен у нас почти не поют, но если запоют — заслушаешься.

— Почему же не поют? — огорчился Гулак, поглядывая на Дидину. — А говорят, Италия — певческая страна.

— В город ездят певцов слушать, но сами поют по-своему, — пояснила она, — немало пройдет времени, пока поймете, что свое в Италии, что завезенное!.. Рыбак как одежду свою хранит, на городскую не сменит, так и песню. Я помню, синьор Глинка не раз просил меня спеть то, что поет народ, а я не умею петь и не могла исполнить его просьбу.

— Стало быть, замерла песня, нет ей развития, не учатся деревенские певцы в городе? Если бы любили городских певцов, учились бы. А как же Паста?

— А вы спросите рыбаков о Пасте.

— Спрошу. Но почему сами не скажете?

— Вас ждет много неожиданностей, — помедлив, ответила девушка. — Вы хотели пожить в рыбацком селении. Вот оно!

— Дидина, я еще плохо итальянский язык знаю, мне трудно говорить с вами и еще труднее будет, когда вы уйдете и я останусь один.

— Один вы только скорее сживетесь с рыбаками!

— Вы хотите меня скорее покинуть?

— Так хочет синьор Глинка.

Вот ведь приверженность к человеку, потребность, не рассуждая, выполнять его волю! Гулак уже знал, что со дня отъезда Глинки в ее жизни почти ничего не изменилось. Отец ее, связанный с карбонариями, томился в тюрьме, жених бежал во Францию. Теперь она держала в своем доме пансион.

— Ну хорошо, Дидина, — смирился он, — уезжайте, я ведь еще увижу вас в Милане.

И вот не то жилец, не то гость, с пачкой нотной бумаги, взятой с собой для записи итальянских мелодий, и с тростниковым баулом, в котором поместилась вся его нехитрая «мизерия» — так называл при нем Шевченко узелок с бельем и парой ботинок, — он остался в доме рыбака. Хозяин сам на ночь зажигает ему большую свечу, сам варит уху в котелке, режет табачные листья на столе и ждет, о чем заговорит приезжий. Самому ему отлично живется молча. Дочь чинит сети с той же понурой серьезностью, с которой в русских деревнях подчас без конца прядут нитки; по вечерам молится богу возле черного распятия в углу и, статная, босоногая, в рубахе, похожей на тунику, дразнит Гулака неулыбчивой и диковатой своей красотой. Длинная коса девушки лежит, как котенок, на ее коленях (право, он принял однажды за котенка эту чуть вздрагивающую пышную косу), а в глазах сумеречная, затаенная скорбь, а может быть, просто недовольство им, раздраженность, — ему не понять. Он не может заговорить о песнях, их не запоят по его просьбе, как предупредила Дидина, и неловко пойти по домам, не умея свободно говорить по-итальянски. Нет, кажется, надо было в городе слушать любителей и актеров. Но однажды затянувшееся молчание в их доме показалось ему столь смешным, что он весело рассмеялся. И тот-

час же девушка улыбнулась, поняв его, оставила сети и сказала, подбирая для него самые простые слова.

— Пойдем в море? Умеешь ловить рыбу?

Он вспомнил, как помогал рыбакам на Днестре забрасывать сети, как толкался вместе с бурсаками на рыбных базарах, и обрадованно ответил:

— Пойдем!

Старик равнодушно поглядел им вслед и тут же отвел взгляд, что-то сказав девушке.

На море обоим было легко. Закатные тени обволакивали даль, и пространство терялось, сглаженное темнотой. Лучистые звезды как бы шевелились на небе, рождая отблеск в волнах. Вдвоем они поставили сети и, привлеченные чьими-то голосами, направили лодку в сторону. Вскоре они увидели похожий на островок черный, плотно сбитый круг лодок. Вернее, это был плот, образованный из баркасов. Старики сидели в среднем из них и придерживали возле баркаса на воде какую-то широкую доску с тлеющими на ней углями. На углях кипел чайник.

— Ты ждешь песен, — сказала, подбрав к Гулаку, девушка. — Вот посиди с ними...

— Мария! — окликнули ее тут же. — Ты кого к нам привела?

— Знакомый наш, из города, — ответила она спокойно.

Больше ни о чем не спрашивали. Немного отделившись от других лодок, Гулак и Мария разговорились. Может быть, помогло присутствие рыбаков, скрытое и волнующее ожидание песни. Она рассказывала об отце, о Далмации, о своем детстве, Гулак — об Украине. По ее словам, отец недавно потерял в море давних своих друзей, с которыми она долгое время вместе жила. Почему с ними, Гулак не решился спросить. Их смерть состарила его, и дома с того дня стало печально.

— Лучше этих людей не было никого на свете, — уверяла девушка.

И поправилась:

— Для нас...

Потом, помолчав, продолжала:

— Ты ведь понимаешь, как нехорошо оставаться в живых, когда умерли самые близкие. Даже кажется,

будто ты в чем-то изменяешь им! Леопарди написал об этом, но еще лучше поют о смерти друзей рыбаки, и мы не знаем, кто сочинил песню.

Как бы в подтверждение ее слов на лодках глухо запели. Чей-то молодой голос уверенно повел за собой голоса остальных и долго держался на высокой, Гулаку казалось, недостижимо высокой, ноте. Потом голоса смолкли, и только один певец, как бы призывая на себя гнев божий и кару, пел возмущенно и лихорадочно. Гулак с трудом мог понять отдельные строфы:

Без тебя ничто не повторится
Из того, что было с тобой. . .

Мария шепнула, берясь за весла:

— Поздно уже. Надо домой. Отец ждет.

Гулак жалел, что нет нотной бумаги. Но разве посмел бы он записать мелодию? В том, как пели рыбаки, не было ничего похожего на изнеженно-томное пенье актеров, о которых Глинка говорил: «Звукообольстительно, но оранжерейно!» — но слышалась в песне буря, грозная враждебность с жизнью, далекая от какой-либо песенной улады.

Они вернулись примиренные друг с другом. Пусть не было у них ссоры, но им казалось теперь, что до этого короткого выхода в море они все же не ладили.

Старик рыбак сказал Гулаку, узнав от дочери, как провели они время:

— Умеешь работать — научишься петь!

Итак, разгадка была в труде! Гулак начал часто помогать старику и не раз вместе с ним выходил в море встречать в заливе парусники, идущие к этим берегам. Прошло не больше месяца, и он привык к селению. Теперь, если он просил кого-нибудь из жителей спеть, им трудно было ему отказать. Но чаще его просили петь самого. Он условился с Дидиной, что вернется дней через сорок, и срок этот подходил. Да и «мелодии были собраны». Так он написал отсюда брату, передав письмо капитану одного из проходивших кораблей.

И уже перед отъездом обнаружил в старике черты, показавшиеся необычными: невысказанную привязанность его к своему гостю, одинокую нежность к дочери и вместе с тем странную нелюбовь к каким-либо рас-

суждениям о жизни. Обычно обратное проявляется на склоне лет.

Гулак завел с ним разговор о дочери:

— Как хорошо, что в тот день она увела меня в море!

Он все еще разрешал для себя трудный вопрос о том, как родится здесь песня, насколько ярче она действительности и почему так оберегают песню от посторонних.

— Мария не моя дочь! — обронил старик.

— Неужели? Она знает об этом? — удивился Гулак.

— Не знает.

— Вы ее удочерили? Уж не подкидыш ли она? — допытывался Гулак.

— Нет, она до прошлого года еще жила с родителями, — неохотно ответил рыбак, — моими друзьями, а после их гибели пришла ко мне.

— Не понимаю! — признался Гулак.

— Понять нелегко! — согласился старик. — Ну, слушайте же. У друга моего была жена, любившая меня больше, чем его. Много лет назад она уговорила меня сойтись с ней и разрешить ей уйти от мужа. Она мне очень нравилась, но я не мог на это пойти: как предать друга? Тогда, может быть из намерения заставить меня жениться на себе, — женщина ведь часто теряет разум, когда что-нибудь не по ней, — а вернее всего, желая как-нибудь отделаться от мужа, взбесить его, потерять для себя, она сказала ему, будто бы Мария, — ей было тогда пять лет, — не его, а моя дочь! Но друг мой повел себя иначе, он поверил ей, простил жену, и они вместе с того времени воспитывали ребенка в любви ко мне. . . Мне казалось даже иногда, будто мать уже сама поверила, что Мария действительно от меня, а друг мой только незадолго перед смертью, в случайном разговоре со мной, спросил: «Тебе тяжело было отказаться ради меня от женщины, которая тебя любила?» К этому времени, надо сказать, она была очень больна, да уже и стара. Я промолчал и не знал, что лучше: открыть или скрыть ее ложь? Он ведь был уверен, что Мария не его дочь и тоже должен был иметь немалую силу выстрадать измену своей жены, ни разу ни в чем меня не упрекнув. Я же был вдов и не имел детей.

— Как же они объяснили Марии, почему она живет не с вами? — в нетерпении прервал Гулак.

— А так и объяснили... Ее мать ведь не ушла от моего друга. И друг мой ни в чем не показал себя плохим отчимом, никогда не сказал обо мне Марии плохого слова.

Гулак молчал, раздумывая. Что это? Сила дружбы?

— Они потонули в бурю, возвращаясь в праздник от своих родственников из Флоренции, и я думаю... нам всем было легче, чем могло быть. Им умирать, веря, что Мария — моя, ей — знать, что у нее остается отец, мне — обретя дочь... Иначе я был бы совсем одинок! Вы поняли теперь?

Приход Марии прервал их разговор.

— Вы скоро уедете от нас, синьор? — сказала она грустно, не замечая, как у того человека, которого считала отцом, тряслись руки. Он старательно запихивал табак в трубку только для того, чтобы что-нибудь делать и унять эту дрожь.

— Скоро, Мария.

— Рыбаки в селении хотят послушать вас. Теперь ведь все знают, что вы русский певец.

Гулак-Артемовский тянулся к старику и охотно проводил бы девушку в сад, чтобы остаться с ним наедине, а, пожалуй, еще бы лучше, наедине со своими мыслями. Он думал о том, что рассказанное ему стариком отвечает на многое относящееся к тому, как рождается песня. И вся эта история с отцовством — творимая народом легенда, в которой было подчас неотличима от вымысла, как реальное от романтического.

3

На той же террасе виллы «Palazi Poli», где бывал Глинка, возле статуй римских богов, среди которых необычайно странно было видеть бюсты Александра Первого и поэта Веневитинова, Гулак беседовал с княгиней Волконской.

— Я согласилась принять католичество, и теперь русские друзья обходят мой дом, — пожаловалась она в разговоре. — Спасибо, что вы запросто пришли ко

мне с письмом Михаила Ивановича. Когда он здесь жил, еще не было его «Жизни за царя» и романсов, которые доставили ему славу. Он был совсем молод, и, правду сказать, я считала, что Соболевский, друг его, часто бывавший у меня в ту пору, преувеличивает его талант. Мне казалось, Глинка больше рассуждает о музыке, нежели пишет! А теперь приехали вы! Может быть, случится, что и вас когда-нибудь настигнет известность, а там и старость, как сейчас меня!

В голосе ее Гулак не уловил, хочет ли она этой его известности. Вернее всего, ей было безразлично. Он пел ей по ее просьбе арии из итальянских опер, пел романсы Глинки. Княгиня восхищалась его голосом и тут же шептала, глядя куда-то в сторону:

— Не только голос ваш прекрасен, но и чувство, с каким поете, и возраст ваш, и вера в жизнь, — все это молодо и прекрасно!

Гулаку было неловко, словно, расхваливая его, она мысленно укоряла за что-то себя, прощалась со своим прошлым. Красивое лицо ее было отчужденно-вежливо и печально. Когда же она забывала, что на нее глядят, лицо ее теряло свою живость, и морщины резче выступали на нем скорбной и суровой складкой.

— Объясните мне, — говорила она, — что может быть лучше церковного пения, исполненного великим певцом? В чем, если не в грусти, не в прощании с жизнью, может прозвучать его голос? Ведь искусство сильно и благородно только в изображении страдания, а никак не веселия! Вакханки не героини Италии, не так ли?

И неожиданно предложила:

— Хотите, отвезу вас в папский дворец?

— Зачем? — испугался Гулак. — Я не прелат...

— Но ваш голос подкупит даже кардиналов.

— Охота вам смеяться, княгиня, и что пользы мне в их расположении?

— А Иванов? — напонила она. — Он же нашел в этом себе пользу. — И рассмеялась: — Мне хочется вам сделать что-нибудь очень приятное, хотя бы во искупление собственных своих грехов. И чтобы здесь, в Риме, больше жило талантливых русских людей. Вам

говорили, сколько денег я жертвую на нужды тех, кто приехал сюда из России учиться искусству?

— Я бы отказался, княгиня, от такого пожертвования.

Она не обиделась, но спросила:

— Ну, а что, по-вашему, движет певцом или художником, если не страсть, не страдание? И что открывает перед вами Италия?

— Я слышу здесь Украину.

— Разве похожи мелодии песен? Вот не думала.

— Не совсем так, княгиня, но судьба запорожцев, попавших за Дунай, повторяется и в моей собственной участи здесь. Я слышу Украину в здешней музыке, вижу ее в своих мечтах. . .

Он замялся. Слишком уж не присуще ему было об этом распространяться.

— Этакий запорожец за. . . Тибром, — сыграла она на слове.

— Короче говоря, мне одинаково интересны здесь и песни, и жизнь народа.

— Для этого приехали? — пожала она плечами. — Разве в народе слагают песни лучше, чем пишет музыку Верди? Или он тоже под стать вам? . .

И, как бы отбрасывая все сказанное, озабоченно ласково спросила:

— Но все же, чем я могу быть полезной вам? Михаил Иванович просит оказать вам внимание и «путеводить» вами.

— У меня есть к вам просьба, княгиня.

— Слушаю.

— Мне нужна одежда пастуха, в которой он ходит в горах, и ваше разрешение пасти ваших овец. . . Мне мало быть наблюдателем, мне нужно дело. Я уже достаточно знаю язык, чтобы обойтись без переводчиков. В общем, месяца два я хотел бы служить вашему управляющему.

— Это что же, путь к славе? — помолчав, насмешливо спросила она. — Оригинально!

— Нет, к народу.

— А у мастеров пения вам нечему будет поучиться, а Паста, Рубини? . . Кстати, Паста никак не забудет

Глинку! А где вы жили по приезде сюда, в Риме, в Милане?

— Месяца три провел у рыбаков, — неохотно ответил он. — Вам это будет скучно, княгиня.

— Почему же? Италия не только страна кантилены, это страна душевных поисков и душевного устроения. Я не удивляюсь, молчу. Уполномоченный при русской колонии в Риме как-то говорил мне о странствующих по Италии семинаристах. Конечно, в Риме в вилле Медичи устроено общежитие парижских лауреатов, там жил Берлиоз. Но вам потребна жизнь простого народа!..

Она хлопнула в ладоши и приказала явившемуся слуге-негру:

— Позови управляющего.

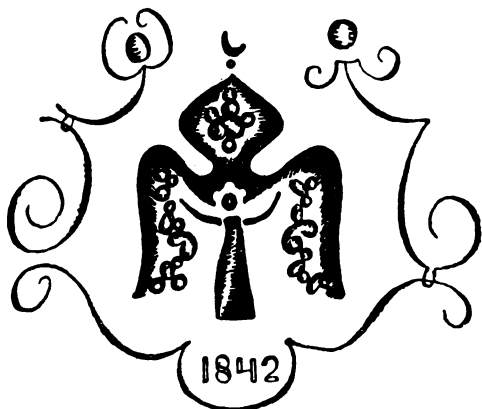
И когда минут через двадцать явился, запыхавшись, дородный и усатый, похожий на мельника из столичной оперы, управляющий, Волконская, не поднимая на него глаз, небрежно сказала:

— У моего гостя каприз, он любит маскарады. Делай все, что повелит, и ничему не удивляйся. Захочет пасти скот — наряди пастухом! Иди!

— Слушаюсь, государыня-матушка! — выпалил управляющий, и Гулак улыбнулся: так вели себя бурмистры и приказчики в старых помещичьих усадьбах, но здесь это выглядело редкостно.

Он прожил у Волконской с полгода, то уходя в горы, то исчезая в Риме. Слуга-негр, убирая его комнату, в смущении отряхивал висящие рядом на стене черный актерский фрак и серый пастушечий плащ с башлыком. На пюпитре в углу лежала стопка нотной бумаги, и слуга следил за тем, как все больше заполнялись листки непонятными ему закорючками. Он обрадовался, когда однажды не нашел в комнате ни этих листков, ни одежды и узнал, что странный гость выбыл.

Прошло месяцев пять, и в здешнем поместье Волконской узнали, что новый, входящий в славу певец во флорентинском театре не кто иной, как этот их гость. И среди тех, кто ездил туда его слушать, плененный молвой о чудесном певце, были рыбаки из далекого селения, пансионеры из общежития парижских лауреатов, русские художники и с ними княгиня Волконская.



«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

...Еще он говорил мне: поймут
твоего Мишу, когда его не будет, а
«Руслана» — через сто лет, но пред-
сказание его осуществилось раньше
этого времени.

Л. Шестакова

1

Одоевский не раз удивлялся тому, что Глинка писал музыку к опере... прежде слов. «Такого комического случая еще не было в истории», — говорил он. И сейчас в Новоспасском Михаил Иванович, не дожидаясь присылок Ширкова, уже кончал интродукцию «Руслана». Детище семерых в сущности принадлежало ему одному. Странная бывает роль творца музыки — подчинять в угоду себе либреттистов, не открываясь в том и сознавая, что без них не обойтись. Одоевский шутил: «Семеро нянек — дитя без глазу; да ведь Михаила Ивановича понимать надо: в творческий свой мир никого не пускает, хотя и не подает вида, няньки ему не больно нужны».

Но тем не менее Ширкову Глинка остался и сейчас верен и с ним откровенно говорил об остальных либреттистах. В письме к нему признался: «Понимаю очень,

что содействие Кукольника тебе неприятно, но своеобразие моей музы при твоём отдалении заставляет меня прибегать к нему, и мои извинения весьма естественны. Кукольник подкидывает слова наскоро, не обращая внимания на красоту стиха, и все, что он доселе написал для «Руслана», так неопрятно, что непременно требует переделки. Прибавлю еще, что как я ни ценю дарования Кукольника, но остаюсь при прежнем о нем мнении: он литератор, а не поэт, стих его вообще слишком тяжел и не грациозен после Пушкина, Батюшкова и других».

Но кто может из соавторов либретто понять, как собирает Глинка воедино разрозненные их отрывки, сам становясь, как бывало в юности, поэтом? Легко ли догадаться, что станется с пушкинским замыслом и как эпическое творение Пушкина должно стать драматургическим? Ведь немногое из пушкинского подлинника остается: баллада Финна, песня «Ложится в поле мрак ночной» да ария Руслана «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями», а Пушкин между тем жив в опере! Так кажется Глинке, по-своему довершающему сейчас труд... за Пушкина и мысленно продолжающему давно прерванный с ним разговор. И право, тут совсем не до Кукольника! Не Нестору Васильевичу уразуметь, сколь трудно передать Пушкина в музыке, достичь в совершенстве и тонкости музыкальных интонаций, того, что передано им в поэзии и навек породило Глинку с Пушкиным. И в сюжетных ли изменениях суть, как они ни важны? Ратмир в опере поистине человек Востока, а Фарлаф несравненно более смешон, чем в поэме. Но что говорить об этом? Литературные судьи уже толкуют о нелепостях отнесения к Пушкину... партии Гориславы — ее совсем нет в поэме — и об условности всего содержания оперы.

Глинка строит интродукцию к «Руслану» на теме «Слова о полку Игореве», величия Киевской Руси и единства славянских племен. Что же такое «Руслан»? Сказка-феерия, как хотелось Шаховскому? Нет, скорее эпос, равный «Одиссее», — пространный, величественный сказ о старине, о движении славян к югу и к северу, о верности их в любви и дружбе, превосходящей волшебства обольщений и подчас обманчивость красоты. И разве само «царство Черномора» не сказание о

Востоке, рожденное свободолюбивой фантазией русских, не терпящих ханского гнета, слез наложниц в гаремах и культа софистической мысли, культа, столь развитого в магометанстве? Не ясна ли реалистичность сказки? Ей противопоставлен в своих канонах весь рационалистически трезвый восемнадцатый век, да и девятнадцатый еще не имеет такой смелости и широты приемов. Широты, но не помпезности, не излюбленного в Европе «музыкального бомбоста».

Интродукция написана в три недели, за ней неожиданно для себя и финал оперы, — на станции Городец, проездом из Новоспасского в Петербург. В отцовском доме, разговаривая с сестрой Людмилой о «Руслане», Глинка доверительно сказал:

— Кажется, скоро кончу. Извелся я с оперой, не могу больше, тяготит она меня так, что бежать от нее готов. Да разве от самого себя убежишь?

— Так трудно сочинять? — простодушно удивилась сестра. — А ты между тем таким спокойным казался дома с тех пор, как приехал в этот раз из столицы.

Он играл ей из «Руслана» и после читал присланные Ширковым отрывки.

— Интересно ли тебе, Куконушка?

Ей было немного страшно. «Марш Черномора» Глинка исполнял холодно, замедленно, и мажорный ход его передавался девушке. Она слушала, полузакрыв глаза, представляя себе, как должен Черномор выглядеть на сцене, и не могла отрешиться от привычных сказочных представлений, от того, что слышала в детстве, но, боясь обидеть брата, ответила:

— Очень интересно. Но он необходим тебе, этот карл? — Она чуть было не сказала: «этот карла», как говорили няньки.

Глинка мягко улыбнулся, поняв ее, и заметил:

— Что ж, мой карла, — он умышленно произнес по-старинному протяжно, — обязан пугать людей. И ты должна его знать давно. Ты ведь русская. Это о тебе сказал Пушкин:

Не дура английской породы,
Не своенравная мамзель,
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель...

Подъезжая к Петербургу, он тепло думал о сестре, о том, каким жизненным оказался его карла. Опять поселился у Кукольника, написал по его просьбе увертюру к «Князю Холмскому», песню «Ходит ветер у ворот» и романс «Сон Рахили», но не оставлял работу над «Русланом». Зимой болел горячкой, какая-то сыпь высыпала на теле, лечился гомеопатическими порошками, объяснив себе свою болезнь какими-то пережитыми и предстоящими бедствиями, а выздоравливая, написал «Тарантеллу», по давней просьбе Мятлева. И тогда почувствовал себя окончательно выздоровевшим. Жил в эту зиму бедно, довольствуясь в обед кислыми щами и кашей, радуясь тому, что один и нет около Марии Петровны. Ей, собственно, и отдал большую часть имевшихся денег. В конце зимы неожиданно разбогател, получив от императрицы перстень с изумрудом, осыпанным бриллиантами, — за музыку прощальной песни воспитанниц Екатерининского института. Перстень послал матери в Новоспасское, впервые, кажется, испытав облегчение от того, что не должен его ни закладывать, ни продавать.

Наступила весна, и Глинка переехал от Кукольника к Степановым, жившим возле Измайловского моста. Карикатурист уступил ему свою комнату, не менее фантастическую, чем в доме Нестора Васильевича на Фонарном. Стены ее были расписаны изображениями чертей, веселящихся, тоскующих и влюбленных. Влюбленный черт, ростом во всю длину потолка, обнимал какую-то пышногрудую деваху и странно походил лицом на Кукольника. Глинка по ночам, просыпаясь, не раз с изумлением видел при свече наваливающегося на него черта.

В этой квартире застал его приехавший в Петербург Ширков.

Валериан Федорович привез только что завершенные им «остатки» либретто, но о «Руслане» первый не заговаривал. И, как бывало, встреча их протекала по сравнению с письмами друг к другу более сдержанно и сухо. Не смея допытываться у Михаила Ивановича о его семейных делах и почему выбрал он себе именно эту комнату, Ширков осторожно спросил:

— Кукольник благоденствует?

— Полноте! Не ревнуйте! — понял его Глинка. — Что он вам?..

— «Что он «Руслану»?» — скажите лучше. Ведь, слышал я, из-за Кукольника вокруг «Руслана» завяжется какая-нибудь дразга. С Фаддеем Булгариным вы в ссоре, а его язык известен. И странно, Михаил Иванович, но в обществе могут судить об опере не по ней, а по отношению ко всем нам, вашим помощникам, авторам либретто. А у кого только нет зуба против кого-нибудь из нас? Не думали об этом?

— Нет, и не хочу думать.

— А меня жизнь заставила. Вот думаю иногда: как бы сделать, Михаил Иванович, чтобы миновать «Руслану» столичную сцену? И знаю, что это невозможно. Пойдет ведь «Руслан» на Руси, но если бы с народа начать, а не с царедворцев... Я о слушателях говорю.

— Бог с вами, Валериан Федорович! — встревожился Глинка. — Послушаешь вас, так и к Гедеонову ходить не надо, а я уже, считайте, продал ему оперу. Он согласился выдавать мне разовые вместо единовременной оплаты, десятый процент с двух третей полного сбора. Скоро всю партитуру в театральную нотную контору сдам и начнем разучивать, а вы... Пугать, что ли, приехали?

— А как с декоратором и балетмейстером? Ведь Роллер и Титюс, сдаются мне, будут начальствовать над постановкой?

Ширков, не столь часто бывая в столице, знал во всех подробностях, от кого зависят театральные премьеры, и, по склонности характера, готовил себя к худшему, к проволочкам и капризам влиятельных лиц.

Валериан Федорович был строен и вместе с тем «мужиковат» с виду, этакое непреднамеренное, идущее к нему провинциальное щегольство: длинный закрытый сюртук и брюки, заправленные в сапоги. Говорил он с Глинкой ворчливо, словно неохотно, поглядывая ласково и в то же время чуть отчужденно, и Глинку всегда трогала эта ворчливая, сдержанная доброта в сочетании со скрытым преклонением перед ним.

— С Титюсом поладил... на обеде и еще не раз приглашу к себе, — ответил Глинка, — человек он заведомо

глупый, и «Руслан» не по нему. А Роллер? От Роллера ничего плохого не жду, да и Брюллов поможет.

— Вот видите, Михаил Иванович, в какой зависимости наш «Руслан»? И от обеда, и от обеденных речей... Ну, да нового в этом нет! Можно ли остановиться мне здесь у вас, среди чертей? Не очень дружу с нечистой силой, — он с намеренной почтительностью оглядел комнату, застеленную гарусным покрывалом кровать, маленькое фортепиано в углу, полочку с книгами. — За неделю бы кончили! Впрочем, молчу, Михаил Иванович, знаю, что стих мой — небольшое для вас подспорье... Уже небось без меня решили последнее?

— Что вы? — смущенно возразил Глинка, в действительности уже почти закончивший партитуру. — Можно ли мне одному?

— Рассказывайте! — с некоторой грустью, недоверчиво протянул Ширков. — Да я не в обиде. Стало быть, как прикажете, у вас пожить или у Демута?

— Фортепиано в трактир я ведь не перенесу, — оборвал его Глинка с неожиданной резкостью, — а ко мне будете ходить — не всегда в нужный час попадете, потому, милый Валериан Федорович, чертей прикажу завесить простынями. Внесем софу и разместимся. Мне вам многое сказать надо, что это вы, право, держитесь сегодня как-то официально!

— Ну хорошо, Михаил Иванович, хорошо, не буду, — заторопился Ширков, и смуглое горбоносое лицо его с напряженным до этого взглядом серых холодных глаз сразу потеплело. Именно этих слов он и ожидал от Глинки.

Устраиваясь, он ненароком обронил:

— В Петербург Лист приехал! Слыхали, Михаил Иванович?

— Говорили мне, — отозвался Глинка. — Приглашен я нынче к графине Ростопчиной, там увижу его. Да и Одоевский звал, говорил, что Лист у него будет. Домоседом я стал, Валериан Федорович, все больше наедине с «Русланом» сижу, миновали меня петербургские новости.

— Вот и хорошо. Давно бы так! — одобрил Ширков. — О Листе слышал, а вот не знаете ли, Михаил Иванович, где в Петербурге приехавшие музыканты

живут, «музыкальные ходоки» из Астрахани, из Самары, певцы да слагатели песен?

— В доме Кавоса найдете, у слуги. Там бывают такие занимательные люди! Недавно мне их нотные записи передали... А что вам до них, почему интересуетесь?

— Грех вам спрашивать, Михаил Иванович! — Широков оторвался от дела — он ловко и быстро развязывал какой-то баул. — Не для Гедеонова ведь «Руслана» пишем, для них... Не только Виельгорскому и державной нашей столице, а волжским да сибирским городам о «Руслане» судить. Они-то и петь будут. Им потрафлять не надо!

— Все вы о том же! — качнул головой Глинка, поглядев на гостя со смешанным чувством благодарности и смущения. Ему и самому хотелось так думать, но жизнь сузила связи его с народом. Будто и верно, дальше Петербурга путей нет!.. За Широковым, давним ревнивцем к столице, стояла сейчас в его глазах вся поющая, многоголосая Россия, приверженная песенной правде, сказам старины и чудесным распевам колоколов, среди которых голос новоспасских звонниц еще до сих пор, казалось, звучал ему издалека.

2

К одной из своих сестер писал Михаил Иванович в час откровенности о любви своей к Керн: «...маменька советует мне умерять мои страсти — разве ты не знаешь, что моя привязанность к ней составляет потребность сердца, а когда сердце удовлетворено, страсти можно не опасаться. Я убежден, что соблазнов больших столиц следует более опасаться, чем последствий и проявлений чистой и сердечной привязанности... Близость особы, которая заключает в себе артистку, создает новую силу, между тем как удаление от нее терзает душу и изнуряет тело».

Как ни отчитывал мысленно Керн, утешительно перечисляя себе только теперь установленные им ее пороки, случаи, в которых проявились они, а потребность в любви к ней брала свое: слишком уж многое сближало, и, главное, несомненная артистичность ее натуры,

пусть холодная, пусть способная к самым неожиданным перевоплощениям, к изменам самой себе. Одна она постигала его мысли, не принуждая себя вникать в их глубину, каким-то легким предугадыванием, шестым чувством мгновенно подхватывая их, развивая в беседе и не преклоняясь перед Глинкой. Но уже сама способность к этому и непринужденность, — он говорил себе «грациозность ее ума», — были ему бесконечно дороги, не говоря о том, что не поддавалось определению, — о секрете самого влечения к ней, вмещающем в себя и любованье ею и страдание... Но в то же время он отчетливо знал теперь, что любовь эта чем-то похожа на пустыню, где негде преклонить голову, пустыню, которая бесконечна... и ровна. И нет в ней того кроткого, умиротворенного покоя, который должна дать женщина, не становясь слишком домовитой, привязчивой, не тешась наивным стремлением взять его — Михаила Ивановича — в свои руки, но и не будучи столь бессердечно-рассудочной... И где грань между всем этим?

Внутренне отказавшись от мысли иметь ее своей женой, он не так мучился затянувшимся бракоразводным процессом с Марией Петровной. И очень уж противно думать о том, как будет оправдываться корнет Васильчиков и что станет объяснять священник Федор Опольский, которого обвиняют в тайном совершении их бракосочетания. Достаточно памятливы последние разговоры с Марией Петровной в Царском Селе. Он просил ее... сохранять хотя бы внешне престиж. Не забыть ему и заключение из дела, составленное по всем правилам канцелярского ремесла: «В присутствии Санкт-Петербургской духовной консистории коллежский асессор Михаил Иванович Глинка был увещиваем об оставлении ссор и обращении его к супружескому сожитию, на основании 243 ст. устава Епархиальных консисторий, вследствие поданной 15 мая 1841 года просьбы к его высокопреосвященству о расторжении брака, но он на супружеское с женою сожитие не согласился, а желает, чтобы по прошению его было учинено законное рассмотрение». Подписано: «Михайло Иванов сын Глинка коллежский асессор».

Но невольно, как бы в облегчение от всех этих бракоразводных тягот, во все времена одно и то же, —

хочется видеть Керн, уже не связывая одно с другим — развод с новой женитьбой, — а лишь из потребности видеть ее неомраченное милое лицо и слышать ее мягкий голос, произносящий подчас с отменной выдержкой весьма холодные слова.

Она заметно поправилась после поездки и к девичьей статности ее прибавилась какая-то тяжеловатость зрелости: в покатоности плеч, в замедленности походки. Он увиделся с ней в доме Анны Петровны, огорченной их размолвкой, и опять разговор с Екатериной Ермолаевной доставил ему грустную, но необходимую уладу. Речь шла о Листе, и с какой живостью воображения потешалась она, смиренница, над веймарским обликом и веймарскими повадками знаменитого пианиста. Лист только собирался туда, но она видела его живущим именно в Веймаре. Не побывав в Веймаре, она умела представить себе по книгам этот высокочтимый бюргерский городок, свидетельствующий каждым своим уголком о прошлом людей искусства. Городок заполнен памятниками, как антикварная лавка всевозможными редкостями, и так много чинного благолепия выпало на его долю, что уже не вызывает смиренного волнения маленькое кладбище, на котором в одном склепе с гротеск-герцогами покоятся Гёте и Шиллер и гротеск-герцогская библиотека, хранящая стихарь Лютера, домашний халат Гёте и подобные реликвии. И что дает право веймарцам, возвеличенным в собственных глазах и жительством здесь, наследовать неведомо от кого лихорадочную патетичность речи, пасторскую осанку и неприятие юмора?

Обо всем этом говорит Керн, рисуя перед всеми долговязую фигуру Листа, чем-то похожую на аиста, немолодого человека в длинном черном сюртуке, худого, длинноносого, с белыми длинными волосами, говорит отнюдь не в обиду или в умаление его. Она опять утверждает, что в манерах Листа много есть от Веймара, и хочет понять Глинку, разбирающего его игру. По словам Михаила Ивановича, Лист играет модную музыку, такую, как мазурки Шопена и ноктюрны, с превычурными оттенками, а симфонию Бетховена, переписанную им самим для фортепиано, — без надлежащего достоинства и в ударе по клавишам — рублено, «по-кот-

летному». Гуммеля исполняет несколько пренебрежительно, и вообще сравнить его игру с игрой Фильда и Майера можно лишь в их пользу, в особенности в гаммах, но все же играет превосходно и, конечно, по-своему! И в силе страсти ему не откажешь, хотя и театрален порой безмерно!

Глинка тут же исполнял Бетховена, и Керн улавливала то, что отличало его исполнение от Листа. Она слышала Листа дважды и, увлеченная им, тем не менее во многом соглашалась с Глинкой. А может быть, исполнительский характер Глинки ей просто был роднее, ближе!

Анна Петровна не вникала в их разговор, обеспокоенная другим: своим равнодушием к самой теме... Право, ее больше занимало, сойдется ли наконец дочь с Михаилом Ивановичем. В этом было стыдно себе признаться, а Анна Петровна сидела отчужденно, не решаясь заговорить. Упреком ей было и поведение дочери. Дочь могла рассуждать обо всем, отвлекаясь от своего отношения к композитору, она же — Анна Петровна — бессильна... Сказывалась ли в этом усталость от жизни или отсутствие человека, ведшего ее за собой?

Глинка сыграл из «Руслана» и спел арию Ратмира. Анна Петровна почувствовала, что ему хорошо в ее доме. В затруднении и смутной радости она вышла из комнаты, оставив дочь наедине с ним. Глинка не заметил ее ухода и этим немного обидел Екатерину Ермолаевну. Он пел и в этот вечер мог говорить, казалось, только о музыке и играть без конца. Но стоило Екатерине Ермолаевне удалиться на несколько минут, он переставал играть. Не странно ли? Ему нужно было, чтобы она сидела с ним рядом. Она поняла это и, внутренне улыбнувшись, уже не оставляла его одного.

Ни о чем больше не поговорив, они вскоре простились. Глинка был спокоен и бодр. Дома у Степанова его ждали мать и сестра, приехавшие из Смоленска. Ширков собирался уезжать до премьеры «Руслана» и ночевал у друзей. Он держал в Петербурге небольшую квартиру, но почти не жил у себя. Евгения Андреевна решила устраиваться на зиму в столице и уже подыскала себе небольшой дом на Гороховой. Она заняла в этом доме бельэтаж, предложив сыну две комнаты внизу, во дворе.

Людмила Ивановна — так давно уже величали Куко-нушку, выросшую как-то незаметно и сразу, — встрети-ла брата недовольно и печально. Отведя его в сторону, она сказала:

— Ты опять... с Керн? Не жалеешь себя и ма-меньку?

Глаза ее набухали слезами, и в опущенных краешках губ пряталось что-то старушечье, злое, уродующее ми-лое и открытое ее лицо.

3

Звуки владели им пятый день. Он боялся выйти из дому, чтобы не нарушить, не поколебать то состояние музыкального опьянения, — так он говорил, — которое охватывало его. Он не мог бы разобраться в том, что наводит на возникающие одно за другим музыкальные раздумья, родящие мелодию: все прожитое помогает ему, дни, проведенные на Украине, вдруг возрождаются в памяти отзвуком когда-то слышанной и теперь воспроизведенной песни. Но взыскательность в отборе звуков и как бы стороннее, отчужденно строгое отношение к ним не покидает.

И было радостно от сознания, что не поработен са-мим собой, не потерял способности слышать самого себя со стороны.

Словно охватывая музыкальный его замысел, воз-никал старый песенный прием, унесенный было с собой семнадцатым веком, — один певец за другим, не дав от-звенеть песне, повторяет ее, и кажется, идет беседа на сцене, круг собеседников растет, и далекое делается близким, необычное — обычным, небесное — земным... Элегическая ритурнель аккомпанемента звучит торже-ственно. Новая песня Баяна «Есть пустынный край» посвящена Пушкину.

Кажется, «Руслан» гораздо завершеннее «Сусанина», пока еще мало было помех. Сын Гедеонова Михаил, сын «Фатума», больше чем благорасположен к Михаилу Ивановичу и влияет на своего отца. Но предстоят купюры, уже был разговор о них, разногласия в оценках сулят опере огорчительные уродства. Хорошо, что, увле-

ченный работой, он может не думать о том, как примут оперу. Самому ему кажется, что он никогда не был так близок к наиболее полному раскрытию своих замыслов... не только «Руслана», всей своей творческой жизни. Сейчас он склонен находить в «Жизни за царя» некоторое влияние итальянщины, укоряет себя за арию Вани, отдающую ею и поэтому неестественную, за то, что, кроме Сусанина, в опере нет, собственно, ни одного характера. То ли в «Руслане»!

Он сидит в халате за инструментом, изредка глотая остывший чай, и затупившимся гусиным пером набрасывает последние партитуры. Он повторяет несколько раз написанное, чуть касаясь клавиш сильными короткими пальцами и исторгая из фортепиано то неистово бурную, то пленительно мягкую мелодию. Потом быстро ходит по комнате, как бы вслушиваясь во все еще звенящие для него аккорды. Волосы свисают на лоб, делая его лицо кротким и рассеянным, а в глазах живость и уверенность, будто только что с кем-то спорил и доказывал свою правоту. Таким заставляла его сестра Людмила — блаженно разомлевшего в жарко натопленной комнате и счастливого. Сестра говорит, что с того дня, как переехали на Гороховую и не стало чертей в комнате, он поздоровел и «кляукольники» меньше отрывают от дела. Главное в опере осуществлено до переезда сюда, но Людмиле Ивановне и Евгении Андреевне упорно хочется думать, что «Руслан» родится и увидит свет на Гороховой. Репетиция назначена здесь. Такое событие не может остаться неизвестным улице. Дворники, дежуря у ворот, принимают пятаки в ладонь от любопытствующих и чинно говорят: «Съезжаются музицировать на днях. Слепец будет Баяном, старик, откуда-то из Малороссии, ходит сюда с женой. Барон Раль, слышно, приедет, — из военного оркестра, — барин знатный». Дворники знают о Рале, о кавалергардских полках, где он учит играть марши. Учит, по их понятию, — это дирижировать. Репетицию же, по необычной осведомленности, называют они правильно: «квартетная проба».

Чего не услышишь, однако, на Гороховой! Прижавшись к стене дома, мастеровые ловят арии «Руслана», доносящиеся из комнаты композитора, перпевают и

спорят, правильно ли запомнили мотив. И когда однажды вечером вышел Михаил Иванович из своего затворничества, он услышал, как на соседнем дворе пела Горислава. Он прислонился, не веря себе, к водосточной трубе и готов был поправить певунью. Ведь так трудно подражать Гориславе! Был конец июля, кончались белые ночи, но вечер был еще бледен, смутен, неправдоподобен, и ощущение неправдоподобия его передалось Глинке. Мягко улыбнувшись, он побрел дальше, провожаемый все той же песней, на углу крикнул извозчику и, мешковато забравшись в дрожки, назвал адрес.

Он ехал к Одоевскому. Князь болел, и давно следовало его навестить. «Фантастический» салон его наполнился многими новыми редкостями. Сенковский недавно подарил две мумии, якобы привезенные из Египта. Зоологи и натуралисты прислали в дар чучело пингвина ростом с человека, из коллекции, некогда собранной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева у высоких широт. И вот ведь загадка, неизменно занимавшая Глинку: «фантаст» Одоевский был прост, душевен и естественнее многих! А при всем своем тяготении к заморским чудесам и отвлеченному философствованию отлично знал почем «...фунт лиха», понимал крестьянские нужды, песни, любил эти песни больше, чем итальянскую оперу, и досадовал на столичных музыкантов, «низводящих чувствительность Моцарта до простой сентиментальности». И сколь многим натуральным отличался «фантаст» князь Одоевский от чванливого графа Виельгорского, слывшего истинным знатоком музыки!

Владимир Федорович, лежа на тахте возле все тех же этажеров в виде эллипсисов и книжных полок, весело сказал:

— Вот и вы ударились в странности. И вы теперь «восточник», сказочник, воспеватель садов Черномора. Кому, как не мне и не Сенковскому, радоваться такому «превращению» композитора, признававшего доселе лишь трезвую историческую героину.

Глаза его смеялись. На лоб нависал бархатный черный колпак.

— Помилуйте, Владимир Федорович, «Руслан» отнюдь не голая феерия, не только завлекательная сказка...

— Знаю. Но ведь и небывалое, фантастическое надо изобразить в «Руслане» во всю силу. Так, чтобы не уподобить оперу обычной и средней восточной сказке.

— Да, Владимир Федорович, это очень важно. Стоит повторить ординарную сказку, перепев ее, и не будет «Руслана». От декорации зависит, от театра. Боюсь, что мне нарисуют балкончиков с розанчиками для Черноморова сада, а мне бы хотелось небывалых деревьев, цветов!..

Обеспокоенный, он присел на тахту и повторил:

— Провинциальность и бледность декорации — и не быть саду Черноморовым. Одной музыке в пустоте звучать! Как страшно! Испугали вы меня, Владимир Федорович, одна надежда на Роллера. Верю, Брюллов подкажет, не потерпит провинциальной умильности, но все же!..

Взгляд его упал на раскрытую книгу энтомолога Эренберга, лежащую в ногах у князя. Он взял ее в руки, положил на стол.

— Что это такое? — спросил он, рассматривая рисунки каких-то микроскопических животных и причудливых растений.

— Твой Черноморов сад! — ответил вполне серьезно князь.

— Не пойму, что говорите.

— А ты подумай. Все эти растения надо сделать гигантскими, придать им форму, и только! Будет сад, — естественный и небывалый, — вот он — сад Черномора!

— А верно ведь! Ничего больше не надо выдумывать, — изумился Глинка. — Просто так!

Он глядел с детским восхищением то на книгу, то на князя.

— Давно ли придумали такое?

— Только что! Хорошая мысль чаще всего приходит неожиданно! Бери с собой книгу и вези ее Роллеру. А я тоже театру посоветую план этот принять. Разное толкуют о твоей опере, друг ты мой, Михаил Иванович, и надо тебе врагов своих с честью встретить, блеском поразить.

— А кто они, враги-то? Булгарина мне, что ли, опасаться?

— Его!

— Так от него не уйдешь, Ширков говорит. Каков ни будь мой «Руслан», а несдобровать!

— Может быть, ты и прав, — согласился князь. — Помнится мне «Плач Воейкова», написанный им. Изрядно поиздевался над Воейковым Булгарин.

Ах зачем было
Мне стихи писать,
«Инвалид» кропать.
Человечество
И отечество
Гибло б всем на зло,
Было б мне тепло.
Я жену продам,
Детей так отдам.
Только был бы сыт
И не явно бит.

Таков и он, Булгарин, его булгаринский плач. Сам трус, а задира Воейков ответил Фаддею в том же духе, не хуже. Да, от Фаддея добра не жду. Ну да бог с ним!

И они заговорили о другом: о Сенковском, о журнале «Библиотека для чтения», идущем к упадку, и оркестрионе — виновнике всех его бед. Глинка не говорил, что знает заумные ухищрения эти «Барона Брамбуса», и заметил коротко:

— От какого личного неустройства потянуло его к этим «чудесам»? Может человек музыку понимать, не его оркестровое чудище, а простую красивую скрипку. И может быть в жизни простым, а вот ведь!..

Замечание его относилось и к князю.

Владимир Федорович понимающе усмехнулся.

— Ну, ну, не доканчивай. Сенковский проторенными дорогами идти боится. От этого у него путь всегда длинный да путаный. Изыскатель он, фантаст и стесняется порой простоты, как мужчина нежности. Нужно подумать, как бы отвратить его от всего этого, ведь одни мытарства принесут ему эти его попытки заменить целый оркестр одним инструментом. Чем бы отвратить от всей этой чепухи? Только настоящей музыкой — твоим «Русланом»! Вот когда здоровая фантазия для нездоровой может быть целительна!

Можно ли быть настолько противоречивым, не возбуждая всеобщего недоумения: когда же он настоящий и в чем доподлинно сказывается артистичность его натуры? Серов видел его то отчужденно замкнутым, с бледно-смуглым лицом, которое словно безжизненной рамкой окаймлено бакенбардами, в черном фраке, застегнутом доверху, и в белых, непогрешимой чистоты перчатках. Без тени улыбки он подходил к фортепиано аккомпанировать певцам, исполнявшим его же, глинковские, творения. И Серов в этом же кругу помнил его безотчетно отдающимся музыке и друзьям, с лицом счастливицы, одетым со щеголеватой небрежностью истинного петербуржца.

Он пел, и Серов, возвратясь с этих вечеров домой, чувствовал, что «заболевает» Глинкой. Еще добираясь к себе, он должен был несколько раз остановиться на улице, чтобы перевести дыхание и с восторгом поглядеть в петербургское небо: как хорошо жить! Стоя, бывало, у безответной каменной тумбы, в тупике булыжных проулков, куда занесло его волнение от только что слышанных романсов, он заново повторял мотив и вдруг терял его и готов был бежать обратно... Была ли потеряна им в этот час та непередаваемость глинковских интонаций, которая много лет позже, не покоробленная холодной анатомией текста, стала предметом его исследований и постижений, или святая боязнь сфальшивить вдруг обращалась укором к нему самому: «как же ты мал и слаб после Глинки», но и эти ощущения потери становились потом сладки. Он обретал Глинку вновь, ночью, за фортепиано, добираясь до сокровенных тайн глинковских вариаций, до той верности и пластичности тона, которую, может быть, с таким же упорством создавал для его радостей и мучений сам Глинка.

Только один певец напоминал ему своей манерой и тембром Глинку — дрезденский тенор Тихачек, потому и столь любопытен был он к нему позже, но в определении красоты глинковского пенья и вокального мастерства всегда терялся: что сказать о красоте, кроме того, что она вечна и что, при создании ее нам недостает выражения? Кто не замечал, что слово человеческое, такое

богатое для выражения горя, нищеты или отчаяния, становится вдруг бедным, когда хочешь выразить ощущение счастья?

Однажды попробовал заговорить обо всем этом с Михаилом Ивановичем. Глинка, не вняв восторгам его, ответил наставительно:

— Дело, барин, очень простое само по себе. Одно и то же слово можно произнести на тысячу ладов, не переменив даже интонации, ноты в голосе, а переменив только акцент, придавая устам то улыбку, то серьезное, строгое выражение. Учителя пения обыкновенно не обращают на это никакого внимания, но истинные певцы, довольно редкие, всегда хорошо знают все эти ресурсы.

Серов не удовлетворился ответом, но промолчал. Расспрашивать Глинку о чем-нибудь большем было бесполезно. К тому же Глинка любил жаловаться на нездоровье, но всегда молчал о своих неудачах и упорстве, которым достигался успех.

Беседовали у него дома. Глинка, в длинном до пола халате, в ермолке, теребя пышные кисти кушака, сонно ходил по ковру, явно не желая пускаться на откровенность. Речь шла все о тех же секретах красоты глинковской музыкальной интонации и о новом в приемах оперной композиции.

Он едко бросил Серову, сердясь на его расспросы и на несколько неумеренную его похвалу:

— А вы, барин, вот и попробуйте написать об этом и... не исказить. Думаете, музыку расскажешь?

Спустя много лет, мысленно возвращаясь к этому разговору, Серов писал: «Деликатность полусвета и полутени — одна из господствующих сторон в красотах глинковской музыки вообще, и «тоска» Гориславы, в своих мягко-женственных изгибах, вышла одним из лучших, самых сердечных его вдохновений!»

Но самому себе Глинка умел больше ответить. Продолжая наедине с собой разговор, начатый Серовым, он возвращался к «Ивану Сусанину»: сколько в этой опере действующих лиц? Пересчитают и забудут назвать... Хоры? А они — лицо в опере отдельное и драматическое! Так не бывало раньше по заведенному итальянцами канону. Хоры для итальянцев — что иллюстрация в книге.

Впрочем, под стать этому и роль музыки в обществе... младшей сестры литературы, а то еще и служанки!

Вот он выступает на сцене — этот новый герой! Глинка играет «Славься», вытягивая из маленького фортепиано всю его силу, и Людмила Ивановна неслышно садится в углу, привлеченная звуками гимна, вдруг ворвавшимися в тихий их дом. Она следит за Михаилом Ивановичем и знает, что не одноликая толпа на бутафорски выведенных декорациях и не театрализованное зрелище стихийного ликования масс предстает сейчас в его воображении и движет его игрой, — каждый человек на площади, кто в армяке, кто в отороченном соболиным мехом кафтане, кто донашивающий отцовскую свитку, виден ему, как живописцу, выписывающему батاليю на полотне...

Михаил Иванович не может знать, что этим своим изображением народа он вызовет к жизни сцены из «Бориса Годунова» другого великого своего сородича, как «садом Черномора» приблизит явление «Шехерезады».

Людмила Ивановна слышала от брата, что гимн этот, ставший финалом оперы, Михаил Иванович переделывал много раз, и чего же боялся — риторики и шумов? А ныне подумают, что «Славься» сложилось в звуковой своей пластике чудесным наитием его творца, экстазом воображения и не доставило нужды ни в чем проверять себя! И странно: чаще всего Михаил Иванович играет себе после какого-нибудь «музыкального разговора». Вот и сейчас, видимо, после беседы с Серовым. Она не заметила, замешкавшись в другой комнате, как Серов ушел. Наверное, догадалась она, «что-то затронул, но ничего не решил».

Размышляя свидетельски и ревниво о последних работах брата, Людмила Ивановна досадовала на свою неспособность пересказать Серову все, что знает от Михаила Ивановича... Знает о том, что, отвергнув какое-либо объяснение к музыке «Руслана», кроме самого музыкального текста, брат разрешает задачи, далеко оставляющие замысел одной этой оперы, — задачи создания симфонизма, а в симфонизме ключ к познанию и выражению жизни!..

Михаил Иванович откинулся на спинку стула и

только теперь обнаружил подле себя сестру, склонившуюся над шитьем.

— Ты давно тут? — спросил он без тени недовольства в голосе, видя в ней сейчас сообщницу в своих поисках и постижениях мелодии.

— Нет, недавно! Ты хорошо играл! Жаль, что никто из наших друзей не слышал.

— Чего же тут жалеть. Музыкант должен играть сам для себя. Игра — это ведь форма рассуждения, не так ли?

— Вот ты и рассуждал сейчас, кажется, с... Серовым, проводив его, — сказала, улыбнувшись, Людмила Ивановна.

Он ласково кивнул ей и, помедлив, сказал, словно в чем-то оправдываясь:

— Все доискивается... до красоты. Сам ведь сочиняет музыку, и очень неплохо, это от теоретических занятий, как видно, не отвращает. А что о красоте скажешь? Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра. Стало быть, нужнее всего все же красота мысли! Надо признать, что по сему поводу, без пышных слов, с барином Александром Николаевичем порассуждать можно, особенно перед этим вдоволь поиграв, но все же, — он замедлил речь, не находя нужных слов, — все же, — повторил он, — рассуждать лучше играя!

5

Остап Вересай шел с Улей по Гороховой в то время, когда подъезжали к дому Глинки возы с провизией из Новоспасского. Слепец, гулко постукивая тяжелой палкой по каменным плитам панели, остановился.

— Пусть проедут, обожди! — сказал он.

Нелюбовь к городскому шуму делала его осторожным и раздражительным, грохот колес по мостовой выводил из себя. В тишине, в бодрящей свежести ранней петербургской осени он черпал спокойствие и умел переноситься мыслями на Украину: шел по столице, а мысленно был там, где-нибудь на Ромодановском шляхе. Теперь же стук возов навязчиво приковывал его внимание к городу.

— Подождем! — согласилась Уля.

Они стали возле одной из каменных покривившихся тумб, отделявшей панель от мостовой, словно на берегу реки, у какого-то брода. Но, к удивлению Ули, возы преградили им дорогу. Сбежавшиеся дворовые шумно здоровались с ездовыми.

— Сколько ден едете? — донеслось до Ули.

— Кажись, сегодня двадцатый. От Смоленска дожди лили. Только тут на севере и отдохнули от них. Не приведи господь, как мокро ныне! — отвечал подъехавший к дому мужик в зипуне и старой, надвинутой на уши шапчонке. — А что барыня, Евгения Андреевна, у себя?

— Дома.

— А сам барин, Михаил Иванович?

— Здесь.

— Слышишь ли? — толкнула Уля Остапа. — Из Смоленска едут. Издалека! Вроде нас. Его, Глинки, люди...

— Да что ты? Неужто не мы одни? Смоленск-то ближе! ..

— На север, говорят, прибыли! ..

— Конечно! — размышлял Остап. — Может быть, не пойдем в дом, не станем мешать людям?

— Подождем! — соглашалась Уля.

И они расположились тут же у тумбы, ожидая, пока затихнет оживление на улице и тронутся возы. Усатый полицейский в начищенных до блеска сапогах и с крохотными погончиками змейкой на дюжих плечах подошел к Остапу и осведомился:

— Что за человек? Чего здесь расселся?

— Разве нельзя? — испугалась Уля, не сводя глаз с его блестящих сапог. — Слепые мы! Музыканты.

— И ты, что ли, слепая? — покосился полицейский на статную ее фигуру. — В музыкантский дом, — он указал рукой, — идете?

— Туда!

— Играть, что ли?

— Уля, чего он хочет? — подал голос Вересай.

— Та то человек из чинов, в услужении он, за порядком смотрит, — объяснила женщина. — Ты лучше молчи, Остап.

— Идем, провожу, — предложил вдруг полицейский и лихо закрутил ус.

— Да мы сами!

— Идем, говорю!

Он не мог открыться в том, что искал лишь повода попасть на глаза Глинке и теперь рад был проводить к нему слепца. Мимо несли мешки с яблоками, окорока, продетые на палки, — Евгения Андреевна любила пользоваться в столице всем своим, — и даже ящик с самодельными деревенскими спичками.

— Доставил, ваше высокоблагородие, слепого старика, при нем бабу. Говорят, вас ищут, плутали, — вытянулся перед Глинкой полицейский.

— Вовсе не плутали! — возразила Уля.

— Молчи, — шепнул Остап. — Видно, так надо!

Глинка смеялся. Не обращая внимания на суету в доме, топот ног, скрип дверей, он стоял в теплом своем, изрядно выцветшем халате, заложив руки в карманы, и, весело смеясь, благодарил полицейского:

— Спасибо, что проводил, милейший. Они до тебя тут много раз бывали, но теперь и впрямь заблудиться могли.

— Гляжу, какие-то люди сидят... — оправдывался чин, с откровенным любопытством оглядывая композитора, убранство комнат и слуг, сбежавших вниз.

Околоточный однажды расспрашивал его об этом доме.

Отказыряв, он ушел.

— Не вовремя мы, барин, — засмушалась Уля. — Куда нам, в самоварную или во двор?

Бывая в господских домах, она знала уже, где можно скрыться от глаз и переждать.

— Нет, Уля, нет. Сегодня сыгровка. Сегодня Остапу Баяном быть и в хорах помогать. Ты посиди, Уля, а мы с ним петь будем...

— Не могу петь, Михаил Иванович, затем и пришел, чтобы сказать.

— Почему не можешь? Не нравится музыка?

— Музыка, Михаил Иванович, как вино, такой музыки сроду не слышал, а играть не могу, да и не по мне...

— Что ж, на сцену слепцом не пойдешь? Ведь зовут тебя. Или сказка тебе не по нраву? Не к ней душа лежит?

— В музыке твоей я сказку не очень отличаю от были, — помедлив, ответил Остап, — а что на сцене, все равно не вижу. Но, послушав тебя, Михаил Иванович, я сам музыку сложил и теперь играть хочу у себя, на дорогах. Сам сочиняю. Хорошо тебя слушать, а прости... Михаил Иванович, бежать от тебя должен, по-своему играть.

— Не терпится? А ты сыграй мне, Остап, что замыслил. Сыграй.

— Об Остапе Чаровнике никогда не слышал?

— Нет.

— Был когда-то в Запорожской Сечи такой человек, одного со мной имени, ходил не раз в Турцию, там воевал, там и песни слагал. И даже турки любили его слушать. Ходил он в Польшу, в Литву, а Чаровником потому прозывался, что большой был выдумщик и на все руки мастер. Прозывали его иной раз «Москаль-Чаровник»: по-русски одевался, по-русски хорошо говорил. Вот о нем петь буду.

— Стало быть, каждый из нас свое будет петь? — смеясь заметил Глинка. — Ты — «Чаровника», я — «Руслана»! А я-то песню Баяна хотел от тебя услышать.

Старик, достав кобзу, исполнил мелодию, в которой Глинка без труда узнал сходное с песней Ратмира. И то, что Остап называл турецким, воспроизводя давно слышанное в детстве о походах запорожцев, шло сейчас от «Руслана»... Впрочем, не в этом ли и утверждалась его, Глинки, музыкальная правда, чудесная верность домысла? Глинка догадывался: Остапу не удалась бы импровизация песни Финна, его бы не тронули картины северной жизни, переданные ею, но Восток оживал в памяти старика всей силой причудливых своих красок. «Жаль, нет Ширкова, — подумал он, — и тех «ходовков», что хотят по-своему аранжировать песню. Вот ведь где хранится народная сила музыки!»

Он незаметно записал мелодию. Было в ней и глубоко свое, неизвестное Михаилу Ивановичу, захватывающее своей необычайно широкой напевностью. Уля слушала, и в ее лице застывало то выражение покоя и гордости за Остапа, которое запомнилось Глинке однажды в Качановке, в час, когда впервые пел перед ним слепец.

Сейчас Остап волновался больше, чем в тот день. Тяжесть невысказанности, мучительные поиски еще не вызревшего, не сложившегося мотива давали о себе знать в том, как с дрожью, нетерпеливо хватал он струны и повторял о Чаровнике, создавая речитатив, словно опору для возникающей мелодии:

Богато хитрощів та змісту,
Чарівник всіх зачарував.

А Глинка слышал в этом бесхитростном речитативе что-то от «Руслана», от хора волшебных дев: «Покорись судеб велениям», и радовался смутной общности мелодий, тому богатому и новому, что накопил в себе и пытался выразить кобзарь, не сознавая, что он в плену у его, глинковского, «Руслана». Лицо старика живо передавало это волнение, брови прыгали, и на лбу выступал пот.

Он остановился и опустил голову. Впервые здесь, в столице, пришли к нему сомнения в себе и догадки о том, что должно составлять большую оперную музыку. Право, до встречи с Глинкой жилось ему спокойнее. Теперь и только теперь он проклинал в душе свою слепоту и годы, уже мешавшие стать актером. Понимал ли Михаил Иванович, почему отказывался он играть в театре роли слепцов? Слепец, он заново представлял себе с нахлынувшей жадностью художника окружающий мир и себя в нем. Все это делала музыка.

— Не буду тебя неволить, Остап, — сказал Глинка. — Не хочешь играть в театре — не играй. Об одном прошу: в «Руслане», на премьере, сыграй... Что же касается твоего «Чаровника», можешь ты создать, Остап, прекрасную былинку о нем, поют же, говорят, певцы часами, и не скучно их слушать, будто занимательнейшую книгу читают вслух. Придет ко мне Шевченко, вернется Артемовский из Италии, и подготовим мы тебя, Остап, к выступлению в Киеве... А теперь, Уля, води его к Людмиле Ивановне, пусть отдохнет до вечера.

Кобзарь вышел и не показывался до вечера. Уля принесла ему обед и передала о том, что творится в доме. Вozy куда-то ушли, мужики разбрелись по знакомым, на улице стало тихо. Остап кивал головой. Его совсем не то занимало. «Руслан» полонил мысли, увертюра к

«Руслану» возникала в памяти и увлекала за собой в неведомый мир. Он пытался повторить эту мелодию на кобзе, струны не слушались. Тогда он начал глухо и, будто таясь от Ули, подпевать себе и вдруг заплакал.

— Боже, как хорошо! — сказал он вслух, как бы оправдываясь перед женой.

— А тебе-то хорошо, Остап? — с сомнением спросила она.

— Хорошо, — ответил он, подумав. — Ты, Уля, должна понять: когда есть такая музыка, не может быть плохо!

Потом прибавил:

— Уля, надо нам собираться домой.

Она молчала, и кобзарь, боясь, что жена не поймет его, пояснил:

— Что, кроме музыки, есть в столице? А музыку лишь бы унести, так ее много! Петь надо у себя, не здесь, Уля. Может быть, придет время, и к нам еще придет Михаил Иванович.

— Нет, Остап, — с грустью, решительно возразила она. — Михаил Иванович не придет. У него своя жизнь, и мы, Остап, все равно не пойдем с тобой его жизни. Вижу я, околдовала тебя, Остап, его музыка! По силам ли тебе, Остап? Как петь теперь будешь?

— Вот и я думаю об этом! — признался кобзарь. — Не могу я без него!..

— Ну, как же так? — удивилась она. — Не можешь же ты жить всегда при нем.

— Я не о том, Уля, — досадливо поправил старик. — Не могу без его музыки.

— Вот что!

Больше они об этом не говорили. Свечи отбрасывали от себя жар, и всюду доходило до Остапа нежное их тепло, — это значило, наступил вечер. Вскоре кобзаря позвали к Михаилу Ивановичу. В комнате было много людей, несколько скрипок и виолончель, — он слышал, как они вздрагивали струнами в чьих-то руках. Кто-то говорил басом, — это был барон Раль, и кобзарь представил себе, что он большой и толстый. Слышались голоса женщин, и среди них слепец безошибочно уловил распорядительный и хлопотливый голос матери Глинки. Он почувствовал в этом голосе волнение и сказал себе

с нахлынувшим к ней добрым чувством: «Какая хорошая женщина!» Вскоре начали играть. Остап в каноне повторял песню Баяна. Голос его был торжествен. Он слушал, как кто-то из гостей сказал Глинке: «Прекрасно поет старик». На что Глинка ответил: «Он и сам вещий Баян!» Квартетная проба прошла славно. Остап сидел рядом с Улей и тихо спрашивал жену:

— Кто тут? И кто нас слушал? Были ли посторонние?

— Окна открыты, и во дворе толпилось много людей, но я не знаю их, — по привычке подробно отвечала жена, — стоял там и полицейский, приведший нас. Ты не беспокойся, Остап, мы здесь не так заметны и никому не мешаем. . .

— А все-таки пойдем. Господам надо быть одним.

Она согласилась и осторожно вывела его к дверям. Их никто не остановил. В подворотне запевали арию Людмилы, жались к стенам, лузгали семечки и смеялись. Была уже ночь.

Дня через три Уля пришла к Михаилу Ивановичу и сказала:

— Барин, милый, плохо Остапу. . . У себя ему лучше!

Она недоговаривала, о многом не умела сказать. Из ее прерывистых слов Глинка понял, какая тяжесть свалилась на кобзаря. Он не мог уже не стремиться к музыкальной науке, — так пробовала пояснить Уля, — и не имел сил учиться.

— Он ведь не Вересай, он Вербá, — обронила Уля в разговоре.

И поведала:

— Вересай — другой, помоложе и еще более знаменит. Но сказали как-то в селе Остапу: «Ты наш Вересай». И так пошло с тех пор. Слышала я, будто трех Вересаев знают в Киевщине. Вот, барин, милый, посудите — вернется теперь Остап и как ему за прежнее браться? Хочет он музыку сочинять, а можно ли это слепому? Поглядела я тайком, как Остап на песке какие-то знаки чертит, нот не зная, мысли его беспокоят, а записать их не может. И так мне, барин, жаль его стало! Ведь он у нас, что кобзарный хорунжий, он первый в музыкантском цехе, если по-старому называть — так в полку, а теперь. . . как ребенок малый. И все говорит

мне, что без вас жить не может, и музыку без вас не сочинит, а Украина ту его музыку ждет, как мать детей своих. Что делать теперь, милый барин?

— Что делать? — повторил Глинка. — Мне-то он ничего такого не говорил...

— И не скажет!

— Мне кажется, Уля, что и я без него не могу, без Украины!.. Я приеду, Уля, к нему.

— Приедете? — протянула она недоверчиво и, встав, низко поклонилась: — Помните же, барин, милый, — обещали!

Он проводил ее до дверей и с грустью проследил, глядя в окно, за тем, как шла она по тротуару, взволнованная разговором, гордая за Остапа, начинающая привыкать к столице. Право, и Глинка не мог решить сейчас, как быть с Остапом...

6

Премьера шла спустя шесть лет, день в день после первого представления «Жизни за царя». Екатерина Ермалаевна уже привыкла в отделе «Смесь» «Литературной газеты», в самом любимом читателем отделе, по мнению редакции, читать о частых репетициях оперы:

«К концу октября или началу ноября мы наконец услышим новое произведение первого нашего русского композитора. Как уверяют знатоки дела и музыканты, эта новая опера гораздо выше достоинством «Жизни за царя». Это показывает, что наш почтенный композитор не подражает другим, не покоится на лаврах, а все идет вперед к совершенству. По этому только и познается истинный артист».

Керн верила, что оперу ждет успех. Может ли помешать успеху враждебное отношение к Михаилу Ивановичу Булгарина, Верстовского, Полевого... Она не хотела перечислять всех, уверенная, что, каков бы ни был свет, искусство не может зависеть от интриг. К тому же Булгарин, по словам Глинки, высказывал сожаление, что превосходная опера эта доверена слабым артистам, и твердил не раз, что для дарования Глинки нет еще на Руси исполнителей. В разговоре с матерью о том, что ждет оперу, она сказала:

— Было бы очень по-женски беспокоиться за Глинку. Нам могли бы сказать: «Бабий ум короток». Право, наше беспокойство — плохая ему услуга. Неужели весь свет нападет на него, коли опера хороша!

Анна Петровна пожала плечами: экая трезвенница ее дочь! А может быть, просто не хочет замечать неприятного. Сказал же однажды Одоевский о ней: «Последняя вольтерьянка из молодых». А может быть, можно любить прекрасное и не страдать за него? Жить земными привязанностями и в то же время принадлежать богу. Странности дочерина ума вселяли в душу Анны Петровны смесь уважения с испугом. Она-то, что таить, любит свои страдания и не может холодной мыслью пресечь волнение сердца. О Михаиле Ивановиче почти не говорит последнее время с дочерью и, что обидно, склоняется в душе на его сторону, против дочери. Согласна с ним была, когда однажды он воскликнул в споре с «несусветной» своей возлюбленной: «Родственники — бич всех впечатлительных людей, они и нам мешают в наших отношениях». Прав был, спросив однажды: «Что же такое любовь, по-вашему: состояние души или отношение к человеку? Должно быть, и то и другое, но, право, судя по вас, — это какая-то самоуслада».

Вдобавок ко всему Анна Петровна никак не может признать, что дочери ее легко живется на свете. Нет, она одинока. И вот ведь не хочет жертвовать ради большого ничем своим маленьким. Большое для Анны Петровны — благополучие Михаила Ивановича, маленькое — неприкаянность дочери. Для него — жизнь в музыке, для нее же музыка — придаток, час, дарящий наслаждение. Что ей до его борьбы за понимание музыки, за народность.

С мыслями о новом веке и всем пережитом у Анны Петровны поднимаются эти вопросы. Порой кажется, что у нее, брошенной в нужду и обесславленной разводом с мужем, жизнь сказочно удачна, и к прошлому навсегда сохранена благодарная память. А порой не верится, что был в ее жизни Пушкин и надо перечитывать записи его в альбоме, чтобы убеждаться в том, что он знал и любил ее. И каждый раз по-новому, то умиротворенно, то наполняя острой жалостью, звучат его строки:

Пройдет любовь, умрут желанья,
Разлучит нас холодный свет.
Кто вспомнит тайные свиданья,
Мечты, восторги прошлых лет? . .
Позволь в листах воспоминаний
Оставить их минутный след.

На премьеру Екатерина Ермолаевна поехала с подругой — оставшейся в столице Рудневой. Шел дождь со снегом, и возле театра люди ходили нахохлившись, странно подняв плечи и ни на кого не глядя. Только выйдя из гардеробной, увидела Керн многих своих знакомцев, чинно занимающих места. Театр был полон, и царило в нем то церемонное равнодушие, которое нельзя было ни принимать всерьез, ни опровергать, — такое отношение к новой постановке было скорее признаком хорошего тона, чем недоброжелательством. И в этом было бы что-то неприятное для Анны Петровны, но сейчас близкое ее дочери.

В царской ложе уже находился император с семьей, и присутствие его придавало находящейся здесь знати какую-то выпренность движений и грузную важность. Сановники, занимавшие места в партере впереди Керн, старались заметить, в какой позе сидит царь, и по всему театру разносился угодливый их шепоток. Уже передали публике, что артисты недовольны Глинкой. Будто ему, а не Булгарину принадлежит нелестный отзыв о них; что Воробьева — лучшее контральто — больна флюсом и не выступит в роли Ратмира. Успели осудить и декорации, якобы сделанные аляповато и сусальное. Замок в опере и впрямь, как заметила после Екатерина Ермолаевна, походил на казармы, а волшебный стол с яствами для Людмилы, появившийся из-под земли, — на... аналой. И тем не менее увертюра и первый акт захватили зрителей.

— Чудо-музыка! — доносились до Керн возгласы, и Екатерина Ермолаевна благодарно глядела по сторонам, сама едва умея сдерживать волнение.

— Видишь, — шепнула она подруге, — искусство всегда право!

Но второй акт принес с собой уныние. Итальянец Този, старик в роли Фарлафа, мог только забавить уморительным произношением слов. Хор, певший в унисон

балладу Финна, навевал скуку, сцена с Головой вышла неуклюжей. В хоре остался незаметным и голос кобзаря Остапа. И даже марш Черномора в следующем акте, вызвавший восторг, уже не поправил положения. Не дослушав пятого акта, царская семья оставила театр. Тотчас же ряды впереди Керн опустели.

— Куда они? — удивилась Екатерина Ермолаевна, с недоумением следя за покидавшими зал сановниками.

И сама себе ответила:

— За царем! Впрочем, что им до искусства?

Она выпрямилась в кресле и, как бы вызывая на себя гнев окружающих, повторила громко:

— Что им до искусства!

Ее некому было слушать. Зрители сидели кучками между черными пустотами кресел. Артисты играли вяло. Музыка ничего не могла спасти. Немногие из увлеченных ею не заметили провала премьеры. Аплодисменты смешались с шиканьем.

Глинка, сидя в директорской ложе, спросил Дубельта:

— Кажется, что шикают, идти ли мне на вызов?

— Иди! — бодро ответил Дубельт, сдержав усмешку. — Христос страдал более тебя!

И сказал Гедеонову:

— Есть еще знатоки музыки. Они-то и хлопают.

Он тут же встал, придерживая рукой серебряный аксельбант на голубом мундире, и мимо «знатоков», собравшихся у сцены, — среди них были студенты, музыканты, военные, — подражая в походке царю, неторопливо и надменно направился в вестибюль. Адъютант нагнал и накинул на его плечи серого сукна шубу, подбитую песцом. Швейцар распахивал двери.

...Брюллов не следил за тем, как принимает публика оперу. Он слушал музыку, и до остального ему не было дела. С ним рядом сидел молодой композитор Серов, длинноволосый, с колючим взглядом и выражением лица недоуменным и скучающим. В действительности он весь отдался музыке и ревновал к ней артистов, подчас без толку, по его мнению, сновавших по сцене. Насколько их игра и само либретто уступает мелодиям! Он не удивился, когда Брюллов, послушав арию Людмилы, сказал:

— Это прекрасно, как поворот головы Микеланджело Моисея.

И после марша Черномора:

— Это такая же красота, как голова гвидовской Магдалины!

Серов не прервал его. Чтобы иметь право судить об опере, он считал необходимым еще раз побывать на спектакле, премьеры была для него лишь пробой актерских сил. Он искал взглядом Стасова, пришедшего сюда вместе с ним, и обнаружил его в первом ряду, освободившемся от сановников. Стасов возвышался впереди — большой, крепкий — и звучно, по-мальчишески неудержимо аплодировал Глинке. После окончания оперы Стасова окружили студенты. Он стоял среди них, словно сошедший со сцены исполин, и, казалось, ждал, когда уйдет Дубельт и они останутся с Глинкой наедине.

Но композитор прошел отчужденно, не поглядев в его сторону, сутулясь, сжимая в руке перчатку и словно веря одним звукам, все еще звучащим для него со сцены.

7

— Вы, барин, браните меня, браните, и так, чтобы чувствовал я, что верите в мои силы и потому браните, а похвалы мне не нужно, что мне с похвалой делать! — говорил Глинка Серову несколько дней спустя.

— Стало быть, не обидчивы, а говорят, вы до чертиков самолюбивы. Я этим, признаться, страдаю, ну и в других того же боюсь.

— А вы, барин, бойтесь не самолюбие мое задеть, а рассердить меня какой-нибудь неумностью или похвалой... Узнаю, что вы неумны, и не буду с вашим мнением считаться. А вот коли умно выругаете — признателен буду. Я в себе уверен, и если, бывает, уступаю, кому не нужно, так не из робости, а именно потому, что хочу испытать, кто же прав: советчики мои или я? Впрочем, то раньше было, теперь я не уступаю.

— Ну что ж, — замылся Серов, не привыкший к этому несколько несвойственному тону со стороны Глинки. Почему сам, столь изнеженный, взял он за обыкновение называть его «барином»? — Пороки вашей оперы в

излишнем виртуозничанье, теперь не времена Гассе и Метастазии, и не следует подражать им. Что же касается оформительской ее стороны, она похожа на этнографическую выставку... Эффектно, но и только! И чего в ней нет! Все, кроме единства... Лоскутно, пестро! О достоинствах молчу. Считаю, что Мейерберу да вам выпали исключения из общего положения исторической оперы. Видите ли, музыка — нежное, духовное существо — не должна быть унижаема до представительницы материальных потребностей, которые, разумеется, необходимы, поскольку существует историческая опера. Мало сказать, что так обращаться с искусством — это допускать унижение музы. Муза, как богиня, не считает ничего для себя невозможным, она с горестью соглашается на требование исторического композитора, который требует от нее недостойного богини...

— Вы где-то писали об этом, помню, — перебил Глинка. — Нет, эти ваши слова передавал мне Стасов. Стало быть, моя муза не торгует собой. Что ж, и на том спасибо. Должен вам сказать, барин, что главные ваши упреки придется вам взять обратно, если не сейчас, то со временем. Не виртуозничанье, а стремление каждой вещицей в музыке, хоть маленькой, достичь чего-нибудь для новых поворотов музыкального дела и музыкальной науки руководит мною. Этнография, ложные эффекты? И этого, барин, нет у меня. Я стараюсь и бывалые уже эффекты показать совсем по-иному. Это только итальянцы используют один и тот же прием бесчисленное количество раз. Возьмите, к примеру, бурю в «Руслане», она похожа на вой ветра в русской печной трубе, совсем не так, как хотя бы в «Вильгельме Телле». И выдумка моя отнюдь не беспредметное отвлечение. Мелодия женского хора в третьем акте, извольте знать, настоящая персидская, а мотив лезгинки — настоящий кавказский. И ведет меня к работе не фокусничанье, а злоба... Да, да, барин, злоба, хорошая, нужная. Злоба побуждает меня показать возможность свободного употребления аккорда увеличенной квинты, злоба не дает мне помириться с «цветочной музыкой», с подражательством. Мы во всем русские, барин, и свой у нас лад и характер в музыке! Сейчас я спокойно спорю с вами потому, что «Руслан» написан, «Руслан» живет. Тот же

Виельгорский, бранящий меня за него, охотно подписался бы под ним своим именем. Читаю, что пишут о «Руслане», и жаль мне, что хула глупее похвал. Скажете, так не должно рассуждать человеку, заинтересованному в похвалах? Нет, должно, коли свободен он в себе. Так-то, барин. Приятеля вашего с бóльшим удовольствием слушал, чем вас, хоть и мало знаком с ним. — Он говорил о Владимире Стасове. — Не обидитесь? — продолжал Глинка. — Порадовал он меня душевно! Пришел с оперы, как с праздника, но притом так хорошо меня бранил! Вижу, что «Руслан» в душу его запал и думает он о нем независимо от того, что хорошо или плохо поет на сцене Петрова!

— Владимиру Васильевичу опера нравится! — подтвердил Серов в раздумье. — Да и мне ведь...

— Так не говорят о ней, коли нравится, — перебил Глинка. — Вы вроде Петровой. Она не умела вскрикнуть на сцене так, чтобы боль почувствовалась в крике... Я подошел к ней незаметно и ущипнул за руку. Тут она и подала голос по-настоящему. Нет, барин, не любите вы «Руслана».

Разговор происходил на Гороховой. Серов зашел сюда утром, направляясь к Стасову. Из петербургских композиторов и музыкальных критиков он был, пожалуй, несмотря на внешнюю холодность отношений, наиболее близок Глинке и среди давних, завоевавших себе положение знакомцев его, таких, как Одоевский или Кукольник, самым молодым, неустроенным и горячим. Говорили, что именно отсутствие чинов и неустроенность делали его таким. Как и Стасов, окончил он училище правоведения и только входил в жизнь. В первых его опытах Глинка помогал ему, читал «Мельничиху из Марли», начало «Каприччиозо». Служащий сенатского департамента Александр Серов при нем начинал свою оперу. О талантливости его говорил Даргомыжский. Талантливость не отрицал в нем и Глинка, но и не восхвалял. Откровенность и прямота располагали к нему Михаила Ивановича, как и задиристость суждений, порой запальчивых и легковесных, которые выдавали в нем человека хоть и несдержанного, но искреннего. Оба они были всегда правдивы друг с другом: Глинка — с оттенком снисходительного недоверия к его знаниям,

Серов — с подчеркнутым желанием не замечать его преимуществ над собой. И сейчас разговор их отличался той грубоватой откровенностью, от которой отвыкал Михаил Иванович по мере того, как все более отдалялся от Кукольника, и которую в таком тоне не допустил бы с Ширковым, самым в эту пору нежным своим другом.

— Вот так, барин, не посетуйте на меня за науку, — заключил он. — В лести не грешен, а если бы смолчал, был бы перед вами виноват.

В это время в дверь постучал Стасов. Его встретила и провела в комнаты Людмила Ивановна. Он вошел шумно и так, словно отнюдь не чувствовал себя в этом доме гостем, хотя и бывал у Глинки совсем не часто. Он стремительно поздоровался, радуясь встрече, и, раскатисто смеясь, начал рассказывать, как ехал сюда на извозчике и извозчик пел ему «Жаворонка». Извозчик был совсем юн, отрочески кроток, и так ему, Владимиру Васильевичу, было хорошо с этим извозчиком! Стасов весь был наполнен какой-то доброй и радостной силой, избыточной и горячей. И было понятно, что таким делало его собственное ощущение интересности и богатства жизни, которую он не умел не любить, как и не умел относиться к ней покорно, выжидательно, равнодушно.

— А говорят, все ваньки одной масти. Нет же. Есть такие... — он не нашел подходящего определения, — ямщики в столице, всю жизнь бы с ними катался.

Потом он рассказывал о банях, какие и там необыкновенные встречаются мужики-банщики из оброчных; о постройке мостов постоянных на месте плашкоутных и, наконец, о театральных новостях, об ожидаемом приезде итальянцев. Но ни слова не сказал о «Руслане», о Глинке, словно не существовали сейчас для него ни Глинка, ни Серов, и оба они должны разделять его интерес к бане, к мостам и радоваться его безотчетной радости.

Уже значительно позже, поговорив о вещах, не относящихся к музыке, спросил он Михаила Ивановича как бы вскользь и в то же время с настороженной участливостью:

— Волнуетесь за то, что пишут?

И показал взглядом на лежащие на столе последние номера газет и журналов со статьями о «Руслане».

Не дожидаясь ответа, сказал:

— Не верьте...

— Чему? — не понял Глинка.

— А тому, что

Руслан упал, упал, упал,
Паденьем огласив Европу.

Так ведь зубоскалят умники? Не только о «Руслане», о «русланизме» — целом течении в музыке — надо говорить. И не хочу повторяться. От шавок не отделаешься, ведь и шавки нужны. — Глаза его заискрились смехом, и губы дрогнули в добродушной улыбке. — Надо нам самим, Михаил Иванович, не музыку сейчас, а музыкальную критику развить, голос ей поставить. Боюсь, приедут итальянские певцы и забудутся театральные волнения о русской опере. Надо, Михаил Иванович, силы собрать, критиков наших имею в виду и тех музыкантов, которые не желают жить подражаниями да дешевой славой.

— Экий Иван Калита! — язвительно бросил Серов. — Ты, Вольдемар, всегда печешься невесть о чем... О музыке речь, а не о ее окружении.

— О народе речь, о народной критике, о народности искусства, — повысил голос Стасов. — Ну и о силах наших, чтобы держать их в руках, беречь! — Он сжал кулак и поднял, будто грозя кому-то. — Слепенький, Александр, ты, слепенький. Мало что вокруг себя видишь!

И оборвал себя, вскочив с кресла:

— Идем, Александр. Нам заниматься надо! Я ведь за тобой приехал.

Вдвоем они каждый день переписывали чужие партитуры для заработка, писали рецензии, советуясь друг с другом, замышляли и тут же отбрасывали либретто будущих опер. Одной из тем для оперы Стасов предлагал взять роман Лажечникова «Басурман».

После их ухода Глинка долго сидел в раздумье, ободренный и почти счастливый. Как ни резок был он с Серовым, защищая «Руслана», а обида росла. Рецензии уже не хотелось читать. Сказанное Стасовым возвращало,

казалось, силы. Но он думал сейчас не о себе, о Стасове. Обиженный за него, Михаила Ивановича, многолетний друг Кукольник не мог бы так спокойно и просто сказать о «Руслане» в его защиту, как говорил молодой, едва расправляющий крылья Стасов.

8

В статье «Драматические письма» Булгарин пишет: «Господа Глинка и Верстовский гораздо лучше бы сделали, если бы писали небольшие народные оперетки по силам и средствам наших артистов и по мере терпения нашей публики. Пусть бы оперетка продолжалась часа два, не более, пусть бы была наполнена народными мотивами, без притязаний на ученость, и дело шло бы успешно! Титов снискал себе почетное место в истории нашей музыки, и, право, было бы хорошо, если бы, не шагая за Мейербером и Галеви, наши композиторы думали более о нас, нежели о бессмертии! Говорят, что М. И. Глинка писал свою оперу «Руслан и Людмила» для будущих веков! Так зачем же нас, современников, звали в театр?»

Глинка болен, и Людмила Ивановна читает ему статью, сидя у постели.

— Я его не звал, он сам пришел, — откликается Михаил Иванович. — Сенковский напечатал в своем журнале отзыв Одоевского. Помню, убеждал я его, что не писал феерию, интересно знать, убедил ли?

Людмила Ивановна послушно и, затаивая собственное любопытство, находит на столе новый номер «Библиотеки для чтения».

— «...В каком роде эта музыка Глинки... В русско-сказочном роде, и советуем так называть ее. Вся чудная, оригинальная, совершенно восточная фантазия русской сказки — тут в этой повести, в декорациях и также в этой музыке. Это не так называемая волшебная опера. Глинка, который с первого шагу открыл новые пути в искусстве и торжественно пошел по ним, не стал бы писать волшебной оперы после «Волшебной флейты» и «Оберона». Этот род уже исчерпан. Он очень удачно избрал русскую сказку. В германском «волшебстве»

формы предметов облакаются неопределенною таинственностью, мраком, туманами суеверия и восторженности. В русской сказке, наоборот, все светло, весело, игриво, резко, разнообразно, необычайно, изумительно. Эти качества должны соединить в себе и музыка для русско-сказочного сюжета, и эти же качества найдете вы здесь, развитые в высшей степени и с мастерским искусством... Почти все музыки соединены в ней: восточная и западная, русская и итальянская, германская, финская, татарская, кавказская, персидская, арабская. И все это образует самое художественное, истинно картинное целое...

...Нигде еще Глинка не являл столько музыкального воображения, такого могущества в средствах, такой счастливой смелости в гармонии, в контрапункте, как при этих ужасающих трудностях сказочного предмета».

— Спасибо князю! — обрывает сестру Глинка. — Выходит, убедил я его не словами — так музыкой. Спасибо и Сенковскому. Нападут теперь на него. Булгарин не стерпит.

— Сенковский сам ярче всех о тебе написал, — осмелев, замечает Людмила Ивановна. В этих вопросах она обычно хранит ревнивое молчание, но имя Булгарина вызывает в семье неприязнь... Евгения Андреевна по своему объясняет все неудачи его «черной рукой». — Сенковский сказал, — повторяет сестра, — что сочинить один четвертый акт «Руслана» — значило уже стяжать себе бессмертие. «Руслан и Людмила» — одно из тех высоких музыкальных творений, которые никогда не погибают...

— Слышал! — ежится Михаил Иванович и плотнее запахивает на себе халат. — То он не столько по убеждению, сколько из добрых чувств! Погибнет ли «Руслан», не от Гедеонова, конечно, зависит и даже не от царя... Ты мне другое прочти. Там, где бранят умно. Кажется, в статье Кони, он ведь педант и большой знаток формы.

— «Как оперу, в современном ее значении, «Руслана и Людмилу» рассматривать нельзя, — читает Людмила Ивановна. — Во-первых, композитор выбрал сказочный, фантастический род; во-вторых, он выбрал либретто, лишенное всякой тени смысла...»

— Так! — восклицает Глинка беззлобно. — Бедный Валериан Федорович! Он ли не старался?

— «Об идее и говорить нечего, — продолжает, улыбнувшись, она. — Тут взята простая сказка, как ее изображают суздальские художники, как ее няньки рассказывают детям на сон грядущий, со всеми ее нелепыми чудесами, бессвязным ходом происшествий и без всякого поэтического украшения... Большое также несчастье для композитора, что он потратил свои жемчуги на волшебный предмет... творение Глинки «Руслана и Людмилу» должно рассматривать не как оперу, а как большое музыкальное произведение в лирическом тоне, за недостатком в нем необходимых стихий и требований настоящей оперы.

Рассматриваемое с этой точки зрения творение Глинки много выигрывает. Нельзя не отдать полной справедливости его замечательному таланту, его мастерству владеть мелодией, его ловкости и оригинальности в оркестровке, свежести его мыслей, теплоте его колорита и вкусу, который преобладает в малейшей подробности его музыки. Надо изумляться обилию музыкальных идей, рассеянных в «Руслане и Людмиле». Глинка нигде не повторяется, не навязывает нам счастливого мотива, как это делают итальянские и французские композиторы: у него их столько, что на целый вечер станет, и он играет и блесит ими, как индийские жонглеры кинжалами и золотыми яблоками. Он переходит из одной модуляции в другую с такой же легкостью, как серна перескакивает со скалы на скалу, и одна фраза музыкальная затмевает у него другую своей грацией или одушевлением. Это заставляет многих, привыкших к перепелочным повторениям одного и того же, думать, что его нумера слишком длинны и утомительны для певца и для слушателя...»

Глинка не слушает, и сестра замечает, что он раздосадован чем-то не относящимся к «умной брани».

— Валериан Федорович угадал, что ждет «Руслана», — говорит он, — но очень уж несправедливы критики в разборе его стихов. Отдают Розену преимущество! Додуматься надо! И какие стихи Розена ставят в пример?

Он приподнялся на постели и, подражая Розену в произношении, патетически продекламировал:

Высок и свят наш царский дом
И крепость божия кругом.

Эти ведь строчки приводит «Литературная газета» как подлинно поэтические? Ну, а у Ширкова и у остальных, на ее взгляд, сплошная проза!

Евгения Андреевна нарушает своим приходом чтение. Глинка, застеснявшись матери, быстро говорит сестре:

— Не стоит заниматься пересудами. Собери это все в кучу и на шкаф положи, на самый верх. Пока «Руслан», насчитал я, тридцать два раза шел. Кажется, скоро реже будет идти. Но потом, когда-нибудь, очень часто начнут его ставить!

— Когда же? — вскидывает на брата глаза Людмила Ивановна. Ей кажется, что он не хочет произнести дату. — Когда же?

— А... после меня! Не скоро! — роняет Глинка и, обращаясь к Евгении Андреевне, говорит: — Мы, маменька, с Людмилой не тем занялись, знаю, да вот, когда на постели лежишь, всегда к чтению тянет. А вы, маменька, что-нибудь важное сказать хотите?

Он замечает, что лицо ее расстроено и присутствие дочери явно мешает ей.

— Да нет, Мишель, я потом...

Ей не хочется обрывать спокойное течение его мыслей. Пожалуй, только живя здесь, на Гороховой, вместе с ним, она поняла, как трудно ему оградить себя от ненужных разговоров, встреч, а с ними и волнений, как рассеивает столичная жизнь, и до чего неровно, если не сказать — тягостно, ему живется. А ведь надо оставлять его, уезжать в Новоспасское.

Она не решается сказать, что только что пришли из консистории, сообщают, что Мария Петровна заявила, будто расторжение брака должно произойти не из-за нее, а из-за его супружеской измены. А изменил он ей, «польстившись горничной ее Катериной Шулевиной, разбитной дворовой девкой». Требуют в консисторию немедленного ответа Михаила Ивановича. Затем и пришли. А сама девка тоже торчит на кухне, заплаканная, что-то лопочет непонятное. Кажется, из чухонки, рыже-

ватая, лупоглазая... На что только не идет Мария Петровна и чего не насмотришься в столице.

Решив не тревожить сына и обо всем распорядиться самой, заявив о его болезни, Евгения Андреевна уходит из комнаты.

9

Гулак-Артемовский появился в квартире Глинки в один из коротких морозных зимних дней. Был он в летнем суконном пальто, обвязанный двумя теплыми шарфами, длинные концы которых болтались при ходьбе во все стороны. Загар делал его лицо черным, а во всей фигуре и в движениях появился отпечаток какой-то не свойственной ему ловкости и быстроты. Будто не стало больше тяжеловатого, медлительного Гулака, глядящего исподлобья на людей, а оказался в Петербурге другой — стройный, подобревший, с прояснившимся взглядом.

— А у нас итальянцы! — сказал ему Михаил Иванович после того, когда Гулак поведал о себе и передал привезенные с собой письма — Пасты, Волконской и Дидины.

— Знаю, — кивнул головой гость. — О Виардо слышан от Тургенева. Тамбурины встречал в Милане, а о Рубини знаю от вас... Иваном Ивановичем вы его зовете. Наверное, за старание его сойти у вас за своего и всем потрафить. Не умеет петь естественно, не делая из своего горла какую-то трубу и взяв в привычку поражать всех мощностью голоса. И выходит, кроме бычьей глотки, ничего не осталось! Впрочем, он покладистый, этот Иван Иванович, когда не нужно никого удивлять, может петь проще и приятнее! Но тройка эта затмит нам все петербургское небо! Правда ли, что русская опера переводится в Александринский, а итальянской отдается Большой театр?

— Верно! Вот и «Руслан» переводится туда на новое жительство. Не знаю, как поместится на другой сцене Голова, как перевезут декорации. Да и не о том теперь забота! «Руслана» дни сочтены!

— Я петь хочу в вашей опере, Михаил Иванович!

— Петь будешь, петь заставлю хорошо!

Гулак улыбнулся. Два года разлуки сделали его в от-

ношении к Глинке еще сдержаннее и строже. Не забыл ли его Глинка? Не охладел ли к нему? Кажется, нет!

— О «Руслане» моем слышал?

Голос Глинки звучал тихо и почти примиренно.

— От Шевченко и от других, от всех по-разному.

— А где же Шевченко сейчас? — вспомнил вдруг Михаил Иванович.

— Кажется, уже на Украине. Знаю, собирался туда.

— Что делать хочешь, где петь?

— Правду сказать, Михаил Иванович?

— А как же? Разве неправду захочешь мне сказать?

— Да нет, я признаться боюсь. Оперу писать хочу.

— Оперу? И почему это всех молодых певцов к этому труднейшему делу тянет? И, наверное, для Большого театра? Надо бы с маленького начинать и с маленьких вещей. Или мучает тема?

— Мучает, Михаил Иванович. Да ведь я с годами рассчитываю, не сейчас.

Он стеснительно и коротко сообщил о своем замысле. Глинка молчал.

«Не верит, — подумал Гулак. — А может быть, пока нет мелодии, нет для него и оперы?..»

— Для этого ведь надо жизнь прожить! — промолвил наконец Глинка. — Чтобы создать свое, непохожее, многое чужое отвергнуть надо! А иногда и принять, но по-своему, по-новому, как сама жизнь велит! О казачестве и я бы написал, вот... о Тарасе Бульбе.

— Вы ведь любите Украину! — как бы подсказал Гулак.

— Не побывав на Украине, и «Руслана», пожалуй бы, не написал. А помнишь Качановку?

Лицо Глинки стало грустным, потом тень какого-то неожиданного воспоминания оживила его, и он рассмеялся:

— Музыкальные пьесы Тарновского? Спаси бог!

И, помолчав, сказал, все еще думая об Украине:

— Маркевича давно не видел. А Остап Вересай и по сей день в Петербурге, почитай, у меня живет. Тоже ведь, послушав «Руслана», свое хочет создать... По силам ли, спросишь? Музыкантская страсть поможет. Ему теперь как будто прошлое яснее раскрылось. Об Остапе Чаровнике вспоминает. Не слышал о таком?

— Как же, знаю.

Они провели вместе почти весь день, но Гулаку так и не удалось услышать от самого Михаила Ивановича, какие перемены произошли в его жизни. А именно этих перемен больше всего и ждал преданный ему Гулак, мучившийся тяжбою его с Марией Петровной и неясностью отношений с Керн. Одно радовало Гулака — нет вблизи «клюкольников», домашние опекают Михаила Ивановича. К вихлявому, шумному Нестору Васильевичу по-прежнему питал он плохо скрытую и ревнивую неприязнь.

Но к Кукольникову Глинку привело опять. Вновь приехал Лист, и в честь пребывания его здесь Михаил Иванович устроил вечер.

Вскоре после проведенного с Глинкой дня Гулак оказался в той же ненавистой ему комнате на Фонарном, еще более диковинной по убранству, чем обычно. В комнате стояли ели, как бывает под Новый год и в рождество, а между елями были растянуты ковры наподобие цыганского шатра. Посредине комнаты на трех сцепленных вместе шестах висел котел с ромом, который следовало поджигать и подожженный пить. Жженка эта называлась крамбамбули. На елях висели цветные фонари, на старом фортепиано горели в шандалах восковые свечи, и при ярком свете Глинка, подняв рог с горящим напитком, произносил тост за здоровье Листа, именуя весь круг собравшихся одной семьей — цыганией, а Листа — королем цыган.

Беловолосого худого Листа качали на руках и чествовали столь необычно, что Гулак простодушно тревожился и за здоровье и за... честь. Но Лист был доволен, и переход к пению и музыке внес в дом успокоение. Глинка хорошо пел, и Гулак нашел, что он держит себя гораздо спокойнее и как будто знает цену Кукольникову, отнюдь не растворяясь в «богемии». И совсем необычно прозвучал здесь спетый им романс, посвященный, как предполагал Гулак, Екатерине Ермолаевне:

С ней мир другой, но мир прелестный,
С ней гаснет вера в лучший край,
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай.

Глинка отчеканивал каждое слово, голос его звучал металлически резко на высоких нотах и во всем регистре необыкновенно гибко, со страстностью, которая искала себе выход, рвалась, увлекая других. Лист слушал, вытянув тонкую шею, и пытался понять волнение певца, повторяя про себя слова переведенного ему романса. Из этих слов Гулак сам немногое принимал и мучительно отбрасывал слова «с ней гаснет вера», рассуждая о том, что же тогда остается Глинке.

Но и в страстности, с которой пел Глинка, он почувствовал, что самое печальное уже пережито им, перенесено, и учитель его обрел то внутреннее, большим трудом дающееся спокойствие, которого он, Гулак, так желал ему. И, слушая его, Гулак сам становился за него спокойнее.

По прошествии нескольких недель он узнал, однако, что Глинка изнервничался, тяготится жизнью в столице, болеет и по уговору родных собирается осуществить отложенное уже однажды свое путешествие — хочет ехать в Париж.

ОТ ПАРИЖА ДО ГРЕНАДЫ



Чей голос достоин воздать
хвалу землям твоим, Испания?

Клавдий Клавдиан

1

Префектура парижской полиции, записав паспорт титулярного советника Глинки, отметила в графе, отведенной приметам: «похож на француза, ростом мал, в движениях изящен, бакенбарды смуглые, волосы немного вьются». Чиновник, заполнявший эту графу, мнил себя сердцеведом и человеком хорошего вкуса. Возвращая Михаилу Ивановичу паспорт, он сказал:

— Я редко ошибаюсь. Париж — город артистов. Счастлив заметить, что ваша внешность — артистическая и вам по праву жить в нашем городе!

Город подавлял громоздкостью семиэтажных домов и необыкновенным движением на улицах. Понизу нескончаемыми рядами тянулись лавки, сверкая витринами. Благодаря этому весь нижний этаж Парижа казался сплошной лавкой. Множество рулеток и устроенных здесь же лотерей преграждали путь. По утрам попадается всадник. К хвосту его лошади привязана металличе-

ская метла: так чистят улицу. Не менее любопытно моют панель, пуская воду из водопроводных труб. Впрочем, все это становилось вскоре привычным, а широкие бульвары даже стали напоминать Невский проспект. Было трудно смириться с другим, с ощущением... необходимости самого города, будто все его кварталы были одной большой гостиницей, а у людей, живущих здесь, меняется характер так же часто, как и их квартиры. Просиживая часами в Тюильрийском саду, он наблюдал за тем, как все еще не могла войти в свою колею жизнь города, однажды из нее выбитая событиями революции и наполеоновских поражений. А говорят, что у французов характер легкий.

В саду у цветников няньки водили за руку разодетых в кружева мальчиков и на один лад докучно рассказывали о родственниках, погибших в сражениях. До слуха Глинки доносилось: «Мы сходим с тобой в Дом инвалидов и там вспомним дни, когда, служа Наполеону...» Глинка знал, что Париж еще недавно называли городом вдов. Париж, в котором, по рассказам путешественников, всегда властвовала женщина.

Часовые не пускали в сад плохо одетых, надсмотрщики-садовники ходили отменно важно с лейками в руке, а возле бассейнов продавались маленькие складные стулья с полотняными сиденьями, — все стоило дорого и приспособлялось к услугам знати. И как никогда явствовало, сколь в тягость стал мундир спешащим в отставку военным. Вот черный фиакр чинно провез плац-майора на смену караулов, и в отдалении появились малорослые солдаты в медвежьих шапках и в длиннополых сюртуках, а за ними воины национальной гвардии в партикулярной одежде, в круглых шляпах, с перемычками через плечи и ружьем в руке.

— Так ли раньше менялись караулы? — шепнул с грустью Глинке незнакомец, сидящий возле него, ветеран войны.

И, утешаясь мелькнувшим воспоминанием, спросил:

— Вы не были на торжестве погребения Наполеона? В день, когда привезли в Париж его гроб с острова Елены четыре года назад?

— Нет.

— Это был чудесный день, — оживился незнакомец

и зачем-то снял шляпу. — Я видел, как траурный кортеж вступил на эспланаду Дома инвалидов. Погребальную колесницу на позолоченных колесах везли шестнадцать вороных лошадей, по четыре в ряд. По углам четверо воинов, одетых гениями, держали в одной руке гирлянды цветов, в другой — трубы славы. Катафалк был покрыт фиолетовым крепом, осыпанным золотыми пчелами. Да, да... Храм Дома инвалидов был драпирован такого же цвета бархатом, и все в Париже казалось тогда фиолетовым. Это был траурный цвет. Тело императора лежало в шести гробах — жестяном, свинцовом, красного и черного дерева...

— Императора? — перебил Глинка, словно прислушиваясь к звучанию этого слова.

Ему представилось совсем другое: окрашенные заревом дороги Смоленщины, каретник Корней Векшин, уводящий партизан в леса, и певунья Настя, встретившая его, восьмилетнего мальчика, в день, когда он вернулся из Орла, словами: «А мы тут воевали с басурманами, показали ему от ворот поворот. А вырос-то как, милый ты наш, барчик наш родимый!..» Право, есть во всем этом что-то призрачное, неправдоподобное. И мог ли он думать, что придется ему слушать здесь, в Париже, горестный рассказ о ссыльном императоре, жизнь которого никак уже не осветят все отданные ему похоронные почести.

— Ну да, императора! — удивился его возгласу незнакомец. — Вы, должно быть, русский? Впрочем, все ведь отдают ему честь. Он кончил плохо, но что было бы с Францией, не будь его?

Глинка внимательнее взгляделся в лицо старика. Незнакомец жил прошлым и никак не мог поставить в вину Наполеону какую-нибудь из его неудач.

— Вы, конечно, не согласны? — уже с вызовом спросил старик.

— Трудно сказать. Вы думаете, что принесенное им горе как-то возвеличило Францию? Вы не жалеете... себя?

— Нет, — быстро ответил ветеран. — Тех людей нет и того времени нет, но я не позавидую никому из молодых людей, не дравшихся вместе с Наполеоном.

И осторожно спросил:

— Вы путешествуете?

— Да.

— Вы русский помещик?

— Помещик! — повторил Глинка, скучая.

— Но вы не можете не побывать в Доме инвалидов, приехав в Париж.

— Пожалуй.

Ему подумалось, что действительно нельзя не побывать там.

— Тогда идемте?

— Куда?

— В Дом инвалидов. Я там живу. Позвольте представиться: Жан-Жюль Валес, капитан кирасирского полка маршала Нея.

— Михаил Глинка.

— Не писатель ли? Я читал в библиотеке Дома инвалидов что-то переведенное из книг Глинки.

— Нет. Человек, которого вы имеете в виду, находится сейчас на Севере, в Карелии, но он тоже ветеран войны и сражался против Наполеона.

— О, мне было бы интереснее с ним! — вырвалось у старика.

И, как бы желая загладить невольную свою неучтивость, он сказал:

— Ведь не каждый русский помещик явится в Париж. Вот и подумал, не вы ли? Я слышал, будто еще есть Глинка композитор, но для композитора вы слишком спокойны с виду.

— Почему же?

— В вас нет задора или, я бы сказал, горения страстей.

— Вот вы какой, капитан, — усмехнулся Глинка, — а то я подумал, что беретесь судить только о войне и военных. Что ж, пойдёмте!

Они поднялись, сели в «американку» — так назывался здесь двухэтажный дилижанс, который тянули три лошади.

— Вам надо увидеть Пантеон, — говорил старик, пока они ехали. — Пантеон — это ворота в Париж для иностранца. Пантеон поднимает дух. Иначе все кажется мелким. Раньше была церковь святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Но теперь там в числе прочих

гробниц деревянные гробницы Руссо и Вольтера! Пантеон — это история Франции. После него следует Дом инвалидов, там те люди, которые вынесли ее позднейшую историю на своих плечах. Вот так и только так, господин Глинка. А вас может потянуть в Пале-Рояль, на эту вечную ярмарку, и вы увидите Париж корыстный, веселый, но уродливый, Париж последнего времени.

Разговорившись, он становился интересен. Он искренне считал себя одним из последних французов, способных жить идеей во имя прошлого, судя обо всех лишь по способности к жертвам, ради чего бы они ни были принесены. Но в то же время не терпел ханжества. Он оказался начитанным, и Глинка не мог не признать в нем полезного себе спутника и знакомого. В Доме инвалидов, куда они вскоре приехали, старика знали, казалось, все три тысячи живущих там ветеранов разных чинов и состояний. С ним запросто здоровались отставные генералы и сержанты, и, пока он вел к себе, в небольшую свою комнату, гостя, Глинка много раз услышал:

— Заходи, Жан, без тебя скучно!

Глинка заметил, что при этих словах старик приободрялся, выпрямлял плечи и быстро кивал головой. Был он лыс и, несмотря на июльскую жару, носил парик. На выцветшем сюртуке его блестели орденские ленточки. Он ходил прытко — только так можно было сказать о его походке, — как бы не желая сдаваться старости, и хотя опирался на трость, но старался делать вид, что держит ее из франтовства и может без нее обойтись. Распахивая перед гостем дверь в комнату, произнес торжественно:

— Могу заверить: не богато, но чисто. Убираю сам!

На стене висел большой портрет композитора Жана-Франсуа Лесюэра. Глинка остановился возле него, раздумывая, почему именно Лесюэр мог полюбить капитану Валесу, и старик, догадавшись о его мыслях, сказал:

— Наполеон после премьеры его оперы «Барды» прислал ему золотую табакерку и в ней орден Почетного легиона. Это ли малая награда?

— Но все же?.. Не из-за этого же вы повесили этот портрет?

— Конечно. Но вы узнали его? Когда-то говорили, что Лесюэр превращает собор в оперу для нищих, он ведь из церковных певчих, а теперь знаменит и особо любим нами, солдатами.

И, предложив гостю сесть в кресло, тихо добавил:

— Впрочем, теперь есть человек, которому старик всегда покровительствовал и который стяжал всю его славу, отодвинув своего покровителя, — Гектор Берлиоз. Вы слышали его музыку? Слышали, — с растущей настойчивостью переспросил он, — может быть, кантату «Сарданапал»? Берлиоз написал ее, прочитав трагедию Байрона и поглядев картину Делакура на этот же сюжет... Он получил за нее Римскую премию. О, это было в дни, когда свергнули Бурбонов. Париж строил баррикады, а он писал кантату. И писал вдобавок ко всему, когда не на что было жить и любимая им Генриэтта Смитсон, игравшая Офелию в «Гамлете», упорно избегала его любви... Теперь-то она его жена! А может быть, знаете его «Фантастическую симфонию»?

— Знаю, — тихо сказал Глинка.

И что-то в его голосе остановило капитана от дальнейших речей.

— Знаете? Но небось предпочитаете... итальянскую музыку. Это моднее, ближе нашему веку! В ней красота наслаждения, улады, красота внешняя, а у Берлиоза — мужество и безумие страсти, трагизм, Дантов ад...

— Вы смелы! Вы хорошо говорите! — удивлялся Глинка.

— А вы... Вы все же, наверное, тот Глинка, композитор? Вы так смотрите на портрет, что я понял... И вы действительно знаете Берлиоза.

— Хочу знать! — поправил его Глинка. — Но вы кто?..

— Верный слуга Берлиоза! — вставил капитан, приосанившись. — И ныне ваш слуга, сударь. Когда-то играл вместе с Лесюэром! Простите меня, сударь, что не признал вас в Тюильрийском саду. Глинку между тем слышал.

— От кого же?

— От Берлиоза.

Глинка молчал. И ветеран войны капитан Валес, представший меломаном, знал, что только молчание может передать изумленную радость его случайного гостя.

2

Отсюда Глинка писал матери: «Париж — город расчета и эгоизма. Деньги здесь — все. Вас осыпают ласковыми речами даром, сколько угодно, а без расчета никто не сделает ни шагу... Моя музыка теряется на французском языке, и теперь я хлопочу о переводе некоторых романсов на итальянский и испанский языки с тем, чтобы потом издать их в Париже. Познакомить здешнюю публику с моими операми не вижу возможности. Хлопоты и издержки, требующиеся на это, так огромны, что и помышлять об этом я более не намерен».

Когда-то о безликих и легких музыкальных произведениях он говорил: «Слишком заметно, что для Парижа писано». Он имел в виду тех, кому Париж был неким законодателем музыкальных вкусов. Теперь Париж предстал перед ним во всем своем «разнообразии умственных наслаждений»; таким видел он его и в первые месяцы пребывания здесь. Немалую роль играла в этом первом и еще сбивчивом впечатлении новизна всего увиденного и кажущаяся возможность «жить как хочешь». Этакая легкость и жизненная независимость после груза привычных тягот, досужих, завистливых и угодливых толков об искусстве, груза, который нес на себе в Петербурге. Даже от официального и несколько назойливого друга своего Нестора Кукольника он невольно отдыхал здесь, вполне заменяя перепиской личное с ним общение. Но во вкусах публики и в суждениях о музыке нетрудно было уловить разброд и, собственно, не только отсутствие какого-либо единства, а с ним и своего идеала, но и стремления к единству. Один Берлиоз, первый, по мнению Михаила Ивановича, композитор своего века, мог быть в Париже властителем дум и чаяний, но для одних он — великий фантаст и маг оркестровой музыки, основатель нового программного симфонизма, для других — напыщенный трагик, жонглирующий феерической своей оркестровой техникой.

Чего только не довелось услышать о нем Михаилу Ивановичу: и надежды, что он, Берлиоз, переведет на язык симфонии Шекспира, Гёте, Байрона, и полные сарказма насмешки над взбаламутившим умы музыкальным эксцентриком, который родился «под взбесившейся звездой».

Стараясь спокойно вслушиваться во всю противоречивость этих суждений и, по собственным словам, «изучить здешнюю публику», не касаясь сути берлиозовского творчества — оно и раньше было ему близко, — Михаил Иванович пришел к важным для себя выводам: доселе инструментальная музыка делится на два противоположных вида — квартеты и симфонии. Первые сложны для многих слушателей и ценятся немногими, а вторые, так называемые концертные вариации, утомляют своей несвязанностью и трудностью восприятия. «Нужно соединить требования искусства с требованиями века, — пишет он Кукольнику, — и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, писать пьесы, равно докладные знатокам и простой публике!»

Музыкальные пьесы как доклады! И, живя здесь, Михаил Иванович намеревается обогатить собственный репертуар концертными пьесами для оркестра, назвав их *Fantasies pittoresques*. Этим он занят в маленькой своей квартирке на шестом этаже в *passage de l'Opéra*, куда привез взятое в магазине напрокат старенькое фортепиано.

Из соотечественников в Париже оказываются Григорий Волконский и князь Елим Мещерский. Князь охотно берется перевести на французский язык некоторые романсы Михаила Ивановича, но тяжело заболевает и не знает, что смерть уже стоит у его одра.

На несколько дней приезжает сюда граф Виельгорский. Вместе с Глинкой осматривает памятники Версаля, передает петербургские новости. Михаил Иванович делится с ним сомнениями и неудачами: три музыкальных вечера его все же состоялись, оркестр итальянского театра превосходно разыграл «Марш Черномора», «Вальс-фантазию» и «Краковяк» из «Жизни за царя», но успех не окрылил и даже мало порадовал. Да и забылся скоро! Тянет в Испанию, тянет давно, и все более

нетерпеливо. Кстати, там сейчас Лист. Да и жизнь там не в пример французской!

— Уже надоело здесь? — обрывает Михаила Ивановича Виельгорский, видя в стремлении Глинки в Испанию все то же неустройство духа. И не возразишь: мир путешествий, любимый с детства, смотрит на Глинку со страниц давно прочитанных в Новоспасском и некогда пленивших воображение книг.

Из края в край, из града в град...

Пусть так! Он признается Виельгорскому в том, что, готовясь к поездке в Испанию, уже учит испанский язык, переводит Жиль Блаза с французского.

— Конечно! — восклицает Михаил Юрьевич. — Раз захотелось что-нибудь Глинке, тут уж не до ожиданий. Подавай сразу. Ну, а языки нашему умнику не помеха, он ведь и арабский учил когда-то. Надо будет — и китайский легко изучит!

Глинка кротко соглашается. Действительно, проявлять терпение не в его привычках, лишь бы Евгения Андреевна не отказала в согласии на эту поездку, ну и в деньгах. Но в Париже живет Берлиоз, и с ним только налаживается знакомство. Григорий Волконский недавно представил Михаила Ивановича Берлиозу, и нет для Глинки в Париже более притягательного человека... Спасибо капитану Жюлю Валесу и другим парижанам — они немало способствовали его заочному с ним сближению.

Берлиоз принимает Глинку у себя в доме, не столь богатым, но уже не похожим на ту нищенскую мансарду, в которой провел долгие годы. После того дня, когда растроганный его концертом Паганини прислал ему чек на двадцать тысяч и письмо с поздравлениями, нищета и бесславие окончательно ушли из дома. Но покоя и достатка все же нет, и нельзя отказаться от газетных фельетонов — верного приработка, которые пишутся в бессонные ночные часы. С глазами, опухшими от бессонницы, под пышной шапкой волос, спадающих на лоб, бледный, с искривленной скорбной складкой губ, Берлиоз сам открывает ему парадные двери и ведет к себе, минуя комнату жены, когда-то любимой в театральном свете, теперь брошенной всеми и разбитой параличом.

Другая женщина, певица Мария Ресио, занимает в жизни Берлиоза ее место.

Глинка не впервые приходит к Берлиозу и каждый раз с возрастающей остротой чувствует всю неустроенность и напряженность его жизни. И сам Берлиоз при каждой встрече кажется другим, еще совсем незнакомым. С фигурой горца, суховатой и гибкой, облаченный в один и тот же, модного покроя, узкий черный фрак, с лицом не старым, но испещренным морщинами и предельно нервным, он никак не кажется гостеприимным хозяином дома, радующимся гостю и часу отдыха. Да и умеет ли отдыхать Берлиоз? Глинка виновато сидит в глубоком вольтеровском кресле под портретом Наполеона и следит за тем, как Берлиоз то задергивает, то отдергивает штору на окне, как бы решая, пора ли зажигать свечи или лучше подождать сумерек.

Фортепиано в темном углу похоже желтизной своих клавиш и потертостью дерева на старый натруженный деревянный станок, который каждый день служит мастеру. Кое-где клавиши остались вдавленными, и Глинка вздрагивает, невольно ощутив силу мечущихся и безошибочно метких в ударе пальцев, которую обрушивал на них композитор. Глинке передается труженическая напряженность, властвующая в этом доме. Но стылым холодом веет от комнаты, от портрета Наполеона, от серых стен, и Глинка невольно говорит себе, что сам он не мог бы работать без того, что, подобно солнечному лучу, внесло бы оживление в этот дом, будь то улыбка женщины и бокал пенящегося вина на столе, лишь бы почувствовать, что жизнь не темна, не надсадна и здесь, в доме, живут грации. . .

— Бальзак советует мне ехать в Россию. Что скажете?

Берлиоз смотрит, полуопустив веки, и Глинка чувствует тяжесть его взгляда. Перед ним сидит человек несказанно усталый, но, кажется, уже привыкший к этому своему состоянию.

— Я бы считал своим долгом помочь вам в Петербурге во всех ваших делах! — вырывается у Глинки.

Именно такого ответа и ждет от него Берлиоз. Он удовлетворенно склоняет голову и минуты три молчит, раздумывая. Потом говорит с едва уловимой усмешкой:

— Лист утверждает, якобы в России только итальянцы могут усладить слух вельмож. Я же никогда не писал для чьей-либо улады...

«Я сам от этого немало страдаю», — хочется ответить Глинке, но из чувства достоинства он считает нужным возразить:

— Лист преувеличивает.

— Не скажете ли, друг мой, что вам так уж хорошо в Петербурге? — понимает его Берлиоз. — Нет, друг мой, истинный художник не должен рассчитывать на скорое признание, слишком много возле него более удобных для славы посредственностей. И, право, художнику надо больше заботиться о продлении своей жизни...

Он любит говорить намеками, притом скорее выражая сегодняшнее свое настроение, чем сложившиеся с годами убеждения. И остерегается спорить. Каждый навязанный ему спор вызывает в нем чувство неловкости за себя, словно собеседник из-за него заведомо зря теряет время.

— Впрочем, вы, друг мой, большой художник, — замечает он с искренним чувством, — и вам я готов поверить. Россия — страна будущего. Так думал Вольтер и так, может быть, подражая ему, говорит Дюма. Ее искусство, по вашим словам, должно быть народно, близко простолюдину. Какой же мыслью должен в этом случае обладать он, этот человек, говорят, слишком еще далекий от революции и задавленный нуждой?..

— Вы забываете о том, что подлинное искусство всегда проникнет в душу, — осторожно возражает Глинка, стараясь понять, действительно ли близки Берлиозу идеи революции и нужды простых людей, — столь много противоречий в этом человеке, в его жизни и поведении.

— Искусство философично, но всегда ли ясна философия в чувствах? Чувство стихийно и безотчетно, мой друг. И для такого чувства музыка обязана быть простой. Музыкант должен попросту владеть им, не опускаясь до того, чтобы дать о себе судить. Впрочем, не утруждайте себя возражениями на этот счет. Пусть я буду неправ!.. Обо всем этом уже приходилось спорить в дни, когда состоял я учредителем «общества равнодушных ко вселенной».

Но Глинка должен досказать начатую мысль. Категоричность суждений Берлиоза чем-то обижает его. И не хочется ему видеть композитора надломленным жизнью, лишенным ее светлых и простых радостей, а именно таким предстает сейчас перед ним этот человек, прозванный «Наполеоном музыки».

— Вам нравится моя первая опера, а не в ней ли простолюдин достигает вершин человеческого чувства, понимая под чувством гордость, самоотверженность, способность на подвиг? — говорит он. — Что же в ином случае вам нравится в ней? Музыка неотъемлема в опере от ее мысли.

— Пусть так, — соглашается Берлиоз. — Музыка чудесна. Я напишу о вас. А второй вашей оперой вы стали еще ближе мне. Вы разбили каноны в России, как здесь их разбил я и, может быть, Мейербер и, конечно, Бетховен... Впрочем, о вас говорят как о создателе национальной оперы. Русским это яснее. Я не о том намерен писать. Не о характере русской музыки. В создании французской оперы участвовали иностранцы, среди них немец Глюк. Новым для музыки пусть будет сила контрастов в композиции, сила драматизма, недоступная для музыкальных посредственностей. Национальное — это сейчас, видимо, не главное...

— Вы неправы! — резко бросает Глинка.

— И вообще, у музыки свои темы, — продолжает Берлиоз. — Ее темы...

Он обрывает фразу и смотрит в сторону, как бы говоря сам с собой и куда-то переносясь мыслью. Потом спрашивает, спохватившись:

— Вы собираетесь в Испанию?

— Да.

— Мария Ресио — полуиспанка. Она хорошо знает эту страну и может вам много рассказать о ней. Она очень талантлива и умна — Мария...

Глинка знает, что Берлиоз в увлечении ослеплен ею. Ресио красива, но бездарна. Он слышал ее в Париже. И сейчас Михаил Иванович огорчается не за нее, а за Берлиоза... Чего стоят его мысли о музыке и современном обществе, если плохую певицу он возводит в крупные таланты? И все из собственной слабости! Впрочем, он ли, Берлиоз, один такой? И все же трудно простить

Берлиозу эту ошибку. В чем бы другом, но в искусстве личное расположение к человеку не может затемнить его недостатки. Так кажется Глинке. Сам он никогда не отступал от этого правила. Не отступал от него и Пушкин.

Михаил Иванович переводит разговор на другое и вскоре раскланивается. Уходя, он еще раз приглашает Берлиоза в Петербург.

Ночью, наедине с собой, возвращаясь к разговору, он приходит к мысли, что и эта причина задержки в Париже — потребность более близкого знакомства с Берлиозом — пожалуй, исчерпана. Он, Глинка, глубоко любит композитора, но не подавлен им, не восхищен настолько, чтобы потерять голову или, вернее, сердце... И, право, надо ехать в Испанию, в народ, к природе, к жизни, свободной от актерской неровности, от бремени самолюбия и самовозвеличивания, от всего того, чего так много здесь.

Но еще некоторое время проводит Глинка в Париже, дожидаясь денег от матери, ее разрешения на поездку и работая совсем над другим, уже не относящимся к парижским театрам, — над симфонией «Тарас Бульба». Впрочем, он не знает, что это еще будет... Украина снова оживает в его мыслях. Гоголь владеет воображением. Кобзарь Остап Вересай бредет с Улей по шляху... Разговоры с Шевченко вспоминаются в подробностях. И как хорошо работать, не мучась, подобно Берлиозу, над отношением музыки к слову, не растекаясь мыслью и чувствами, не думая о том, что надо готовить для французского театра.

3

В это время Шевченко, года два назад получивший от Академии звание свободного художника, находился на Украине, работая в археологической комиссии рисовальщиком. В Киеве, в университете св. Владимира, предоставили Тарасу Григорьевичу кафедру живописи, отдав предпочтение ему среди многих других, подавших на эту вакансию. В Киеве немало удивлялись предпочтению, оказанному молодому художнику, говорили о рекомендации Брюллова, повлиявшей на управляющего

учебным округом генерала Тряскина, о необыкновенной талантливости Шевченко, но вскоре узнали... об аресте его в связи с деятельностью Кирилло-Мефодьевского братства. Из всех арестованных по этому делу «братчиков» самое тяжелое наказание постигло Тараса Григорьевича, и уже не за участие в обществе, а за «сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений».

Гулак-Артемовский, служивший в Петербурге в императорском театре, узнав об участии друга, писал дяде: «В столице нет Глинки — он еще в отъезде, и никогда, верно, не будет Тараса. Я живу среди людей, но кажется мне, живу один... Пою «Руслана», а хотел бы в театре закричать, заплакать. Но если бы не музыка и не «Руслан», не знал бы, куда себя деть».

В один из морозных зимних дней Гулак-Артемовский пришел к Одоевскому. Граф Виельгорский недавно вернулся из Парижа, где видел Глинку, и привез от него письмо. Была пятница — день приема гостей по давно заведенному и неизменному ритуалу. Привычкам своим оставались верны все аристократические семьи в Петербурге, как бы утверждая этим свое долголетие и способность в бурях времени хранить все то же присущее им спокойствие. На этот раз Гулак отчетливо почувствовал, однако, что спокойствие в доме князя — показное. Болезнь жены, распри с Булгариным, издательские неудачи, все более острое недовольство собой повергали Одоевского в апатию и отделяли от людей. А склонность принимать все беды философически, не разрешая себе высказать печаль, издавна отличала князя от других, способных облегчить душу крепким словом или горькой жалобой на свое время.

Гости еще не собрались. Гулак сел в кресло у круглого стола в ожидании хозяина. Старый слуга в парике и странном, похожем на тогу, одеянии обрызгивал мебель и гипсовые бюсты на этажерках терпкой, пахнувшей хвоей жидкостью и закапал ею сюртук Гулака. В этом доме любили запах хвои, и Гулак, смеясь, подумал, что теперь он введен в его таинства, будто в масонский кружок. Сидя в кресле, он увидел, как престарелый с виду Крылов, один из первых гостей, брел сюда по паркету, словно по дорожке сада, опираясь на палку, и

грустно опустился на диван. Он находился в отдалении от Гулака и, казалось, не замечал его, но вдруг спросил из полумрака гостиной:

— Вы кто будете, молодой человек?

Гулак назвал себя, и баснописец, застыв в одной позе, добродушно сказал:

— Небось хотели повидать князя пораньше, до людей, вот и я, батюшка, тоже за тем пришел, как же теперь будем? А говорить-то мне надо с князем Владимиром Федоровичем наедине... И ведь не поднимусь, право, не поднимусь, даже если бы и захотел уйти.

Глаза его смеялись, и говорил он, забавно морща лоб, словно от натуги, действительно не зная, как быть... Гулак, не видя веселого блеска его глаз и движения лица, подумал, что старик попросту потешается над ним, как бы отдыхая здесь, и быстро ответил:

— Стало быть, я уйду, Иван Андреевич.

— Ну что ты, голубчик, что ты! — забеспокоился Крылов. — Ты уж займи князя, а я сосну.

И он на самом деле, казалось, приготовился спать, склонив большую белую голову на бархатную подушку.

Одоевский неслышно вошел, улыбнулся, заметив дремлющего Крылова, и сказал, поздоровавшись с Гулаком:

— Иван Андреевич этак частенько на наши вечера жалуется, спокойствие приносит да и басню в кармане... Потому и спокоен так, что басню уже за день составил, устал от себя, а теперь других хочет послушать. — Он говорил, явно рассчитывая на то, что Крылов его услышит. — Чтение наше закончим, и Иван Андреевич басню из кармана вынет, ну и заключит ею, будто ушат воды на горячую голову выльет.

Баснописец дремал.

— Но, кажется, впрочем, очень слаб стал, — озабоченно шепнул Одоевский и сел напротив Гулака. — О Михаиле Ивановиче небось пришли разузнать?

Гулак качнул головой.

Князь задумался, сказал, помедлив:

— Вот ведь оказия: мы в Петербурге шумим, негодуем, произносим патриотические речи. Михаил Иванович никогда не был говоруном, а без него будто чьего-то очень важного голоса не слышно... Он совсем не умеет быть назидательным, говорить риторично, а ведь патри-

от! Что скажете? И романсы его — какие они русские! Сенковский прав: наше русское благородство, наши душевные искания в них! И вот нет в Петербурге Глинки, нет этого благороднейшего голоса человеческих чувств. Говорят, Глинка суетен, а романсы его? Кстати, в «Руслане» вы отлично поете, всех нас тронули. Лучшего Руслана Глинка бы и желать не мог. Опера-то все больший успех имеет! Вот когда не подходит Глинке его «Разуверение». Он уехал, сердясь на публику, а публика начинает понимать его оперу!

Он перечел письмо, привезенное ему от Глинки Виельгорским, и спросил:

— А вы недовольны Михаилом Ивановичем? По-вашему, он не так живет, да и в Испанию ему ехать не надобно? Глинка, мой друг, вмещает в себе столько всего, что критикам его разобраться в нем не под силу, и настроения его продиктованы свыше... Не хочу сказать — богом. Коли бежал от нас — значит, нужно ему там, в Испании, сил набраться. Душно ему, Глинке! Все мы, друзья его, скучаем без него, а не хотим, чтобы рано возвращался. Да вот и домашние его дела: с женой наконец развод дали. Да слышал я, будто Васильчиков, новый ее муж, тяжело заболел. Что ж, человек он богатый, глядишь, наследство оставит, а ей только этого и нужно. Как бы ни было, а руки ему, Михаилу Ивановичу, развязаны теперь, может жениться...

— Дал бы бог!.. — вырвалось у Гулака.

— Бог-то даст, да только кого? — с сомнением подхватил князь. — Екатерина Ермолаевна Керн умна сверх меры, да к себе бережлива. Михаил Иванович-то зря о простых душах грустит... Вы-то холосты еще или уже женаты?

— Холост.

Он чуть было не добавил «ваше сиятельство» — как ни прост был в обращении Одоевский, а именно княжеская его простота и вызвала вдруг в Гулаке чувство излишней почтительности, и не привык еще держаться с сановными людьми.

И так же неожиданно осмелел:

— Шевченко, Владимир Федорович, ничем в Петербурге не помогут?

— Шевченко? — переспросил князь, что-то вспоми-

ная. — Княжна Репнина просила в Киеве за него, да ведь в столицу дело пошло. А вы близки с ним были? Да, знаю. — Он отчужденно отвел взгляд. — Талантлив Шевченко, да ведь... не нам судить.

— Михаил Иванович чрезвычайно будет огорчен, узнав...

— Что ж из этого! — оборвал князь. — Академии художеств бы о том заботу иметь. Не знаю я его дела!.. Да и помочь, мой друг, не в силах.

И спросил встревоженно:

— Михаил Иванович был близко знаком с ним?

— С Украиной... — как бы поправил его Гулак, — а Украина — сирота без Шевченко.

Одоевский строго и внимательно поглядел на певца.

— А для Глинки Украина — мать, может быть, хотите сказать? Не спорю, многое ему дала, а только...

— Что?

— Да нет, не хочу говорить об этом. Еще, пожалуй, обидишь вас, — спохватился князь, не досказав мысли.

И повторил с намеренной строгостью:

— В этом деле помочь мы не в силах.

— Василий Андреевич Жуковский в выкупе его из крепостной неволи участвовал, Брюллов души в нем не чаял, — горячо заговорил Гулак, — как же так? Жуковскому бы слово сказать перед царем или царицей.

Какие-то очень простодушные и наивные нотки в его голосе и обезоруживали и раздражали князя. Одоевский сказал:

— Мало ли, друг мой, есть дел в государстве, против которых и Василию Андреевичу было бы бессмысленно идти!

Гулак понял его иначе: «И без Шевченко много забот есть и горя, что ты привязываешься ко мне с ним? Я ни тебя, ни его еще хорошо не знаю».

— Простите, Владимир Федорович! — вынужденно сказал он.

— Моя заповедь: жить в стороне... Помните надпись на статуе Изиды: «Никто еще не видел лица моего», — как бы в объяснение своей позиции мягко произнес князь. — Сегодня будете слушать новый мой труд «Русские ночи» — отрывки из него. Так вот, об Изиде, о свободе художника, об отношении к миру...

написал я предисловие. Хотите, прочту главное, пока есть время.

Он покосился на дремлющего Крылова. Потом подошел к столу, вынул из ящика большую папку и из нее какой-то листок.

— Слушайте же, — вернулся он на место, — вот о чем хочу сказать сегодня в нашем очарованном круге людей, называемом литературным, в круге, из которого нет выхода и в котором между людьми разными и разделенными обстоятельствами жизни тем не менее всегда можно найти отголосок своим чувствам. Вот что я пишу в предисловии:

«В глубине внутренней жизни поэту встречаются свои символические лица и происшествия; иногда сими символами, при магическом свете вдохновения, дополняются исторические символы, иногда первые совершенно совпадают со вторыми; тогда обыкновенно думают, что поэт возлагает на исторические лица, как на очистительную жертву, свои собственные прозрения, свои надежды, свои страдания, — напрасно! Поэт лишь покорялся законам и условиям мира, такая встреча есть случайность, могущая быть и не быть, ибо для души, в ее естественном, то есть вдохновенном состоянии, находят указания вернейшие, нежели в пыльных хартиях всего мира.

Таким образом, могут существовать отдельно и слитно исторические и поэтические символы; те и другие истекают из одного источника, но живут разною жизнью; одни — жизнью неполною, в тесном мире планеты, другие — жизнью безграничною, в бесконечном царстве поэта. Но — увы! — и те и другие хранят внутри себя под несколькими покровами заветную тайну, может быть недостижимую для человека в сей жизни, но к которой ему позволено приближаться.

Не вините художника, если под одним покровом он находит еще другой покров, по той же причине, почему вы не обвините химика, зачем он с первого раза не открыл самых простых, но и самых отдаленных стихий вещества, им исследуемого. Древняя надпись на статуе Изиды «Никто еще не видел лица моего» донныне не потеряла своего значения во всех отраслях человеческой деятельности.

Вот теория автора; ложная или истинная — это не его дело». Вы поняли меня?

— Вашу теорию? Как будто понял. Она не по мне, Владимир Федорович. Изида — мертва...

— Это уж не мое дело!

Он сказал это сухо и высокомерно.

Тот же слуга в парике доложил о приезде гостей. Крылов очнулся и крикнул:

— Я слышал, князь, слышал...

— А я знаю, Иван Андреевич, что вы слышите, — в тон ему, но с нежностью в голосе ответил князь.

— Впрочем, не все, все-таки я спал. Об Изиде, о Шевченко. Жаль. Не Изиду, конечно, а Шевченко.

Гулак выжидательно посмотрел на баснописца.

В комнату входили гости. Крылов, увидя их, махнул рукой и с преувеличенной церемонностью поднялся с дивана, отряхивая пухлой рукой свой черный длинный сюртук.

Сердясь на их приход, помешавший ему разговаривать со стариком, и кляня Изиду, Гулак стоял в ожидании, когда гости займут места и хозяин дома приступит к чтению своих «Русских ночей».

4

«Синьора Калиныча» следовало в просторечье именовать Иваном Калиновичем Чижевым. До приезда Кавоса в Россию так и звали этого «человека ярославских помещиков Низовцевых», посланного в столицу на оброк, себя и господ своих кормить. Был он рыжеват, мал ростом, с детства глух на одно ухо, долгое время считал, что второе ухо дано людям для красоты, для «симметрии», и при этом обладал поистине музыкальным слухом. Сутулый, с запавшей в глаза иноческой скорбью и недоброй складкой плотно сжатых губ, наблюдательный и диковатый с виду, был он между тем с юности человеком очень добрым. Таким, казалось, делала его необычайная способность к грамоте, к лепке и к музыке.

Все те знания, которыми владел в селе дьячок, перешли к нему еще в детстве и вызвали вскоре лихую, го-

лодную тоску по книгам. Он выкрадывал их в саду, со скамеек, где оставляли книги господ, отнимал у почтальона, ввязываясь с ним в драку, читал при лучине, спрятавшись на печи, при луне в лесу, — читал там, где мог остаться незамеченным, и прятал книги в дупле большого дуба, выгнав оттуда дятла. Иногда, зачитавшись, он выходил из леса шатаясь, не замечая лесных троп, и совсем иные тропы вставали в его глазах — по ним бежала карамзинская бедная Лиза или ступал Ричард Львиное Сердце, и сколь трудно было приходить в себя и объяснять матери, где провел время.

Однажды зимой он лепил на дороге снежных баб, думая о женщинах, которых узнал по книгам. Жарко дыша на пальцы и потеряв в снегу шапку, он пытался изобразить весталку, и Лукрецию Борджиа, и Марию Магдалину, какими только что открыл их для себя, потом облил водой снежные свои создания, и вскоре вся дорога к барскому дому оказалась обставленной статуями полуголых женщин, поднявших руку, как бы указывая путь, в позах, запомнившихся мальчику из книг. Кони шарахались, ямщики замахивались на «баб» кнутами, но ударить робели, гадая, не по барской ли прихоти поставили здесь этих снежных красавиц. И тогда господу вызвали к себе мальчика. Он вошел в зал и увидел, как несколько лорнетов устремились в его сторону. Видел только стекла и не замечал лиц и глаз. Его оглядывали, переговаривались, и ему казалось, будто на него наведены откуда-то сверху зрительные трубы, а он стоит внизу и... тает под их взглядами, как весной на солнце слеplенные им статуи. Он в испуге убежал. Его позвали сюда вновь через много лет, когда он прослыл в селе музыкантом. Старая барыня доверительно сказала ему, показывая на накрытый к обеду стол:

— Уже ничего дорогого не можем себе позволить, одни фазаны, гуси, рябчики и вина... Послать тебя в Петербург хочю на заработок.

Он поклонился, стараясь не глядеть на стол, — в деревне был голод, — сказал:

— Слушаюсь, государыня-барыня...

Из столицы он аккуратно высылал управляющему деньги. Через некоторое время барыне доложили:

— Итальянец, композитор Кавос, просит продать ему Чижова, большие деньги сулит.

— Сколько же Чижов стоит?

— Смотря по тому, как продавать его. Если как гардеробщика, сиречь музыкального мастера — инструменты он чинит, — одна цена, если же как верного слугу и помощника — другая. А говорят, Кавос в нашем Чижове души не чаёт, Чижов ноты ему переписывает и все его дела ведёт...

— Ну сколько же Чижов стоит? — нетерпеливо повторила барыня. — Как итальянский слуга?

— Да ведь если судить по любви к нему Кавоса... так и цены ему нет, «синьором Калинычем» кличет...

— А может быть, его царь купит? Неудобно как-то такого человека продавать итальянцу? — вдруг забеспокоилась барыня.

— Как прикажете.

И случилось, что на балу царь, остановив Кавоса, сказал:

— Слугу тебе дарю. Запрашивала меня одна помещица через ярославского губернатора. Приказал купить для себя и передать тебе. Рад ли? Что за человек такой?..

— Трудно сказать, — замешкался с ответом Кавос, не сразу поняв, о ком идет речь. — Очень благодарен, ваше величество.

С того дня на отпускной Чижова стояло: «Выкуплен у г-жи Низовцевой и подарен его императорским величеством капельмейстеру К. Кавосу».

Он не женился и ни разу не был с тех пор в деревне. Первые годы, живя в столице, отдал он дань «гардеробным» увлечениям. Знакомился с лютьерами — гитарными и скрипичными мастерами, любовался редкими инструментами, как библиофил книгами... Мог часами слушать о Франсуа Турте — царе смычков — и гладить изготовленные им смычки из фернамбукового дерева, отполированного «драконовой кровью» — красной смолой; или слушать споры о достоинствах скрипок и даже их палисандровых футлярах... Но вскоре отошел от всего этого ремесленнического музыкального люда, наседавшего в те годы подворье возле Красного моста, и стал посещать все хоровые кружки, переписывать ноты

и вникать в композиторские споры. Музыкальная память его удивляла Верстовского, он называл Чижова «живым нотным словарем» и охотно взял бы к себе в услужение. Но Верстовского Чижев невзлюбил.

Этой зимой Чижев подошел к Гулаку-Артемовскому в театре, чинно поклонился, неторопливо сказал:

— Слушал я вас. Хорошо поете, только, заметил я, одних тонов держитесь, словно на уроке, голос забираете высоко, орлом парите, а в запеве уже исчерпываете себя. Нет у вас... протяжения, не измеряете свои силы, слишком тратитесь в пень!

И когда Гулак в удивлении вымолвил: «А вам-то что, сударь?», не признав сразу в старике слугу Кавоса, — «синьор Калиныч» замигал глазами и заговорил просительно:

— Деньги у меня есть, квартира, инструмент и нет... хозяина. А ведь полезен могу быть. Не одного, почитай, певца наставил. Сам не мог петь, так другим иной раз подсказывал... Катерино Альбертович первого меня, бывало, спрашивал, мелодию написав: «А как получается, по-русски?» Он сочинял, а я тут же сидел, мотивы наигрывал, а то и певцов к нему приглашал из кухмистерских, чтобы сам он послушал, как Русь поет... А теперь кому нужен?.. Вот и пришел.

— Чем бы помочь вам? — в раздумье произнес Гулак.

— Э-э, — с усмешкой протянул старик. — Не о том речь, не о помощи мне... Вы, милостивый государь, извините, не так меня поняли, а может быть, из обиды? Тогда напрасно! У вас сюртучок не модный, и в люди вы еще не вышли, — оно, может, и лучше пока-то, и живете небось перебиваетесь, денег на квартиру нет, а я повторяю: квартиру имею и пожизненный пансион, но такого, как вы, у меня жильца нет... Коли не обидитесь, так ко мне и перебирайтесь. Этим обяжете, ну и можете мне, старику. Право, полезен буду и будто «Руслана» в свой дом беру. Очень я, признаюсь вам, Глинку люблю, к нему и Катерино Альбертович всю жизнь тянулся... Теперь же без него, без Катерино Альбертовича, нет мне никого ближе Глинки, да ведь не нужен я ему. И где-то он за границей! Все от нас подальше норочит уехать, хотя, как бы далеко ни уезжал, всегда с нами! И я, милостивый государь, не смею его к себе пригла-

силь, а вас по молодости да по небольшим вашим достаткам, коли не обидитесь. . .

И Семен Гулак-Артемовский, недолго думая, переехал в дом Кавоса, на половину, отведенную пожизненно «синьору Калинычу».

Старик с того дня бодрее и хлопотливее зажил на свете и сам удивился неожиданному приливу бодрости, будто вновь вернулась в его дом музыка. . . А ведь казалось, она и не уходила, вся тут, в нотах, в чужих партитурных записях на полках, в воспоминаниях. Вот ведь горестная необходимость кого-то опекать, выслушивать и ворчливо поправлять, радуясь втайне тому, как крепнет голос певца: «Вы, милостивый государь, без театральности бы петь стремились, вы на итальянцев-то не оглядываетесь. . . Небось были там, знаете, что душу ничем не подменить, а душа в пенье — главное! Вот в Костроме, скажу вам, в доме купца Прохорова, приказчик эту же песню певал. . . Куда лучше вас. Да не уберет себя, спился!»

О приказчике этом, разумеется, Гулак-Артемовский ничего не слышал.

5

В этих краях деньги отсылают не почтой, а прибегая к помощи морагатского племени, самого честного на земле. Государство может подвести, почтовые чиновники его отнюдь не преисполнены сознанием оказанного им доверия и почти все во власти муниципальных привычек, а морагаты даже не считают честность добродетелью, они попросту не представляют себе, как можно обмануть своего доверителя. Поэтому, когда нужно отослать кому-нибудь деньги или особо ценное письмо, зовут первого попавшегося морагата, и тот, если сам не может пуститься в путь, передает поручение земляку.

Но был случай, когда морагат обманул. Это произошло лет тридцать назад в далеком валенсийском селении и памятно до сих пор в народе. Заезжий морагат оказался вором. Однажды он обнаружил себя в группе водоносов, молодой, в черной строгой одежде семнадцатого века, похожей на ту, в которой принято обычно изображать Кромвеля. Длинная бархатная куртка дохо-

дила до колен, плащ закрывал с головой сухую и гибкую его фигуру. Его нетрудно было отличить от других. Был праздник, на улице везде звучали песни, и только морагат, по обычаю своего племени, не цел.

— Из какой части рая? — весело спросили незнакомца, подразумевая под раем Испанию.

— Из Хаэна, — ответил он.

И тотчас же он был приглашен к местному купцу по неотложному делу.

Незнакомец бежал с деньгами. Когда узнали об этом, племя морагатов, живущее здесь, объявило траур, а старейшины родов явились к купцу босые, с открытыми головами. Они везли на муле «откуп», во много раз превышающий убыток, понесенный купцом. И никто из встречных не проронил бранного слова, разделяя печаль морагатов. Люди снимали шляпы, кланялись, и купец, желая прослыть щедрым, отказался от денег, привезенных стариками. Тогда здесь же, на месте, где произошла кража, воздвигли на эти деньги часовню, назвав ее: «В память дня морагатской скорби».

Михаил Иванович живет в Гренаде, в опрятном домике с бельведером, и здесь, в саду, разбитом в форме террас, возле маленького фонтана знакомится с морагатом Хозе Палильос, берущим на себя заботы о доставке его денег, писем, а в дороге и... охране жизни. Изредка здесь все еще случаются грабежи. Морагат готов слушать все его рассказы и повеления, но сам больше молчит и не выражает никакой радости от того, что нашел себе в лице Глинки доброго хозяина. Хозе готов служить ему, ездить куда нужно, но и праздность отнюдь не считает пороком. Он может простоять весь день на площади, завернувшись в свой плащ, покуривая и разговаривая с людьми. Ему важно иметь необходимое для жизни: мула с нарядным седлом и обычными, похожими здесь на галоши, стремянами, черный плащ, способный скрыть ветхость одежды, немного денег, и ему совсем не обязательно богатеть... Он вправе остановить высокогородного маркиза с просьбой дать папироску или огонька, никому не уступит в вежливости, особенно перед женщиной, и гордится испанской поговоркой: «Король может сделать дворянином, но кавалером — один бог».

Моратат слушает Глинку с оттенком снисхождения, потупив взгляд, словно стараясь не замечать хрупкой, изнеженной его фигурки и не совсем правильного произношения по-испански. Хозе плечист, ловок — он лучший танцор в селе, — и, по его представлению, человек столь хилой наружности, как Глинка, чем-то обижен судьбой и заведомо несчастен. Глинка отпустил бородку клинышком, носит шаровары, вправленные в высокие сапоги, и придающую ему молодцеватость широкую куртку — иначе он совсем в глазах слуги выглядел бы пигмеем.

— Сведи меня туда, где танцуют, — говорит Глинка. — Я уже видел однажды здесь испанскую пляску... Это было в день моего рождения, я только что вступил в Испанию. Через Пиренеи мы переехали на трех мулах... И вот в Памплоне исполняли при мне «Арагонскую хоту». Надо сказать, исполняли чудесно! Оттуда мы добрались в дилижансе в Витторию, — кстати, правильно ли, что первый дилижанс на этой дороге сожгли вместе с чемоданами путешественников погонщики мулов, боявшиеся лишиться заработка?..

Хозе удостаивает кивком головы и слушает, ничем не интересуясь.

— Следуя дальше, мы попали в Бургос, в Вальядолиду, в Сеговию, потом в Мадрид; там прожили недолго, и теперь сюда... Есть ли места лучше, чем в Гренаде, Хозе? Я никогда не забуду, как танцевали в Памплоне «хоту»! И где лучше танцуют, по-твоему?

Он спрашивает об этом в надежде расшевелить хмурого своего слугу.

— Лучше Гренады города нет, танцуют же везде одинаково, — отвечает Хозе, — где танцуют плохо, туда никто не ходит!.. Если не умеешь плясать — лучше молись богу! В этом деле не нужно особенного умения, я полагаю, сеньор.

Хозе раздражен и не понимает интереса Глинки к пляске. И, говоря так о молитве, Хозе остается человеком глубоко набожным. Только набожность его не терпит ханжества и... монахов. Хозе не верит им. Впрочем, в Испании совсем еще недавно продавались с аукциона... монастыри, монастырские угодья и монахов изгоняли из келий как людей, бесполезных богу. В этой

стране столь много странностей! Здесь каждая область хочет жить своим умом и отделяется податями королю, оставаясь во всем самостоятельной. Видимо, и Хозе потому склонен из всех городов Испании выделять свой — Гренаду.

Помолчав, он так же хмуро добавляет:

— Плохо танцевать, сеньор, — это то же, что странствовать пешком, — одинаково стыдно! Можно ли ставить в заслугу человеку, что он хорошо танцует или хорошо поет?

Действительно, в Испании считается унижительным ходить из деревни в деревню пешком. И в этой стране, где все поют, кроме морагатов, особо ценится в человеке молчаливость. У мавров кипарис считался символом молчания — он никогда не шумит на ветру. Не об этом ли намекает Хозе?

Нет, положительно Глинка не может найти с ним общий язык. Телохранитель его и слуга остается только исполнителем его распоряжений. От этого Михаилу Ивановичу становится грустно. Ему необходим сейчас человек, столь же откровенный в своих чувствах, как Хозе, но, смешно сказать, более расположенный к нему, добрый, отзывчивый и безгранично преданный. Глинка невольно вспоминает всех, кого свела с ним за это время жаркая и каменистая испанская земля: перчаточного фабриканта Лафина в Мадриде, кожевника, бывшего контрабандиста дона Франциско Морено, флейтиста дона Хозе Альвареса... Каждый из них интересен по-своему, но все они вместе не могут заменить истинного слугу, способного быть другом. Усмехнувшись собственным мыслям, Глинка оставляет морагата.

Хозе поселяется в этом же домике, на чердачке. Он приводит в сад маленького мула, украшенного цветами и виноградными листьями. Похожий на хомут, поблескивает на шее мула влажный венок из роз. Хозе идет, перекинув на руку плащ. Со спины его свешивается ружье и гитара, на боку — кинжал и веер. Глинка смотрит из окна на слугу и смеется, — этакая святая наивность! Воинственность и простодушие!

Однако Глинка привыкает к слуге, исполняющему свои обязанности все так же отчужденно, вежливо и снисходительно. Он заводит себе мула и вместе с Хозе

выезжает в ближайшие селения. Зима кончилась в феврале, и в начале марта совсем тепло. Матовые куски мрамора лежат по краям дороги, словно глыбы нерастаившего снега. Черные кресты, поставленные на месте, где был убит проезжий, встречаются при приближении к горам. Снеговой полог Сьерры-Невады белеет впереди, ручьи бегут стремительнее, и печальную живописность дороги сменяет еще более грустная пустынность голых, каменистых гор. Лишь искривленный ствол кактуса, похожий на удава, и красноватые растения индиго видны среди камней на фоне догорающего заката и снеговых вершин, огня и льда...

Путники переваливают через одну из невысоких гор и останавливаются у венты — так называется постоянный двор, жилище, сложенное из необтесанного горного камня, с такими же каменными скамьями внутри, похожее на пещеру. Глинка мешковато слезает с мула, входит в венту и сквозь маленькое оконце в стене, напоминающее бойницу, видит на другой стороне горы очертания гренадской цитадели — крепости Альамбры. И оттуда, приковывая видом зубчатых своих стен, восходящих к небу, и багровых на закате развалин, все еще дымящихся на ветру, мгновенно выглянула, воссозданная воображением, история мавров.

Глинка прижался лицом к оконцу и видел, не стремясь спуститься вниз, городские ворота «Эльвара», ведущие в лабиринт узких, вьющихся, давно опустевших улиц, старый арабский базар, вымощенный узорчатыми арабесками из разноцветных камней, и здание монастыря с надгробным памятником в нем последних завоевателей Гренады, огромные мраморные плиты, на которых высечены сцены из гренадской войны, ангелы, епископы и... какие-то фантастические жаворонки... Глинка всматривался в даль и уже не знал, то ли в памяти его оживало прочитанное им из книги Переса о Гренаде, то ли из рассказов Сенковского о падении арабов, то ли институтский его учитель Джафар дал о себе знать с того света... Старик умер, едва успев рассказать историю Востока и кое-как научив Глинку персидскому языку. Но почему бы не выйти из венты и не направиться туда, к пустынным развалинам старого города? Глин-

ка поворачивается и ловит обращенный к нему недоумевающий взгляд слуги.

— Что привлекло ваше внимание, сеньор?

— Да так... стены Альамбры. Вспомнил историю... — бормочет Глинка.

Как объяснить, почему до сих пор он не удосужился побывать там, а теперь подавлен самим видом Альамбры и книжными воспоминаниями? Или там, на месте, бродя по развалинам, растечешься мыслью? Издали свободнее воображению? Но теперь его тянет Альамбра, и уже возникают в уме отзвуки каких-то старых арабских песен. Он садится на каменную скамью и на нотной бумаге, вынутой из кармана, что-то быстро пишет, к изумлению слуги. Откуда-то доносился тем временем веселый мотив фанданго — самого распространенного здесь танца. Мелькнула в широких дверях снаружи увитая цветами морда осла, звякнули шпоры, глухо стукнули пустые кожаные фляги, и в венту вошли крестьяне.

— Будьте здоровы, — в один голос кланяются плащи, садятся на скамью, и один из крестьян, самый молодой, предлагая Хозе сигарету, тихо спрашивает, взглядом указывая на Глинку:

— Иностранец?

— Русский.

— Купец?

— Нет.

— Кто же?

— Не знаю, хотя у него служу.

— Как же так?

— Путешественник! — небрежно отвечает Хозе.

— Все приезжие — путешественники. Кто он? — настаивает молодой.

— Кажется, музыкант.

Крестьяне оживленно переглядываются. Глинка слышит, как они переговариваются между собой:

— Слуга — мораят, он песен не любит. Ему все равно...

И от этих мельком сказанных ими слов Глинке становится радостно. Вот и они на его стороне, против неизменно сдержанного с ним Хозе.

— Сеньор, — обращается к нему пожилой крестьянин, — мы продали в городе табак и прибыли сюда

повеселиться. К тому же контора дилижансов заплатила нашему товарищу, — он кивает на соседа, — немного денег в уплату той суммы, которая следует за то, чтобы не останавливали в пути карет, и все это мы обязаны оставить здесь, хозяину этой венты. Не присоединитесь ли к нам?

Крестьянин — андалузец, на нем короткая бархатная голубая куртка и синие шаровары. Товарищ его, разбойник или, напротив, дорожный охранник, одет беднее, но с тем же щегольством.

Глинка тут же подсаживается к ним. Не спеша входит хозяин венты, неся на деревянном блюде неизменное угощение — салат и сардины. Жена его, чуть изогнувшись, вносит на плече большую бутылку с вином. Глиняные тарелки оказываются на столе, и вот уже кипит веселье. Глинка доволен. Вбегают две девушки с короткими кожаными плетями в руках, видимо только что соскочившие с седел, и в мантильях присаживаются к столу.

— «Соленые», не так ли? — шепчет андалузец Глинке, оглядывая девушек. — Знакомьтесь. Сестры мои.

Глинка не знает этой высшей здесь похвалы женщине. «Соленой» называют здесь женщину, в которой сила и ловкость соединена с приветливостью и простотой.

— Вы хотите сказать, красивые? — подхватывает его замечание Глинка, и ему кажется, что действительно обе девушки чудесны.

— Нет, — с легкой досадой возражает крестьянин. — Им нет нужды в красоте, они «соленые» — они больше, чем красивы... Вы не знаете, сеньор, поговорку: «В теле соленой женщины нет ваты, нет подделок, оно все из крепкого мяса»... Ну, а красавицы, те бывают накрашены и толсты, они не вскочат в седло на скаку...

Он смеется, довольный своим сравнением, и дружески хлопает Глинку по плечу. Хозе морщится, считая, что хозяин его не заслуживает такой вольности в обращении, да и может обидеться.

Сумрак застилает комнату. Рядом с деревянным блюдом, наполненным сардинами, появляется светильник, — тряпица медленно и чадно горит в оливковом масле. Гул потоков с Сьерры-Невады сильнее доносится из окон. Тени людей мечутся на каменных, неровных сте-

нах: пляшут «хоту». Глинка сосредоточенно следит за упругими движениями плясунов, за тем, с какой замысловатой грацией кружатся девушки, то и дело раскладываясь перед кавалерами. Ему хорошо! Поздно ночью возвращается он с Хозе домой, нагибаясь от усталости и легкого опьянения к шее мула.

— Они, Хозе, настоящие, хорошие люди! — говорит он о крестьянах. — А ты больше похож на горожанина, Хозе, ты скуп в чувствах и в словах. . .

Хозе молчит. В чем-то по-новому открылся ему и Глинка в этот вечер.

Весь следующий день Глинка записывает слышанные им от крестьян мелодии песен. Испанская «хота» встает перед ним в единстве буйства и строгости. Кажется, он тоже будет писать «хоту», свою «хоту»! И еще более испытывает он отсутствие верного слуги, того близкого человека, который ввел бы его во все таинства народной жизни и пел бы ему наедине чудесные андалузские песни так, как пела ему когда-то русские сеньная девушка Настя. И по-новому звучит для него полузабытое им пушкинское стихотворение, сразу возрождающее прошлое этих мест, гренадские войны, рыцарский мир Альамбры.

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой. . .

Прошло несколько дней, и, отпустив Хозе, в неудобном экипаже, заваленном доверху поклажей, в тесноте, в час по три-четыре версты, не раз сходя и шествуя за экипажем пешком, Глинка отбыл в Мадрид.

В мае в скромную его мадридскую квартиру пришел с предложением своих услуг житель Паленции музыкант дон Педро Фернанде.

Он приехал в Мадрид усовершенствоваться в музыкальных знаниях, искал заработка, был молод, общителен, скромен. Невысокий, узкоплечий, с птичьим острым лицом, на котором под бугристыми, черными бровями светились выпуклые большие добрые глаза. Во всем очень простой, без тени жеманства, он ничего, казалось, так не хотел, как оказаться полезным компози-

тору. Он мог рассказывать об Испании часами, не дожидаясь расспросов. Словно на больших радостях, сидя на ковре и теребя конец шелкового своего платка на груди, заменявшего галстук, мог петь «хоту» на всех наречиях своей страны, толковать о Дон-Кихоте, в образе которого по-своему представлял все лучшее, что могло быть в человечестве. Он полюбился Глинке. Не смея нанять его в слуги, Глинка сказал, вспомнив в эту минуту о Хозе:

— Именно такого человека, как вы, искал я в Гренаде...

6

«...Современная цивилизация нанесла удар здесь, как и в остальной Европе, старинным народным обычаям. Потребуется много времени и терпения, чтобы добраться и узнать народные напевы, ибо современные песни, сочиненные более в итальянском, нежели в испанском стиле, вполне натурализовались».

Так пишет Михаил Иванович из Мадрида, и сам немало сил тратит, чтобы «добраться» в Испании до испанских напевов. Толстое, как библия, почти в семьсот страниц руководство по изучению Испании, выпущенное для путешественников, только мешает узнавать эту страну. Дон Педро, выезжая вместе с Глинкой верхом за город, возит с собой в мешке, привязанном к седлу, эту книгу, достает ее на привале и читает: «Песенная культура Италии сказалась и в своем влиянии на песни Испании. Здесь нет своего характера песен, здесь во всем дух Италии, и это понятно: юг и обычаи юга роднят эти страны...»

— Чепуха! — восклицает он. — Не верьте этому, сеньор!

Глинка не отзывается. Растянувшись на траве, он смотрит на темнеющие вдаль очертания Мадрида, затерянные среди пустынных равнин Кастилии, и вспоминает Италию. Нет, нигде ему не было так хорошо, как здесь! И неведомо почему!.. Пожалуй, от переполняющего ощущения той абсолютной естественности и благородства в народе, при которых строгость и прямота здешних нравов сочетаются с их буйностью... Не

правда ли, странное сочетание? Разговаривая так сам с собой, он на несколько минут как бы теряет из виду своего спутника и теперь вновь присматривается к нему, находя в его словах и в самой манере говорить подтверждение своим мыслям. Надо видеть, с какой находчивостью разговаривает дон Педро с мадридскими красавицами, уступая свое место Глинке в часы, когда на всех улицах на балконы домов проникают незнакомцы с гитарами в руках, вызывая красавиц на беседу. И ночной патруль, остерегаясь помешать, учтиво поклонившись, спешит уйти в сторону. Чего не говорят в Европе об этих ночных бдениях! И сколь много в этих рассказах эдакого банального испанизма! Пожалуй, не меньше, чем в испанской музыке инородных влияний! А надо бы наконец поведать тем же французам, любящим праздно судачить о мадридских ночах, как остроумны и вместе с тем душевны эти вошедшие в традицию ночные беседы у окон. Вот когда блистательное французское острословие показалось бы большинству мадридцев пустым!

— Вы не слушаете меня, сеньор, — говорит дон Педро и закрывает книгу.

Кони неслышно жуют выжженную солнцем и похожую на мох траву. По небу тянутся желтоватые от закатных отсветов редкие облака, и чем-то библейским веет от этого высокого неба и сухой гористой земли. Говорят, для многих приезжих воздух мадридских окрестностей слишком резок и сух, может убить человека. Так ли?

— Дон Педро, ведь вы же Петр, — если я буду вас называть по-своему — Петрушей? Или лучше Педрушей, и начну вас учить русскому языку?

— Не только языку, музыке! — вставляет испанец.

— Не прежде, чем вы мне исполните все три известные вам варианта «Сегидильи санхчега» — так ведь, кажется, называют здесь танцевальную песню?

— Сейчас?

Дон Педро вскакивает, с минуту он смотрит себе под ноги, будто готовясь к прыжку, потом, как бы уступая кому-то из обходительности дорогу, выбрасывает вперед правую руку с откуда-то взявшимися в ней черными кастаньетами, повертывается и, раскачиваясь, медленно

пускается в пляс. Глинка догадывается, что он хочет пародировать чьи-то движения, кого-то осмеять. Глинка вглядывается в его лицо и смеется: бугристые брови его ходят ходуном, губы отвисли в невольной гримасе... Так и есть, он изображает капризного чужеземца, недовольного работой своих крестьян. Однажды Глинка уже видел такое начало танца.

Дон Педро запевает:

Я не знаю, кто ты такой.
Важно то, что ты стоишь передо мной...

Вскоре он весь меняется и теперь изображает де-вушку-крестьянку, несущую на голове корзину с виноградом, и сам себе отвечает, плавно танцуя:

Не рабыня я тебе и не жена,
Что ж такого, если я тебе нужна!...

По дороге едут на мулах путники и без всякого изумления смотрят на дону Педро и на его товарища, лежащего на траве. Пляска даже наедине — то же, что песня...

— Сядьте, — прерывает его, однако, Глинка. — Я не то хотел услышать от вас. И какой вы танцор, мой дорогой дон Педро? Этак, пожалуй, и я изловчился бы! Легкости в вас нет... Впрочем, не обижайтесь!

Передохнув, они едут обратно в Мадрид. Перед ними Прадо, широкое шоссе вдоль каштановых аллей, — место загородного гулянья. Мантильи и шляпки вперемежку с белыми покрывалами на головах монахинь мелькают издали в толпе. Слышится на разные лады шелканье вееров. Дон Педро уверяет, что женщина может сказать веером все, что хочет, и язык вееров — изысканнейший из принятых в обществе. В Прадо они не остановились. Мансанарес высох еще весной, и теперь по его отмелям всадники проезжают, не вспомнив, что недавно на этом месте бурлила река.

Подъезжая к центру города, они видят почтовый дом, выстроенный квадратом и похожий на крепость. Этот дом и впрямь при каждом военном бунте — а бунты здесь не редкость — служит крепостью и подчас решает участь города. Дон Педро повествует о последней

войне с карлистами... Сейчас почтовый дом мирно стоит, облепленный кофейнями, лавками и цирюльнями. Женщин на улицах и в кофейнях в несколько раз больше, чем в Париже, а улицы похожи на табор. Глинка и его слуга едут в сплошном кольце всадников, пешеходов, водоносов, продавцов газет и, выбравшись к знакомой верфи, оставляют коней. В сумраке они идут пешком мимо мрачных, тяжелой кладки домов, на низеньких балконах которых, над большим каменным распятым, белеют чьи-то фигуры.

— Остановитесь!

Женский голос насмешлив и весел. Не ответить было бы неучтиво и походило бы на бегство. Веселость и простота могут вызвать смущение лишь в человеке с нечистой душой. Так говорит дон Педро. Глинка останавливается и ждет, что скажет незнакомка. Он видит при свете луны ее черную в синих отливах косу и полуоткрытую грудь.

— Я знаю вас, сеньор, — доносится до него.

— Откуда же?

— От цыганки Лолы. Она пела вам, и вы хотели увезти ее с собой... Ох, сеньор, вам не хватит женщин в Испании!

— Она чудесно пела и танцевала ригодон, — смущается Глинка.

— Ну и что же? Мало ли тех, кто чудесно поет?

Может быть, она права. Но как объяснить жадность свою до песен, до новых встреч? И ведь новые привязанности возникают почти после каждого такого знакомства, а потом обиды... Не может же он взять с собой всех, кто стал ему здесь дорог. Дон Педро не раз уже укоризненно следил за тем, как он прощается с певицами, больше жалея его чувства, чем их! Вот и сейчас он осторожно тянет Глинку за руку:

— Нам пора, сеньор!

В квартиру их светит луна с гор. Кажется, будто большой уличный фонарь стоит против их окон. И опять за окнами возникают какие-то движущиеся тени, звучит гитара.

Глинка садится писать «Испанскую увертюру». Флейты, гобой и скрипки должны передать, как возни-

кает в горах и веет прохладой ветерок, как уходит из города духота; кларнет и фаготы — легкие шаги и шепот на балконах. Но до чего же трудно живописать в звуках мадридскую ночь!

7

Дружба их началась с малого, составляющего здесь обиход: общих прогулок, увеселений, бесед... Такт слуги вскоре сменился тактом друга. И тогда обнаружилось главное, что должно закрепить дружбу: не легкость характера, проявляемого подчас обоими, но благородная уступчивость дона Педро, уже понявшего роль настроения в жизни Михаила Ивановича. «Чувство мажора сближало меня с ним», — говорил позже Глинка о своих отношениях со слугой. Нетребовательный в быту, обманчиво беспечный и до странности покладистый во всем, что касалось его личных интересов, дон Педро отнюдь не был тем весельчаком, живущим лишь сегодняшним днем, которых немало встречал Глинка в Испании. Приглядываясь к Михаилу Ивановичу, он всегда доискивался до того главного, что составляло воззрения русского композитора на жизнь и искусство, не замечая, что с этой же стороны и Глинка не в меньшей мере интересуется им. И по тому, как рассказывал дон Педро о Риего, о Хуане-Мартине эль Эмнесинадо, о герильясах — так назывались здесь партизаны, — Михаил Иванович почувствовал скорбь его о судьбах своего народа, не обретшего независимости. То расспрашивал о России с исступлением человека, желающего поверить, что именно из этой неведомой ему страны веет вольностью, и, узнав об участии декабрьских бунтарей, о состоянии русского общества, восклицал с отчаянием:

— Может ли это быть? Россия, победившая Наполеона? Ей ли не светить миру?

В эти слова «светить миру» он вкладывал весь пафос своей надежды на русских людей, всю горячность своего представления о них. Пожалуй, только тогда Глинка понял, что и он для дона Педро был прежде всего русским человеком. Они говорили долго и вместе пели песни испанских герильясов, потом «Марсельезу».

И расходились по своим комнатам в настроении приподнятом и с чувством расширившегося перед ними жизненного пространства. Маленьких радостей жизни им обоим недостаточно, как бы ярко ни светило солнце, как бы красочна ни была мадридская ночь, и лишь переустройству мира могут быть отданы их желания, а с ними и музыка, пусть написанная совсем о другом, о мадридской ночи! Ведь высокая радость прямодушия и неподкупной товарищеской простоты, присущей простым людям, должна торжествовать в ней!

Глинка спрашивал себя, с чем возвращается в Россию, думая об итоге этих проведенных здесь лет, и в воображении возникал и искрился всеми цветами радуги им же задуманный и еще не оконченный мотив «Испанской увертюры». И вспоминался разговор с Толстым однажды в Милане о том, можно ли передать в музыке... жизнь улицы, шуршанье платьев, шарканье ног, походку и облик женщин. И без внешнего музыкального изобразительства — не в нем сила! Теперь он мог просто и не без гордости сказать себе, что достиг ранее невозможного: таинства гармонии и оркестровки стали ему доступны, как никогда...

Дон Педро собрался с ним вместе в Россию как слуга и как друг. Испанец был посвящен во все его дела, и в его расспросах о России был уже не только интерес к стране, но и стремление выяснить место в ней самого Михаила Ивановича. Это было трогательно и порой забавно. Дон Педро старательно читал все, что попадалось о русской музыке, о Петербурге, но понимал из прочитанного поразительно мало... Как-то, невпопад сказав о Верстовском, он вызвал раздражение Глинки.

— Оставь, Педруша, книжки, не по ним учись. Иначе быть тебе почитателем «Аскольдовой могилы»... И моим недругом. В книгах все больше заказано царем, а ты «царя» в голове имей, своим умом живи, а для этого, Педруша, и тебе время нужно и терпенье. И право, ведь может досадить друг, слишком поздно открывающий истины!

Весною жили в Севилье. Гвадалквивир удивил не светлым и ровным течением вод, а отражениями грязных улиц, по которым снуют цыгане, и зубчатых арабских башен, вот-вот грозящихся упасть. Дворы задержи-

ваются сверху полотном, чудесные мавританские дворы с фонтанами и цветами, — изволь отгадать, какая в них жизнь?

Глинка играл на органе в соборе, дивясь волшебству звуков, они отражались стенами и, казалось, наполняли мир, поднимая ввысь самого маленького органиста, сидящего на крохотном стульчике под гигантскими сводами. А дон Педро стоял в толпе и ревниво следил за лицами прихожан. Он с трудом удерживался от желания сообщить им, что играет не кто-нибудь, а сеньор Глинка.

В доме, где жили, завели певчих птиц и в день отъезда выпустили их, принеся в клетках в апельсиновые сады возле Гвадалквивира. Птицы улетели, и Михаил Иванович сказал слуге:

— Теперь и нам пора!

Опять промелькнул Мадрид. Три недели, проведенные в нем, прошли совсем незаметно, оттуда проехали в Сарагосу, в Памплону, верхами через Пиренеи — в Тулузу, в Париж... Кёльн, Франкфурт и Киссинген заняли месяц, и вот они в Варшаве. Комиссионеры гостиниц с бляхами на шапках, извозчики в гороховых ливреях и в пелеринах толкаются на площади подле огромного дебаркадера Варшавы.

— Отель Эуропэйски, проше пана! — кричит Глинке извозчик, подняв над его головой хлыст, и почти насильно всаживает его вместе с доном Педро в открытый низкий экипаж, похожий на кушетку, поставленную на колеса. Пара длинношеих и длинноухих коней неохотно тащит этот экипаж по Праге — Варшавскому предместью — вдоль белых домишек, возле которых шумно толпятся торговки, нацепив на руку, словно запястья, белые бублики, и солдаты. Лезут в глаза вывески: «Пиво овсяне», «Фляки господарске». Мутная Висла, обходя песчаные отмели, катит свои воды, разделяя город на две стороны. Перед глазами красные стены цитадели, валы, очертания пирамидальных тополей, и тут же беспорядочная пестрота черепичных кровель, башенок с причудливыми куполами, как бы сдерживаемая тяжелым четырехугольным массивом Бернардинского костела. Проехали мост, площадь Зигмунта; мелькнуло здание гауптвахты в каштанах, каменное изваяние бого-

родицы, к пьедесталу которой подвешены какие-то фонарики, шкалики, детские игрушки, венки — приношения горожан. Черные фигуры монахов, конфедератки, какой-то гусляр, писец с гусиным пером за ухом, чернобровая молодка, глядящая на весь мир не менее изумленно, чем дон Педро на Варшаву...

— Ох и город же... странный, — теряется он в определениях, — не знаешь: креститься или смеяться?..

В Варшаве пробыли шесть дней, намеревались сюда приехать надолго. Город занимает воображение Глинки разноречьем своих характеров, неизбывной прелестью старины, мелодиями народных песен.

Они приехали в Новоспасское в конце июля. За Ельней Глинка сам правил лошадьми, посадив кучера к дону Педро. Неподалеку от усадьбы неожиданно бросил вожжи и стремглав, путаясь в дорожной пелерине, побежал в дом. Его заметили дворовые и поспешили предупредить Евгению Андреевну. Глинка заметил, что все они постарели, и оттого странным образом представилось, будто новыми людьми населен дом и уже не найти в нем прежнего милого покоя... А именно успокаивающую неизменность всего, к чему привык с детства, хотелось найти здесь!

Мать встретила его, опираясь на руку Насти, пухленькой старушки с крепким еще и необычайно энергичным лицом. Именно эта энергия и живость в ее лице поразили сейчас Михаила Ивановича в сравнении с увядшим, бледным лицом матери. Евгения Андреевна плохо видела и не могла заметить, как сын бежал к ней, ломая по дороге кусты и перескакивая клумбы.

— Маменька! — только и сказал он, задыхаясь от бега, обнял ее, оглядев всех счастливыми глазами. — Маменька, я теперь хочу долго пожить здесь...

Он вошел в дом, часа два провел с ней и с сестрой Ольгой, не выходя из их половины, не торопясь сменить одежду.

Испанец, тем временем отведенный в комнату для гостей, снял шляпу, плащ и, оставшись в шелковом камзоле, разбирал вещи. Он сидел у окна и, преисполненный самых добрых нувств ко всему, что окружало его сейчас, рассеянно напевал. В таком состоянии, безотчетно радужном и немного хмельном от дороги, застал его

бурмистр Михеич, доживавший девятый десяток. Старик уставился на испанца недвижным белесым взглядом, как бы не веря себе, и в затруднении провел ладонью по лицу:

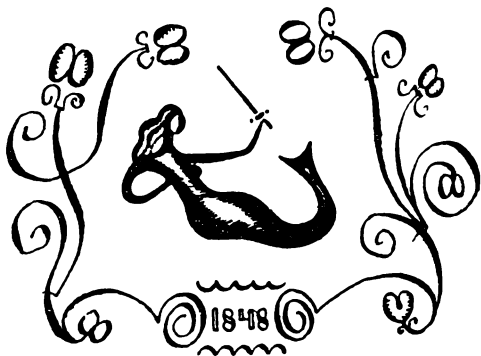
— Что-то не вспомню тебя? Когда же это ты, при Бонапарте, что ли, в плен сдался и к нам пожаловал молодых господ учить?

Он был уверен, что видит перед собой одного из тех французов или итальянцев, которые остались здесь после поражения Наполеона, и сетовал на память свою, отказывающуюся служить. Еще и сейчас некоторые из «пленников» жили у помещиков, изредка ходили в своем, подчас украшая вылинявшие мундиры боевыми медалями, и старик втайне питал глухую неприязнь к этому иностранцу, свободно устроившемуся в барской комнате.

— Что ты говоришь? Какой Бонапарт? — тревожно кричал ему дон Педро по-испански, поняв из его речи одно это слово.

Михеич сплюнул, сокрушенно махнул кулаком возле его лица и медленно побрел к себе, не оглядываясь.

ВАРШАВСКОЕ УЕДИНЕНИЕ



Отступи, как отлив, все пустое дневное волнение.
Одиночество, встань, словно месяц над часом моим.

В. Брюсов

1

Осенняя изморозь лежит на потускневших полях Новоспасского и, словно туман, облекает леса. Глухо прозвенит песня в стылом воздухе, звякнет ведро у колодца, и воцаряется с утра сумеречная, белая тишина. В такую пору ждешь не дождешься зимы, легких белопенных сугробов по бокам свеженакатанной дороги, ясных отзвуков топора из лесу, солнечных лучей, бьющих отвесно с неба на ослепительно белую гладь земли. А пока — бледным виденьем мелькнет поутру девичья рука в сених, всколыхнув в памяти белый отсвет берез, ситцем девичьих платьев вдруг запестреет двор возле коровьего выгона, куда к низким, пахнущим житом хлевам пробегут скотницы; передвинутся и упадут плашмя утренние тени, и тягостно от всего: от этих теней, вселяющих в душу ощущение какого-то разлитого кругом неправдоподобия, и от щемящей, невысказанной грусти...

Михаил Иванович бродит в тулупчике по застекле-

невшим от изморози дорожкам сада, мимо «Амурова лужка» с нелепыми фигурами козлоногих сатиров, мимо потемневшей беседки, с годами становящейся все больше похожей на часовню, и томится... Томится не то затнувшейся мгlistой осенью, не то бездействием. Он сбрил бородку, отпустил усы, выглядит заспанным, обрюзгшим, жалуется на боли в животе, на нервы, и Людмила Ивановна знает: виной одиночество, смутная боязнь Петербурга... И что-то не дается ему здесь!

Сестра замужем, и мужу ее поручены заботы о поместье, — хорошо, что никто не тревожит Михаила Ивановича с делами. Как-то ходил в деревню, в дом последних Сусаниных из переехавших сюда, оттуда к бурмистру и вернулся печальный: не лучше живут крестьяне и втайне ждут воли. И он, Михаил Иванович, чувствовал себя ответчиком перед ними, связанным по рукам и ногам помещичьей своей корыстью. И больно уж запущено в Новоспасском хозяйство. Помещик Жегалов неподалеку отсюда построил колосожатную машину и, говорят, объявил о том в «Земледельческой газете», а в Новоспасском во всем живут по старинке и матушку-благодетельницу Евгению Андреевну не смеют за то попрекать.

В тот день из оконцев изб глядели в тревоге, как барин слоняется по косогору, ходит по хрусткой, схваченной первым морозцем траве и будто чего-то ищет. И было всем невдомек, что подле березового леска, словно на границах его памяти, встают перед ним земли Кастилии. И мысль пытается сложить воедино слышанный там напев горской песни, разнесенной ветром по ущелью, и тихое, как бы повторенное сейчас полями и рвущееся, словно птица в силках, пенье новоспасских поселян. Он ходил вдоль дворов, слушал, его приглашали зайти. И, сидя при свете лучины за столом, покрытым чистой небеленой холстиной, он зорко присматривался к привычному уюту крестьянской избы, к тому, как дрожит в оконцах розовый огонек лампад, как вытаскивает молодуха хлеба из печи — ко всему, исстари заведенному и чем-то бесконечно дорогому укладу, к чему он обращался в поисках звуков, к уже давно сочиненным им деревенским мелодиям, к «Жаворонку», парящему «между небом и землей» в стылом пространстве

весенних полей. Склонившаяся возле печи хозяйская дочь вдруг оборачивается к нему... Антонидой, и он ясно видит молодое ее лицо, светящееся, как ему кажется сейчас, умом и нежностью.

— Спели бы! — говорит он, затосковав по неизбывной силе и чистоте женского голоса, который вот-вот должен прорваться в песне, прозвучать в этой деревенской избе и успокоить его самого, как голос матери успокаивает ребенка.

— Даша! — роняет хозяйская дочь куда-то в толпу, сгрудившуюся в дверях. — Кликни девушек — барчик их хочет слушать, барчик — певун наш.

Так прозвала его в детстве Настя и оттого, что теперь все еще не забыто здесь это прозвище, будто возвращающее ему юность, и ничто не отдалило его от этих людей, ему хорошо и вместе с тем более чем когда-либо грустно.

Девушки сбегаются охотно, и в них — крепких и гибких, с незримой, дремлющей силой, затаенной в плавности движений, — он вдруг узнает девчонок, бегавших пять лет назад по деревне и глядевших на него изумленно.

И просто, без уговоров, сразу входя в возвышающийся, как молитва, мир песни, они поют «навзрыд», так же как пела некогда Настя, «голосом уносясь в небеса».

Скучно, матушка, весною жить одной,
Скучно повечер ходить мне за водой.

В пенье они кажутся ему стройны и красивы, и он уже ловит голоса, ведущие за собой более слабые, машинально встает со скамьи, берет со стола сухую лущинку и помогает им движением руки.

Так было в тот вечер, но, посетив деревенских, он стал печальнее. Ничего в избах не изменилось. Не так бы должны жить крестьяне, не о том мечтал Рылеев, да и смолянин Якушкин не то рассказывал при Глинке о... вольных крестьянских домах. В Новоспасском школы нет, всего два грамотея в деревне, и те из оброчных крестьян, и в доме матери муж Людмилы Ивановны рассуждает о Фурье и фаланстерах, вместо того чтобы пригласить для деревенских ребят учителя.

Михаил Иванович долго сидел с крестьянами, но на

вопрос о том, «а как, барин, живут французы», отвечал лениво:

— Живут по-своему!

Большой дом Глинок украсил бы любую улицу столицы, строгие колонны его и фасад еще издали радуют глаз, но в доме пусто, куда-то исчезла живость, с какой бегали при Иване Николаевиче слуги, и все они будто чего-то ждут... Дон Педро утверждает, что «они большие философы». Испанец ходит по дому мягкой, пружинистой поступью, в черном шелковом плаще, глаза его удивленно светятся, брови при разговоре вздымаются, и слугам он чем-то напоминает кошку. Он учится русскому языку и спрашивает, какая разница между словами «давеча» и «вчера».

Глинка гуляет в саду, а Людмила Ивановна тревожно следит за ним из окна: «Не направится ли опять в деревню? Нет, кажется, идет домой!»

Он отряхивает кожаные галоши пучком фазаньих перьев, попавшихся ему на глаза у подъезда, тихо поднимается по широким ступеням и входит во двор, скрипнув дверь в парадном.

Людмила Ивановна выходит ему навстречу и говорит:

— Маменька еще не вставала, ты бы прошел к ней.

— Пойдем вместе! — ласково отвечает он и с шутиливой церемонностью ведет сестру в комнаты Евгении Андреевны. В дверях у входа вяжет чулки Настя, что-то пришептывая, и, заметив господ, низко кланяется, уронив при этом клубок. Михаил Иванович бежит за клубком, лезет под кресло, смешно отфыркиваясь: у него одышка. Настя суется, сестра смеется, на шум выходит Евгения Андреевна в ночном чепце, в байковом халате и, увидев сына, говорит со строгостью, которая ей самой приятна:

— Подожди, Мишель, я сейчас оденусь.

Проходит несколько минут, в течение которых Настя успевает пожаловаться барину на дона Педро: «По утрам зовет камердинера и принуждает его с собой фехтовать», и Евгения Андреевна зовет к себе.

— Маменька, Мишелю надо бы съездить в Смоленск! — произносит Людмила Ивановна тоном, почти не допускающим возражений.

— Но он же обещал не уезжать от нас так скоро. .

— Да, маменька, но все же ему надо... Дворянство собирается почтить его лавровым венком, дать в его честь бал. Ты ведь не хочешь, чтобы Мишель жил бирюком в деревне?

Евгения Андреевна молчит. Михаил Иванович целует ей руку.

— Спасибо тебе! — говорит он сестре позже, когда они остаются одни. — Ты так чутка ко мне!..

— Я знаю, тебе нужно! — повторяет она. — Ты бы сам не отважился проситься у маменьки в Смоленск? И, пожалуй, обидел бы ее!

— Но почему именно в Смоленск? — спрашивает он. — Впрочем, ты, конечно, права! Меня самого туда тянет. И не ехать же в Петербург...

— А ехать куда-нибудь надо? — смеется сестра.

Он кивает головой, виновато глядит на нее, потом показывает взглядом на окна:

— Погода давит, и как-то неможется! С чего бы это? Может быть, из-за того, что уже привык к югу? Или без песен жить не могу, а чего-то не поется? В деревнях наших стало скучно, Куконушка.

— По-моему, так и было, — роняет она. — Ты сам немного другой...

— Пожалуй! — соглашается Михаил Иванович. — Не поется! И поймешь ли, хочу такого, как Иван Сусанин, не в оперном, а в жизненном действии сейчас повидать. Каков этот мой герой, побив Бонапарта? А похоже, будто сам встаю на его дороге, на пути к воле!.. Не так ли? И не дает мне покоя мысль о «Тарасе Бульбе». Об Украине тех дней писать хочу.

— Потому и Гоголя читаешь, — сказала сестра, вспомнив, какие книжки видела последнее время у него в руках.

— Гоголя, немного Шевченко... Соберусь с силами, Ширкову напишу о замысле.

— Разве так трудно написать ему? Надо для этого собраться с силами? Ты ведь дружишь с ним.

— Потому и трудно. Слишком много сообщить надо о себе, о поездке. Ленюсь! И забыться хочется. Небось Нестор злится, не поймет, почему молчу.

Это его состояние понятно сестре. Но до чего же сложен человек! Наверное, в своем большинстве они такие — люди искусства. Подумав так, она здесь же мысленно пожалела, что ничем не убережешь брата от грусти. Она придет неведомо откуда и разрядки своей требует в музыке! А нет ее — и совсем затоскует! И опять злая досада на Керн поднялась в душе. Сколько доставила ему огорчений эта холодная умница и что выгадала для себя? Но что таить, — Людмила Ивановна знает собственную склонность все прощать брату и во всем винить Керн. Дядюшка Иван Андреевич верно сказал, приехав однажды сюда в отсутствие Михаила Ивановича: «Как бы поженить Мишеля... на собственном его романсе!» Он имел в виду ту, которая явила ему своим приходом и «божество и вдохновенье», которую «нельзя назвать небесной», — тот двоящийся и вместе с тем необыкновенно цельный образ женщины, отныне скитающийся в песнях по стране. «Пусть бы уж что-нибудь писал», — тут же мысленно сказала себе Людмила Ивановна, зная, что после каждого нового романа брат испытывает прилив бодрости, избавляется от хандры. Кажется, теперь такое избавление может ему дать Лермонтов: брат перелагает на музыку его молитву:

В минуту жизни трудную...

И пусть едет в Смоленск, увидит, как любят его смоляне... Это ободрит. Только не отвратили бы его от себя смоленские помещики своими тяжбами!

Она осторожно спросила:

— А кроме «Тараса Бульбы», разве нет темы для оперы?.. И что это будет за опера — историческая?

— Да, конечно! — неохотно ответил он. — Историческая... для наших дней. Симфония. Еще не знаю... Гоголь ведь не только историчен. А история — суть задание!

Он уклонялся от подробностей: и сам еще не все уяснил в своем замысле.

Людмила Ивановна была ему благодарна и за то, что он сказал, и многого ждала от его поездки в Смоленск, от этой зимы, несущей, как ей хотелось думать, целебную

потребность в работе и одиночестве... Но если брат хочет писать о Тарасе Бульбе, значит, опять о вольнолюбии, о силе человеческого духа... Что же, разве он это нашел здесь, это увидел?

2

Губернатор-драматург Николай Хмельницкий, из потомков украинского гетмана, в последние годы своего управления Смоленщиной вычитал из сочинения Вальтера Скотта о кладах, что хранит в себе после ухода Наполеона Семлевское озеро. В книге своей «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов» романист утверждал, будто крупные трофеи — среди них древние доспехи, пушки и крест с храма Ивана Великого — были брошены туда по приказу полководца. Утверждение это совпало с тем, что по сей день рассказывали в деревнях о каретнике Векшине и других смоленских партизанах, о золоте, похороненном подле Семлева. И губернатор вызвал военных инженеров из столицы исследовать, а если будет нужно — спустить озеро. Лежало оно в вековом лесу и принадлежало помещице Пересветовой.

В дни приезда Михаила Ивановича в Смоленск здесь не было уже Хмельницкого, но город только и жил, казалось, рассказами о том, каких трудов стоило уговорить помещицу впустить к себе инженеров и чем кончилась эта затеянная губернатором по Вальтеру Скотту экспедиция.

Трофеев в озере не обнаружили, но нашлись люди — прозвали их «семлевцы-кладоискатели», — которые и сейчас уверяли, что клады хранятся там, затянутые в глущь озера песком.

Кладоискателей в Смоленске было немало: этой рожденной войною профессией жило здесь около сотни досужих людей, из которых иные, добыв откуда-то из развалин несколько золотых монет, больше разбогатели на собственной славе, чем на своих находках. К ним обращались, и они с важностью предсказателей водили по глухим местам каких-то приехавших сюда искателей счастья.

В доме Ушаковых, где, как и много лет назад, опять остановился Глинка, — тот же нерушимый временем покой. Дочери Алексея Андреевича, которой некогда посвятил Глинка романс свой «Да будет благословенна мать», сейчас нет в Смоленске, и это к лучшему... Михаил Иванович узнал, что она, столь тепло рассказывавшая ему о «секретных», вышла замуж за Шервуда — того, кто их предал в те годы. Сообщение об этом сразу же подействовало на Глинку удручающе. Представилось, будто вся жизнь в Смоленске течет подспудно, обманчиво, за ложной своей идилличностью пряча черты сатрапского послушания и угодничества. «Что ей до Шервуда, чем пленил?» — думалось ему. И сразу стало неприятно в ушаковском доме.

Молодая женщина приехала и долго не могла понять причины отчуждения, с которым отнесся к ней Глинка. Он так и не выдал бы себя, но, уже уезжая из этого дома, написал вариации на шотландскую тему и адресовал ей, умышленно не назвав ее по фамилии. И тогда она поняла!

С Людмилой Ивановной и доном Педро Глинка устроился в доме купца Соколова у Никольских ворот. Евгения Андреевна в это время была в Петербурге. Наступила долгожданная зима. Снежные сугробы завалили дом по окна, и Глинка велел дворнику не счищать снега и не делать дорожек.

— Поглядим, не занесет ли по крышу! — говорил он сестре.

— Ты соскучился в Испании без снега? — догадалась она, смеясь.

— Не только, — отвечал он. — Еще по тишине, именно такой, когда кругом снег и только дымки из труб буравят низкое небо.

Он любил глядеть из окон на прохожих и уверял сестру, что почти всех их уже знает, особенно кладоискателей.

— Погляди на этого, в зипуне и заячьей шапке, — подзывал он, бывало, Людмилу Ивановну. — По одной бездельной походке можно признать в нем кладоискателя! А сейчас-то, в снегу, где ему рыться, сердечному! А может быть, он плотник? У нас дома ничего не поломалось, чтобы ему дать починить?

— Ничего не поломалось! — в тон ему снисходительно, как ребенку, отвечает сестра.

Домоседная жизнь тянулась месяца три. По вечерам дон Педро читал вслух по-испански, Людмила Ивановна — по-французски; на маленьком, привезенном сюда от Ушаковых фортепиано Глинка играл «Испанскую увертюру». Знакомые посещали часто, но не досаждали. Небольшой их кружок необходим. Но губернский предводитель дворянства не раз уже присылал слугу узнать о здоровье и о том дне, когда композитор сочтет возможным встретиться со своими почитателями в зале дворянского собрания.

— Он болен, очень болен! — ответил однажды Глинка слуге, выдав себя также за слугу и весь с головой уйдя в накинутый дворницкий тулуп и простуженно сопя. — Не приказал беспокоить!

— Как же так? — недоумевал посыльный. — А доктор был?

— Был, милейший, приказал лежать с грелкой в ногах.

— Неужто так плох?

— На самом деле плох! — входил в свою роль Михаил Иванович, подумав при этом, как бы действительно не наклепать на себя болезнь. — Скажи своему барину: Глинке нужен покой!

Сестра была недовольна. Шутовство это, по ее словам, могло обидеть предводителя. И зачем, собственно, укрываться от него? ..

В начале февраля Глинку встретили в зале собрания высшие чиновники города под звуки полонеза из оперы «Иван Сусанин». Он чуть зажмурился, отвыкнув от яркого света, бившего из множества канделябров, шагнул к губернатору и что-то хотел ему сказать, — учтиво-строгий, в черном столичном фраке, — но кругом закричали: «Слава Глинке!», его подхватили под руки, окружили, и губернатор сам должен был приблизиться и промолвить:

— Давно вас хочу видеть, дорогой мой, давно...

За обедом Глинку посадили на главное место между предводителем и губернатором. Слушая речь, обращенную к «смолянину, олицетворившему русскую славу», он страдающе поглядывал на чиновников, часто кланял-

ся и нетерпеливо ждал, когда кончится празднество. Ноты следовали один за другим, и некоторые из них были не только слащавы и выперенны, но и совсем неприятны.

— Кто лучше Глинки воспел славу монарха? — усердствовал комендант города. — Вот она в Глинке — святая русская музыка, печальная, как голос колоколов, призывная, как звуки боевых труб! Вот он, создатель «Жизни за царя», здесь, перед нами, певец христианской Руси, той страны, что «царь небесный обошел благословляя», страны, сильной своим смирением...

— Право, я здесь ни при чем... — оборвал его Михаил Иванович.

Но вслед за комендантом вставал жандармский полковник и в том же тоне продолжал «чествовать» Михаила Ивановича.

— Сегодня меня публично казнили смоленские дворяне, — сказал позже Глинка сестре, возвратясь домой. — Да, они сделали мне честь, открыв глаза на то, как хотят понимать мою музыку!

Было два часа ночи. Глинка выглядел измученным, волосы на его голове, взмокшие от пота, зло топорщились, губы дрожали, и сестра пожалела, что кончилась домоводская жизнь, пойдут теперь балы и вечера... Она поняла, насколько он оказался прав, таясь от смоленской знати, и вздохнула: «Мишеля чествуют как царского слугу, царского композитора, как опору дворянства... Каково ему!»

Теперь нельзя было не являться на балы. В нескольких домах, впрочем, Глинку принимали запросто, отнюдь не поддаваясь обуявшему смоленских чиновников царедворческому восторгу перед «придворной знаменитостью». «И что я за придворный! Или я именно такой нужен им?» — спрашивал себя Глинка.

Жить в Смоленске стало мучительно.

— Выпроводи меня отсюда, увези в Варшаву! Я должен работать... Я хочу быть сейчас один, — говорил он сестре.

— Но маменька ждет тебя. Ты столько времени не был с нею!

— И не могу быть. Пойми, не могу.

— И ты не хочешь ехать в Петербург?

— Сейчас — нет, пока не кончу того, что начал... В Петербург надо приезжать с готовым. Я бы снова уехал за границу, во Францию, не дадут ли мне паспорт? Говорят, после того, что во Франции только что произошло, туда не пускают иностранцев! — Он имел в виду февральские события в Париже.

Людмила Ивановна понурила голову.

— Как хочешь!

В Смоленске началась оттепель, звенела мартовская капель, когда с доном Педро он выехал в небольшом возке в Варшаву.

Среди газет и журналов, взятых с собою, вез он и «Северную пчелу», в номере которой от двенадцатого февраля, в сообщении о встрече с ним в дворянском собрании, досаду и печаль вызывали строки: «Надо бы было видеть, как бледное, болезненное лицо Глинки от времени до времени одушевлялось при дивных звуках Моцарта, Бетховена, Керубини! Глаза его сверкали, черты выказывали гениальность, но вместе с последним аккордом пьесы изглаживалась его восторженность, и снова следы физического страдания водворялись в его физиономии».

Прямо как в плохом мещанском альбоме! И неужто он так болезнен, так плох физически? ..

3

Теперь, как никогда, он был бережлив к своему времени. И, как никогда, чувствовал себя уверенным в своих силах, безбоязненным в оркестровке, находчивым в гибкости интонаций, охватывающих самое сокровенное из человеческих чувств. Он владел опытом, о котором сам бы не сумел рассказать, и музыкальными впечатлениями, составившими уже жизненную и географическую летопись. Он был во власти этих не тускнеющих от времени впечатлений: находясь в Варшаве, жил днями, проведенными в Мадриде, доканчивал «Арагонскую хоту» и вдруг переносился мыслью к картинам русского быта. Воспоминания взаимодействовали, создавали цельность, необъяснимую при отвлеченном о них суждении; неисповедимые пути музыкальной его памяти

вели за собой, жизнь вставала сначала, ширилась, неслась на него потоком, и однажды, в поисках того, что музыкально сближает свадебную песню, слышанную им в деревне — «Из-за гор, высоких гор», с плясовой «Камаринской», он написал пьесу для оркестра — «Свадебную-плясовую».

Написал и мысленно обратил свою пьесу к тем, кто в самой этой теме обязательно захочет услышать пьяный пляс мужиков и забубенную, истошную лихость, по принятому олеографическому канону. А олеографии-то и не оказалось... Ошибутся и не поймут ничего насмешники, потешавшиеся, бывало, над «кучерской музыкой» в «Сусанине». И не мрачный запойный праздник изображен в «Камаринской», а мягкий и светлый, возвышающий человека! Так веселится народ! Таким хочется видеть его на праздниках, о таком «камаринском мужике» ныне тоскует Некрасов!

Михаил Иванович читал его стихи, направляясь сюда, в Варшаву. В возке лежали рядом с баулами и домашними узлами два томика Поль де Кока, «Физиология Петербурга» Некрасова, юмористический альманах «Первое апреля» с его же стихами и журнальные новинки. Его потрясло из стихов незнакомого ему автора восьмистишие:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную,
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная».

Он вспомнил тогда, что приходилось ему слышать о Некрасове. Злоязычный Сенковский ядовито рассказывал о бедно одетом юноше, совершенствующемся в пародиях на Лермонтова и Жуковского с единственной целью — овладеть их стилем и создать свой... А однажды стало известно Михаилу Ивановичу, что фельетонисты Назар Вымочкин, Иван Бородавкин и автор пьесы «Феоктист Онуфриевич Боб», поставленной театром, — одно лицо, имеющее еще немало псевдонимов на своем счету, и если не денег, то повестей и пьес. В пору, когда

он, Михаил Иванович, был в Испании, доброе слово сказал о Некрасове Белинский.

Теперь муза Некрасова, уподобленная высеченной крестьянке, занимала воображение Глинки. Сочинив «Камаринскую», он опять подумал о поэте, потянулся прочесть его стихи, сказал дону Педро:

— Совсем иначе пишет о мужике, чем наши господа. И не откажешь ему ни в душе, ни в таланте!

Дон Педро, расположившись на ковре, открывал чемоданы и старательно искал в привезенных журналах его стихотворения.

В городе появилась холера. За окном Рымарской улицы, в дыму костров, часто шли погребальные процессии. Ксендзы с крестами в руках, монахини, покрытые бархатом гробы на катафалках и хоры детей в одежде ангелов появлялись, казалось, каждый раз, когда Глинка подходил к окну. В парадном большого дома, где снял он с доном Педро квартиру, усатый швейцар, одетый гайдуком, говорил, неохотно выпуская Глинку на улицу:

— Подождали бы, пан, пока дева Мария возьмет всех новопреставленных!

Швейцар носил черные перчатки, держал подле себя ведро с какой-то жидкостью и каждый раз, закрыв за кем-нибудь дверь, протирал шваброй пол.

Дон Педро сам готовил обеды, убирал квартиру. Он упрашивал Глинку реже выходить в город, и некоторое время они жили совсем обособленно.

По утрам негромкий стук в дверь будил дона Педро, и в прихожую входила разносчица, вся в белом и с белой корзинкой на голове.

— Все самое свежее, пан! — говорила она так весело, что забывалось о холере, подстерегающей живущих в городе.

В том, как легко, чуть покачивая бедрами, держала она на голове корзинку, казалось невесомую и идущую к ней, словно это была шляпа, было столько грации, что Глинка, заметив девушку, кричал:

— Идите сюда, Анеля!

Он уже привыкал к ее приходу.

Тогда, просунув в дверь корзинку, она появлялась в

комнате и здоровалась длинно, обстоятельно, все так же весело:

— Доброго утра, пан музыкант, и вам, пан повар, — здоровья и радости!

— Спасибо, Анеля. Болеют ли еще в городе?

— Ой, пан музыкант, кому не суждено — тот не заболает.

— Ты не заболеешь, Анеля?

— Нет, пан музыкант, как можно? . .

У нее было открытое доброе лицо с пунцовыми губами, зеленоватые, чуть раскосые глаза под густыми ресницами, сильные плечи, на которые она могла, казалось, без труда вскинуть Глинку и вынести отсюда. Избыток силы и жизнелюбия бил в ней и заражал, не вызывая мысли, откуда в Анеле столько веселья. Солнце светило из окна на белое платье ее и такого же цвета косынку на плечах, и вся она казалась Глинке вытканной из лучей. Все в этой разносчице успокаивало и тянуло к себе: гибкая ее поступь, мягкая речь и такие же, казалось, мягкие, ласковые руки.

«Холера теперь не страшна!» — сказал себе Михаил Иванович после одного из ее посещений и позвал Анелю на кухню. Там, кивнув на громадную кафельную плиту и хозяйские медные тазы, ни разу не пригодившиеся дону Педро и похожие на литавры, он заговорил:

— Не находишь ли ты, Анеля, что все здесь очень хорошо? Но. . .

— Не очень чисто, пан музыкант, — деловито подсказала она.

— Нет, я не о том. И где ты, собственно, заметила грязь? Я другое хотел тебе сказать, Анеля. Было бы гораздо лучше, если бы ты здесь жила.

— Понимаю, пан музыкант, — ответила девушка, оправившись от смущения, — но, может быть, вам больше подойдет моя мать, она лучше готовит и уже в годах. . . А когда она ходит по дому, совсем не слышно, вы даже не будете о ней помнить.

— Нет, она не подойдет, Анеля!

— Почему же, пан музыкант?

— Только ты подойдешь, Анеля. . .

— Но я ведь простая разносчица и ничего не умею

делать без шума. Мама всегда меня ругает, говорит, что я и на площади веду себя так, словно мне тесно.

— Вот и хорошо, живи себе, как тебе вздумается, Анеля!

Днем она перебралась сюда, но не скоро могла забыть об оставленных ею заказчиках. Глинка слышал по утрам, как, исполнив молитву, она перечисляла их по именам, выпрашивая для них счастье.

— Ох, пан музыкант! — сказала она, когда он попробовал было подшутить над ее расположенностью ко всем этим людям. — Вы ведь не знаете их... А может быть, думаете, что я слепа и плохих людей не вижу? На Рымарской живет пани Рива Гольсецкая и содержит черную курицу, выкармливает ее уже третий год, не знаю, к какому празднику, эта женщина скупа и некрасива, так бог и без меня знает, надо ли ей даровать счастье...

— Говоришь, некрасива? — остановил ее Глинка. — Разве это порок?

— Ну как же, пан музыкант! — замялась она. — Люди, и в особенности женщины, должны быть красивы! Иначе... — она замолчала, не смея сказать: «...иначе пусть их холера возьмет!»

Глинка смеялся. О том, какие представления о красоте владеют девушкой, он мог уже заключить из ее отношения к людям. Она не терпела сутулых, неряшливых в одежде и в чем-нибудь выражающих свою подавленность жизнью. Этим, ей казалось, такие люди оскорбляют окружающих... Кто-то внушил ей, что и умирать надо весело, бояться следует не смерти, а робости перед ней, равной бесчестию. Всякие болезни в человеке она считала признаком его душевной расслабленности или явлением рока, с которым бесполезно бороться, и следила за собой с веселым ожесточением грешницы: обливалась холодной водой, танцевала по утрам, считая танец гимнастикой, терла свое тело губкой с не меньшим усердием, чем кухонные кастрюли, и являлась на утреннюю молитву перед богом раскрасневшаяся и довольная жизнью. Дон Педро, начитавшийся польских романистов, изрек о девушке: «Узнаю в этой разноснице Польшу!»

И право, с ее переездом в их дом жить в Варшаве стало еще лучше!

В местных музыкальных кругах узнали о его приезде не сразу. Органист Август Фрейер, которого довелось Глинке услышать в Варшаве, познакомил его со Станиславом Монюшко и автором либретто его оперы «Галька» Владзимежем Вольским.

Был октябрь, когда Анеля открыла дверь приземистому, медлительному в движениях человеку в очках, поблескивающих оправой, назвавшемуся композитором Монюшко. Отдав Анеле шляпу, пальто и потирая руки, как чаще всего это делают доктора, приходя к больным, он шагнул в комнату, где сидел за работой Глинка, и сказал:

— Воспользовавшись приглашением, счел уместным...

И тут же рассмеялся, заметив радость на лице хозяина дома.

— Впрочем, и без приглашения пришел бы к вам, Михаил Иванович.

Большое недвижимое лицо его с жестковатым, замкнутым выражением оживлялось, когда он говорил о Петербурге, посещенном им семь лет назад. Он был на «Сусанине», слышал Глинку на одном из музыкальных вечеров, но «не имел повода» быть представленным Михаилу Ивановичу.

— Во всей русской столице не было мне никого ближе вас! — сказал он тихо, испытующе поглядывая на дону Педро, с которым Глинка его слишком вскользь познакомил. — И знаете ли, Михаил Иванович, что ваш «Сусанин» доставил не только радость, но и стремление к благородному подражанию... не музыке, не музыкальному сюжету, нет, направлению и музыкальному характеру ваших сочинений. Ну и причинил, не скрою от вас, немало уже перенесенного мною горя. Я ведь не знатен, не родовит, не богат... Шляхте пришлось бы по душе музыка о подвигах ее, о покорении запорожцев, а она между тем, музыка-то, Михаил Иванович, больше роднит наши народы, чем иные посольские грамоты да договоры. Вы ведь знаете Украину, Михаил Иванович? И... кажется, не знаете еще Польши. Впрочем, нет, вы и ее уже передали в музыку. Так послушайте песни наши и украинские. И скажите: почему же мелодии их так дружат между собой, несмотря на

козни, которые чинила шляхта и католичество этой дружбе и нашему просвещению?

Они долго разговаривали об Украине, о Гулаке-Артемовском, слух о котором дошел сюда, и под вечер вышли вдвоем погулять по городу. Монюшко, желая показать Михаилу Ивановичу Варшаву, затащил его в Краковское предместье, к площади Зигмунта. В витринах эстампных магазинов кое-где виднелись портреты Мицкевича, Костюшко, Понятовского и неизвестного Глинке раввина Иошелеса, участвовавшего в польском восстании тридцатого года, рядом с портретом старика Гарибальди. То ли по убитым в те дни, то ли по умершим от холеры, все кругом носили траур, вызывая в Михаиле Ивановиче чувство уважения к народной памяти, хотя и отравленной католичеством. Девочки везли в черных колясках одетых в черное кукол; на обручах, которые дети катали по бульвару, мелькала черная каемка; редко на платье женщины не было брошки с изображением тернового венца... Длинноусые паны и панычи в чумарках и кунтушах или в пестрых жилетах, с неизменными тросточками в руках, монахини, молодые женщины в шляпах из рисовой соломы и с красными зонтиками куда-то двигались, спешили, и, не будь здесь Монюшко, Глинка отошел бы в сторону, чтобы дать им дорогу. Но Монюшко, взяв его под руку, уверенно пробирался в этом людском потоке и толковал, что «не всякая шляпа еще действительно представляет собой голову», как не всякий траур истинную печаль, и Варшава здесь не вся, и, пожалуй, не та, которую следует Глинке увидеть... Может быть, он пойдет в Помпейский зал или в «Велькем театр», там ставят «Орфеус в пекле» и хорошо играет артистка Олевинская, а может быть, им дойти до площади, названной «Старе място», — там казнили Гонту, Остапа Бульбу и Железняка. И тут же предупредил, что площадь эта — одна из самых захудалых, невзрачных в городе, и самое приметное в ней — бронзовая статуя женщины с рыбьим хвостом. Эта статуя — муниципальный герб Варшавы.

Они вышли на площадь, и Глинке, оказавшемуся в тесноте базарных рядов, возле «ядален», мелочных и хламных лавчонок с изображениями на вывесках то

крутогрудого белого лебедя, то «всевидящего ока», похожего на часы, было действительно трудно думать о смертном часе запорожцев, о том, что произошло здесь в пору, когда не было, наверное, ни этих лавчонок, ни статуи женщины...

На мгновение он зажмурился, как бы отгоняя от себя навеванное воображением, и шепнул своему провожатому:

— Устал я что-то... Может быть, возьмем извозчика?

Монюшко довез его на Рымарскую, к дому, и простился.

Анеля встретила Михаила Ивановича вопросом:

— Не правда ли, Варшава красива, пан музыкант?

Он ласково погладил ее по голове и ничего не ответил. Ему хотелось быть дома и продолжать работу. После ужина он долго не ложился спать и, пригласив к себе Анелю, играл ей «Камаринскую». Дон Педро ревниво поглядывал из угла комнаты. Он утверждался в мысли, что Глинку надо «оберегать от людей», что он слишком добр, прост, потому его... не ценят на родине, и ему — дону Педро — следует, в совершенстве постигнув русский язык, понять, что мешает Михаилу Ивановичу в обществе, и, посоветовавшись с Людмилой Ивановной, совсем иначе устроить его композиторскую судьбу. О том, не слишком ли самоуверенно с его стороны помышлять об этом, дон Педро не подозревал. Как, впрочем, не подозревал и об излишнем доверии Глинки к нему самому.

Владелец дома на Рымарской, когда спрашивали его о постояльцах, отвечал: «Испанец, русский и полька, — все трое, кажется, только и делают, что поют, танцуют, больше ничего о них не знаю... Старший из них, самый солидный человек, — испанец, у него деньги, у него и власть в доме!» Сочинительству дона Педро приписывали здесь «Испанскую увертюру», которую слышали, бывало, из окна...

Испанец знал об этом, говорил Михаилу Ивановичу:

— Пусть что хотят думают, только вас не беспокоят! Насмотрелся я на них. У одного из двух товарищей всегда должно быть больше характера, хотя и со-

всем мало таланта. А что вам пользы от моей верности, если не буду с вами правдив? Думаю, как бы не засидеться вам здесь, надо ведь в Петербург!

Он был рад, когда Глинка, оставив в квартире Анею, решился выехать из Варшавы, к матери, ожидавшей его в столице. И напряженно следил за тем, как в ноябрьскую ночь, подъехав с ним на возке к дому на Мойке, Глинка не спешил вылезать и, шесть лет не бывав здесь, глядел на город с пугающим дона Педро отчуждением.

4

— Глинка в Петербурге!

Эту весть передавали на разные лады, выдумывая самое необычайное о его путешествиях: будто привезенный им из Испании слуга — какой-то скрывающийся под чужим именем республиканец, а... новая жена Глинки — француженка, певица, которую отлично знает Полина Виардо. Иван Андреевич приехал на Мойку, где жила у замужней дочери Евгения Андреевна, расфранченный, надушенный модным «Иланг-илангом» и по обыкновению «всезнающий».

— Ох, Мишель, — воскликнул он, — ты так потолстел в дорогах и... постарел, а уверяют, что путешествия молодят и прибавляют стройности. Повернись-ка! Нет, как хочешь, ты, мал золотник, стал похож на кубышку. Музыкальная кубышка ты, Мишель, да, да! Завести серебряным ключиком — и заиграешь! А музыка твоя усадительная! Благодаря тебе мы, столичные жители, живем, как на волнах, купаемся в звуках, и мимо нас проходят осень с ее дождями, зима с морозами... Выйдешь порой на улицу и слышишь, как во всех дворах поют Глинку! Ох, милый ты мой!

— Так уж и поют во всех дворах! — недоверчиво протянула Евгения Андреевна, не зная, радоваться этому или огорчаться. Было, на ее взгляд, и нечто принижающее Мишеля в этом дворовом пенье, мало ли какие песни поют в народе! Она бы скорее возликовала, если бы дядюшка упомянул об известности Мишеля в светских кругах.

— Во всех! — упорствовал Иван Андреевич. — Куда

там Верстовскому... За душу взял Мишель. С романсом его, как с молитвой, встают и ложатся! А «Руслан» его, хотя и сняты наши пьесы ради итальянского театра, шагает по всей России, ныне в Москве ставят! И вот ведь ни чинов, ни богатства! Неужто такой, как Львов, больше тебя стоит? Думаю об этом, Мишель, и ответа не найду. Кажется мне, всему виной — твой образ жизни! Вот уже и годы подошли, а ты весь еще в изысканиях... Где твое место, Мишель, где семья, где положение, а со всем этим и свой взгляд на вещи? Почему не напишут в «Петербургском вестнике»: композитор-де Глинка по поводу нападок на нынешний курс «Библиотеки для чтения» выразил следующее суждение... Или о Гоголе, о письме к нему Белинского, — сколько толков о них в обществе! Мог бы вместе с Кукольниковом газету издавать, мог бы при дворе на цесаревича опереться. Говорят, он к тебе ласков. Нет, едешь себе по свету, живешь, как жаворонок...

— Право, ты утомишь Мишеля этими разговорами! — недовольно шептала брату Евгения Андреевна.

В квартире было тесно, жили здесь в четырех комнатах девять человек, не считая прислуги, жили своими интересами, и вовсе не пристало им, по мнению Евгении Андреевны, слушать, как отчитывает дядюшка Мишеля.

Но остановить Ивана Андреевича было трудно. И кому, кроме него, остается в семье Глинок повысить голос, показать свое старшинство? Все остальные перед Мишелем слишком почтительны! Дядюшка передохнул и продолжал, сидя в кресле и поглядывая с уморительной важностью то на племянника, то на замершую в молчании родню:

— Итак, о твоём будущем. — Дядюшка жестом любезно пригласил всех участвовать в обсуждении этой темы. — Без нас оно темно! Петербург рассеет тебя и вновь толкнет к «клюкольниковам». С другой стороны, есть ли у тебя деньги? Я мог бы тебя ссудить, помочь тебе снять хорошую квартиру, завести свой выезд, давать вечера, Мишель, ты не маленький!..

— Потому-то и не будемте об этом говорить! — мягко прервал его Глинка и обратился к сестрам: — Потешьте дядюшку, а я выйду, к обеду переоденусь.

За обедом дядюшка опять старался завести разговор о Мишеле, со старостью обнаружив незаметное раньше упрямство, но в прихожую ввалился рыжебородый дедина, кучер князя Вяземского, в нагольном тулупе, подпоясанном красным кушаком, и с бронзовой медалью на груди — «За освобождение Москвы».

— Насилушку нашел! — пробасил он, сняв лохматую, запорошенную снегом шапку. — Князь Петр Андреевич к себе просят, вот и записку прислали. Приказали одним духом домчать, но пока адрес искали да коней поил — вот и стемнело!

— Поезжай! — милостиво согласился дядюшка. — К князю Вяземскому нельзя не ехать! Там, бог даст, и цесаревича встретишь!

Чествовали Жуковского. Вечер этот, в честь пятидесятилетия его деятельности на литературном поприще, Вяземские готовили уже два месяца назад. Войдя в зал старинного их дома, Глинка услышал, как Блудов читал стихи, посвященные Жуковскому старым князем. Найдя среди гостей самого юбиляра, Глинка не сразу решился к нему подойти. Перед ним был не тот Жуковский юношеской его поры, который свел его с Розеном и в Зимнем дворце рассказывал ему замысел «Марьиной Рощи». Не только годы отдалили его от Глинки, но и близость Жуковского ко двору, отпугивающая последнее время многих от Василия Андреевича. Что-то слишком спокойное и недвижимое было в его тучной фигуре с белым гладким лицом, на котором светилась кроткая и лишенная живости улыбка.

Глинка знал, что недавно Жуковский женился на очень молодой женщине и теперь, под конец жизни, впервые почувствовал себя семьянином, слышал и о влиянии, которое оказывает он до сих пор на судьбы искусства, но ни о чем не стремился с ним говорить. Михаил Иванович сам удивлялся этому своему отношению к нему, вызванному отнюдь не стеснительностью... Нет, не мог он запросто рассказать ему о своем, продуманном за эти годы, о «Руслане», не принятом двором, и в глубине души не мог простить Жуковскому его покорности, с которой принимал тот смерть Пушкина, Лермонтова, казнь «бунтарей»... И хотя сам Михаил Иванович не высказал бы ему всего этого и

не счел бы себя вправе укорять его, он чувствовал, что нет в нем ни прежнего влечения к Жуковскому, ни любви. И, пожалуй, многое в этом его отношении к юбиляру объяснялось ощущением, что жизнь в стране не может идти по старинке, так, как живет Василий Андреевич. И все собравшиеся здесь, а с ними и он, Глинка, обманывают себя...

Он просидел никем не побеспокоенный около часа в тесном ряду обитых шелком кресел, среди каких-то вельмож и престарелых, густо напудренных дам, из которых одна влюбленно шептала своей соседке о Карамзине, словно чествовали здесь Карамзина, а не Жуковского, а другая часто крестилась и кивала головой в такт своим мыслям и, видимо, была очень далека от собравшихся здесь людей, где-то на границе своей жизни и небытия... По залу бродили такие же престарелые лакеи, чиркая самодельными, изготовленными в поместьях Вяземского, чадными спичками, поправляя свечи, запах которых напоминал Глинке костельный запах воска в Варшаве, шепот старух вызывал дремоту, и только доносившийся сюда с улицы окрик кучеров напоминал, что за стенами этого дома течет иная жизнь.

Прячась за фигурами сидящих впереди людей, Михаил Иванович следил за происходящим в зале с желанием проникнуть во все случившиеся здесь за шесть лет его отсутствия перемены. И, кажется, он их находил... Только были ли эти перемены благодетельны? Круг знакомых ему людей, кажется, закостеневал в привязанностях своих, привычках и даже в манерах произносить речи... Блудов, когда-то при Пушкине смевавшийся поозорничать мыслью, выглядел присяжным чиновником. Глинка вспомнил, что в «Парижском календаре» Воейкова он именовался «государственным секретарем бога Вкуса», — сейчас он был министром юстиции — карьера не малая, имея в виду, что началась она с обязанностей делопроизводителя верховного суда над декабрьскими бунтарями. Вяземский казался вял и более, чем раньше, флегматичен. Он первый заметил Михаила Ивановича и, что-то шепнув Одоевскому, знаком пригласил к себе. Гости запевали хором здравицу, сочиненную в честь Жуковского Виельгорским, и Ми-

хаилу Ивановичу тут же всунули в руки ноты. Жуковский поднялся и, вглядываясь в Михаила Ивановича усталыми, слепнувшими глазами, с чувством сказал:

— Очень рад вам... Я здесь молодею, как на выпускном вечере, а с вами и совсем не до поминок. А ведь каждый такой юбилей — поминки. Не так ли? — И шепнул: — Отчего это вы в разъездах? Не из обиды ли? Как-то государь спрашивал.

Глинка не успел ответить. К Жуковскому наклонился слуга и подал на подносе только что полученные, еще отдающие холодом письма в больших конвертах. Князь Одоевский нетерпеливо тянул Михаила Ивановича к себе:

— Давно ли? Я знал, что вернулся, но почему не ко мне первому? Впрочем, знаешь ли, я ведь переехал с Мошкова переулка на Литейную, в дом Краевского. Могут ли после вечера увезти к себе?

Он обращался к нему на «ты» и держал себя так, словно больше всех имел прав на Глинку, на его особое к себе доверие.

И после вечера Михаил Иванович оказался у него в доме. В тишине большого кабинета, заставленного, как и раньше, книгами и музеемическими предметами, подчеркивающими все ту же страсть к отвлеченности, князь, как бы отвечая на вопросы Глинки о том, чем живет музыкальное общество и какие перемены произошли в Петербурге, читал ему из своей последней работы о Бетховене:

— «Итак, последний квартет Бетховена, который разыгрывали несколько любителей музыки, был провален. Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов; художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста; огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях, — погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные, шуточные темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни в каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, несуществующим в музыке; везде какое-то темное, неосознаю-

щее себя чувство». Понимаешь ли, к чему это начало? — поднял Одоевский тяжелый, лишенный прежней живости взгляд. — Догадываешься ли? Помнишь ли жизнь Бетховена?

И, рассказав о том, как любители музыки посетили Бетховена, он остановился на объяснениях последнего. В них-то, как понял Глинка, и было главное для князя в этой его новой работе — то, что сложилось в его убеждениях о судьбе музыки.

— «Ты думаешь, — говорит Бетховен другу, — что все эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня? Ничуть не бывало! Ни один из здешних господ капельмейстеров не умеет даже управлять ею; им только бы оркестр играл в меру, а до музыки им какое дело! Они думают, что я ослабеваю; я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбались, разыгрывая мой квартет, — вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом. Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр; я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо, — прибавил он шепотом, — я скажу тебе по секрету: я открыл — чего прежде никому и в голову не приходило, — я открыл, что колокола — самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом адажио. Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение. Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия».

С сими словами Бетховен подошел к фортепиано, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в пять и шесть голосов проходили через все таинства контрапункта, сами собою ложились под пальцы творца «Эгмонта», и он старался придать как можно более выражения своей музыке... Вдруг сильно целою рукою покрыл он клавиши и остановился.

«Слышишь ли? Вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить. Так! Я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен... Люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека? Они думают, ее можно обкроить по выдумкам ремесленников, работающих инструменты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика... Нет, когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может; что новыми, свежими формами заменятся обветшалые; что все нынешние инструменты будут оставлены, и место их заступят другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев; что исчезнет, наконец, нелепое различие между музыкой писаной и слышимой».

Так писал Бетховен «Эгмонта», — пояснил Одоевский прочитанное. — В рассказе моем будут и такие заключающие о его судьбе слова, принадлежащие кому-то из толпы. «Как жаль, — скажет кто-то, — театральный капельмейстер Бетховен умер, и, говорят, не на что похоронить его».

— Мысли печальные! Музыка, следовательно, гибнет!.. А народ? — возразил Михаил Иванович. — Можно ли судить о судьбах музыки, не думая о народе? Или простолюдину закрыто все? Контрапункт надо искать, находить, создавать, — мелодии надо делать, да, именно делать, но не народ ли первый помощник в этом?

Одоевский грустно поглядел на Михаила Ивановича. Глинке казалось, что он не слушает его и князю привычно стоять на своем, на этой занятой им позиции.

— Изида? — вспомнил Глинка о другой его работе и усмехнулся. — Все то же! А вот послушай меня и скажи: хорошо ли?

Была уже ночь. Он играл «Арагонскую хоту» и, играя, чувствовал, что, исполняя ее, как бы разбивает начисто суждения Одоевского, спорит с ним без слов и побеждает в этом споре. Ему было и радостно, и печально, и жаль князя.

У Кукольника он провел два дня. Нестор «сдал» в настроении и повадках, не было в нем прежней уверенности в себе, и, что позабавило Глинку, ему, столь, обласканному монархом и угодливому перед троном, приходилось писать объяснения по поводу слишком вольных мыслей в своих последних произведениях. Как и Сенковский, был он в нужде, в долгах, накануне издательского разорения, потому несколько озлоблен и необычайно мрачен. Он больше слушал Глинку, чем говорил сам, и, как показалось Михаилу Ивановичу, глядел на него сейчас с оттенком добродушной зависти: перед богом, мол, чист человек и перед совестью, и в порывах своих не угас — этаким отрок, а тут весь в грехах, и просвета не видно!

Беседовали больше на темы жизнеустройства, о книготорговцах, о том, где дешевле жить, о продажных поместьях, которые можно бы приобрести за сходную цену и в случае беды перепродать с прибылью, и вскользь о «Современнике». Некрасова Кукольник не взлюбил и о нем сказал зло: «Страдает за народ, но сам идет в гору!» Он имел в виду растущую его популярность. Глинка понял, что в злобе Кукольника проступает беспомощность. Однако он не жаловался и о положении своем старался говорить насмешливо, неплохо сыграл на фортепиано из «Холмского», как бы отдавая дань тому, что сделал для него Глинка, этим навсегда «породнившись с ним в искусстве», но был далек от каких-либо попыток «прибрать к рукам» Михаила Ивановича, восстановить старые формы своего некогда льстившего ему в обществе влияния на него.

Следующий визит был к сыну Кавоса, в доме которого Михаил Иванович хотел увидеть Гулака-Артемовского. Вечерело. «Синьор Калиныч» растерялся от радости, открыв Глинке дверь. Переступая с ноги на ногу, бормотал:

— Да неужто вы? Да как же это?.. Али давно в столице?

Гулак-Артемовский выскочил к дверям, схватил Глинку в объятия, внес к себе в комнату, не дав ему ни отдышаться, ни что-либо сказать. Усадил Михаила

Ивановича в кресло, а сам устроился на полу, в черном фраке и белой манишке, пышущий здоровьем и силой. Он собирался идти в театр, только что репетировал роль, воображая себя на сцене, а теперь присмирел и гладил руку Глинки в порыве неловкой мужской ласки и благодарности за его приход. Они так и проговорили: Глинка в кресле, а Гулак у его ног, не замечая «синьора Калиныча», который утешенно поглядывал на них из угла. Не смея допытываться, как собирается жить и надолго ли приехал в Петербург, все с той же ученической почтительностью и ревностью к его знакомым Гулак жадно ловил, что скажет Михаил Иванович о своих планах. Когда разговор был, казалось, исчерпан, он вздохнул:

— А о себе, о доме так и не сказали? ..

Глинка улыбнулся, подумав, что извечный вопрос этот беспокоит всех его родных и друзей в столице и меньше всего... его самого. С годами все более ценит привязанность и преданность в человеке, притом в одном, в сестре Людмиле Ивановне, и уже не помышляет о своем доме. Но круг друзей необходим, и не тот легкий и прихотливый, а устремленный к одной идее, программный. Он так и сказал себе «программный», подумав с теплотой о Серове, Стасове и поэте Некрасове, которого знал только по книгам. В мыслях возник образ юноши Балакирева, которого помнил, хотя встречал редко. Но тут же он отвел от себя эти мысли о кружке, как преждевременные, и ответил, думая о том, что считал для себя сейчас наиважнейшим:

— После об этом. К Дену опять хочу ехать. В контрапункте, в искусстве композиции есть, дорогой Семен Степанович, не дающие мне покоя и нерешенные задачи... Вот и о древних ладах, в которых писалась музыка, о каденцах, которым родственны и русские мелодии и восточные, о фригийском, лидийском ладе... — Он оборвал себя: — Глюка, Бетховена и Шопена понять надо, как строили они подчас на этом свои сочинения... Ну, а о том, что пишу сейчас, знает: украинскую симфонию или пьесу, как сложится. Андалузия очень напоминала мне Украину, а может быть, всегдашнее мое к Украине влечение в этом сказалось? Тараса Бульбу все время в мыслях держу, от себя не отпускаю.

И ежели удастся запорожское братство изобразить в музыке, старину оживить, народ передать в его движении и любви к вольности, — буду немало обязан своему там пребыванию.

И, помолчав, тихо спросил:

— С Шевченко переписываетесь?

— Теперь легче стало, письма к нему доходят, он на Аральском море, а в Оренбурге не передавали ему. Толстая хлопочет за него, и срок уже немалый прошел. Верю, что явится к нам Тарас Григорьевич. Только как переживет он ссылку, трудно себе представить.

— Представляя себе его, писать об Украине легче, — в раздумье, сосредоточенно промолвил Глинка. — Может быть, даст бог, увидимся с ним! Теперь больше у нас общего с ним для разговора... Польского композитора Монюшко встретил, о своей «Гальке» он мне говорил, об опере, которую пишет, а я... о вас в разговоре с ним не позабыл, о вашем «Запорожце за Дунаем». Помню о вашем замысле. Думаю, что истинная народность музыки, без пудры и фальшивых буквлей, у вас и у Монюшко прозвучит! А когда говорю себе подчас, что мало в музыке сделал, то тут же в гордость себе ставлю, что от меня, от моего «Сусанина», новая народная опера пойдет. Вот и Монюшко сам об этом поведал мне. Ну, а в Петербурге кто признается в этом, разве Стасов? Но ведь еще нет этих опер, есть замыслы и отдельные партии... Скорее бы!

«Будь они — было бы легче дышать в державной столице», — хотел сказать Гулак, но, заметив, как наливаются сумраком окна, взглянул на часы и повинился:

— А мне, Михаил Иванович, ведь Руслана сегодня петь.

— Да что ты? — незаметно перешел Глинка на «ты». — Замешкался со мной, стало быть! — В голосе его Гулак с удивлением уловил какие-то стариковские, по-новому прозвучавшие сейчас интонации. — Что же не сказал? Ну, пой Руслана, пой.

Он говорил о «Руслане» так, словно опера эта была отнюдь не его или, во всяком случае, написана им очень давно.

— Иди же! Или выйдем вместе?

И, направляясь к выходу, промолвил, чему-то удивляясь:

— Как же это при итальянцах терпят? Ведь говорят, будто все наше сняли. Впрочем, ко мне певица Эрминия Фреццолини обращалась, билет на свой бенефис привезла, а взять хотела для бенефиса «Жизнь за царя». Да не дали! После того, как провалился Толстой с его «Birichino di Parigi». Да разве то опера? Ну, пой Руслана, пой, знать, жив Глинка!

— А как же! — в тон ему откликнулся Гулак, и Михаил Иванович почувствовал, с какой радостью певец идет в оперу, идет, словно защитник его музыки, идет всею «итальянобесию» наперекор!

6

Он не мог не поехать к Екатерине Ермолаевне, получив от нее коротенькую записку с приглашением к себе. Улицу, ведущую в Смольный, летом мостили булыжником, но замостить не успели, и в слякоть она становилась непроезжей. Михаил Иванович должен был оставить на площади коляску и идти вдоль подмерзшей по краям дороги. День был воскресный, вечерело, закатное солнце прорывалось сквозь мгlistую дымку облаков и играло на сгрудившихся куполах смольнинских церквей. С птичьего рынка, расположенного в этих местах, несли навстречу Глинке щеглов и канареек в клетках, и отовсюду доносился до него тонкий, придушенный щебет птиц, словно оглушенных мерными ударами колоколов.

Поравнявшись на обочине с крохотной старушкой в салопе, благоговейно несшей чижа, он уступил ей дорогу, подался в сторону, но вслед за ней несли дремлющих на холоде соловьев, горихвосток, синиц, и Глинка стоял в замешательстве, ожидая конца этого потока любителей-птицеловов, и тут возникла у него веселая мысль перекупить, в свою очередь, певчую птицу поголосистее и отнести ее в дар Екатерине Ермолаевне, этим вещественно оправдав свое позднее к ней прибытие. Он так и сделал, торговался с каким-то монастырским служкой в плисовой шапочке блином, взял

у него щегла, несколько переплатив, так как никогда не держал медных денег и не брал медяками сдачу. Однако швейцар оскорбленно спросил у входа:

— Прикажете выпустить?

И важно пояснил, не признав в посетителе Глинка:

— Заведению нашему, как и церкви, забава сия противна. Не велено пускать с птицами...

Сказав так, он осуждающе поглядел в окно на продолжающееся шествие птицеловов по узенькой обочине дороги.

Глинка оставил у швейцара клетку и поднялся к Керн, в помещение, занимаемое служащими. Он шел быстро по коридору, отгоняя воспоминания о днях, когда учил здесь хористок, и ловил себя на мысли, что охотно бы вернулся назад, не повидав Екатерину Ермолаевну.

Керн встретила его с непринужденной милой простотой и вместе с тем со светской холодноватостью, то ли догадываясь о его настроении, то ли заведомо относясь к его посещению лишь как к выполнению им своего долга, которое она может облегчить. Она заговорила первая о себе, ни на что не жалуясь, но и не скрывая, сколь бесцветно проходит жизнь. Глинка, слушая ее, отмечал все ту же ее высокомерную мягкость, бесстрастность и удивительное умение владеть собой. Даже в ее по-прежнему насмешливых суждениях о петербургской жизни он не уловил ни подлинного жара, ни тоски, хотя бы и скованной приличием. Между тем он слушал ее с удовольствием и не понимал только одного — где грань, за которой должно скрываться ее столь искусно затаенное раздражение. Должно же оно прорваться изъяснением своих желаний или признанием каких-то надежд на перемены в жизни. Или насмешливость ума может в ней сочетаться с этим бесконечным примирением со всем и неведением, к чему влечет сердце, чем рисковать, чем жертвовать и что делать с собой? Глинка подумал, что в этом положении она, может быть, и не одна в обществе, но вдруг все это только его мнительные домыслы, и стоит ему самому отказаться от взятого с ней тона, и она откроется ему в лучшем, что у нее есть... И не она ли была всегда так требовательна и строга к нему, не из равнодушия, разумеется, или про-

стого неверия в его неумение жить?.. К тому же теперь он свободен — бракоразводный процесс выигран, никто не укорит ее в вольности поведения! Но разве не понятно обоим, что именно приверженностью к обществу, над которым смеется, боязнью за себя, неровностью своей она потеряла его, Глинку!

Чувствуя, что разговора обо всем этом не избежать, Екатерина Ермолаевна промолвила иносказательно:

— Моя мать говорила, что истинная любовь должна быть не только прозорлива, но и ясновидяща. Если она не такая в самом начале, то не стоит виниться в ошибках, они должны были быть!

Он отдал должное самому ходу ее мысли, которым, не снисходя до каких-либо объяснений, она хочет выразить свое отношение к прошлому. И, в том же тоне говоря о себе в третьем лице, ответил:

— А может быть, кто много рассуждает, тот уже не любит и, напротив, к истинной любви ближе самоотверженное влечение... Во всяком случае, последнее было бы нужнее человеку, которого вы имеете в виду...

— Ему, может быть, и нужнее! — согласилась она, улыбнувшись. — Но он ведь еще не все!.. И не будете же вы отрицать, что в жизни немало случаев, когда любовь — это просто следствие себялюбия и чувствительности!

«Ничего не изменилось в ней! — сказал он себе, не пожелав возразить. — Странное и при этом милое создание! Пожалуй, она еще может быть моим другом, моей радостью, но уже никогда не станет целью!.. Да и дружить с ней — значит беспрерывно наткаться на колючки ее разума и оберегать ее гордыню больше, чем собственный покой. В чем-то мы с ней, как два козла на одной дорожке!»

— Дай вам бог в чем-нибудь ошибиться... с пользой и однажды потерять разум! — вырвалось у него. — Право, и себялюбие-то ваше зряшное, и что вы только не развенчаете на этом свете?..

Керн молчала. В чем-то он был прав! Не смольнинский ли круг привил ей какую-то глупую манию непогрешимости и упорства? Но не упорствовать нельзя. Она вздохнула, как бы жалея сама себя, блеснув искоса

увлажнившимся взором, и стала расспрашивать о его заграничных поездках.

Он рассказывал охотно, особенно об Испании.

— Мама ведь вышла замуж. Теперь она Маркова-Виноградская. Вы знаете? — спросила она в конце разговора. — Мама так хотела вас повидать у себя на Дворянской... Впрочем, у нее своя жизнь и, как видите, своя семья, — ей всегда жилось проще!..

С Анной Петровной он уже виделся, и не у нее, а у себя дома. Но об этом предпочел скрыть. Анна Петровна приезжала к нему с намерением узнать, сохранил ли он чувства к ее Кате. Он принял ее радушно, пел ей романсы, среди них и тот, посвященный ей, был весел, но не поддался ни на какие расспросы. И право, Анне Петровне следовало бы поучиться этикету у дочери!

Он просидел у Екатерины Ермолаевны не больше часа. Откланявшись не без нарочитой церемонности, вспомнил о клетке со щеглом, оставленной в швейцарской.

— Сейчас пошлю за клеткой. Как мило! Я сама выпущу эту птичку в окно! Люблю так делать! — заторопилась Керн и послала вниз горничную. — Это ведь, Михаил Иванович, ваш не прощальный, я думаю, подарок?

После его ухода ей принесли клетку, и, открыв форточку, она тут же вытолкнула наружу щегла. Черный комочек, выпущенный из ее рук, смешно перекувырнулся и, как бы подхваченный весенним ветром, понесся к оголенным, мокрым деревьям. Керн в раздумье остановила взгляд на пустой клетке, против ее воли вызвавшей в ней в эту минуту сравнение со своей жизнью в этом большом доме. Она медленно подняла клетку, просыпав оттуда пшено, и засунула ее в дальний угол за шкаф.

7

Разрыв их происходил как-то сам собой, время разобщало, и горечь от сознания того, что они теряют друг друга, возникала все реже...

Но пришел год, когда она почувствовала, что зна-

чило для нее потерять Глинку и сколь «ни при чем» оказывается она в жизни.

Екатерину Ермолаевну в том году осенние дожди заставили задержаться в Прилукском поместье старых друзей ее матери. Она приехала сюда в июле, намереваясь в тиши провести лето и в сентябре вернуться в Петербург к наскучившим своим обязанностям в Смольном. И не успела. . . А когда кончились дожди, обнаружилось, что карета ее, купленная когда-то Михаилом Ивановичем и безотказно служившая до сих пор, на этот раз не дойдет и до ближайшей почтовой станции. Кузнецы и шорники выволокли карету из-под навеса в глубь заваленного пустыми бочками помещичьего двора и принялись чинить, а Екатерину Ермолаевну друзья ее, заменявшие здесь мать, уговорили «развезться» и повезли на тройке «по губернии». Хотя опоздание в столицу сулило ей немалые огорчения, в душе Екатерина Ермолаевна оставалась довольна происшедшей этой задержкой: слишком уж нудно было думать о смольнинских дортуарах, а главное — и в этом ей не хотелось признаться себе, — выпавшая ей случайно поездка по Украине отвечала ее давним желаниям увидеть места, которые не раз нахваливал Глинка и которые теперь, после разрыва с ним, стали вдруг тянуть к себе неведомой и печальной своей прелестью. А может быть, причиной этих желаний была все та же продолжающаяся ее неустроенность в жизни, при которой воспоминания прошлого всегда роят тайную, похожую на покаяние, грусть. Она далека была от мысли, что виновата перед Михаилом Ивановичем, и доходившие до нее сообщения о его образе жизни лишь утверждали в ее представлении, что человек он внутренне бездомный и в житейском плане «ненадежный», но обаяние его романсов, его речи как бы заново ощущалось ею по мере того, как уходили годы, и теперь она готова была уже признать, что Глинка и не мог быть другим, напрасно она отвергла его любовь, страшась в ней эгоизма и стремления подчинить себе. . . И, конечно, мнение общества, не простившего бы ей выход замуж за человека, еще связанного законом с другой женщиной, по-прежнему казалось ей важным.

Вместе с тем, что уж совсем было объяснить трудно,

Екатерине Ермолаевне все чаще казалось, что брак во многом лишь необходимая условность, влекущая за собой и неизбежное неравенство в интересах и уровне взглядов, и люди ее круга должны жить по законам, данным Адамом и Евой, не помышляя о какой-то обязательной душевной близости, которая к тому же бывает, наверное, лишь в первую пору любви. И она, тридцатилетняя безмужница, в чем-то институтски наивна, а ее боязнь лишиться своей внутренней свободы более чем смешна! Да и почему она решила, что может дать людям столь много сама?..

В черной шелковой мантилье, статная, с лицом строгим и холодноватым, отдернув на плечи вуаль, она ехала среди простодушных, смеющихся людей, сдержанно улыбаясь не то им, не то своим мыслям, останавливая взгляд на кобзарях, бредущих по шляху. Был вечер, когда тройка въехала в неизвестное ей село и Екатерине Ермолаевне сказали:

— Бывал здесь Глинка. Помнят его в этих местах, особенно лирники, хотя и слепцы...

— Слепцы? — переспросила она. — Могут ли слепцы его помнить? Наверное, не самого Глинку, а какие-нибудь его мелодии?

— А им, Екатерина Ермолаевна, мелодии только и нужны, что им в том, какой из себя наш славнейший композитор, — возразили ей тоном, каким говорят о человеке, широко известном и потому как бы уже немного своем. — Жил здесь, впрочем, слепец, который бывал у Глинки, хорошо его знал, мог бы порассказать о нем, но недавно умер. Остап Вересай. Жена его теперь начальствует над слепцами. Не хотите ли пройти к ним? Отменные музыканты в губернии.

Ночевали в белой мазанке, возле шинка, среди топей и ветел, плотно огородивших хату, а утром Екатерина Ермолаевна одна пошла по указанному ей адресу, к кобзарям. Утро выдалось мгlistое, туманное, и Керн зябко поеживалась, идя по комковатому, открытому ветрам полю. С пронзительным криком пронеслась навстречу ей стая сытых черных ворон, и обездоленно проступали в тумане одинокие очертания строений, кажущихся нежилыми. Какой-то расторопный приказчик, с мещанским начесом на ухо, в теплой каца-

вейке с барского плеча, повстречавшись с Керн, указал ей дорогу к слепцам и удивился:

— Небось отпевать кого-нибудь хотите? Лучше бы плакальщиц наняли! Бунтари они, эти кобзари, непослушные!.. Еще и надерзить могут, ей-богу!

Она не ответила и вскоре приблизилась к хате, до того ветхой, что подпорки, поддерживающие ее со всех сторон, вошли в гнилую мякоть покосившегося, обмазанного глиной сруба. В сенях при ее приближении запел петух, потом показался большой слепой кот, звякнула дверь, и карглазая женщина в черном, закрывающем ее с головой платке, надетом в знак траура, певуче спросила:

— Кого вам нужно, барышня?

И так неожидан был этот вопрос, что Екатерина Ермолаевна замялась и с трудом объяснила, что хочет видеть Улю — жену кобзаря Вересая, выдавшего Глинку. При этом предупредила, что ей, собственно, ничего от Ули не нужно, кроме позволения посидеть вместе с кобзарями, поглядеть и послушать. . .

— Я и есть Уля. Пожалуйста, барышня, — просто сказала женщина, почти безучастно и вместе с тем приветливо. — Нынче у нас спевка и уже пришли те, кто в Киев путь держит, на осенние праздники. . .

«Какие же это праздники?» — хотела спросить Керн, но постеснялась, мысленно перебирая по святцам, в честь каких святых предстоит богослужение в Киеве.

Екатерина Ермолаевна робко поднялась по ступенькам на крылечко, вошла в хату и тут же качнулась назад: штофное малиновое знамя с золотыми кистями по низу стояло в углу, обрамляя своими складками два самодельных портрета на нем, в одном из которых, при всех неточностях рисунка, она узнала Глинку. На голове композитора была казачья папаха, а плечи его, слишком крутые и сильные на портрете, облекал какой-то странный мундир с пуговицами в два ряда. . . Возле знамени на скамье спокойно сидели, переговариваясь, старики в мягких серых свитках с удивительно чистыми и ясными лицами. Но не на них глядела сейчас Керн, на другой портрет, рядом с портретом Глинки, стараясь угадать, кто этот изображенный на нем человек, тоже в папaxe, широкоскулый, крепкий. . .

— Кто он? — спросила она женщину. Услышав ее голос, слепцы сразу приумолкли и устали в одну сторону.

— То ж Шевченко! — тихо ответила Уля. — Али не видели его?

Слепцы невольно повернули теперь головы к знамени. Они не могли судить о портретах, но знали, что нелегко было здешнему художнику из бурсаков выполнить этот заказ музыкантского цеха. Пришлось ему ходить в Качановку, испрашивать барского позволения глянуть на рисунки какого-то петербургского гостя, — был это Штернберг, — выставленные в картинной галерее Тарновских.

Чтобы успокоить слепцов, Уля сказала:

— Это ко мне, милые, ко мне... Барышня одна, от господ...

И, повернувшись к Екатерине Ермолаевне, шепнула:

— Не знаю, как о вас сказать им.

— А вы ничего не говорите, — заторопилась Керн. — Проездом я тут, вот и зашла. Пусть спокуют что-нибудь при мне. И объясните, зачем они собираются идти в Киев?

Уля отвела ее к сениям и, чуть повысив голос, сообщила:

— Кобзарный полк собирается в Киеве. В день, когда Богдан Хмельницкий с Россией завязал дружбу навечно... Слышали о Раде Переяславской?

— Полк? — переспросила, не веря себе, Екатерина Ермолаевна, бесконечно далекая от обычаев кобзарной старины и от всего, что было привычно Уле. — Какой же это полк? Ведь слепцы?..

В воображении ее мелькнули марши драгунских полков на Сенатской площади.

— Кобзари — они воины! — поправила ее Уля. — Что ж такого, что они слепцы. Им народ верит. Они — его память. Так Остап Вересай говорил, муж мой, — добавила она не без гордости. — Ну, и день тот всей Украине памятен!

— С чем же они пойдут в Киев? Что петь будут?

— С «Русланом». Да и своих песен много. Песни — их сабли! Как ни стараются паны кобзарей исконных

их прав лишить, музыкантские сборища закрыть, а каждый год сбор проводим. Спасибо учителям, хорошие есть люди!..

— С «Русланом»? — повторила Керн, все более изумляясь.

— Чему вы удивляетесь, барышня? Сам Глинка нами не брезговал, нам играл и Остапа учил... Или думаете, только псалмы кобзарям тянуть?..

— Нет, я так не думаю! — совсем растерянно произнесла Керн. — Только что же они поют из «Руслана»?

— Вот послушайте. Посидите, пока я вас позову. И разденьтесь.

На низенькой табуретке, в позе ученической, как бы боясь, что ее застигнут здесь и засмеют, она неловко и долго сидела за перегородкой, ожидая, пока запоют кобзари. А только запели они, Екатерина Ермолаевна встала и вышла к ним. Так просто они начали песню Баяна, один за другим подхватывая, с такой естественностью пели, что Керн забылась и на мгновение представила себе, будто они-то, сидящие перед ней, и есть те старинные гусяры-певцы, которых Глинка ввел в свою оперу. Она не замечала сейчас ни слишком мягкого произношения ими русских слов, ни глуховатого тембра их голосов. И не могла не видеть радостного лица Ули и того, как слепцы, исполняя песню, тянулись к ней, ожидая ее — и только ее — похвалы или укора. Уля сидела среди них, как старшая: она была для слепцов женой кобзарного хорунжего, их заботливой матерью и сейчас их наставницей. И, пожалуй, подругой их старости! Не было в живых Остапа Вересая, и не знала его Екатерина Ермолаевна, но голос его, казалось, звучал в их голосах. И в том, как они пели, было что-то захватывающее, властное и до такой степени слаженное, что Керн видела перед собой не слепцов-самоучек, обязанных только своей памяти и таланту, а певцов-артистов, не уступающих тем, кого учат в хоровых капеллах.

Но не только это взволновало сейчас Екатерину Ермолаевну: ей стало жаль, что не знает ее Уля, и было обидно сознаться себе в том, что растет в ней странная зависть к этой женщине, передающей сейчас людям то,

что никак не могла бы передать им она, Керн, близкая в прошлом Глинке. И к музыке Глинки оказалась причастной Уля! Смутная догадка о том, что жизнь сохранила и донесла сюда мелодии Глинки, а она, Керн, потеряла их вместе с его дружбой и теперь виновата не перед одним Глинкой, а перед всеми этими людьми, поразила ее. И верно, она ведь не сумела бы рассказать им о композиторе, не нашла бы слов. Не потому ли, что не связывала его помыслы с жизнью простых людей, а его музыку с их песнями — истоками его песенных дум, злилась на Булгарина, была благодарна Одоевскому, но... не народу. Керн не могла бы объяснить, чем так близок в понятии кобзарей Михаилу Ивановичу этот ссыльный поэт Шевченко, — она плохо помнила о нем, но сейчас готова была преклониться и перед ним и ждала, когда запоют его песни, ждала и не хотела отсюда уходить, позабыв, что ее ждут в хате возле шинка и надо ехать в поместье, а оттуда в Петербург...

Усилием воли она оторвала себя от приковывающих к себе голосов, торопливо оделась, низко поклонилась Уле и кобзарям и вышла, запечатлев навсегда в памяти лица слепцов, штофное малиновое знамя с двумя портретами на нем и образ женщины в черном платке — единоправной хозяйки этого дома.

...Месяцем позже в ноябрьскую вьюгу на небольшом погосте возле деревеньки постаревший Ширков стоял с женой у свежей могилы. Она выступала черным пятном на снегу. Рядом на коленях застыла в поклоне женщина, без слез, с ненужно блестящими сережками в маленьких ушках.

— Надо прибить дощечку к кресту, — глухо сказал Ширков: — «Здесь похоронен «русланист» кобзарь Остап Вересай». Так ведь, Оля?

— Какой же он «русланист», — чуть слышно возразила жена. — Ты во всех кобзарях ищешь что-то от глинковских Баянов. Написать надо просто: «Кобзарь Остап Вересай, воин кобзарского цеха». Его знают на Украине. Так будет по-ихнему!

— Пусть так! — согласился Ширков и спросил женщину, стоявшую на коленях: — Ты согласна?

— Он пришел к вам перед смертью, а пришел потому, что помнил Глинку и его музыку! — строго ска-

зала она. — Не идти же было ему в Петербург! Но уже болен он был, да и стар. Вот и не выжил...

— Слышишь? — шепнул Ширков жене.

Женщина поднялась с земли.

— Ну, идем, Уля, с нами, — пригласил ее Ширков, ведя жену под руку.

— Нет, барин, я свободная... Я к кобзарям пойду, к себе, обратно.

— Я знаю, что ты не крепостная, Уля, знаю, но почему не хочешь пожить у нас? Будешь работать...

— Я им нужна, барин! — резко ответила она. — Что мне у вас?

— Ну, как хочешь.

Женщина низко поклонилась Ширкову, еще раз — могиле и стремительно ушла по направлению к дороге.

8

Стасова он встретил в квартире Гедеонова: студент-богатырь, каким он запомнил его по случайному их знакомству на вечере Листа, с бьющим через край жизнелюбием и интересом ко всему живому, страстному, держал себя теперь строже и официальнее, с тем налетом светской благосклонности, которая придавала ему, притом обманчиво, некоторую барственность, а на самом деле была выражением снисходительности широкого человека к уже успевшим ему прискучить чиновным болтунам, которым не было числа в обществе и с которыми нельзя ни ссориться, ни держать себя на равной ноге. Владимир Васильевич был археолог и искусствовед, библиограф и критик, а по словам Одоевского, переданным Глинке, — «жизневед, нашедший себя в книгах», вечно занятый в каких-то кружках и комиссиях, заваленный заказами редакций и между тем всегда свободный для друзей, для споров, веселый и скромный, заведомо не нуждающийся ни в чинах, ни в славе!..

Стасов разговаривал с Гедеоновым о какой-то театральной рецензии, и до слуха Михаила Ивановича долетали отдельные слова разговора.

— Милостивый государь, — говорил он человеку, прозванному в театральных кругах «Черным фатумом», — чтобы не отвратить людей от искусства, нужно говорить им правду, а правда в том, что искусство наше становится детищем полицмейстера, а не народа и, стало быть, только сатира может вернуть ему утраченное им. Поэтому и рецензия, написанная в духе сатиры, уже возрождает помыслы о настоящем, а иная рецензия есть словоблудие и празднословие!

Речь шла о либретто оперы Верстовского «Громобой», еще не законченном актером Ленским по балладе Жуковского, но уже представленном в наброске Гедеонову. Стасов считал, что опера будет анахронична, полна дешевых эффектов и только уведет общественную мысль от того, чем должна быть полезна сейчас русская история, — не мезтью варягам и не сонмищем домовых и водяных — неизменных жителей русского фольклора! Не тем! Гоголь должен найти себе место в музыкальной пьесе.

— Нет, господин Стасов! — чинно возражал ему Гедеонов. — Музыка всегда отвлечена от всякого зла и только потому чудесна! Я, уж разрешите, за анахронизм!

И тогда они, прервав спор, обратились к Глинке.

— Не рассудите ли, Михаил Иванович, — вскидывая мохнатые брови и гулко смеясь, сказал Стасов. — Какие сюжеты из истории могут двигать и совершенствовать нравы?

— Это вопрос политика, а не музыканта, — оборвал его Гедеонов, — господин Глинка не захочет говорить обо всем этом безотносительно к произведению.

— А все же? Вам ли не знать истории? — упорствовал Стасов.

— Не Аскольд и Дир, не Громобой, нет. Это далеко. Вот, если хотите, Богдан Хмельницкий, Кочубей, Тарас Бульба, — они ближе для дум и чаяний русских людей! — просто сказал Глинка.

— А что же вы скажете о нашем репертуаре театров? — вдруг озлобился Гедеонов. — И хотя бы о «Тоске по родине» Верстовского? Не удача ли это?

— Тоска и пародия! — вставил Стасов. — Господин Верстовский сочинил оперу о скитальце в Испании по

Загоскину, но Михаил Иванович недавно был там и может судить, сколь бутафорно это сочинительство.

— Молчу! — сказал Глинка. — Репертуар похож на смесь в наших журналах. Подчас интересно, но без цели. Что до того искусству?

Гедеонов вежливо перевел разговор на другое, торопясь закончить со Стасовым, и Владимир Васильевич, уходя, сказал Глинке:

— Репертуар — поистине смесь, без цели. И жизнь такая в театрах! Пусть интересная порой. Как вы правы, Михаил Иванович! Я о вас пишу, о вашей цели, все более убеждаюсь, что — нашей общей. Надолго ли в Петербурге?

— Нет, уеду опять в Варшаву.

— А я в Италию. Согласился быть секретарем Демидова, князя Сан-Донато по-тамошнему. Не увижу ли вас до отъезда, Михаил Иванович? Может, напишете?

Глинка поклонился. Он не решался расспрашивать Стасова. Не очень ли тяжело будет ему с богачом Демидовым? Как решился Владимир Васильевич идти на службу к нему? Впрочем, толкуют разное: будто гонит Стасова на время из Петербурга семейная дразга, которую лучше перенести в отдалении — три равно любимые женщины ждут его выбора, а он колеблется, бежит от трех. Видимо, легче было бы, если бы ждала только одна...

Часом позже, поговорив с Гедеоновым о предстоящих в будущем году новых постановках «Руслана» и «Жизни за царя», Михаил Иванович вышел на улицу. Был вечер. Валил хлопьями снег, залепляя стекла уличных фонарей, и от этого свет их падал неверными, косыми лучами на снежную мостовую, всю вздыбленную лошадьми, мягко притоптанную пешеходами, и только мешал идти. Мглистое тяжелое небо, казалось, давило на дома, и улица в этот час теряла свои очертания, тянулась безликая и надоедливо длинная. Михаил Иванович вспомнил вдруг сказанное им и подхваченное Стасовым о журнальной... жизненной «смеси» и подумал, что иначе не скажешь о том, что мешает жить. Не от петербургской ли «смеси» и он сейчас снова собирается в Варшаву, к работе и уединению? Не эта ли «смесь», когда-то менее заметная и докучливая, с годами все

более мешает его сосредоточению и деловому покою? Нет, она не захватит его. Он вовремя вернется в Варшаву!

Он шел, изредка отряхивая с плеч снег, обходя покосившиеся тумбы, белевшие на пути и похожие на неубранные глыбы льда, и на повороте был остановлен франтовато одетым человеком в отороченной песцами «крылатке», высокой шляпе с узенькими отогнутыми краями и стеком в руке. Каким столичным «Чайльд-Гарольдом» выглядел он рядом с Михаилом Ивановичем, низеньким и мешковатым, в ватном пальто с куньим воротником поверх партикулярного сюртучка.

— Мишель! — окликнул его сочный молодой голос, и он узнал в незнакомце Соболевского. — Вот встреча! Сколько лет не видал тебя?

Соболевский взял его под руку и повлек за собой, стремительный и веселый, будто вышедший в эту уличную мглу с какого-то праздника. И Глинка не мог противиться ему и не успел ничего ответить. Соболевский сам засыпал вопросами и тут же рассказывал о себе:

— Фабрики мои сгорели. Не слышал? Сгорели дотла. Я теперь бедняк, Мишель. И что же? Думаешь, печалюсь? Без них легче, а деньги... деньги, Мишель, дело наживное! Скаковая конюшня, если хорошо ее содержать, может дать немалый доход, а их у меня две... Зато свободен от других забот, одни заботы — книги и женщины! Да, Мишель, — он облегченно вздохнул, и Глинка заметил, что лицо у Соболевского в самом деле счастливое. — И эти заботы много берут времени! Книжных редкостей у меня пока еще гораздо меньше, чем в библиотеке римского папы, но это пока, Мишель, ну, а женщины? Женщины, Мишель, дают мне разобраться своим характером, какие из этих редкостей мне более нужны. Возьми хотя бы сонеты Петрарки и вспомни Лауру и... Пасту? Что вечно в искусстве, Мишель? Не женщина ли? Век мельчает, а женщина еще нет. Ну и... книга. Разумею не Сенковского, этого «алхимика» в литературе, и не твоего Кукольника, эту патристическую «трещотку», и не жалостливо-гневного Некрасова — «властителя дум» нынешних простолюдинов от литературы. Ты понимаешь меня! Ты, мимоза,

всегда был отвержен от суеты и даже чуть-чуть от земли...

— От земли? — пробовал оборвать его Глинка. — Побойся бога! Или «Сусанин» мой не земной, или...

— То от щедрости, то дань времени, то...

— Ты положительно поглупел, Сергей, скажи лучше, давно ли был в Италии?

Соболевский охотно отвлекся от темы и перешел к воспоминаниям. И в легкости этого перехода Михаил Иванович уловил скрытую неудовлетворенность настоящим, даже при склонности жить приятным, забывая тягостное.

— Волконская — чудесна. Она настоящая женщина и красива даже в старости, но зачем она приняла католичество? Зачем? Ох уж эти душевные поиски русской интеллигенции, аристократии! Правда, у кого их ныне нет? Поисков, низводящих человека, уродующих его? Кажется, и Одоевский «ищет». О «Русских ночах» его странное говорят.

— Только обрящет ли? — заметил Глинка, объединяясь вдруг с Соболевским в одном чувстве к Одоевскому.

— Твоя Дидина — прелесть! Она все так же живет. Но незамужняя и одинокая красавица всегда в чем-то немножко ханжа! Она теперь изрядно понимает в искусстве, научившись понимать в нем... от нас, от приезжих. Да, я много прожил там и не жалею. Италия дает снисхождение к Северу и к собственной участи...

Все это Глинка не раз уже слышал. Но он не перебивал, сам перенесая мыслью к тем временам, когда жил в Италии вместе с Соболевским. Только как разные сейчас их интересы! И как трудно между тем рассказать о себе!

— Ну, а ты, ты, мимоза?.. Скажи о себе! Анна Петровна небось за дочь... Неужто не полюбила тебя Екатерина Ермолаевна?

В голосе Соболевского звучало огорчение.

Глинка молчал.

— Что же молчишь?

— Меня не полюбила она, и, может, оно к лучшему?..

— Ой ли? Она ли виновата?

— Вины не ищу ни в ком. Виновата жизнь, «смесь» виновата... Смесь причин, — пояснил он с горечью. — Не принадлежим мы себе, а порой принадлежим рабски, трусливо и мелко... Это я позже увидел. Ну и не пожалел ее, хотя и любил в ней, если хочешь знать, что-то от самого себя, ну и, значит, собственную ошибку... Да вот, было ли бы ей самой хорошо! А ведь и ей, знаю я, плохо!..

— Мудрено, но понимаю.

Глинка провел с ним весь вечер и вернулся домой на Мойку усталый и грустный. Пожалуй, встреча с Соболевским была последним прибавлением к его ощущениям «петербургской смеси».

В начале весны он решительно собрался в Варшаву и вскоре выехал туда с доном Педро.

Ехали по большаку быстро, но в верстах ста от столицы хляби весенние размыли дорогу, и сразу путь до Варшавы удлинился втрое, томя безвестностью и угрозой несчетных ночевок в селениях и постоялых дворах. Но и это оказалось не в тягость, лишь бы оставить Петербург и чувствовать себя движущимся к цели! Говорят ведь, будто ничто так не воспитывает терпение, как путь на перекладных! Глинка выходил из коляски и брел по обочине, пока лошади преодолевали ухабы. По вечерам пепельного цвета небо и медь догорающих в поле костров рождали чувство затерянности в пространстве и вместе с тем молитвенного покоя. Скирды с сеном, одинокие ветлы и осинник, утыканный сплошь вороньими гнездами, были на бугристых здешних пустьрях путеводными маяками. От одной скирды к другой одичало брели в бездорожье кони, пока опять не попадали на каменистый тракт и, навестав потерянное, не останавливались в кругу телег, дрожек и барских карет, в кругу, напоминающем теперь конную ярмарку. Со всего света сходились, казалось, загнанные бездорожьем путники. В котлах кипятили воду, варили овсянку, тут же потрошили гусей, резали овец, и радость обретшего приют человечества была столь естественна и велика, что и Глинка начинал входить во вкус этой таборной жизни, скупать овес у мужиков, боясь, что не хватит корма коням, и прислушиваться к

тому, что говорят о предстоящем перегоне купцы-гуртоправы, самые осведомленные в этом люди.

— Купи, милостивец, подушку, — все помягче будет, когда придется переваливать горы! — обращался к нему подвыпивший дворовый и совал его кучеру какой-то мешок с пухом.

— Горы? — изумлялся Глинка. — Где же ты такие здесь видел?

— Эх, барин, коли закачает тебя на ухабах, так небо покажется в овчинку, а горушка в гору!

— Где ж будет такое?

— Где, где? — повторял дворовый. — До Польши доберешься — всего оберешься, какую погоду пошлет бог, но бездыханным нельзя явиться в тот край — осмеют. Люди там больно уж статные да дерзкие!

— Говорун! — заметил Глинка, слушая дворового, и велел взять у него подушку.

«И верно, будто в другой край едешь! — сказал он себе. — Что делает распутица! А Польша и в этих местах слывет дерзкой красавицей!»

Вечером он сидел с мужиками у костра, пел с ними песни и просил их рассказать о Польше, прикинувшись никогда там не бывавшим. А утром продолжал путь в коляске, довольный собой и ими: новые записи «хороводных», а с ними и неведомые ему местные вариации песен о бунтарях, сочиненные кем-то из горячего чувства к польским революционерам, лежали в его чемодане. Страхи были напрасны, и до Варшавы путь оказался сравнительно легким.

Квартиру они заняли другую. Анеля ушла от них, повинившись в чувстве неловкости от праздной своей жизни. И на вопрос дона Педро: «Веселее ли быть разносчицей?» — ответила, вздохнув: «Да, больше людей видишь!»

Прошло около года уединенной варшавской жизни, и однажды вечером, когда Михаил Иванович играл на фортепиано в присутствии знакомого ксендза и приезжего итальянского музыканта, дон Педро подал ему два одновременно пришедших письма. Одно из них сообщало о смерти Евгении Андреевны.

Глинка не заплакал и хотел было продолжать играть, хотя гости видели, как, переменившись в лице, с заку-

шенными губами, он силился что-то подобрать на инструменте. Но правая рука не слушалась, и пальцы ее дрожали. Попросив извинения, он ушел в спальню.

Недомогание длилось месяца два, подписывался левой рукой, а письма диктовал дону Педро. В июле приехала Людмила Ивановна. Она потеряла двух сыновей, умерших почти разом от болезни, но бодрилась и почти ничего не рассказывала о Новоспасском.

— Ты будешь теперь жить со мной? — спросил Глинка сестру.

И она кивнула ему, мысленно добавив: «И для тебя».



О САМОМ СЕБЕ!

Необходимо защитить Глинку
от него самого.

*Комментарии к «Запискам»,
изданным в 1887 году*

...И посох мой благословляю и эту
бедную суму.
И степь от края и до края, и солнца
свет и ночи тьму.

Ал. Толстой

1

Монюшко видел Михаила Ивановича в столице, куда приезжал ненадолго, и вскоре вновь посетил в Варшаве. Он пришел к нему на этот раз со странного вида человеком, назвавшимся странствующим адвокатом. Человек этот ходил в солдатской одежде без погон, носил с собой у пояса в тряпице трут и огниво, на плечах башлык, в котором, словно в мешке, — небольшую связку книг и тетрадей, в руке — сучковатую палку. Он был тощ, гибок в движениях, с острым птичьим лицом, с которого невесело свешивались длинные казацкие усы.

— Более полезного для нас человека трудно найти в Варшаве! — сказал Монюшко, представляя Глинке

незнакомца. — Он все знает, особенно народную жизнь... Он судился, кажется, со всеми варшавскими помещиками, выступая на стороне крестьян; обычно находится в дороге, странствуя из села в село. Мне случайно удалось затащить его к вам.

И, чувствуя недоумение Михаила Ивановича, смешанное с интересом, — чем, собственно, может быть ему полезен адвокат, — Монюшко пояснил:

— Он ведь поет на суде...

— Как поет?

— Очень просто. Один тратит красноречие на то, чтобы нарисовать перед присяжными картину народного бесправия или состояние души своего подзащитного, а он, изложив все обстоятельства дела, начинает петь. И поет, как сами увидите, так, что пением подкупает больше, чем словами.

— И судьи берут во внимание... его голос? — улыбнулся Глинка.

— А вы не смейтесь, Михаил Иванович, вы и сами возьмете его пение во внимание. К тому же, сельский суд — особый суд, и бывает, что адвокат обращается с песней не к судье, а к народу — за сочувствием... Кроме того, все народные присказки и поговорки — в его руках; владея ими, он может осмеять любого мелкого чиновника. Наш странствующий адвокат, хочу вам сказать, — артист своего дела!

— Но все же... — с тем же недоумением протянул Михаил Иванович, не глядя на озадаченного этим разговором незнакомца. — Впрочем, я рад познакомиться с паном...

— Глинка, — подсказал адвокат, поклонившись.

— Как? Вы мой однофамилец? — еще более удивился композитор. — Я знаю, что в Польше немало людей с этой фамилией, но представить себе не мог...

— Однако же пан, надеюсь, извинит это обстоятельство... — несколько смущенно и с укором поглядывая на Монюшко, сказал гость.

— Садитесь же, пан Глинка, — перебил его Михаил Иванович, и, заметив, как неловко звучало в его устах это обращение к гостю, сам застеснялся. — Я только хотел спросить...

— Почему я пою на суде, а не в театрах, если господин Монюшко не обманывается в моих способностях к пению? — понял адвокат. — Да, пожалуй, потому, Михаил Иванович, что после известных вам событий, происшедших в Польше, большинство наших певцов и музыкантов нашло себе приют за границей. Здесь им нечего делать, лучшие певцы дебютируют сейчас во Франции. Польское искусство изгнано из нашей столицы, оно еще уцелело в деревнях! Оно живет в песнях...

Адвокат Глинка держал себя без всякого подобострастия перед знаменитым своим однофамильцем и, казалось, с намеренной сухостью.

Что-то в его тоне не понравилось Монюшко, и он поспешил возразить:

— Не совсем так, мой друг, не только, разумеется, в деревнях!

— В столице оно принимает подчас характер национальной вражды с русскими и особенно с украинцами, а в деревнях захожего певца просят спеть по-украински, — с упрямством продолжал свою мысль адвокат. — Кстати, пан композитор, мне давно хочется сказать вам об одной ошибке в постановке вашей оперы «Жизнь за царя», а может быть, и о самом оперном тексте: ляхи, заведенные Сусаниным в лес, изображены вами на одно лицо, а между тем хоть один из них, наверное, воздал ему должное и, зная русских людей, пожалел, что так легко поверил в его способность к предательству!.. И еще о сцене на балу. Полонез танцевали у нас, пан композитор, не так театрально, и каждый — немного по-своему, и вычурно иной раз, и наивно. В этом танце характер нашей знати виден больше, чем в одежде, которая, кстати, в Польше всегда была смешанной, ибо кто только не влиял на нашу бедную Польшу, кому только не подражала она! Заметьте, пан композитор, как танцуют в театрах краковяк, а потом поезжайте к краковякам, живущим, как вы знаете, между Ченстоховом и Келеном...

— Нет, я не знаю этого, — обронил Глинка, с жадностью слушая адвоката.

— Или поглядите, как танцуют мазурку, — не обратил внимания на его возглас гость. — И посетите мазуров — крестьян из Мозовии. В городах создали лубок

из крестьянского танца, и я был счастлив, когда одного приезжего танцора суд оштрафовал и выгнал за кощунствование над искусством.

— Было так? — оживился Глинка. — Голову такого судьи лавровым венком увенчать да в Петербург бы!..

— Последующий суд отменил его решение и чуть не... наказал присяжных! Вышла игра в бирюльки, не больше, — тут же заметил адвокат. — Но я не о том. Я о вашем полонезе горюю.

— А где видели оперу? — спросил Глинка.

— В Санкт-Петербурге, в столице! — быстро и не без гордости ответил адвокат. — Не подумайте, пан композитор, что только в деревнях живу. Займу, бывало, у друга-учителя костюм, скоплю денег и айда в столицу! Ну, а там на хоры, в оперный театр! Немало таких, как я, «ходовков» встречал там.

— Жаль! — вырвалось у Глинки.

— Чего же вам жаль, Михаил Иванович?

— Жаль, что не знал я о вас, сидя внизу, в партере. Но вы спойте мне, обязательно спойте, и тогда, простите меня, будем говорить дальше, — сказал он с жаром и, потупившись, спросил: — Не обидитесь? Мне, будто на суде... голос послушать надо, а тогда и понять мне вас легче! Не так ли, господин Монюшко?

Адвокат пел без робости, и голос его напоминал Глинке кобзаря Остапа Вересая. Было и в манере его пения что-то идущее от кобзарей. Михаил Иванович слушал и размышлял о том, почему так держится в украинском и польском народе единый лад песни.

Гости засиделись. Провожая их, Глинка сказал певцу:

— Теперь понимаю, о какой пользе говорил господин Монюшко. Вы, господин адвокат, — не знаю уж как и величать вас, — очень полезны мне и, если бы я в свою очередь мог чем-нибудь отблагодарить, всегда рассчитывайте на меня. Кончу новую свою, — он замаялся, — вещицу, украинскую, — немедленно вас выпишу.

Адвокат учтиво кланялся и уходил от Глинки, строгий и гордый, не позволив себе сказать в ответ напрашивающееся ласковое слово. Он помнил, как принял его Глинка в первые минуты их посещения, и боялся показаться навязчивым и тем более растроганным.

— Вот такого бы человека мне надо! — сказал Глинка дону Педро после ухода адвоката.

— Я догадываюсь, вы готовы пригласить его к себе жить, — ревниво пробурчал испанец. — К чему это приведет вас? Такие ли люди вам нужны?

— Может быть, ты и прав, но я люблю видеть около себя именно таких людей. — Он сделал ударение на слове «таких». — Ты, он, Анеля!.. Так и в жизни моей бывало раньше. Но не хочу говорить, ты сердисься, Педруша?

Испанец уже не раз изъяснялся с ним по-русски, но в настроении угрюмом или недовольном чем-либо признавал в разговоре только родной язык.

— Да, сеньор. Я начинаю думать, что и я вам не нужен. Вы — человек света, вам бы чаще бывать у князя Паскевича, при дворе, ваш дядюшка Иван Андреевич прав. Я ваш друг. Именно потому, что друг, говорю вам: хорошо, что вы любите простой народ и народные песни, хорошо, что вы сочиняете романсы, которые хватают за душу, но жить-то надо иначе, не по романсу и не так печально!..

— Как же жить надо, Педруша? — прикидываясь непонимающим и на самом деле не все понимая в его запальчивой речи, спросил Глинка.

— Спокойно и... как бегун... с разбегом перед прыжком, как у нас в Андалузии на играх: не доводя себя до усталости, не укорачивая себе жизнь. И богато! Жизнь — праздник! И женщины какие должны бывать в вашем доме: Паста, Виардо, а не Анеля. Вы — мой сеньор. Я хочу вашей доброй славы, а тогда после нее и доброты к людям. А сейчас, что таить, у вас больше доброты, чем славы! И совсем нет покоя! А вам нравится, Михаил Иванович, вам привычно беспокойствие. И эта вот ваша «Камаринская», по вашему ли уму и дарованию? Музыку бы на «Гамлета» писать надо! На Шекспира. Вы ведь хотели!.. Возьмите Берлиоза, Вагнера, Листа...

— Ну это, братец Педруша, я тебе не спущу! — ответил Глинка, сердясь. — Как ты можешь судить о «Камаринской»? И вот же князь Одоевский пишет мне, что

с большим успехом прошло в Петербурге первое исполнение «Камаринской» и «Испанских увертюр», организованное на средства общества посещения бедных.

— Вот, вот, сеньор, — бедных! — подхватил дон Педро, уморительно вскидывая руку и поводя бровями. — А если бы на средства богатых?

— Ну, Педруша, ты совсем не в своем уме! И не пойму, чего хочешь?

— Славы и покоя для вас.

— Не много ли одновременно? — рассмеялся Глинка. — Говорят, слава тоже лишает покоя, а покой — славы. Последнее, впрочем, не так страшно. Страшнее, Педруша, когда к старости чувствуешь, что исчерпал себя. Зачем тогда слава? Я благодарю бога, что в этом смысле не стар и в музыкальных своих силах лишь молодею! И только теперь, только теперь, Педруша, хочу испытать свои силы на теме народной вольности.

Он говорил об этом, уже внутренне примиренный со своим слугой, и тут же вспомнил, что однажды уже подобный разговор был у них в Петербурге и прерван на этом же Людмилой Ивановной.

— На «Тарасе Бульбе» хочешь испытать силы! — со скрытым неодобрением громко подсказала тогда Людмила Ивановна, входя в комнату. Она случайно слышала последние слова брата.

Дон Педро почтительно замолчал, — он не разрешал себе при Людмиле Ивановне говорить о том, что могло быть доверено ему Глинкой только в беседе вдвоем.

А он — Глинка — ответил:

— И ты, Куконушка, кажется, заодно с Педрушей!

Теперь он вспомнил тот незавершившийся разговор и мысленно повторил: «Что-то «Тараса» моего заранее уже не принимают друзья. Или не удастся он мне?»

Поделиться планами новой задуманной им оперы было не с кем. Ширков казался недосягаем в своем имении, а в письмах ничего не скажешь!

...Вскоре он выехал с доном Педро в Париж, намереваясь пожить там недолго и вновь посетить Испанию. Сестра выслала деньги из Новоспасского и в письме своем охотно соглашалась с его желанием провести еще несколько лет за границей. А спустя месяц напи-

сала ему, минуя подробности, о смерти дядюшки Ивана Андреевича.

Из Парижа сообщил он ей о том, как устроился в новой квартире, наняв служанку для кухни, родом из Индии, о частых приступах сердечной болезни, наконец о начавшемся уже безденежье, о меланхолии и... о боязни веселой Испании... Он писал обо всем этом в тонах шуточных и невозмутимых, кротких и скорбных. Людмила Ивановна и в таких письмах умела уже находить истину. А немного позже он разоткровенничался:

«Ты меня, в одном из твоих писем, называешь умницей; какой же я умница? Разве умные от хорошего ищут лучшего? Разве не ловко мне было жить с тобою, моя милая Куконушка? Притом же посуди сама: мне не к лицу и не по летам скитаться по чужим землям! Слов нет, Париж чудо и был бы, без сомнения, лучшим пребыванием в мире, будь ты со мною; без тебя же я здесь как неприкаянный. А приятели, а Педруша, скажешь ты. Приятели в хорошую погоду более в разгоне, чем когда-либо, а Педруша — Педруша столько же добр, услужлив и, сколько судить можно, предан мне и семье нашей, как и прежде. Но ни пребывание в Париже, ни курсы словесности и декламации, кои он ежедневно посещает, не изменили его: он такой же чужак, как и был прежде. Это бы ничего, а главное, что он трудный человек, в особенности во время болезни, ибо о деликатности не имел, не имеет и не будет никогда иметь никакого понятия. Сверх того, как сама знаешь, упрям и скрытен».

Но не написал о том, что произошло в его жизни в мае, как, заказав себе большие листы партитурной бумаги и набело переписав свою «Казацкую симфонию», он однажды в часы болезни сказал дону Педру:

— Не пойму я чего-то в себе... Кажется, все вы правы: сестра, Одоевский, ну и ты. Только классика может успокоить меня. Ничего иного не хочу слушать. Встану — только церковной музыкой займусь. Педруша, — подозвал он к себе слугу, — выкинь листы, уничтожь, — он зажмурился, бледный, небритый, с опухшими от бессонницы глазами, — выкинешь их — заново писать не начну.

На его глазах дон Педро сгреб неподатливую толстую кипу исписанной партитурной бумаги и бросил в камин.

Глинка сказал, не глядя на огонь и как бы утешая себя:

— Вот и из Петербурга пишут, что оперы мои сняты и ничего мое не идет, и ждут от меня друзья хоралов да церковных гимнов! Встану, Педруша, и контрапункту буду учиться вновь, к Дену поеду — поистине первому знахарю в музыкальных делах!

Светило майское солнце, пробиваясь в комнату через густой тюль занавесей к дивану, на котором лежал Глинка. Приоткрыв глаза, он следил за его лучами, скользящими по розовому одеялу, и, впадая в дремоту, весь сжавшись и теснее прижимаясь к подушкам, уверял себя, что... так лучше, вот и о «Казацкой симфонии» ваботы сброшены с плеч.

3

Но было такое состояние недолгим. Украина вставала перед ним в своих песнях, в картинах прошлого, и он, полулежа, закутанный в одеяло, злой, с торчащим вихром на голове, не мог спокойно глядеть на слугу:

— Экий ты, братец Педруша, чужак! Ну, чужак, право! И я с тобой, видимо, с ума сошел!.. Могу ли от Украины отказаться?

Он был рад настойчивым приглашениям сестры ехать к ней в Царское Село, где жила она в это время с мужем, и был не очень огорчен тем, что надо уезжать из Парижа. Война с союзниками, «защитниками» Турции, становилась неизбежна. О Босфоре, Дарданеллах, Валахии, англичанине Следе и других волонтерах в турецком флоте, о политике русского кабинета все настойчивее писалось во всех французских газетах. Из посольства сообщили о желательности незамедлительного отъезда.

В дни, когда адмирал Непир подошел со своей эскадрой к Свеаборгу и многие петербуржцы, среди них Тургенев и Некрасов, поселившись на дачах между Петергофом и Ораниенбаумом, ездили на Красную

горку следить за передвижением английского флота, а в Париже сообщали о бегстве жителей из столицы, — в эти дни Михаил Иванович жил в Царском Селе.

Он болел, и его часто видели за палисадом в качалке, укутанным в плед. Бывало, он ходил под руку с сестрой по ровным, посыпанным красным песком дорожкам парка, мимо здания лицея, и, раскланиваясь с прохожими, узнававшими его, говорил Людмиле Ивановне:

— Все как будто прилично у нас... Видишь, вот и ко мне относятся по-доброму, и во всей жизни порядок, и скоро англичан прогонят с моря! А я, не находишь ли, так толст, что похож на брюхана, на майора, а не на отставного советника. И с чего бы важность и дородность такая?

Втайне его преследовала мысль о неизбежности какого-то большого несчастья в его жизни и томило бездействие, вызванное болезнью. По совету Людмилы Ивановны он начал вести «Записки» о своей жизни и об этом как-то сообщал в письме к Нестору Кукольникову:

«Не предвижу, чтоб впоследствии жизнь моя могла бы подать повод к повествованию. Пишу я эти записки без всякого покушения на красоту слога, а пишу просто, что было и как было, в хронологическом порядке, исключая все то, что не имело прямого или косвенного отношения к моей художнической жизни».

И сколько же якобы «не имеющего к этому отношения» и самого, пожалуй, интересного решил он не касаться в «Записках»! Да и можно ли писать горькую правду, судить о людях, о политике двора, подводить друзей... Для того ли, чтобы после его смерти сделали то же с этими «Записками», что и с архивом Пушкина, скрыв от всех, а может быть и извратив его дневник?

Тем не менее он писал ежедневно, с увлечением, как бы составлял себе план, к чему потом вернуться подробнее. На столе его лежал среди других книг томик Одоевского и рукописное предисловие к нему князя. Он прочитал это предисловие, почему-то не напечатанное в самой книге, пытаясь обратить высказанные Одоевским мысли к самому себе:

«Самое затруднительное для писателя дело — говорить о самом себе. Тут напрасны все оговорки и всевозможные риторические предосторожности. Его непременно обвинят или в самолюбии, или, что еще хуже, в ложном смирении; нет определенной черты между тем и другим или, по крайней мере, трудно отыскать ее. Остается последовать примеру Сервантеса, который начал одну из своих книг следующими словами: «Я знаю, любезный читатель, что тебе нет никакой нужды читать мое предисловие, но мне очень нужно, чтобы ты прочел его».

Может быть, и «Записки» будут в какой-то мере предисловием к... музыке и к событиям жизни, которые он опишет позже. Говоря же о самом себе, он попытается, во всяком случае, обойтись пока без оценок, без рассуждений!

Но мысль о поездке к Дену, о «сладоути учения», как и глухое раскаяние об оставленной работе, мучила непрерывно. Раздумывая об этом с самим собой, открылся он в своих сомнениях Кукольнику, написав ему отсюда:

«Муза моя молчит, отчасти полагаю от того, что я очень переменялся, стал серьезнее и покойнее, весьма редко бываю в восторженном состоянии, сверх того, мало-помалу у меня развилось критическое воззрение на искусство, и теперь я, кроме классической музыки, никакой другой без скуки слушать не могу. По этому последнему обстоятельству, ежели я строг к другим, то еще строже к самому себе. Вот тому образчик: в Париже я написал 1-ю часть Allegro и начало 2-й части Казацкой симфонии (C-moll — Тарас Бульба) — я не мог продолжать второй части, она меня не удовлетворяла. Сообразив, я нашел, что развитие Allegro (Durchführung, développement) было начато на немецкий лад, между тем как общий характер пьесы был малороссийский. Я бросил партитуру, а Педро уничтожил ее.

Поэтому мне кажется, что я был совершенно прав, ответив Мейерберу на сделанное мне им замечание: «Вы слишком требовательны, г. Глинка». «Имею на то право, сударь, — отвечал я ему, — я начинаю с своих собственных произведений, которыми почти никогда не бываю доволен».

Сюда весной приехал к нему Балакирев, неожиданно, запросто и будто мимоходом, как столичный житель, совершающий прогулку по Царскому Селу. Людмила Ивановна провела гостя в дом, косясь в неловком изумлении на очень уж «простонародные» красные варежки, торчащие из его кармана, набитого калеными орешками — столь же незатейливым лакомством, на ватную кацавейку под легким пальто, в которой ходят мастера. Пышная черная борода его и эти красные варежки почему-то приковывали к себе ее взгляд, и Людмила Ивановна стеснительно глядела в сторону, пока гость не спеша снимал в прихожей верхнюю одежду. Он был коренаст, крепок, держался уверенно и с каким-то подчиняющим себе жизнелюбием. Людмиле Ивановне представилось, будто вошел в дом хозяин, у которого все они только жильцы, человек, имеющий давнее и неписаное право именно так глядеть на нее, посмеиваясь в бороду, ободряюще и властно; грызть каленые орешки и ждать от нее первой коротких и торопливых слов о себе, о Михаиле Ивановиче, о том, как живется им здесь, на покое.

Она обрадовалась, когда брат увел Балакирева к себе в кабинет, и заметила, как оживился Михаил Иванович, здороваясь с ним, словно и брату передалось это ее ощущение спокойной и властной силы, идущей от гостя, силы, обычно присущей людям крутого нрава и неожиданного, но всегда твердого проявления характера. Гость перелистал лежащие на столе сочинения Гумбольдта «Космос» и «Картины природы», спросил:

— Путешествуете мысленно по земному шару, по разным странам? Не можете без путешествий?

— Не могу! — кротко согласился Глинка и улыбнулся его вопросу: действительно ведь, если сам никуда больше не едет, так фантазия за него продолжает те же нескончаемые странствования. И теперь жаль, что не был на Востоке, в Персии, — от этого и «Руслану» хуже!

— Вот ведь странность какая, — продолжая свою мысль, заговорил Балакирев. — Судя по романсам вашим, должны вы быть домоседом, немного ленивцем, а

по «Руслану» — вы истый путешественник... Неуловимый вы, необъятный, невымерянно широкий, трудно будет о вас писать тому, кто захочет! И «Сусанин» ваш в самую пору своей зрелости входит, только и будет понят сейчас. Недавно познакомился я с Мусоргским, молодой музыкант, способный к композиции! «Сусанин» будет ему путеводной звездой! Как и нам всем! А вы, вы подчас в стороне держитесь, лишнего слова не скажете. Учитесь, дескать, по моим вещам, понимайте меня, как знаете... Нет чтобы статью о музыке написать!..

— Рассуждать не люблю, а читали обо мне Рубинштейна? — глухо, сдерживая волнение, спросил Глинка.

Речь шла о статье, недавно напечатанной в венском журнале «*Blätter für Musik, Theater und Kunst*» под названием «Русские композиторы». В ней отрицалось национальное содержание и оспаривалось само национальное понимание музыки Глинки.

— Читал. Наш Бах ждет случая об этой статье сказать... Вообще же статейка гаденькая, надо ли спорить?

Бахом Михаил Иванович прозвал Стасова за особую любовь к музыке великого лейпцигского кантора, и теперь Балакирев повторял это уже установившееся за Стасовым прозвище, иногда по-своему меняя его на ласковое: «Бахинька!»

— О «Руслане», впрочем, еще много будет споров, Михаил Иванович, и знайте — споры эти на пользу! — В карих глазах его блеснула искорка веселья. — Вот и Серов со Стасовым, глядишь, поссорятся из-за вас. Опера ведь если не драма, так для Стасова не опера, а нет для него в «Руслане» драматургического смысла, как и нет сцены... Одна музыка, и то какая? По-нашему, музыкальный эпос, исполненный такой искренности, такого чувства... Э, да что толковать! Впрочем, и Серов не отрицает глубины этого возбужденного вашей музыкой чувства! Но ведь до чего заврался, право, — Балакирев говорил резко, но без тени неприязни к Серову, — личное, лирическое в опере может не иметь, по его мнению, сюжета и сценического действия, остальное же в искусстве подвержено твердым законам! И он же, извольте видеть, ратует за реалистическое в

музыке, против представления о музыкальном искусстве как о понятии отвлеченном от наших земных мыслей! И вот, Михаил Иванович, в теориях на пустом месте стоим. Белинский литературу нашу оценил и понял, а кто поймет, подобно ему, музыку? Где наше музыкальное общество? Ну хотя бы иметь свой кружок, сказать народу о том, что являет собой наша новая музыка! И школу бы... вроде как у художников, Михаил Иванович!

Он сказал об этом требовательно, будто от Михаила Ивановича зависело открытие школы, и повысил голос:

— Что думаете об этом, Михаил Иванович? Надо бы письмо написать, в сенат, что ли?

— Бесплатная музыкальная школа для народа? Так я вас понял, Милий Алексеевич? Самим бы надо ее открыть, без господ из сената.

— И то правильно!

— О пенье, о певческом ученье я бы, пожалуй, написал! — добавил Глинка. — Я бы и этого Иисуса сладчайшего, известного вам Ломакина, дирижера в хорах графа Шереметева, помянул бы... До чего под немецкий лад уродует русское пенье! А иные с него пример берут.

— Так как же со школой, Михаил Иванович? — вернул его к разговору Балакирев, умалчивая о Ломакине. Он не разделял резкого отношения к нему Глинки.

— Рад буду. Пожалуй, больше, чем консерватории. И ведь мы сами будем набирать в нее певчих. Мы!.. Какая это радость — учить тех, кого душа хочет!

Он глядел на Балакирева, немного зажмурив глаза и весь отдавшись этой мысли о школе, мысли, вызвавшей в нем тут же совершенно явственные представления: о хоре императорской капеллы, Смольного, крепостных театров...

— Я бы не учредителем в ней был, а учителем! — сказал он просто.

Они долго говорили о школе, решив собрать подпиской деньги на ее организацию, потом вернулись к тому же — о Стасове, о круге своих единомышленников, будто с ним — этим кругом — неотрывно будут связаны и заботы о первой в России бесплатной музыкальной

школе, и попытке определить, что же произошло в последние годы в искусстве.

— Ведь «лед тронулся», Михаил Иванович, и мы стали необходимы народу!

Балакирев только сейчас делал для себя этот вывод.

— И ведь Бахинька прольет на все «свет истины» и соберет нас под одни знамена? Как думаете?

Он спрашивал, но не потерпел бы, пожалуй, несогласия с собой. В том, как сказал он о Стасове, было столько мужественной веры и любви к нему, что Глинка, радуясь не только за человека, к которому сам тянулся, но и за Балакирева, проникаясь в этот час надеждой, что искусство нашло своих вожakov, ответил:

— Пора бы, Милий Алексеевич, пора бы!..

И, сказав так, не подумал, что, собственно, он сам, Глинка, породил всем своим творчеством необходимость в таких, как Стасов, Серов, и уже дал им в руки главное! Он тут же заторопился, боясь, как бы ответ сего не прозвучал укором, и пояснил:

— Мне давно ни с кем не приходилось так хорошо разговаривать о народе и музыке, как со Стасовым, с Серовым, с вами!..

Сумрак наплывал в окна, и весенний талый снег отражал косой свет фонаря. Непривычно для слуха, в тишине парковых улиц басисто прогудел паровоз на железке. Балакирев поднялся и, отказываясь от ужина, заторопился домой.

— Вы до станции на извозчике? — спросил Глинка.

— Всегда хожу пешком — это даже скорее, и напрямик!

— Как же это так? — удивился Михаил Иванович. — Может, послать все же за лошадьми?

Но настаивать не стал. Балакирев быстро оделся и, попрощавшись, вышел. Глинка не знал, что учредитель школы не имеет лишних денег на лошадей и добывает себе средства на жизнь фортепианными уроками с раннего утра и до вечера. И тем не менее не теряет уверенности в себе!

Гвардейскому прапорщику Мусоргскому, о котором говорил Глинке Балакирев, едва исполнилось семнадцать лет. Он только что окончил военную школу и,

если бы не тяготение к музыке, не знал бы, чем заняться, кроме муштры и подготовки к вахтпарадам. В школе учить уроки считалось унижительным, и сам генерал Сутгоф, директор ее, не раз, заставляя юношу за книжками, говорил:

— Какой же, мой друг, выйдет из тебя офицер?

Он сыскал себе расположение начальства и товарищей тем, что покорно и без усталости барабанил юнкерам на фортепиано марши и менуэты, но однажды, забыв о слушателях, начал импровизировать...

— Что ты играешь? — спросили его.

— Что? — повторил он, не зная, как объяснить, и все еще волнуемый мелодией, которая не давалась и увлекала его воображение. — Что играю? Глинку!

Он шутя произнес первое, что пришло на ум, хотя никогда не слышал из Глинки ничего, кроме славного его имени. Учитель музыки знакомил его только с немецкими композиторами. Ему поверили, сказав небрежно:

— Кажется, что-то хорошее!..

В здании этой диковинной и по тем временам школы Балакирев был на следующий день после возвращения из Царского Села.

— Я провел вечер у Глинки! — сказал он своему новому знакомому. — Что это за человек, Модест!

— Это тот, о котором я соврал как-то... Ничего не знаю о нем! Расскажи!

Балакирев, еле сдержав себя, сел за фортепиано.

— Вы глупец! — сказал он ему, переходя на «вы». — Вы мне казались способным музыкантом! Слушайте же!

Он сыграл ему «Вальс-фантазию», потом из «Руслана» и только тогда, ни о чем не спрашивая, разрешил себе к нему обернуться. Но он тут же смягчился: прапорщик тихо плакал от очарования звуками и, как хотелось думать Балакиреву, от стыда...

В эти дни он часто допытывался у сестер, как выглядит теперь Новоспасское, и, когда ему отвечали: «Все так же, ничего не изменилось», он не верил...

Будто со смертью матери уже не найти там отраду и отдых, и в самой тишине полей таится немое предостережение о поджидающем их всех конце. Состояние души — не столь уж новое, но знаменующее приход старости. Он не мог признаться сестрам, что ехать туда побаивается, — слишком мешают воспоминания, и, передав еще раньше свои наследные права Ольге, а с ними и хозяйственное попечение, хочет обрести душевную свободу.

Расспрашивал он о Шмакове. Дядюшка Иван Андреевич, принявший это поместье от старшего своего брата, был последним из приверженных старине. Давно разбрелись по городам музыканты, составлявшие некогда крепостную труппу Афанасия Андреевича: кому выдали вольную, кто откупился, а большинство схоронено уже на безымянном погосте, возле леска. Говорят, тянутся там в один ряд музыкантские могилы и на кресте в изголовье у каждого вырезано изображение арфы.

Была зима, и Глинка представил себе, как подъедет он на розвальнях к Шмакову, оснеженный ветер встретит, заметая сугробы, и большой дом с зеленоватыми окнами, отдающими сумеречным покоем, покажется в пустынной белизне поля.

Рядом — тяжело осевшие в снегах дворовые пристройки, каретный сарай, маслобойная изба, сукновальня, а дальше беспорядочным сонмищем изб встанет село на пригорке, и томительной грустью повеет от родных этих мест, от кажущегося безлюдья... Лес зашумит на ветру и потянет в свою заповедную глубину чернотой открывшейся глазу просеки, и вдруг закрадется сомнение: жил ли когда-нибудь здесь Афанасий Андреевич? И память, подавленная кажущимся равноденствием времени и бескрайностью пространств, уже не вернется к вечерам, на которых дирижировал дядюшкиным оркестром он — маленький Глинка.

Михаил Иванович приглядывается к сестрам и только в одной Куконушке видит несуетную и жертвенную готовность жить, где он скажет, интересами его дела. Да и может ли быть иначе? В доме у каждой из них столько бед и тревог!

Сейчас война рушит все: семьи, покой, прежние

планы в жизни. С семьями моряков, смолян родом, и даже Нахимовыми, издавна связаны были Глинки. Шестаковы переписывались с самим адмиралом Лазаревым.

И столько ушло уже из рода Глинок! Незадолго до смерти матери умерла сестра, а перед тем!.. Не он ли не уберег их, не помог в доме? Жизнь разобщает, тянет каждого в свою сторону, а подчас увлекает столь малым, что становится неловко за близкого человека. Он-то, никогда не рассуждая об этом, всегда жил большими порывами духа, вечным стремлением к совершенству, дарующим снисхождение к ближним.

Рodne попросту сейчас не до него, как и, пожалуй, многим друзьям. Порой его преследует с физической явственностью ощущение смены поколений, хотя он отнюдь не склонен возвеличивать старину и жалеть о ней. О новых людях все чаще толкуют при нем, поминная выступления деятелей «Современника» и сказанное где-то Чернышевским: «Чтобы совершилось что-нибудь важное, новое, нужно большинству общества состояться из новых людей... Чтобы состав общества обновился таким образом, нужно бывает около пятнадцати лет по простому арифметическому закону смены поколений. Эти новые люди могут обнаружить решительное влияние на ход событий несколько раньше среднего срока, например, лет через десять, если обстоятельства благоприятствуют ускорению перемены».

«Вот ведь определил!» Одоевский как-то пошутил: «У «Современника» своя программа человеческого обновления, и, на его взгляд, не всем следует задерживаться на свете». Тогда, в разговоре, все это забылось, а теперь предстало перед Глинкою по-иному. «Здравствуй, племя младое», — хочется сказать по-пушкински и встретить его, не ощутив одиночества. Не потому ли растет в нем с годами нежность к Гулаку-Артемовскому и тянет к людям суровой судьбы и «необхоженных мыслей».

Из Царского Села в Петербург он выезжал не чаще двух-трех раз в месяц, но всегда радовался встрече с Гулаком. Певец оставил дом Кавоса, намереваясь жениться, и устроился теперь в тупичке возле дворцовой набережной, где театр поселил группу артистов. На

гранитном цоколе здания пестрели балаганные афишки о прибытии «людей-феноменов», силачей и гномов, рядом с траурными объявлениями и списками бежавших дворовых. Швейцар с бакенами и пышными подусниками, унаследовав генеральскую поступь, не спеша открывал Глинке дверь и, морщась от дувшего с Невы ветра, докладывал:

— Давно не поет. Пропустил два спектакля, недавно сильно выпил...

Швейцар знал об отношении Михаила Ивановича к певцу. Слава Гулака росла. К нему благоволили и при дворе. Это не помешало, впрочем, распространению эпиграммы:

Хоть голос твой маньифико,
Все же ты, о мой амиго,
Необтесанный мужико.

Но так ли уж заметно в Гулаке его «плебейство», или не прощает ему знать мужицкое его происхождение, не отделяя... от поповского.

Глинка вошел в театральное прибежище певца. Не-высокий, красного дерева пюпитр с резными ножками на медных колесиках поскрипывал под тяжестью навалившегося на него грудью Гулака. В распахнутой рубашке, с засученными по локоть рукавами, он быстро писал на нотных листах, и белое перо мелькало на уровне склоненной его головы, точно проседь в волосах. Печным теплом и невыветрившимся запахом свечного нагара несло из комнаты, большой, белой и полупустой, с арфой, кинутой на диване, и роялем, притиснутым в угол.

— Хорошо у вас! — сказал Михаил Иванович, оглядываясь после того, как Гулак, оставив работу, подбежал к нему и подвел к дивану. — Только неустроенно... как в жизни!

— А что нужно певцу, кроме голоса, инструмента и воздуха?

— А это что? — бросил взгляд Глинка на груды нот, заваливших пюпитр.

— Над «Запорожцем» тружусь! — изменившимся голосом, глухо ответил Гулак. — Наброски! Михаил Иванович, «порассуждать» можно с вами сегодня?..

— На «злобу дня»? — так же иносказательно ответил Глинка, садясь. Не нужно было пояснять, что понимает он под музыкальной «злобой». — Нет, только музыкой порассуждать, не словами. Тогда больше пойму! Играйте!

— Михаил Иванович, нельзя без слов! Разрешите!.. Самую малость! Предварительно!

— Надоело! Я помолчать да послушать приехал к вам! — не сдавался Глинка, теребя вихор и молодо поблескивая глазами. — Достаточно мне было разговоров с Балакиревым. И вот «Санкт-Петербургская немецкая газета» поговорила тут в мою защиту. Надо учить музыке, а не славословить о ней. Но музыкальной школы еще пока нет, если будет — порассуждаем тогда, и не в одиночку!

«Порассуждаем» — он произносил ядовито.

— А не забыли вы еще обиду? — лукаво пытался Гулак втянуть его в разговор. Он имел в виду ту же статью Рубинштейна, против которой выступила немецкая газета. — Но разве мало вам лестных эпистолий. Плохо ли написал Берлиоз о вас: «В мелодиях его звуки неожиданные, периоды прелестно странные. Он великий гармонист и пишет партии инструментов с такой тщательностью, с таким глубоким знанием их самых тайных средств, что его оркестр — один из самых новых, самых живых оркестров в наше время». Запомнил без труда, как видите, Михаил Иванович.

— Эх, если бы я мог убедить Берлиоза в другом! — в задумчивости сказал Глинка, помня разговоры с ним в Париже. — Ну, да этак вы на самом деле рассуждать заставите. Давайте-ка музыку!

Гулак пел в этот день ему из задуманной им оперы, потом украинские песни, нарочно одну за другой, чтобы проследить, как почувствует Глинка общность мелодии, что посоветует ему.

Глинка остался доволен и сам повторил на рояле вчерне написанное Гулаком. Они играли по очереди, забыв о времени, и «рассуждать» о сыгранном стали, лишь когда Глинка собрался домой.

— Какой вы сегодня... — начал Гулак, любясь бодрым видом Михаила Ивановича и не сразу находя слово, — спокойный!

— Это я с вами такой, — в тон ему ответил Михаил Иванович. — Хотелось мне знать, не растекаетесь ли мыслью и не много ли времени проводите с актерами да литературными витиями. Говорили мне о вас всякое. — И помолчав: — Скоро в Берлин еду, «рассуждать», учиться! — мягко усмехнулся он. — Вот дожид до того, что опять сажусь за скамью у того же учителя и не жалею! В искусстве нельзя иначе.

— Михаил Иванович, — протянул Гулак просительно и как-то жалобно: он долго не смел заговорить об этом, а ученье у Дена считал необходимым Глинке и проходящим увлечением, — самопроверкой, не более! — Неужто «Тараса Бульбу» порвали, сожгли? Признайтесь, что не так, что продолжаете работу, что этот ваш испанец Педро — ох я бы его! — он потряс кулаком, — просто сболтнул людям...

— Прощайте! — резко оборвал Глинка, сразу почувствовав себя усталым. — Не будем об этом! Переучиваешься — что-то теряешь, но подлинное и удачное в музыке память всегда вернет. Вспомните, как Бетховен однажды потерял, а потом возродил мелодию...

И, недовольный вопросом Гулака, он, сутулясь, вышел...

6

В Берлин он выехал не скоро, один, выждав окончания войны и несколько укрепив здоровье. В доме, на той же улице, где жил Ден, глухом, казарменной кладки, не похожем на соседние, веселые, с золочеными балконами, летом всегда в цветах, он начал проходить «курс церковных тонов». Влечение к духовной музыке вносило странную раздвоенность в его прежние представления о музыкальном искусстве, хотя искал он в ней ключ к совершенствованию, и многое из того, что ранее слышал от Дена, представлялось сейчас по-новому. Порою возникала мысль об иллюзорности этого нового и закрадывалось сомнение в животворной силе тех изысканий в теории, которыми увлек его Ден. Бывали дни, когда наедине с собой, в большой полупустой комнате, предоставленной ему Деңом, склонясь над фортепиано, обретал он душевную ясность и тяготился

своим приездом сюда и Деном, методически точно являвшимся к нему для занятий, но бесконечно далеким от мира его чувств.

Впрочем, занятия фугами доставляли новую, еще не изведанную радость, и в эти часы, слушая советы Дена, он невольно прощал своему учителю то, что в другое время отталкивало: выпренность его и холодность, граничащую с равнодушием к... людским чувствам. Барственно строгий, высокий, «с лицом ученого пастора» — так говорили о нем друзья, всегда с черным бантом, плотно облегающим шею, в очках, поблескивающих тонкой золотой оправой, — учитель его даже не понял бы, в каком равнодушии можно упрекнуть истинного и притом ученого музыканта.

Из немногих книг, привезенных с собой сюда, Глинка перечитал «Русские ночи» и задумался над признанием князя. «Моя юность, — писал Одоевский, — протекала в ту пору, когда метафизика была такою же общею атмосферою, как ныне политические науки!» Мог ли он, Глинка, так сказать о себе, и не метафизика ли в теории и практике музыкального искусства, не отделяемая от всей общественной жизни, стояла и на его жизненном пути в юности? И дальше следовало: «Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы конструировать все явления природы, точно так, как теперь верят в возможность такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворила всем потребностям человека!»

Он подумал о том, что князь, столь много сделавший ему доброго в жизни и столь приверженный «фантастике», оказывается в одном с ним положении, причем самом натуральном, не прикрашенном никаким обманом. И не потому ли, что нет еще этой «социальной формы», которая, наверное, помогла бы найти и свободнее выразить себя в музыке. Думая сейчас над написанным Одоевским, он как бы проникался его тоской по неведомой еще гармонии, его мечтой о будущем, его высокой неудовлетворенностью настоящим. Он был бы рад повторить за князем сказанное им на той же странице: «Дети — были лучшими моими учителями, дети показали мне всю скудость моей науки». «Фантаст» Одоевский мыслил, получалось, реалистически,

ну, а в выражениях был верен своему стилю и, как многие, привержен иносказательности!

В Берлине он жил еще более одиноко, чем в Варшаве, довольный тем, что не ходят к нему знакомые из соотечественников «с каплей яда на языке», не отвлекают от занятий.

Посетил его Рубинштейн, слышавший уже об «отповеди», данной на его статью в России, рассказывал о своей жизни при дворе великой княгини Елены Павловны «истопником музыки», «подогревателем настроений» — так называл себя в роли постоянного аккомпаниатора великокняжеских дочерей и приживалок.

— Досталось мне за эту статью! — сказал он Глинке, в надежде, что Михаил Иванович разделит некоторые его суждения и, во всяком случае, не поймет их как «хулу». — Что позорного для меня в том, что, по точному моему выражению в статье, я усматриваю существование народной музыки в смысле народных песен и танцев, но не народной оперы, каждый оттенок чувства, передаваемый в опере, — будь то любовь, ревность, веселье или печаль, — присущ всем народам и потому музыкальная передача, Михаил Иванович, всех этих общечеловеческих чувств не должна иметь национальной окраски! Существенная разница может быть вследствие климата, быта и других обстоятельств лишь между западной и восточной музыкой, по силе восприимчивости и темперамента, но не о том речь... И потом, монотонность для всех наших композиторов — камень преткновения, и, не преодолев монотонности, не легче ли оправдать этот порок стремлением создать узко свое, национальное?

Глинка раздраженно ответил, не желая вдаваться в рассуждения:

— Откуда-то из старого хлама вытащили вы на свет эти басенки и теперь потешаетесь ими, сударь мой. Не стыдно ли столь хорошему русскому музыканту? И в наше ли время? Не себя ли умалили статьей и меня?.. Русскую музыку не умалишь!

— Я не умалил вас... Михаил Иванович, — сдержанно возразил Рубинштейн, досадуя на весь затеянный им разговор, — я писал, что «Глинка — самый гениальный из русских композиторов — был первым, возымевшим и

исполнившим смелую, но несчастливую мысль написать национальную оперу!»

— Первый из гениальных неудачников — хотите сказать? Для гения я слишком мал, для неудачника — велик! Но суть в другом, в музыке. . . Немец и русский печалится и радуется одинаково? Стало быть, и «Камаринская» моя, как и все чувства людские, на один лад. . .

Он не захотел договаривать, глядел на гостя устало, брюзгливо, ходил по комнате в халате, поеживаясь, и отнюдь не выказывал к гостю хозяйского радушия.

— И почему столь самоуверенны — не пойму! — бросил он, замедляя шаг. — Откуда это? Жизнь ли этому научила, или такой уж ваш нрав?

Он знал, что Рубинштейн с семи лет выступал перед публикой, пребывая в славе. Бывало, Глинка смеялся, слушая о приключениях его детских лет. . . Однажды мальчик был задержан полицейским начальством при возвращении из-за границы, как беспаспортный, и какой-то чин проверял на станции, действительно ли он умеет играть?

И вдруг, как бы снисходя к его молодости, Глинка засмеялся:

— А вы попробуйте написать. . . подлинно национальную оперу, с этими. . . общими характерами, небось сами откажетесь тогда от своих слов? И что такое песня? Разве это не характер?

Переход от раздражения к добродушию был неожиданным и, казалось, смягчал его нерасположенность к гостю. Рубинштейн поспешил откланяться, избегая спора и чувствуя если не свою неправоту, то, во всяком случае, недостаточность своих доводов. . .

Ден, узнав о разговоре с Рубинштейном, сказал Глинке:

— Зря вы. . . Он не так уж далек от истины. Найти общечеловеческое — это ли не главное в искусстве? А все национальное так часто выглядит заведомо сниженным по самому своему духу. Впрочем, не о ваших операх говорю, — поправился он (Глинка не знал, искренне ли или из вежливости). — Ну и не о Вагнере. Он-то — титан Вагнер, — он ли узконационален? В нем и Германия и весь мир в пафосе духа, в освобождении от суеты, от того маленького и уютного, что так идет

иной нации... — Глинка догадывался: Ден имеет в виду некоторых посредственных композиторов Франции и — в этом обидно было признаться — судит подчас о чужой музыке совсем «по-пруссачески»!

Жизнь в Берлине не сулила радостей. Новые знакомые докучали прославлением Бисмарка и реформ, вводимых в объединенной Германии. Среди этих знакомых особенно надоедлив был один из приятелей Дена, профессор эстетики, говоривший всегда велеречиво и назидательно. Его старомодный фрак с золотыми пуговицами и манера говорить, закатывая глаза, возбуждали в Глинке бешеное раздражение до дрожи в теле.

Профессор любил толковать о музыке, называл Вагнера «государственным музыкантом», утверждающим... эпоху Бисмарка, восхищался достижениями науки, связывая их с добычей каменноугольных шахт и приводя вычисления, доказывающие, что в одном килограмме угля содержится столько энергии, сколько нужно сильному человеку для подъема на Монблан.

Он так досадил Глинке своими разговорами обо всем этом, что Дену пришлось просить профессора: «Разговоры о политике и об... угле оставлять вместе с галошами в прихожей».

Довелось Глинке быть в замке короля, где, вняв предложению Мейербера, приказал король исполнить в большом придворном концерте, бывающем лишь раз в году, сцену из «Руслана».

Возвращаясь из замка, Глинка сильно простудился и утром, проснувшись больным, удивился своей слабости и тому равнодушию, которую вызвала в нем собственная болезнь. Право, это состояние отвечало сейчас душевному его настроению и даже навевало покой, вызывало забытие... Он пролежал дня три, прежде чем признался Дену, что болен, и почти не притрагивался к еде, которую приносила ему в комнату служанка. Она ничего не знала о нем, кроме того, что Глинка ученик господина Дена и гость его, но гость, являвшийся учеником, был в ее глазах обычным студентом, хотя и отнюдь не молодым, а студенты — живучи и столь часто отягощены бедами... Служанка не удивлялась ни его бледности, ни худобе, ни тому, как подолгу он спит, прерывисто дыша, уткнувшись лицом в подушку.

И только однажды она испугалась его вида, когда подошла к нему, как всегда, в белом накрахмаленном переднике, в белом чепце, а он, заслышав звон колокола с соседней кирки, сказал вдруг со злостью, вызывающей румянец на впалых его щеках:

— Все белое... Вот и стены, и снег за окном! Не правда ли, самый-самый скучный цвет — белый?

Тогда она поспешила к хозяину, и хозяин привел доктора. И потом Дена. Гость принимал выписанные ему лекарства с поразившим служанку ожесточением против всех входивших к нему, словно окружающие вызвали в нем болезнь. Служанка не могла знать о том, что и в действительности он больше всего терзается сейчас казенной благопристойностью чужой ему обстановки, в которой оказался напоследок жизни, и ничто здесь не облегчает физических его страданий.

Он умер так же незаметно для всех, отчужденно и тихо, — раньше, чем ждал доктор, уже не надеявшийся на выздоровление. Хоронили его Мейербер, чиновник русского посольства, дирижер Беер, Ден, какие-то две русские дамы, как выяснилось, не знакомые никому.

На простом памятнике из силезского мрамора выбили надпись: «Императорский капельмейстер Глинка», как бы возвысив его этой надписью в глазах чиновного Берлина, обуйанного почтеньем к титулам и рангам.

О болезни и смерти брата Людмила Ивановна получила вскоре от Дена выдержанное в официальных тонах письмо.

7

Гулак-Артемовский, услышав о смерти Глинки, уверил себя, что сообщение это, переданное из Берлина, — ложное. И раньше нередко пугали толками о катастрофическом состоянии здоровья Михаила Ивановича, но, наверное, он все же очень тяжело болен. И, браня друзей Глинки, к которым не смел причислить себя, рассуждая, что этак действительно недалеко ему до смерти, Гулак-Артемовский решил съездить к Стасову и признаться ему в том, что с давних пор мучило здесь, в Петербурге, в чувстве своей нетерпимо большой вины

за себя, за общество перед Глинкой. Он представлял себе, как войдет в кабинет к Стасову и скажет ему, что Одоевский с его «Изидой», Сенковский с... оркестрионом, Кукольник со всеми его тяжбами, и он, Гулак, — те же герои «Ревизора», мимо которых проходит жизнь, и он больше не может пребывать в Петербурге молчалиником, петь в императорском театре и ходить в обласканных театральным обществом счастливых. «Изида» начинает ему сниться в снах, и они теряют Глинку, исповедуя отвлеченно бездушное учение этой возрожденной из пепла истории богини. Он, Гулак, не будет биться головой о театральные подмостки, не будет крушить идолов и черепа в доме Одоевского, но завтра же уедет на Украину... В Петербурге умудряются жить, тешась рассуждениями, и успокаиваются, порассуждав, и отъезд его никого не удивит. Но пусть знает Стасов, сколь душно в столичном кругу и почему бежит певец Гулак-Артемовский из столицы, пусть преисполнится его гневом, чувством одиночества музыкантов, принявших заповеди Глинки в музыке. Гулак-Артемовский знал, что, вернувшись из Италии, Стасов пишет статью об употреблении Глинкою церковных тонов и восточной гаммы, о формах новейшей музыки. Это не могло не интересовать певца живейшим образом, но, думая об этой статье, он с грустью сознавался себе, что ждет от Стасова совсем другого... По его мнению, надо было безотлагательно написать о выражении музыкой общественной жизни, и, касаясь самого необходимого в ней, — может ли быть крепостным герой глинковских опер, может ли ходить в ярме народ, воспетый Глинкой? Противоречие между тем и другим, между жизнью и направлением музыки Глинки ему казалось все более осязаемым, нетерпимым и мучительным. А минуя это противоречие, уподобившись поклонникам «Изиды».

Он верил, что так написал бы о Глинке Белинский, если бы довелось ему судить о музыкальном искусстве, и только с таких позиций можно говорить о «Тарасе Бульбе», отрывки из которого он слышал у Серова... Он не представлял себе, как озаглавить такую статью и какой «эзоповский» прием нужен для того, чтобы не усмотрели в ее содержании крамолу, и можно ли сказать в ней многое напрямик, как говорили на «пятни-

цах» Буташевича-Петрашевского, куда однажды он имел доступ. Но разве не сами творения Глинки постоят за себя?.. И не Сусанин ли его поет в стане крестьянских певцов вольности? А ведь крепостничество падет, — и знатоки песенной аранжировки не могут не чувствовать силы, пробужденной в народе песней.

В доме на Гороховой старичок швейцар с тоненькой бородкой и голубыми глазами, похожий на сказочного хранителя кладов, впусив рослого Гулака, сказал:

— Стасовы еще не вернулись.

— Где же Владимир Васильевич?

— Поехал к сестре почившего композитора Глинки.

— Стало быть, Глинка умер?

Гулак его тряс, сам того не замечая.

— В бозе почил! — прошептал карлик, бледнея. —

Отпустите меня.

Гулак сел на скамью, где обычно садились молочницы и нищие, приходящие в этот дом, под тяжелые и даже летом холодные его своды, вытер со лба пот и рассмеялся, еще более испугав своим смехом швейцара.

— Раз в «бозе почил», значит, правда... Такими словами не соврут, братец.

— Вы знали его? — спросил швейцар Гулака. — Кто будете господину Стасову? Не родственник ли?

— погоди, — остановил его Гулак. — А кто в квартире у них есть?

— Да я же... Разве мое место здесь? Это я потому, что Глинка умер, чтобы не трудились наверх заходить.

Последняя надежда для Гулака уходила с этими его словами. Он сидел и плакал.

— Не прикажете ли зельтерской? — шепнул швейцар.

— Уходи! — громко ответил Гулак.

— Куда же мне, барин? Ведь спрашивать будут.

Гулак не заметил, как в швейцарскую вошли трое каких-то людей в шубах, и все они поглядывали теперь из сумрака в его сторону.

— А правда ли? — донесся до Гулака чей-то голос.

— Как же не правда. Вот ведь и барин плачет!

Швейцар медленно зажигал свечу в уголке, под дверной аркой, считая, что и здесь должна она вместо лампы гореть и говорить о покойнике.

— Где же умер? — продолжал тот же голос.

— В Берлине. На квартире у Дена. Хоронили его доктор, Ден да какой-то русский чиновник.

— О господи! — вздохнул другой человек в шубе. — Так всегда бывает с русскими, из великих людей. Как жил, так и помер.

— Вы о чем это? — зло настраиваясь к незнакомцу, поднял голову Гулак. — Ой, господин Петров, извините меня, — он не узнал бывавшего здесь малоизвестного хориста из оперного театра. — И вы пришли. Не поверили? Садитесь, зачем же стоять?

— Да ведь холодно. Скоро ли Стасов приедет? А чего, собственно, ждем? Вы ведь знаете, Гулак, расскажите!..

Было уже здесь не меньше двадцати человек, когда быстро, на миг прикрыв своею тенью дверную арку и людей, толпившихся сзади, шагнул по ступеням Стасов. Шелест саней по снегу, гулкий отзвук колокольчика ворвался вместе с морозным воздухом, свеча за-гасла, и был слышен только басистый его голос:

— Вы ко мне, господа?

Все молчали. Швейцар вышел вперед и, показывая на Гулака, доложил:

— Вот тот барин прежде всех пришел, за ним, значит, и остальные.

— Ну, идемте же, господа!

Стасов вел своих гостей, ни о чем больше не спрашивая, и они, горбясь, распахнув зимние шубы, ступали за ним по темной сырой лестнице, не заметив, как вошли в открытую им дверь, и опомнились, объединенные одним чувством, у черного фортепиано, забелевшего при фонарном свете с улицы своими клавишами.

Гулак сел и заиграл «Реквием» Керубини.

И когда он кончил, в комнате тихим вздохом пронеслась поднятая шепотом мелодия «Бедного певца». И почему именно этот романс возник в памяти пришедших, отнюдь не удивило Гулака. Он быстро подхватил мелодию на рояле, пробуя передать в ней... тяжелый сумрак в квартире, свет фонаря и сборище людей, незнакомых и все прибывающих в этот дом.

— А Глинка, братцы вы мои, живет и жить будет! Шел я сюда за этими господами, — с чувством какого-то

вызова сказал один из сидящих, — услышал на железке, не поверил!.. Эх, знали бы вы, как поют у нас Глинку!

Гулак слушал, и уже не о чем было говорить Стасову, отошли все только что терзавшие его мысли, укоры Кукольникову, себе, и была только одна музыка Глинки и печаль, как бы вводящая ее в бессмертие! Словно теперь, со смертью Михаила Ивановича, начиналась новая жизнь для его музыки. Глинка входил в память народа как искусный его песнетворец, как само ощущение народной правды.

...С этим ощущением он слушал уже позже о последнем странствовании его гроба из Берлина в Кронштадт и Петербург, везли гроб под видом ящика с фарфором. Писал он Тарасу Григорьевичу, отбывшему ссылку, о том, как капельмейстер Львов настаивал представить цензору речь священника на панихиде Глинки, — с этим чувством выехал весной на Украину и на степных дорогах прислушивался к пению кобзарей.

Славили они Остапа Вересая и пели о каком-то музыканте, сопутствовавшем ему, — нехитрая честь для Глинки стать посмертным спутником кобзарей. Тянули они на один голос весеннюю здравицу апрельскому дню, а с ним и равноденствию времени, скрадывающему на своем пути печали и радости. Радовался их песне Гулак, легко ему было шагать с ними к дремным очертаниям одиноких сел и мысленно улавливать в мелодиях песен слышанное им в Петербурге от Глинки.

И уже не весенняя степь в дыму костров, с изрытыми дорогами, по краям которых, как зубок младенца, прорезывается первая трава, влекла Гулака в свою глубину, а эта песня кобзарей, песня вечного Баяна, которому внимал когда-то Руслан.

Было утро, такое же холодное и дымное, как всегда в эту пору, и все было просто в песенном слове кобзарей, но звучало оно для Гулака святостью приподнятой ими повседневности, и слушал он кобзарей торжествуя. Был для него этот утренний час в степи часом памяти певца, и хотелось ему с мыслью о певце поклониться степям и встающему вдали солнцу, будто вся земля пела Глинку и кобзари брели по земле во исполнение его желаний!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Потайное	5
Смоленская правда	35
В державном граде	69
Дань Кавказу	130
Певец во приказе	143
«Секретные»	159
В стране кантилены	183
Иван Сусанин	218
В обители сердца	255
Свершения и неудачи	289
В «богемии»	321
«Запорожец за... Тибром»	373
«Руслан и Людмила»	388
От Парижа до Гренады	430
Варшавское уединение	469
О самом себе!	515

*Вадецкий
Борис Александрович*

Глинка

М., «Советский писатель», 1968,
544 стр. Тем. план вып. 1968 г.
№ 85

Редактор О. Г. Маркова

Художник В. П. Муравьев

Худож. редактор

Е. И. Балашева

Техн. редактор

М. А. Ульянова

Корректоры С. И. Малкина

и В. Н. Стаханова

Сдано в набор 12/I 1968 г. Подпи-
сано к печати 13/V 1968 г. Бумага
84×108¹/₃₂, № 1. Печ. л. 17,0 (28,56)
Уч.-изд. л. 28,27. Тираж 100000 экз.
Заказ № 122. Цена 1 р. 01 к.

Издательство «Советский писа-
тель», Москва К-9, Б. Гнезди-
ковский пер., 10

Ленинградская типография № 5
Главполиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров
СССР, Красная ул., 1/3